БРАНТОМ
Галантные дамы
АЗБУКА-КЛАССИКА

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга французского писателя аббата де Брантома (Пьера де Бурдея, 1540–1614) принесла ему мировую славу. Это увлекательное повествование, прозванное «Новым Декамероном», о нравах и интимных сторонах жизни аристократических кругов современного ему общества. Мастерски, весьма откровенно и в то же время с легким юмором живописует он истории любовных связей и похождения ловеласов и придворных дам, переживания обманутых мужей и покинутых жен. В книге рассказывается не только о беспечных «галантных дамах», но и о цельных натурах, способных на сильное чувство.

Небогатый дворянин Брантом (Пьер де Бурдей), как и его предки, смолоду состоял на службе у французских королей, много путешествовал, пользовался бешеным успехом у дам, которых он любил бескорыстно и искренне, Пожалуй, это был его самый большой талант и дар. И дамы любили его в ответ. Он не добился богатства, земель или должностей, но он оставил после себя книгу, названную «Галантные дамы». Пожалуй, главной героиней этой книги является Маргарита Валуа, та самая королева Марго, о жизни которой Александр Дюма рассказал впоследствии именно со слов Брантома. Человек Ренессанса, Брантом, понимая, быть может, слишком буквально призыв наслаждаться каждым мгновением бытия, долго вел жизнь светского повесы, ухаживая за фрейлинами королевы Екатерины Медичи, шутя сочинял стихи «на случай». Он беззаботно менял покровителей, порой бросая все и пускаясь в дальние странствия. Литератором Брантом стал скорее не по призванию, а по воле случая: пребывая в опале в своем родовом замке, он во время верховой прогулки упал с лошади и на многие месяцы оказался прикованным к постели. Он начинает диктовать своему секретарю и домоправителю нечто вроде мемуаров, как бы заново переживая волнения молодости. Анекдоты и новеллы завораживают неожиданностью сюжетных поворотов, галантным юмором и жизнерадостной беспечностью, с которой автор рассказывает о страстях своего века, о сердечных волнениях и наслаждениях плоти.

- Пьер де Бурдей, сеньор де Брантом
  - БРАНТОМ — АВТОР «ГАЛАНТНЫХ ДАМ»
  - ГАЛАНТНЫЕ ДАМЫ
    - Господину герцогу Алансонскому и Брабантскому, графу Фландрскому, сыну и

брату наших королей
- РАССУЖДЕНИЕ ПЕРВОЕ:
- РАССУЖДЕНИЕ ВТОРОЕ:
- РАССУЖДЕНИЕ ТРЕТЬЕ:
- РАССУЖДЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ:
- РАССУЖДЕНИЕ ПЯТОЕ:
- РАССУЖДЕНИЕ ШЕСТОЕ:
- РАССУЖДЕНИЕ СЕДЬМОЕ:

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35

- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78

D. Pinx.
Pinaris Sculp.
PIERRE de BOURDEILLE
Ab. Seigneur de Brantôme,
Mourut dans un age très avancé le 15 Juill. 1614.
Tiré du Cabinet de M.r le Marquis de Bourdeille
A Paris chez O.dieuvre M.d d'Est.rue d'Anjou la dern.P.Cochere a gauche entrant par celle Dauph.CPR

Пьер де Бурдей, сеньор де Брантом
ГАЛАНТНЫЕ ДАМЫ

БРАНТОМ — АВТОР «ГАЛАНТНЫХ ДАМ»

Давно уже было замечено, что возрожденческая новелла во многом сродни бытовому сатирическому анекдоту, как ей предшествующему, так и ей современному. Что касается их синхронного сосуществования, по крайней мере в письменной, литературной форме, то граница между анекдотом и новеллой оказывается подчас едва намеченной, точнее, анекдот в пору Ренессанса стал одной из разновидностей новеллы, неожиданностью же развязки, остротой ситуаций, стремительностью развития сюжета, да и просто уплотненной краткостью он входит почти непременной частью в ее поэтику. Зародившийся в Западной Европе уже в XII–XIII вв. и особенно расцветший в Италии XV столетия жанр фацетий (Поджо Браччолини и многие другие) как бы взял на себя, на определенный момент, функции развлекательного рассказика, но тут же растворился в собственно новеллистике, которая охотно воспользовалась его приемами.

В анекдоте, в фацетии, в новелле действительность обычно бывала снижена до частного, необязательного случая, приключившегося с частным же, «необязательным» персонажем. Но бывали «анекдоты» и иного рода, как небольшой характерный рассказ о происшествии из жизни исторического лица. Вспомним у Пушкина об Онегине:

> Но дней минувших анекдоты
> От Ромула до наших дней
> Хранил он в памяти своей.

Пушкину вторит Проспер Мериме в предисловии к «Хронике царствования Карла IX»: «В истории я люблю только анекдоты, а из анекдотов предпочитаю такие, в которых, как мне подсказывает воображение, я нахожу правдивую картину нравов и характеров данной эпохи. Страсть к анекдотам нельзя назвать особенно благородной, но, к стыду своему, должен признаться, что я с удовольствием отдал бы Фукидида за подлинные мемуары Аспазии или Периклова раба, ибо только мемуары, представляющие собой непринужденную беседу автора с читателем, способны дать изображение человека, а меня это главным образом занимает и интересует. Не по Мезре, а по

Монлюку, Брантому, д'Обинье, Тавану, Лану и др. составляем мы себе представление о французе XVI века. Слог этих авторов не менее характерен, чем самый их рассказ»[1]. Заметим попутно, что много позже Мериме напишет специальные биографические очерки, посвященные и д'Обинье, и Брантому.

Вот такие анекдоты «дней минувших» мы найдем и в сборниках новелл, и у зачинателя жанра Боккаччо, и у его французских продолжателей — у Маргариты Наваррской, с ее «Гептамероном», или у Бонавантюра Деперье, с его «Новыми забавами и веселыми разговорами». Но у них, с несомненной установкой на обобщение, главными персонажами выступали все-таки обыкновенные, рядовые представители эпохи, а у персонажей титулованных высвечивались наиболее типичные для того времени черты характеров. Пусть ученые установили, что в основе рассказов Саккетти, Мазуччо, Маргариты, Фиренцуолы, Деперье, Никола де Труа, Ноэля Дю Файля, Банделло, Фортини и т. д. лежали действительные события и курьезные происшествия тех лет, а в героях новелл легко узнаются известные деятели эпохи — от монархов, принцев крови, прославленных полководцев, придворных до популярных тогда юристов, врачей и даже королевских шутов, все-таки в новелле — неизбежно и сознательно — присутствовало обобщение как выявление типичных ситуаций и как изображение наиболее распространенных черт характера. В этом был отход и просто от анекдота, и от анекдота «дней минувших», то есть анекдота исторического.

Впрочем, нельзя не заметить, что сама повседневная жизнь эпохи, в том числе — и даже особенно — жизнь придворная, во многом была «новеллистична», то есть и ей были присущи неожиданные повороты, скандальные ситуации, веселые розыгрыши, нескончаемая череда авантюр, пылких страстей и бездумного, даже гордящегося этим распутства.

Французская новеллистика Возрождения (конечно, как и новеллистика итальянская и испанская) в наибольшей степени — по сравнению с другими жанрами — воспроизвела облик времени, подробно рассказав о том, как жили люди той эпохи и как они чувствовали. Вот почему современный французский исследователь Габриэль Перуз с полным основанием дал соответствующий подзаголовок своей книге о новеллистах XVI столетия[2]. Это ощутили рассказчики конца Ренессанса: они охотно включали в свои мемуары, бытовые очерки, философские труды и даже квазинаучные трактаты богатый новеллистический материал, заимствуя его у более ранних повествователей, и одновременно использовали в рассказах фабульные и

стилистические приемы новеллы. В их книгах сюжеты известных новелл, естественно, сжимались, вновь обретая черты исторического анекдота. В этом же «историко-анекдотическом» ключе они повествовали о том, чему были свидетелями сами или о чем слышали от знакомых, родственников, случайных собеседников. Жанр таких книг, как правило, трудно определим. Иногда, у Блеза де Монлюка (1501–1577), Франсуа де Лану (1531–1591) или Пьера де Летуаля (1546–1611), это непритязательная хроника их собственной жизни, но на широком фоне эпохи. В других случаях, как, например, у Гийома Буше (1513–1593), Франсуа Бероальда де Вервиля (1558–1612), Жана Дагоно, сеньора де Шольера (1509–1592), в пространные рассуждения о вине, женщинах, торговле, мошенниках, супружеских изменах, забавных чертах человеческих характеров вклиниваются иллюстрирующие все это короткие новеллы-анекдоты.

Были тогда, конечно, и новеллисты в прямом смысле этого слова. В основном они разрабатывали повествовательные модели, заимствованные у крупнейшего итальянского новеллиста XVI в. Маттео Банделло. Последний стал широко известен и популярен во Франции с 1560 г., когда Франсуа де Бельфоре (1530–1583) выпустил свой перевод его новелл. По пути Банделло и его французских интерпретаторов пошли Жак Ивер (1520— ок. 1571), Бенинь Пуассено (ок. 1558–?), Франсуа де Россе (ок. 1570–1619). В их повествованиях (как и у Банделло) действительность представала как кровавая борьба всех против всех, а герои бывали обуреваемы сильными, нередко чрезмерными, подчас противоестественными страстями.

Брантом как рассказчик не последовал путем подражателей Банделло, он сохранил и лукавый юмор, и жизнерадостную беспечность новеллистов первой половины века. Впрочем, он не писал новелл как таковых, но в своей самой популярной книге — «Галантные дамы» — он, подобно Буше или Шольеру, насытил свои рассуждения новеллистическим материалом в таком количестве, что его хватило бы не на один сборник новелл.

Пьер де Бурдей (или по-старинному — Бурдейль), аббат де Брантом[3], принадлежал к древнему французскому аристократическому роду. Не будем подробно говорить о его предках: тут много скрывается в туманной дали веков. Можно предположить, что представители рода Бурдей проявили себя еще при первых Каролингах, то есть начиная с VIII столетия. Некий Энджельер де Бурдей погиб в знаменитой битве при Ронсевале, воспетой в «Песни о Роланде». Там сказано:

Вот Энджельер, гасконец из Борделы,
Шпорит коня и отпустил уздечку.

Перевод Б. Ярхо

То, что этот Энджельер непременно был предком нашего рассказчика, — сомнительно. Но Брантом писал об этом с уверенностью и убедительностью, которые можно понять. Мелькают имена Бурдейлей и в хрониках крестовых походов, о чем Брантом также не преминул упомянуть.

Реальные предки писателя обратили на себя внимание во второй половине XV в., но и здесь много неясного; в общем, мы мало что можем о них рассказать. Годы жизни отца Брантома, Франсуа де Бурдея, точно нам неизвестны; мы знаем лишь, что в 1519 г. он женился на Анне де Вивонн, а в 1546 г. составил завещание. Родился он, видимо, в последней четверти XV столетия, и как условную дату указывают 1485 г. Он был отважным военачальником, принимал участие в походах короля Франциска I, был сенешалем (то есть управителем и верховным судьей) провинции Пуату. Анна де Вивонн тоже была неплохих кровей, но ее далеких предков Брантом не разыскивал.

Анне де Вивонн, даме де Бурдей, было около двадцати, когда она вышла замуж, и уже через год у нее появился первенец. Всего у супругов было шестеро детей. Во-первых, четыре сына: Андре де Бурдей (1520–1582), Жан де Бурдей (ум. в 1553 г.), Жан, барон д'Арделе (ум. в 1568 г.), и Пьер — знаменитый мемуарист. Во-вторых, две дочери: Мадлена (ум. в 1618 г.) и Франсуаза (годы жизни неизвестны). У Андре, который женился на придворной даме Екатерины Медичи, Жаккетт де Монброн (1544–1598), их было шестеро, и старшие из них — Анри, барон д'Аршиак (1560–1642), и Жанна (ок. 1560— после 1641), вышедшая замуж за Клода д'Эпине, графа Дюрталя, и стали душеприказчиками и наследниками мемуариста.

Ученые немало спорили о годе рождения будущего писателя. Самой ранней датой называли 1527 г., что совершенно невозможно: мы знаем, что Брантом в 1550 г. поступил в какой-то парижский коллеж, а в 1555 г. появился при дворе. Трудно предположить, что он взялся за науки в 23 года и лишь в 29 переступил порог королевского дворца. В те времена все начинали рано, и молодой человек в шестнадцать лет уже мог быть пажом или даже армейским офицером. Маловероятно и то, что будущий писатель в детстве был хилым и болезненным: вся его дальнейшая жизнь говорит об обратном. Если же принять за дату рождения 1539 или 1540 г., то все становится на свои места:

в десять лет начало учебы, в шестнадцать — появление при дворе. Впрочем, никаких документальных подтверждений тому нет: свидетельств о рождении тогда не составляли, а записи в церковных книгах о крещении давным-давно утрачены. Вот, между прочим, почему и многочисленные персонажи, с которыми читатель сталкивается в этой книге, имеют приблизительные даты рождения (лишь принцы крови удостаивались упоминаний в королевских анналах — ведь их рождение было событием государственным, отмечавшимся специально). Приблизительно так же обстоит дело и с датами смерти. Если воин погибал в какой-нибудь знаменитой битве, то это запоминалось, в остальных же случаях мы часто вынуждены писать «после». Это вот как объясняется. Какие юридические документы той поры бывали особенно важными и потому тщательно хранились? Брачные контракты и завещания. Поэтому мы и обращаемся к ним: молодым супругам даем год на появление их первенца, людям пожилым — сколько-то лет пожить после составления завещания.

Итак, Брантом переехал из родного Перигора в Париж. Тем временем его старшие братья уже несли военную службу.

Посмотрим, с каким обществом столкнулся будущий писатель в Париже, с каким двором, вообще какова была политическая ситуация тех лет, то есть середины столетия.

Брантом стал свидетелем правления пяти последних королей из династии Валуа (указываем годы их царствования): Франциска I (1515–1547), Генриха II (1547–1559), Франциска II (1559–1560), Карла IX (1560–1574) и Генриха III (1574–1589). Он описывает их эпоху, их придворных, их военные успехи или неудачи. Новой династии для него как бы не существует, хотя он дожил до восшествия на престол Людовика XIII. Тут есть некий идеологический момент: с падением династии Валуа для Брантома перестает существовать та эпоха, в которой и которой он жил. Но есть момент и биографический, о нем мы еще скажем.

К событиям правления этих пяти последних Валуа у Брантома, естественно, подход разный. Что касается правления «доброго короля Франсуа», то для нашего мемуариста это уже история, пусть совсем недавняя, с героями которой ему еще довелось встретиться. Тут он многое узнал от любимой тетки, Жанны де Вивонн, г-жи де Дампьер (ум. в 1583 г.), что была замужем за Клодом де Клермоном, сеньором де Дампьером, но еще больше узнал он от матери, Анны де Вивонн, одно время состоявшей в придворном штате сестры Франциска I Маргариты Наваррской, несравненного автора «Гептамерона». Анна, выведенная в этой книге под именем Эннасюиты, часто

сопровождала Маргариту в ее многочисленных и долгих путешествиях по Франции, сидя с нею в «литьере» (большие носилки, поддерживаемые добрым десятком человек), и нередко держала ее чернильницу, когда королева писала.

Опять-таки в основном по рассказам знал Брантом и о правлении Генриха II, которого он считал «великим», ибо, как ему казалось, при этом короле придворные нравы приобрели внешний блеск, красочность, «галантность», что так ему нравилось, а необузданные любовные страсти, бушевавшие при этом дворе, не утратили еще, как он полагал, искренности и красоты. Эстетика явно отодвигала у Брантома на задний план этику с ее чрезмерными требованиями. Именно таким представился ему королевский двор, когда он появился там в 1555 г.

Франциск II правил слишком мало, чтобы наложить какой-то свой отпечаток на жизнь двора. При нем продолжались те же увеселения, что и при его отце (отметим, что Генрих II погиб, участвуя в пышном рыцарском турнире). К тому же брак юноши с прелестной Марией Стюарт придавал придворной атмосфере оттенок романтичности и молодости.

Прочно укоренившееся в придворных нравах изживалось, конечно же, не сразу. И все-таки потрясения, пережитые страной, не могли не коснуться двора — ведь эпицентр всех событий находился именно здесь. При дворе встречались вожаки враждующих партий, чтобы во время бала или торжественного приема плести свои интриги и высматривать новые жертвы. Страна раскололась, раскололся и двор. Но его раскол был сложнее, запутаннее и жестче. Брантом был не только наблюдательным и все запоминающим свидетелем, но и — неизбежно — активным участником всех этих трагических событий. Брантом, быть может, видел трезво и глубоко, но в своих писаниях отразил прежде всего внешнюю сторону жизни, как он ее воспринимал и оценивал.

Ведь несмотря на войну (она часто прерывалась перемириями, которые вскоре же нарушались), придворная жизнь продолжалась. За ее внешней благопристойностью кипели бурные политические страсти и не менее бурные страсти любовные. Рисковали жизнью, не только подстерегая врага в темном переулке, но и идя на свидание к любовнице. За серией политических убийств (герцога де Гиза, Жанны д'Альбре и т. д.) следовала череда придворных скандалов и попранных женских репутаций. Женщина как предмет поклонения, любви, грубого вожделения и как орудие политических интриг занимала при дворе едва ли не первое место. При Карле IX и Генрихе III всем, по сути дела, заправляла королева-мать Екатерина Медичи (1519–

1589). Опытный политический боец и мастер интриг, она принесла с собой унаследованные от ее флорентийских предков коварство и жестокость. Зная силу и власть женской красоты, сама скорее дурнушка, она окружала себя прелестными молодыми девушками. Этот ее «летучий эскадрон», постоянно пополнявшийся и обновлявшийся, обычно пускался «в дело», когда надо было перетянуть на свою сторону опасного противника или завлечь в свои сети неопытного новичка. Эти девушки в цвету были действительно красивы, веселы, обходительны и податливы. Вполне естественно, что вокруг них роились знатные кавалеры, которые почти всегда могли рассчитывать на успех. Любовные похождения не только не скрывались, напротив, ими гордились и о них рассказывали всем и каждому, чтобы уже утром ночное приключение становилось достоянием всего двора. Брантом вращался в этом обществе, где все старались веселиться и где альковных тайн не существовало. Он волочился за фрейлинами, выслушивал и сам пересказывал свежие придворные сплетни. Вот откуда у него такое знание самых интимных сторон жизни высшего общества, что позволило ему нарисовать так много бегло, но точно очерченных женских образов, классифицируя их не столько социально (ведь перед ним был лишь один общественный слой), сколько сексуально и психологически. Четкие, лаконичные его зарисовки женских типов сродни знаменитым французским «карандашным портретам» XVI столетия, выдвинувшим таких замечательных мастеров, как Франсуа Клуэ и Жан Клуэ, Этьен Делон, Жан Декур, Марк Дюваль, Этьен Дюмустье и многие другие. Этому не приходится удивляться: и у рисовальщиков, и у нашего писателя был один творческий метод — метод быстрого и графического запечатления оригинала.

Писатель в своих мемуарах не очень распространялся о собственных любовных победах. Их, видимо, было немало, однако имена Брантом постарался скрыть. Но об одной его влюбленности, даже долгой и безнадежной, нигде прямо не высказанной любви, стоит упомянуть.

Та, о ком пойдет речь, была, по сути дела, главной героиней «Галантных дам», хотя ее имя и называется крайне редко. Это Маргарита Валуа (1553–1615), дочь Генриха II и Екатерины Медичи, та самая «королева Марго», о которой почти три века спустя рассказал Александр Дюма, и рассказал во многом со слов Брантома.

Младшая дочь в семье, Маргарита разительно отличалась от своих сестер — Елизаветы (1545–1568) и Клод (1547–1575), которые не блистали ни красотой, ни умом, да к тому же, выйдя

замуж, жили вдали от Парижа с его притягательными развлечениями и интригами. Маргарита — совсем другое дело: это был какой-то сгусток энергии, веселости и опьяняющего очарования. Она неудержимо притягивала к себе и сама тянулась к другим. Любовь была ее главной заботой, главной страстью, едва ли не целью жизни. Причем любовь во всем многообразии ее проявлений — от смутных сердечных тревог до самых пылких и бесстыдных наслаждений. Она, впрочем, как и большинство ее сверстниц, не страдала излишним целомудрием или добродетелью. В своих мемуарах, написанных на склоне лет, а изданных только в 1842 г., она без тени смущения рассказывает о том, как ее лишил невинности кто-то из кузенов; а исполнилось ей тогда лишь двенадцать лет. Боязнь инцеста была ей неведома: современники намекают, что она флиртовала даже с родными братьями; что касается старших, то это все-таки маловероятно, но вот с Эркюлем-Франсуа, который был моложе ее всего на один год, у нее была несомненная связь.

Нет, Брантом не изведал прелестей Маргариты, но у них очень скоро установились дружеские, почти приятельские отношения, чему в малой степени мешала разница их положений: она была королевой (пусть всего лишь маленькой Наварры), он же — простым молодым придворным, которого, однако, как увидим, ценили. Маргарита и Брантом, видимо, нередко поверяли друг другу свои любовные тайны и пересказывали последние скандальные сплетни. Их отношения были настолько доверительными, что Маргарита читала кое-что из написанного Брантомом и именно ему посвятила свои «Мемуары», отметив, что в лице писателя она видит «благородного кавалера, настоящего француза, происходящего из прославленного рода, взращенного королями, ее отцом и братьями, родственника и близкого друга самых галантных и досточтимых женщин…».

Да, он был именно таким. Таким его увидел и Мериме, писавший: «Благодаря своему происхождению, характеру, вкусам он с ранних лет был довольно близок с большинством людей, сыгравших крупную роль во второй половине XVI века. Его общества, видимо, искали в светских кругах того времени за веселый нрав, за остроумие и порядочность. Если судить о писателе по тому, как он изобразил себя, он был прежде всего человек благовоспитанный или, точнее, истинный сын своего века, верный портрет которого без крупных пороков и крупных добродетелей мы найдем в его произведениях. Изучить их крайне полезно, чтобы знать, каковы были нравы и образ мыслей средних людей триста лет тому назад»[4]. Тут все верно, но Мериме не сказал об одном, возможно о главном: писания Брантома, и

особенно «Галантные дамы», до сих пор представляют и чисто читательский интерес; рассказываемая им та или иная — как правило, любовная — история, как бы лапидарна она ни была, может захватить и увлечь и своим сюжетом, и методом его подачи.

Итак, этот человек, благодаря тому что обо всем писал искренне и с большой степенью осведомленности, помогает нам понять эпоху. И конечно же, его самого как ее типичнейшего представителя.

Но обратимся к некоторым датам.

Оставим в стороне раннее детство Брантома, отметив лишь, что его воспитанием занимались в основном женщины — мать, тетки и т. д. Но вот он в Париже. Уже правит Генрих II, уже усложняются и осложняются отношения между католиками и гугенотами (которым предыдущий король, Франциск I, если и не покровительствовал, то в какой-то мере сочувствовал). Так внутри страны. А на ее рубежах продолжается бессмысленная и утомительная война с императором Карлом V (под его властью фактически находились Испания, Нидерланды, часть Германии; в лице Австрии у него также была сильнейшая союзница). Война не могла не коснуться родственников Брантома: тяжелую рану получает брат его Жан де Бурдей, и в начале 1553 г. он умирает. В это же время старший брат, Андре, попадает в плен.

Брантом появляется при дворе, когда ему едва исполнилось шестнадцать лет. Он попал в атмосферу беззаботной веселости, ведь как раз в это время прекратились военные действия, а заклятый враг Франции Карл V отрекся от престола. Впрочем, в 1557 г. война начинается снова, и параллельно этому отношения с протестантами становятся все сложнее. Военные успехи королевской армии во главе с герцогом де Гизом обещают некоторую передышку. Вернувшийся из плена брат Андре празднует свадьбу, а Пьер де Бурдей получает в качестве бенефиции аббатство Брантом (все в том же Перигоре), и отныне это название становится его писательским именем.

Однако до писаний было еще очень далеко, хотя Брантом пишет в то время много стихов, в основном сонетов, посвящая их светским красавицам и откровенно подражая Ронсару, которым восхищается.

Конец 1558-го и почти весь следующий год Брантом проводит в Италии, которая уже стала Меккой для литераторов и вообще светских людей. Впрочем, не исключено, что Брантом выполнял там и какие-то дипломатические поручения. По возвращении он сходится с Гизами, становится их пылким приверженцем. Но и в

стане протестантов у него немало друзей. После смерти Генриха II и Франциска II, когда долго тлевший костер гражданской войны ярко вспыхнул, ввергнув страну во все ужасы междоусобицы, Брантом был в Англии, куда сопровождал, вместе с одним из Гизов, овдовевшую Марию Стюарт.

Война католиков с гугенотами приобретает все более ожесточенный характер, но сам Брантом в ней пока не участвует, хотя среди военачальников у него появляется много друзей, например Филипп Строцци. Брантом в это время настолько аполитичен, что не просто водит дружбу с главарями обоих лагерей, но в 1564 г. делает попытку наняться на испанскую службу. Впрочем, эта авантюра закончилась ничем. Тогда, вместе со Строцци и еще несколькими сотнями головорезов, он отправляется защищать Мальту от турецкого вторжения.

В 1567 г. начинается его настоящая военная служба. Брантом набирает две роты в Перигоре и приводит своих солдат в армию герцога Анжуйского. Он сражается то с испанцами, то с гугенотами, но без особого для себя ущерба. Уже в 1570 г. Брантом отказывается от военной карьеры, и отныне он почти всегда при дворе — в Париже, Блуа, Сен-Клу. Что делал Брантом в роковую Варфоломеевскую ночь (24 августа 1572 г.), мы не знаем. В Париже его не было, и позже он осудил эту кровавую резню.

Начинался новый этап жесткого противостояния гугенотов и католиков. Первые наглухо засели в Ла-Рошели, а армия католиков обложила город. Брантом среди осаждающих, но и в городских стенах у него есть друзья. Идут время от времени вылазки осажденных, также время от времени осаждающие вяло идут на приступ. Но идут также и келейные переговоры. Опытный военачальник и убежденный гугенот Лану тайно встречается в начале 1574 г. с Брантомом, которому доверена эта ответственная миссия, положительные результаты которой нам не очень известны (или их вовсе не было?).

А при дворе идет своя война: кланы и отдельные всесильные феодалы борются за влияние на короля. Но Карл IX внезапно умирает, и это еще больше усложняет обстановку. Из Варшавы спешит герцог Анжуйский (под почти открытое улюлюканье поляков), дабы занять освободившийся престол. Брантом присутствует при всех церемониях, как траурных, так и коронационных. Он сопровождает двор в Лион, в Реймс, в Шамбор. А в это время в его земли в Перигоре вторгается армия гугенотов и проводит там повальные грабежи (июль — август 1575 г.). В королевской же семье происходит раскол: самый младший из Валуа — «Месье», герцог Алансонский, Анжуйский,

Брабант-ский, граф Фландрский, — короче говоря, Эркюль-Франсуа, любимый брат Маргариты, явно благоволивший к Брантому, стремительно покидает Париж и присоединяется к армии протестантов. Но католики во главе с Гизами еще достаточно сильны и одерживают ряд внушительных побед. Но тут Генрих Наваррский, соблюдавший лукавый нейтралитет, спешно покидает столицу (начало 1576 г.). В ответ на это Гизы создают Католическую лигу (8 июня); созванные вскоре Генеральные штаты в Блуа не приносят никакого результата: страна остается в водовороте гражданской войны. Все это время Брантом выполняет роль секретаря Екатерины Медичи, он повсюду следует за ней — и на переговоры со взбунтовавшимся сыном, и к ее законному супругу. В войне он участия уже не принимает, став завзятым придворным, конфидентом и советчиком королевы-матери и принцев крови. Лишь с королем отношения у него не заладились. Окруживший себя табуном хорошеньких пажей и молодых офицеров (их прозвали «миньонами»), по отношению к старым придворным Генрих III насторожен и подозрителен. Так, он отказывает Брантому в месте сенешаля Перигора, которое было ему обещано, смотрит на него косо и явно ему не доверяет.

Король Генрих как бы создает собственную партию, и в яростном противостоянии сталкиваются теперь три силы, три Генриха — Генрих III, Генрих де Гиз и Генрих Наваррский. Они борются каждый за свои интересы (которые редко совпадают), и католик-король не менее опасен лигерам, чем глава гугенотов.

А что все это время делает Брантом? Он опять в стороне. Он теряет одного за другим близких друзей: убиты Дю Гаст (которого он в своих писаниях называет господином Гуа), Бюсси д'Амбуаз, барон де Витто. В 1579 г. Брантом едет в Англию, а по возвращении удаляется в свои земли, разрывая последние нити, связывающие его с двором (впрочем, он туда еще вернется, но ненадолго). В Перигоре он принимается за строительство нового замка (старый замок Бурдейлей отошел к старшему брату Андре). Новый замок получает название Ришмон («Богатая гора»). Замок сохранился и ныне. Два перпендикулярных друг другу крыла в один, но очень высокий этаж, остроконечные крыши, покрытые традиционной местной (серой) черепицей. В точке схождения двух крыльев — квадратная мощная башня. Замок стоит на не очень большой возвышенности, но из его окон открывается прекрасный вид на лесистую долину Дронны, притока Дордони. Хотя сравнительно недалеко крупные города — Лимож, Ангулем, Обетер, Периге, — место уединенное. Ришмон окружает деревенская тишина, и небольшие деревушки, разбросанные там

и сям, из окон замка не видны, скрытые лесом, и не нарушают царящего здесь покоя.

Замок возводился медленно, но строился он не зря.

Брантом занимается семейными делами: в начале января 1582 г. умирает брат Андре, оставив очаровательную вдову и целый выводок детей. К Жаккетт де Монброн, в которую немного влюблен и сам Брантом, сватается его друг Филипп Строцци, но получает отказ. Глубоко опечаленный, он отправляется в рискованную экспедицию, где погибает. Еще одним другом стало меньше.

В 1583 г. Брантом снова делает попытку поступить на испанскую службу и снова терпит неудачу. Он пока в Перигоре, но внимательно следит за всем, что происходит в Париже. А там явно неспокойно. Потаенная любовь Брантома, Маргарита Валуа («королева Марго»), высылается из столицы за «дурное поведение» (август 1583 г.); умирает его покровитель, кому он посвятит «Галантных дам», Франциск Алансонский, герцог Анжуйский (10 июня 1584 г.); умирает столь боготворимый им Ронсар (25 декабря 1585 г.)… Можно и дальше перечислять смерти близких и убийства крупных политиков — герцогов Гизов (декабрь 1588 г.) и самого Генриха III (2 августа 1589 г.). Брантом почти не бывает при дворе и не участвует в торжествах по поводу воцарения Генриха IV. Последнего он не любил и за невнимание к Маргарите Валуа, которую Брантом боготворил, и за изменчивый, коварный характер. Для него династия Валуа кончилась, и вместе с этим — интерес к дальнейшим судьбам Франции.

В самом конце 1584 г. с Брантомом происходит на первый взгляд совершенно пустячное происшествие: он неловко упал с лошади и сильно разбился. Но кто тогда из дворян не ездил на лошади и кто с нее не сваливался? Но тут все оказалось серьезнее. Медицинского заключения о болезни Брантома у нас нет, но, так или иначе, ему пришлось провести в постели почти два года. Кончились «годы странствий», начались годы писательского труда и столь понятных у такого человека, как Брантом, «поисков утраченного времени». Случайно оступившаяся лошадь (речь-то шла о каких-то сантиметрах!), перечеркнув карьеру военного и царедворца, подарила миру замечательного писателя. Умер Брантом 5 июля 1614 г. в своем замке.

Лежа в постели, Брантом начинает диктовать секретарям свои мемуары. Но положило ли им начало его роковое падение? Вряд ли. Возможно, он и прежде вел какие-то заметки, которые теперь были пущены в ход. К тому же Брантом всегда очень много

читал. Мы знаем, что у него была по тем временам неплохая библиотека и круг его чтения был весьма обширен. Но и специфичен. Кого же он в первую очередь читал? Современных ему поэтов, конечно, — Ронсара, Баифа, Белло, Депорта, д'Обинье. Их тогда читали все, по крайней мере в свете (скоро появятся у молодых дам и альбомы, куда они начнут переписывать полюбившиеся им стишки). Затем идут рассказчики во главе с Рабле. Не приходится удивляться, что он знал чуть ли не наизусть «Гептамерон». Безусловно, хорошо знал Боккаччо — его книгу новелл в переводе Ле Масона, а также «Филоколо» (перевод А. Севена; 1542), «Фьямметту» (перевод Габриэля Шаппюи; 1535), «О несчастиях знаменитых людей» (перевод Лорана де Премьефе; 1483) и т. д. Других итальянских новеллистов он знал хуже, знал только тех, что были переведены (Банделло, Фиренцуолу). Видимо, многократно перечитывал «Неистового Орландо» Ариосто, тоже переведенного. Вот, пожалуй, и все из новой «изящной словесности». Что касается старой, то он, бесспорно, читал Гомера, Горация, Вергилия, Овидия, Марциала, Ювенала и, возможно, кое-кого еще.

Но самое пристальное внимание, незатухающий интерес вызывали у него историки. На первом месте, конечно, Плутарх в знаменитом переводе Жака Амио (1513–1593), который, между прочим, издают и поныне. За Плутархом следует Светоний с его «Жизнью двенадцати Цезарей», Тит Ливий, Саллюстий, Плиний Старший и др. Из итальянских историков и политиков Брантом знал Макиавелли и Гвиччардини. Но вот кто был им широко использован, особенно в «Галантных дамах», так это Аретино, своими непристойностями, конечно, перещеголявший нашего автора. Аретино подсказал Брантому немало сюжетов, рассуждений и просто скабрезностей, вот почему в книге так много ссылок на итальянского автора, иногда не сразу и выявляемых. Но знаменитых флорентийских поэтов Данте и Петрарку, которых в XVI в. боготворила вся Европа, считая их непревзойденными певцами возвышенной любви, Брантом в «Галантных дамах» не упомянул ни разу. Или это только случайность?

Как видим, круг чтения довольно обширный, хотя и не очень систематический. Однако для создания книги его хватило. Некоторые пробелы он чувствовал сам, но легко от этого отмахивался. «Должно быть, — писал Брантом, — меня могут упрекнуть, что я упустил много остроумных речений и историй, которые бы украсили и облагородили мое повествование. Охотно верю, но где тогда взять силы дойти до последней точки в писании». В большой мере ему помогали собственные

воспоминания и рассказы очевидцев. И наверняка — какие-то записи, заметки, что-то вроде дневников. Они, безусловно, были, такие материалы, ибо, как установили ученые, Брантом крайне редко ошибался — в датах, в именах участников событий, в самом их ходе.

Брантом — писатель особый. Было бы ошибкой считать его просто мемуаристом, хотя элемент воспоминания о былом в его книгах присутствует повсеместно. Идя вслед за Плутархом, Светонием и Боккаччо, он стал во французской литературе создателем жанра исторического портрета, и у него, естественно, были имитаторы и последователи.

В этом жанре он создал три объемистые книги.

Первая из них — это «Жизнеописания знаменитых иностранных полководцев». Тут мы находим портреты императора Карла V, императора Максимилиана, герцога Альбы, Фердинанда Арагонского, испанского короля Филиппа, дона Карлоса, дона Хуана Австрийского, графа Эгмонта, принца Оранского, Цезаря Борджиа, Филиппа Строцци и т. д. Надо отметить, что многих из них Брантом знал лично, так или иначе сталкивался, был свидетелем их политических и военных дней и дел. В каком-то смысле здесь перед нами реальные мемуары, портреты, составленные по личным впечатлениям.

Второй толстый том — «Жизнеописания знаменитых французских полководцев». Начинает он с королей — Карла VIII, Людовика XI, Людовика XII, Франциска I, Генриха II. Затем переходит к персонажам помельче — это коннетабль Анн де Монморанси, Блез де Монлюк, де Бриссак, герцог Немурский, адмирал де Шатийон, принц Конде, Антуан де Бурбон, герцог де Гиз и т. д. Показательно, что кончает он эту книгу портретом Карла IX (начав, как мы помним, с VIII). Что это — соблюдение хронологии или выражение личного взгляда? Не найдем мы здесь ни Генриха III, ни Генриха Наваррского (Генриха IV), хотя, например, последний все-таки был незаурядным полководцем. Это не пропуск, это — концепция. Последний Валуа, по мысли Брантома, был так ничтожен и так неудачлив как воитель, что о нем не стоило писать. А с падением династии Валуа для Брантома закончилась история, по крайней мере его интересующая. Многое в этой книге, без сомнения, написано по личным впечатлениям, но также многое — по чужим рассказам или каким-то иным материалам. В четырех первых портретах перед нами уже не Брантом-мемуарист, а Брантом-историк.

Третья книга — это «Жизнеописания знаменитых женщин». Здесь Брантом пишет об Анне Бретонской (которую знать не мог), о Екатерине Медичи (которую знал очень хорошо), о Марии

Стюарт, испанской королеве Елизавете Французской, наконец, о своей любимице «королеве Франции и Наварры Маргарите, единственном оставшемся в живых представителе досточтимого Французского Дома» (в смысле «династии»). Есть в этой книге краткий «обзор» фрейлин и придворных дам его эпохи и неожиданный исторический экскурс — жизнеописания двух неаполитанских королев, Жанны I (1326–1382) и Жанны II (1371–1435). Здесь писатель попробовал свое перо историка на совсем постороннем ему материале, воспользовавшись, вне всякого сомнения, книгой Пандольфо Колленуччо «История Неаполя».

Еще Брантом написал «Рассуждение о дуэлях», набросок биографии своего отца, заметки и размышления об Испании, еще несколько произведений.

Главный его труд, принесший ему мировую славу, — это «Галантные дамы». Его иногда считают второй частью «Жизнеописаний знаменитых женщин». Но теперь тональность — совсем другая. Если в «Жизнеописаниях…» все и вся были непременно названы своими именами, то в «Галантных дамах» имен почти нет, хотя и здесь фигурируют высокородные личности. Они прежде всего далеко не всегда «знаменитые», и даже напротив. О них написано столь откровенно и настолько без соблюдения приличий, что называть имена было бы и недостойно, и опасно. Брантом предвидит обвинения в нескромности и поэтому не раз на протяжении книги оправдывается: «Я говорю, не называя имен и сохраняя покров тайны. Притом их подлинные лица я так хорошо укрываю, что отгадать невозможно, а значит, им никакого позора, ни подозрений от моих слов не воспоследует». Или: «Я же поставил себе за правило никого, даже ненароком, не опозорить; в чем, в чем, а в злоречии мою книгу упрекать не придется». Но тут Брантом явно лукавил: пересказываемые им забавные или просто скабрезные историйки и гулявшие по двору и поэтому всем хорошо известные сплетни были еще никем не забыты, и современники Брантома прекрасно знали, о ком идет речь. Ученые, почти всегда безошибочно, установили, кто стоит за формулами «одна прекрасная и достойная дама» или «некий высокородный принц». Теперь все это порядком забылось, вот почему в наши дни книга нуждается в пространном комментарии (заметим попутно, что многие, о ком рассказывает Брантом, фигурируют уже под своими настоящими именами в хорошо нам знакомых романах Мериме, Дюма, Бальзака, Понсон дю Терайля, Стефана Цвейга, Генриха Манна и других многочисленнейших, но менее талантливых авторов. И все они, бесспорно, пользовались книгами Брантома).

«Галантные дамы» — это не беспорядочный поток воспоминаний. Напротив, воспоминания являются лишь иллюстрирующим примером (и иллюстрирующим блестяще) положений и выводов, вытекающих из наблюдений и рассуждений Брантома. Внешне книга построена как научный трактат, но за этим сквозит вполне раблезианская ирония. Достаточно вчитаться в заголовки семи «рассуждений», составляющих книгу, чтобы понять: писатель старается классифицировать и систематизировать, но делает это насмешливо и беззаботно.

Эта книга-трактат-мемуары прежде всего о любви. Брантом изображает любовь такой, какой она почиталась в его кругу, какой ее было принято изображать и какой ее хотели видеть, да и видели, его современники. При чтении книги, особенно первых ее «рассуждений», постепенно вырисовывается атмосфера острого сексуального напряжения, которое электризует общество, заставляет его жить только любовью. Интересно брантомовское пояснение: «…случаи, здесь описанные, — не городские и не деревенские байки из жизни подлого и низкого сословия; все они относятся к знатным и достойным особам, ибо я положил себе за правило описывать любовные похождения лишь высокородных персон». Действительно, двор, широкие круги дворянства в изображении Брантома предаются любви постоянно и отчасти разнузданно, и далеко не всегда перед нами разворачиваются трогательные или же эстетически значимые «галантные» картины. В рассказанном Брантомом немало отталкивающих подробностей, немало попросту скотского в поведении его персонажей. В этом случае, думается, писатель стремится быть предельно точным, кое-где даже перегибая палку. Мы не можем сказать, что нарисованная им картина любовных отношений (и сношений) нарочито гротескна, а потому не вполне верна. Писатель просто хочет не упустить ничего, о чем он был наслышан или что видел сам. Но было бы ошибкой считать, что он ко всем видам, проявлениям, поворотам и приемам любви одинаково толерантен.

Брантом недаром восхищался Ронсаром, в наследии которого воспевание любви, ее наслаждений и радостей (но и горестей тоже), бесспорно, занимает центральное место. Как и у его соратников и последователей — Баифа, Белло, Депорта, Маньи, Жамена и др. Вся французская поэзия середины и особенно второй половины века — поэзия любовная, хотя поэты касались нередко и иных тем. Создатели такой лирики бывали подчас лукаво-откровенны или не очень скромны в описании прелестей своей возлюбленной, но ведущим было все-таки такое понимание

и ощущение этого чувства, которое не нарушает ни этических, ни тем более эстетических норм. Для Брантома подлинная любовь прекрасна, а коль скоро она такова, то ее необузданность, ее изобретательные приемы не могут вызвать осуждения. Послушаем-ка его: «все почести мира не стоят любви и милостей прекрасной и знатной особы, твоей возлюбленной и повелительницы»; или: «ничто в мире не сравнимо с красивой женщиной; либо пышно разодетой, либо кокетливо обнаженной и возлежащей на ложе» и еще: «в безобразном коренятся великие несчастья и неудовольствия… красоту же… отличает счастье и радость».

Безобразному в любви Брантом отводит немало места. Он прекрасно понимает, насколько грубое вожделение отличается от подлинной любовной страсти. Порой его замечания циничны, но даже в таком из них, которое мы сейчас приведем, нельзя не заметить верного наблюдения, что из простого инстинкта размножения, вложенного в нас Богом или Природой, из потребности в мимолетном сексуальном наслаждении, перечеркивая все это, рождается неодолимое и всепобеждающее начало. Брантом пишет: «Вот что значит любовный жар! Ради какого-то жалкого кусочка плоти можно пожертвовать и королевством, и властью над половиной мира».

Да, Брантом подробно описывает этот «любовный жар», нередко приобретающий антиэстетический, отталкивающий характер, порождающий и инцест, и однополую любовь. Но посмотрим, как от «рассуждения» к «рассуждению» меняется тональность повествования, изменяются моральные критерии и сама эстетика (которая на первых порах все оправдывала), как эстетика постепенно и не очень ощутимо, но совершенно явно начинает подменяться этикой, подчиняться ей, с нею сливаться.

Действительно, в поздних «рассуждениях» мы уже почти не найдем примеров неслыханного разврата, распутства ради распутства, наслаждения ради наслаждения. На смену примерам женской хитрости (восходящим еще к средневековой сатирической традиции) приходят совсем иные образцы.

Поэтому-то в первых «рассуждениях» больше картин, эпизодов, примеров «вообще» (хотя, повторим, и здесь многие персонажи идентифицируются легко), в то время как в поздних на первый план выдвигаются иные примеры добропорядочности и благородства, верности и самопожертвования. Вот почему рассказываемые истории становятся более длинными, а их героини уже без стеснения называются своим именем. Мы не можем утверждать, что об изобретательном распутстве Брантом всегда пишет с нескрываемой заинтересованностью и

восхищением. Он находит немало и обратных примеров. И здесь отметим мимоходом его своеобразный «эротический патриотизм»: по мнению Брантома, нравы, скажем, в Испании или Италии все-таки грубее и распутнее, чем во Франции.

Можно подумать, что Брантом придерживается сенсуалистских и гедонистических идей («…наслаждение — вот главное в любви и для мужчин, и для женщин», — пишет он. Или в другом месте: «…когда добиваешься нежной благосклонности, всякое предприятие кажется нетрудным, битва — простым турниром, а гибель — победой»). Пора отбросить или хотя бы самым существенным образом пересмотреть оценку эпохи Возрождения как поры безудержной и откровенной «раскрепощенной плоти». И лирика эпохи, и даже книга Брантома говорят о том, что все было гораздо сложнее, многообразнее и глубже. Мы не знаем, какова была личная жизнь Брантома, его интимная жизнь. О некоторых его кратковременных любовных связях, о простом придворном волокитстве за фрейлинами кое-что известно. Но вряд ли он ждал вполне определенной благосклонности и от своей невестки Жаккетт де Монброн, и тем более от «королевы Марго». Ему, бесспорно, были ведомы и восхищение женщиной, и обоготворение ее (что позже рационалист Стендаль назовет «кристаллизацией»). Он знал — и отчасти описал — и такое состояние души, когда «любовный жар» затухает, когда вожделение уступает место иному чувству. Не будем искать его названия; к тому же и вожделение очень часто органически связано с тем, другим чувством, которому мы не решаемся подобрать название и которое в обиходе называют — упрощенно и обедненно — «влюбленностью» или «любовью».

Итак, позиция Брантома сложнее и глубже, что не могло не отразиться на самой повествовательной ткани книги.

Но сперва присмотримся к ее названию. Слово «дамы» однозначно показывает, из какой среды выбирает Брантом своих персонажей. Сложнее со словом «галантные». Зафиксированное в текстах XIV в., оно обозначало подвижность, непоседливость и т. д. У Рабле оно уже значит «предприимчивость, находчивость, хитрость», недаром это слово приложено к Брату Жану. Но постепенно к рубежу столетий, то есть тогда, когда писал Брантом, слово начинает приобретать сразу несколько новых значений, а для нашего автора, видимо, одно. Слово «галантный» означает теперь и благовоспитанность, и изящество, и обходительность — и все это так или иначе в сфере любовных отношений (уместно обратить внимание на то, что это слово употреблено уже в первой строке «Принцессы Клевской» г-жи де Лафайет).

Свободное течение рассуждений о любви не могло не быть насыщено обильнейшим числом примеров. Но затруднительно сказать, придерживался ли Брантом дедуктивного или индуктивного метода, то есть к сложившимся у него выводам он подбирал эффектные примеры или же частные случаи приводили его к обобщению, к выводу общезначимому.

Однако в последних «рассуждениях», особенно в самом последнем, почти нет морализаторских умозаключений. Им на смену приходят просто «рассказы из жизни», которые совсем не обязательно иллюстрируют тему, вынесенную в заголовок. Иногда такие рассказы занимают не одну страницу и в этом отношении перекликаются с брантомовскими «Жизнеописаниями знаменитых женщин».

Уже в «Рассуждении четвертом» мы вдруг сталкиваемся с очень длинным (чуть не десять страниц) рассказом о судьбе и душевных качествах Марии Арагонской, жены маркиза дель Васто. Уже здесь Брантом возвращается к жанру исторического портрета. Новеллистический характер носит длинная история любовной связи брата писателя с г-жой де Ла Рош. В еще большей мере новеллистична и анекдотична история о Франциске I и брошенной им г-же де Ша-тобриан. Подобных примеров могло бы быть больше, но перейдем к другой особенности «Галантных дам». В этой книге Брантом нередко обращается к своим предшественникам и ссылается или даже кратко пересказывает новеллы

Боккаччо, Банделло, Маргариты Наваррской. К творчеству последней писатель, естественно, обращается особенно часто, причем в конце «Рассуждения первого» мы находим подробный анализ-пересказ неизвестной нам новеллы Маргариты.

Как уже отмечалось, степень эротизма от «рассуждения» к «рассуждению» снижается. На смену любовным сценам приходят рассказы о смелости, страстности и силе духа женщин (например, история г-жи де Немур), а на смену «галантным» дамам — рассказы о женщинах славных, знаменитых, замечательных.

И вот что симптоматично: когда речь идет о легкомысленном флирте, забавных любовных причудах и затеях, тон повествования весел, стремителен и, как сказали бы мы сейчас, фриволен, когда же Брантом начинает повествовать о чувстве сильном, сталкивающемся со всяческими препятствиями, подчас неодолимыми, то обнаруживаем, насколько изменилась тональность книги — в ней усиливаются трагические нотки, ибо развязки многих рассказываемых Брантомом историй кровавы и жестоки (как у его современника Франсуа де Россе): мужья, не вынеся позора измены, собственноручно убивают неверных жен, а

слишком настойчивые любовники и даже просто назойливые поклонники удостаиваются яда или удара кинжалом.

«Галантные дамы» окажутся книгой трагической, если представить себе Брантома, удаленного от двора, немощного, живущего в деревенской глуши. Это хорошо почувствовал Мериме, написав: «Достигнув зрелости, Брантом начал замечать, что без особой пользы провел лучшие годы и ничего не сделал для своего возвышения. Довольствуясь видимостью, он пренебрег реальностью. Он страстно домогался дружбы великих мира сего, но слишком явно показывал им, что его преданность можно купить ценою улыбки и добрых слов. Он делал вид, будто пренебрегает почестями, и его поймали на слове. Он видел, однако, что его прежние сотоварищи заняли высокие посты, стали важными сановниками, а на него, всеобщего любимца, по-прежнему смотрели как на человека незначительного. После долголетних успехов у дам и множества любовных похождений он остался одиноким в возрасте, когда уже трудно связать себя законными узами и почти смешно искать легких побед»[5]. Далее Мериме отмечает, что Брантом «писал лишь для немногих, хорошо осведомленных лиц и хотел освежить эти приключения в их памяти, но отнюдь не намеревался содействовать распространению скандальных слухов»[6]. Вот тут тонкий и умный Мериме ошибается: Брантом наполнил свою книгу множеством интереснейших сведений, но писал он — особенно «Галантных дам» — прежде всего для себя, стараясь вновь пережить — уже за письменным столом — те сердечные волнения и наслаждения плоти, которые он испытал в молодости, но еще вернее — которые он мог бы, но не удосужился, не сумел испытать.

А. МИХАЙЛОВ

ГАЛАНТНЫЕ ДАМЫ

Господину герцогу Алансонскому и Брабантскому, графу Фландрскому, сыну и брату наших королей

Монсеньёр,

Памятуя о том, как часто Вы оказывали мне при дворе честь, удостаивая доверительными беседами, полными метких острот и занятных побасенок, всегда столь уместных в Ваших устах, словно ум Ваш, широкий, изощренный и скорый на выдумку, мгновенно рождал их к случаю, облекая затем в блестящую форму, я принялся за писание сих рассуждений, в меру моего умения и усердия, дабы хоть некоторые из них, придясь Вам по душе, позволили приятно провести время, напоминая о скромном придворном, коего отметили Вы своим вниманием.

Итак, Вам посвящаю я, Монсеньёр, сию книгу, с нижайшей просьбою освятить ее Вашим именем и титулом в ожидании того, когда я завершу более серьезные труды. Я почти уже докончил один из них, посвященный жизнеописанию шести величайших принцев и воинов, коих знает ныне христианский мир, а именно: брата Вашего, короля Генриха III, Вашего Высочества, зятя Вашего, короля Наваррского, Монсеньёра де Гиза, Монсеньёра дю Мэна и Монсеньёра принца Пармского; там перечисляю я ваши высокие достоинства, заслуги, подвиги и победы, и пусть судят мой труд те, кто превосходит меня в писательском искусстве.

А пока что, Монсеньёр, я молю Господа приумножить величие, процветание и благорасположение Вашего Высочества, коего я навечно являюсь покорнейшим, нижайшим и преданнейшим слугою и подданным по имени

Де Бурдей

Я посвятил сию вторую «Книгу о Женщинах» вышеназванному мною сеньёру Алансонскому еще при жизни его, памятуя о его любви и милостивом ко мне расположении, доверительных беседах и внимании, с коим выслушивал он мои забавные истории; ныне же, когда его священные благородные останки покоятся в королевской усыпальнице, я не намерен изменять свое посвящение и отнесу его, увы, к царственному праху и благословенной душе, чьи высокие достоинства, подвигнувшие его при жизни на славные дела, восхваляю вместе с добродетелями других великих принцев и военачальников, к числу коих он принадлежал, даром что почил в бозе столь молодым.

Засим довольно рассуждать о вещах серьезных, пора обратиться к веселым.

РАССУЖДЕНИЕ ПЕРВОЕ:
О дамах, что занимаются любовью, и об их рогатых мужьях

Даром что именно женщины придумали супружескую измену и с тех пор украшают мужчин рогами, я положил непременно поместить сие рассуждение в книгу дам, хотя говорить намерен равно и о женщинах и о мужчинах. Отлично разумею, что подвиг себя на великий и тяжкий труд, коему не суждено узнать завершения, ибо всего запаса бумаги Парижской Счетной палаты недостало бы и на половину историй о дамах и кавалерах. И однако, я запишу все, что знаю и смогу, а когда перо выпадет из моих ослабевших рук, уступлю его дьяволу либо какому-нибудь доброму приятелю, который и продолжит мои писания, снисходительно извинив неразбериху, в них царящую; да и откуда взяться порядку, ежели кавалеров и дам, любви приверженных, развелось столь великое множество, а дела их столь многообразны и запутанны, что, по моему разумению, даже самому бывалому военачальнику не разобраться в них и не выстроить должным образом по ранжиру.

Итак, следуя единственно моей фантазии и прихоти, стану писать как бог на душу положит, начавши тотчас, безотлагательно, в месяце апреле, самом щедром и благоположенном для размножения рогачей, и именно их, ибо для всякой другой живности хороши и все остальные месяцы и времена года.

Следует сказать, что среди рогачей встречается великое множество всяческих видов, однако худшие из них, коих дамы боятся пуще всего на свете, и не без причины, — это те безумные, опасные, злобные, хитрые, жестокие, безжалостные и мрачные мужья, которые бьют, мучают и убивают жен — одни за дело, другие за безделицу, — ибо малейшее подозрение ввергает их в бешеную ярость; с такими лучше вовсе не ссориться ни женам их, ни жениным кавалерам. Однако же знавал я некоторых дам и воздыхателей, коих мужнино бешенство нимало не заботило, поскольку сами они были под стать, — особливо дамы, отличавшиеся такою дерзостью, что коли не хватало ее кавалеру, он вверялся своей защитнице, рассуждая при этом так: она, мол, ввергла его в это дело, опасное и двусмысленное, кому же, как не ей, выказывать теперь храбрость и великодушие. Но знавал я и других дам, не наделенных от природы ни отважным сердцем, ни благородным нравом, а лишь знай себе услаждавшихся низкою

похотью; недаром же говорят: «Низкая душа — шлюхе хороша!»

Знавал я одну благородную даму из знатного рода, которая пользовалась всяким удобным случаем, дабы насладиться любовью со своим милым дружком; как-то он поопасался, что муж, находившийся невдалеке, застанет их врасплох; тотчас она с презрением бросила трусливого любовника, ибо знайте: коли влюбленной женщине приходит желание и пылкая нужда возлечь с другом, а тот, боясь всяческих препятствий, не сможет либо не захочет ее ублаготворить, кончено дело — она возненавидит его хуже злейшего врага.

Надобно восхвалить эту даму за ее бесстрашие, да и других, ей подобных, также, ибо они ни перед чем не остановятся, лишь бы усладиться любовью, хотя притом подвергаются величайшим опасностям, куда большим, нежели какой-нибудь солдат в бою или матрос в бурном море.

Одна испанская дама, будучи приведена воздыхателем своим в королевский дворец, проходила с ним вместе мимо затененной укромной ниши; кавалер, преисполненный почтения ко всем известной испанской добродетели, промолвил: «Senora, buen lugar, si no fuera vuessa merced» (Вот удобный уголок, коли на вашем месте была бы другая). На что дама, ничтоже сумняшеся, отвечала: «Si, buen lugar, si no fuera vuessa merced» (Да, уголок удобный, коли на вашем месте был бы другой). Тем самым укорила она кавалера в робости, помешавшей ему взять у дамы в столь подходящем месте то, что он хотел, а она горячо желала отдать ему; другой, более дерзкий, не упустил бы столь благоприятного случая; вот отчего вся любовь у дамы прошла и она решительно отвергла незадачливого своего друга.

Мне довелось услышать историю об одной даме, весьма пригожей и досточтимой, которая дала согласие своему другу разделить с ним ложе, но только при условии, что он ее пальцем не коснется и не принудит к объятиям, каковое желание тот и исполнил, промаявшись всю ночь напролет жестоким соблазном; дама осталась столь довольна сей покорностью, что в скором времени одарила его любовным наслаждением, сказавши, что хотела прежде испытать, крепка ли его любовь и будет ли он послушен ее приказам. И за это возлюбила она своего друга еще горячее прежнего и дала ему полную свободу делать с нею все, что пожелается, ибо он доказал ей свою истинную и преданную любовь, а что может быть вернее и благороднее?!

Одни похвалят эдакую покорность или робость (называйте как хотите), другие нет: сие зависит от нрава и расположения духа той или иной стороны.

Знавал я одну весьма высокородную даму, что согласилась

провести ночь со своим другом, который, для ускорения дела, явился к ней в одной рубашке, дабы немедля приступить к главному; стояла, однако, холодная зима, и любовник наш до того продрог, что, ложась в постель, мечтал лишь об одном — как бы согреться, и ни на что путное оказался не годен; дама люто возненавидела его и прогнала от себя прочь.

Другая дама сговаривалась с неким дворянином о любовном свидании, и тот в разговоре похвастался ей, что за ночь одолеет не менее шести перегонов — настолько, мол, его взбодрила ее красота. «Уж не хвастаете ли вы понапрасну? — смеялась дама. — Поглядим-ка, сколько вы наработаете за одну ночь!» Кавалера насмешки не смутили, и он не преминул явиться на свидание, однако же, к его несчастью, в постели напали на него такие судороги и робость, что он и одного перегона не осилил; дама, видя такое бедствие, сказала: «А не заняться ли вам чем-нибудь иным? Освободите-ка мою постель, здесь вам не гостиница, ишь развалился да полеживает, для того ли вас сюда звали? Убирайтесь прочь!» И выгнала кавалера из дому, а потом долго еще насмехалась над ним, ненавидя хуже чумного.

Конечно, дворянин этот был бы куда счастливее, походи он здоровьем и сложением на протонотария Баро, главного архивариуса и капеллана короля Франциска; этот самый Баро, ложась с какою-нибудь из придворных дам, одолевал не менее дюжины перегонов, да еще поутру извинялся пред нею за слабость, говоря так: «Простите великодушно мою немощь, мадам, лучше не могу, ибо принял вчера лекарство». С тех пор я частенько с ним виделся; его прозвали капитаном Баро или Гасконцем; он сложил с себя духовное звание; историю же эту сам рассказывал мне, приводя имена всех своих любовниц.

По достижении пожилого возраста мужская сила стала ему изменять; он обеднел, хотя во время оное заработал немало благ с помощью своего тарана, теперь же спустил все свое имущество и принужден был заняться перегонкою спиртов и эссенций, сетуя притом на злосчастную судьбу: «Ах, кабы я мог, словно в юные года, столь же удачно перегонять сперматическую эссенцию, дела бы мои пошли на лад и я бы благоденствовал, как прежде!»

Во времена Лиги один благородный, храбрый и отважный дворянин покинул родные места, где командовал крепостью, и отправился принять участие в сражении; на обратном пути он никак не успевал засветло в свой гарнизон, и пришлось ему заехать к знакомой даме, весьма пригожей, богатой и знатной вдове; хозяйка пригласила его заночевать у нее в доме, отчего он, будучи сильно утомлен, не отказался. Попотчевав гостя вкусным ужином, дама проводила его в свою спальню и предложила

собственную кровать, поскольку, боясь превратностей войны, велела вынести из всех других комнат и припрятать в укромном месте красивую и весьма недешевую свою мебель. Сама же хозяйка удалилась к себе в туалетную, где стояла у ней узенькая кушетка для дневного отдыха.

Дворянин никак не соглашался лишить даму ее спальни и постели, однако же в конце концов принужден был подчиниться уговорам хозяйки; улегшись, он тотчас забылся глубоким сном и не слышал, как дама вошла в спальню и преспокойно улеглась к нему под бок; так и проспал он всю ночь до самой зари, а там, продрав глаза, узрел подле себя даму, которая, поднявшись с ложа, обратилась к нему со следующими словами: «Как видите, вы нынче почивали не в одиночестве, ибо, уступив вам свою постель, я все же оставила за собою половину ее. Прощайте, сударь, вы упустили прекрасный случай, который более вам не представится!»

Дворянин, проклиная свою незадачливость (а от такого невезения и впрямь хоть повесься!), попытался было удержать и улестить даму, но куда там! — разгневавшись на то, что он не ублаготворил ее, как ей хотелось (а хотелось ей не одной схватки, недаром же говорится: «первая схватка — ни кисло, ни сладко!») и тогда, когда хотелось, а именно ночью, она так и не простила его; я знавал дам, которые поступили бы точно так же, но знаком и с другими, например с одной весьма пригожей и добропорядочной дамою, которая, позволив своему сердечному дружку возлечь с нею, выдержала три смелых его наскока; однако же, когда он вздумал продолжать, дабы закрепить начатое, решительно повелела ему встать с постели и оставить ее в покое. Он же, нимало не утомясь от троекратных объятий, опять предложил ей продлить любовную схватку, обещая невиданные подвига в продолжение всей ночи до самого утра и клянясь, что от столь пустячного зачина сил у него ничуть не убавилось. Но дама на это возразила: «Будьте довольны тем, что уже показали мне свою прыть, и впрямь недюжинную; обещаю вам получше использовать ее в другое время и в другом месте; нынче же увлекаться не след: не дай бог, муж мой узнает об этом, тогда я пропала. Итак, распрощаемся до более подходящего и надежного случая, когда я смогу без боязни встретиться с вами не в мелкой стычке, но в открытом бою».

Многие дамы не стали бы рассуждать подобным образом, а, опьяненные наслаждением, задержали бы неприятеля в своем стане, коли уж он попался в плен, понудив сражаться с ними до самого рассвета.

Та досточтимая дама, которую описывал я ранее, отличалась

столь пылким и необузданным нравом, что, когда ее охватывал любовный пыл, забывала про страх и боязнь пред мужем, хотя тот был скор на расправу и в гневе страшен; невзирая на это, ни она, ни любовник ее ни разу не попали впросак, ибо всегда заботились о надежной охране, каковою дамы пренебрегать отнюдь не должны, коли не хотят беды; так оно случилось недавно с одним храбрым и благородным дворянином, погибшим от руки мужа своей любовницы, когда он пришел к ней в дом, где ждала его засада; муж силой принудил жену вызвать храбреца на это свидание; заботься тот больше о себе самом, он поостерегся бы и не пал жертвою предательского удара, найдя столь прискорбную смерть. Вот пример того, как опасно доверяться влюбленным женщинам, которые под угрозой мужниной расправы готовы по их приказу сыграть любую игру, как вышеописанная дама, что спасла свою жизнь, друга же погубила.

Бывают мужья, которые убивают вместе и жену и любовника ее; так, слышал я историю об одной весьма знатной красавице, чей муж оказался настолько ревнив, что из одной только этой ревности, без всяких доказательств, отправил жену свою на тот свет, подсыпав ей яду, а перед тем убил и друга ее, благородного человека, глумливо заявивши, что жертвоприношение выйдет прекраснее и занятнее, коли сперва убить быка, а за ним корову.

Сей принц обошелся более жестоко со своей супругою, нежели впоследствии с одною из своих дочерей, которую выдал замуж за знатного вельможу — правда, ниже себя родом, ибо сам он принадлежал к королевской семье.

Эта безрассудная женщина забеременела не от мужа, где-то в ту пору воевавшего, а от любовника; разрешившись от бремени красивым мальчиком, она в отчаянии обратилась за помощью не к кому-нибудь, а к отцу, послав к нему одного надежного дворянина, изложившего принцу все дело. Отец тут же запретил, под страхом смерти, дочкиному мужу посягать на жизнь жены, иначе пусть, мол, пеняет на себя — несчастнее его не будет во всем христианском мире, уж он-то об этом позаботится. Дочери же принц прислал галеру с эскортом для охраны младенца и кормилицы, которым предоставил большой удобный дом и назначил щедрое содержание, приказав растить и воспитывать ребенка самым наилучшим образом. Но, увы, по смерти принца зять его все-таки уморил свою жену.

Слыхивал я и о другом таком муже, который повелел убить любовника прямо на глазах жены, желая ввергнуть ее в такую печаль, чтобы она умерла с горя, видя гибель того, кого еще недавно горячо любила и сжимала в объятиях.

Один всем известный дворянин убил жену свою прямо при

дворе после того, как целых пятнадцать лет предоставлял ей полную свободу, будучи притом хорошо осведомлен обо всех похождениях, в коих не раз открыто уличал и упрекал ее. Однако ж в одно прекрасное утро взыграл в нем дух (поговаривают, будто не обошлось без наущения высокого его повелителя), и он, явившись в спальню к жене, переспав с нею, посмеявшись и пошутив, внезапно нанес ей четыре или пять ударов кинжалом и приказал слуге своему прикончить несчастную женщину; затем велел уложить ее на носилки и на глазах у всех доставил в дом родителей для похорон. Сам же вернулся в королевский дворец как ни в чем не бывало и даже весело похваляясь сим подвигом. Он был бы не прочь расправиться тем же манером и с жениными любовниками, но тут ему пришлось отступиться; у супруги водилось их столько, что из этих мужчин составлялась целая маленькая армия, и ему жизни бы не хватило всех их перебить.

Слышал я, что один бравый и отважный военачальник, заподозрив в неверности свою жену, взятую из весьма добропорядочного дома, не мешкая явился к ней и задушил собственноручно ее же белым шарфом, вслед за чем устроил самые пышные похороны, где и показался с видом искренней скорби, облаченным в глубокий траур, который носил еще долгое время спустя; вот какая честь выпала бедняжке, удостоенной столь торжественной церемонии. И тем же манером поступил он с наперсницей своей жены, пособлявшей ей в любовных делишках. От супруги у него, однако ж, осталось потомство, а именно сын — наихрабрейший и достойнейший юноша, что достиг, благодаря заслугам своим пред отчизною и преданности королю, высоких должностей и отличий.

Слыхивал я еще об одном вельможе — этот жил в Италии, — он также умертвил свою жену, но упустил любовника ее, и тот успел удрать во Францию; говорили, правда, что он прикончил ее не столько за любовные прегрешения (ибо давно уже знал, чем она занимается, да она особо и не таилась), сколько желая избавиться, а после жениться на некоей даме, в которую был влюблен.

Вот отчего весьма опасно влезать в те ворота, у коих есть вооруженные защитники, хотя ворота эти при первом же наскоке радушно отворяются пред каждым пришлым; знавал я одни такие, где, сторожи не сторожи, все одно впустят любого. Жил-был однажды дворянин отважный и бравый, но, на беду, вздумавший похваляться подвигами своими по женской части; малое время спустя его убили втихую какие-то неизвестные злодеи в засаде, дама же его осталась в живых и долго еще пребывала в страхе и трепете пред мужем, тем паче что забрюхатела от любовника и

опасалась, как бы после родов (которые хотела бы оттянуть на целый век!) с нею не поступили тем же манером; но муж оказался снисходительным, выказал милосердие, хотя шпагою владел преотлично, и простил неверной супруге, не попрекнув злым словом, благо что напугал до смерти всех бывших дружков ее, за коих ответил один лишь этот, последний. Вот отчего дама, растроганная добротою и терпимостью мужа, никогда уже не давала ему повода к подозрениям и с тех пор вела себя как нельзя более добродетельно и примерно.

Совсем иная участь постигла недавно в Неаполитанском королевстве донну Марию д'Авалос, одну из прекраснейших принцесс страны, бывшую замужем за принцем Венуесским; она влюбилась в графа Андриано, одного из красивейших кавалеров Италии, и, по взаимному согласию, сошлась с ним; муж, обнаружив эту связь (я мог бы рассказать каким образом, но не хочу затягивать историю) и застав любовников в постели, приказал слугам своим умертвить их; назавтра все увидели красавицу и ее прекрасного возлюбленного распростертыми на мостовой у дверей дома; оба были мертвы и уже остыли; собравшаяся толпа жалела и оплакивала злосчастных влюбленных.

Родители означенной убитой дамы горько скорбели о ней и так негодовали, что вознамерились отомстить за свершенное злодейство согласно обычаю той страны; однако, зная, что покончили с их дочерью безродные наемные слуги, недостойные обагрить руки столь благородной и прекрасной кровью, решили преследовать за сие преступление мужа либо по закону, либо иначе, поскольку он зарезал ее не собственноручно и вменить ему в вину было нечего.

Вот, по моему разумению, нелепый и странный закон, оценить который предоставляю я нашим опытнейшим юристам-законоведам, дабы они разобрали, какое преступление следует считать более тяжким — убийство горячо любимой жены своею рукою или же рукою подлого наемника? По этой части я много чего мог бы сказать, однако лучше воздержусь от собственных суждений, полагая их слишком легковесными в сравнении с выводами сих ученейших мужей.

Рассказывали мне, будто вице-король, прознав о замыслах мужа, предупредил любовника, а может, и самое даму; однако же роковое предначертание судьбы все же, к прискорбию, свершилось.

Дама эта приходилась дочерью дону Карлосу д'Авалосу, младшему брату маркиза де Пескайре; вздумай этот последний поступить тем же манером с одною из своих любовниц, коих я

знаю, он давным-давно уже лежал бы в могиле.

Знавал я одного мужа, который находился в длительной отлучке, а потому давно не спал с женою; наконец вернулся он как-то ночью домой, радостно предвкушая супружеские утехи, и тут-то слуга-соглядатай донес ему, что супруга в постели не одна, а с милым дружком; тотчас же выхватил он шпагу, заколотил в дверь и, почти взломав ее, бросился на жену в твердой решимости убить ее на месте; правда, сперва намеревался он прикончить любовника, да тот успел выскочить в окно. Делать нечего, приступил он к жене, а та, по случаю любовного свидания, столь дивно разукрасилась и прихорошилась, нарядилась в столь кокетливый чепец и нарядную ночную сорочку, что никогда еще супруг не видал ее более пригожей и соблазнительной; бросившись на колени пред мужем прямо в этом ночном одеянии, дама взмолилась к нему о прощении в весьма трогательных и нежных словах (которые всегда умела найти к случаю), и он, отбросив шпагу, поднял изменницу, а поскольку давно уж не имел с нею дела и изголодался (да и жене, с ее пылкой натурою, возможно, также пришла охота!), то и отпустил ей грех, запер двери, проворно скинул одежду и, обняв жену, улегся с нею вместе в постель, где она и ублажила его заботливо и пылко (уж поверьте, не забыв ни одной из арсенала любовных услад!), так что наутро супруги проснулись самой что ни на есть нежною парой, точно два влюбленных голубка. Вот так же бедный рогоносец Менелай целых десять или двенадцать лет сулил жене своей Елене, что убьет ее, буде она попадет к нему в руки, выкрикивая свои угрозы под крепостными стенами Трои; однако же, взяв город и завладев супругою, вновь так пленился ее красотою, что простил ей измену, возлюбил и заласкал пуще прежнего.

Эдакие вспыльчивые мужья, подобные разъяренным львам, обратившимся в безобидных овечек, разумеется, куда как хороши, да только где же их сыщешь в наше-то время?!

В царствование короля Франциска I одна знатная красивая молодая дама, бывшая замужем за весьма высокородным французским сеньором, спаслась иначе и куда удачнее, нежели предыдущая: не то она подала мужу какой-то повод для ревности, не то его просто вдруг обуяла внезапная ярость, но только он бросился на жену с обнаженною шпагою, собираясь ее убить; отчаявшись найти помощь у людей, бедняжка обратилась за спасением к Деве Марии, поклявшись, что за избавление свое пойдет в паломничество к ее часовне Лоретто, близ Сен-Жан-де-Моврe, в краю Анжуйском. Не успела она мысленно произнести сей обет, как супруг, выронив шпагу, рухнул наземь; затем,

поднявшись на ноги и глядя так, словно очнулся от обморока, спросил у жены, какому это святому вверила она свою жизнь, дабы избежать гибели. Та отвечала, что взмолилась к святой Марии, обещав посетить названную часовню. Тогда муж сказал ей: «Что ж, отправляйтесь туда и исполните свой обет!» Так она и поступила, а попав в часовню, принесла в дар Деве Марии картину, повествующую об этой истории, и поставила, согласно обычаю, множество больших красивых восковых свечей, которые еще долго можно было там увидеть. Вот как помог даме ее прекрасный обет и как неожиданно и благополучно окончилось сие похождение! А кто желает узнать о нем подробнее, пусть прочтет «Анжуйские хроники».

Слыхивал я историю о том, как король Франциск пожелал однажды овладеть дамою, в которую был влюблен. Однако, пришед к ней, наткнулся на мужа со шпагою в руке, готового прикончить жену; король приставил ему к горлу свою шпагу и пригрозил убить тотчас здесь же либо обезглавить на плахе, ежели тот посягнет на жизнь дамы или учинит ей хоть малейшее неудовольствие, после чего выгнал его вон из дому, а сам занял место в супружеской постели.

Этой даме повезло найти столь могущественного и горячего защитника своей утробы: с той поры муж ее не осмелился и пикнуть, предоставив жене во всем полную свободу.

Мне известно, что не только одна эта дама, но и многие другие удостоились такого же покровительства короля. Бывают люди, что с оружием в руках защищают свои земли, а для верности вешают на двери домов королевский герб; вот так же поступают и эти женщины, защищая королевским именем двери в свой рай и тем добиваясь полной покорности от мужей, которые в ином случае нанизали бы негодниц на шпагу, словно пулярку на вертел.

Знавал я и других дам, состоявших под особым покровительством королей и знатных вельмож и открыто сим похвалявшихся; были, однако же, среди них такие, чьи мужья, убоявшись в открытую убить изменниц, травили их ядом либо изводили каким-нибудь иным манером втихую, исподтишка, почему и казалось, будто скончались они естественным путем, от простуды или же вдруг, от удара. Мерзки мне эдакие мужья, способные невозмутимо глядеть, как рядом с ними прекрасная собою женщина чахнет и вянет, день ото дня приближаясь к могиле; по моему разумению, они заслуживают смерти куда более своих жен. Или еще, держат бедняжек в четырех стенах, в вечном заточении, о чем повествуют старинные французские хроники; так, один знатный дворянин уморил свою жену,

прекраснейшую и достойнейшую даму, да еще сделал это по приговору суда, избравши столь приятный способ пред всем светом провозгласить себя рогоносцем.

Среди таких вот одержимых и бесноватых злодеев частенько попадаются старики, которые, разуверясь в собственных силах и супружеской пылкости, но зная зато ретивость молоденьких и пригожих жен своих, на коих имели глупость жениться в преклонных летах, непрестанно ревнуют и места себе не находят от беспокойства, во-первых, поскольку им природою так положено, а во-вторых, оттого, что и сами в свое время были не промах и хаживали к чужим женам, вот нынче и тиранят своих, а тем, бедным-несчастным, эдакое суровое обращение хуже адского пекла. Испанцы говорят: «El diablo sabe mucho, porque es viejo» (Дьявол много знает, затем что стар); вот так же и старики эти, в силу почтенного возраста и былых проказ, много чего могут вспомнить, ибо немало повидали на своем веку. Осуждения достойны те из них, что, не будучи в силах ублажить жену, вступили в брак. Да и женщины хороши: зачем выходят за стариков? Особливо юные да пригожие — не след им венчаться со старцами, польстясь на богатство и ежечасно ожидая смерти мужа, дабы пуститься во все тяжкие, а покамест услаждая себя с молодыми дружками, в коих иногда влюбляются без памяти.

Слыхивал я об одной даме, чей старый муж, заставши ее с любовником, подмешал затем в пищу яду, отчего она целый год хворала и высохла как щепка; муженек часто навещал ее, ликуя и радуясь при виде недомогающей жены и злорадно приговаривая, что она вполне заслужила свою участь.

Другую женщину муж запер в ее спальне, посадив на хлеб и воду; чуть ли не каждодневно он приказывал ей раздеться догола и порол кнутом до крови, не жалея прекрасной белой плоти ее и даже не испытывая притом вожделения. Поистине дальше некуда: эдакий муж, сам лишенный любовного пыла и холодный, как каменная статуя, не знает жалости к женской красоте и вымещает бессильную свою ярость на бедной мученице, тогда как, будь он помоложе, уж наверное, соблазнился бы столь прекрасным обнаженным телом и не удержался от объятий, как я уже рассказывал о том выше.

Вот затем-то и не следует выходить замуж за выживших из ума стариков: даром что они становятся с возрастом подслеповаты, а все еще подглядывают да шпионят за молодыми женами, силясь поймать их на измене.

Одна знатная дама при мне говаривала так: «Нет субботы без солнышка, нет женщины без любовных шашней, нет стариков без ревности, что рождается от упадка сил».

Вот почему один знакомый мне принц сказал, что хотел бы походить на льва, который к старости не седеет; на обезьяну, которая, чем больше е…, тем больше хочет; на пса, у которого с возрастом член крепнет; и на оленя, чья любовная сила возрастает со зрелостью, так что лани предпочитают старых самцов молодым.

Итак, давайте же спросим прямо и без обиняков, как это и делал один уважаемый мною человек: по какой причине или праву муж почитает себя столь могущественным, что может убить свою жену, не имея на то дозволения ни Господа нашего, ни святого Евангелия, ни закона? Не должен ли он всего лишь отвергнуть ее? Говорится ли в Евангелии и в законоуложении о смерти, о крови и убийстве, о мучениях и темницах, об ядах и издевательствах над неверною женой? И разве Господь наш Иисус Христос не осудил все эти злодейства и убийства, когда привели к нему несчастную женщину, уличенную в прелюбодеянии, дабы он назначил ей кару; разве не написал он перстом на земле изречение: «Пускай тот, кто без греха, первым бросит в нее камень»? И ведь никто не осмелился на сие наказание, ибо всех поразил и устыдил мудрый и кроткий упрек его!

Создатель наш учил людей не осуждать с такою легкостью виновных и не обрекать их смерти даже за измену, ибо знал слабость натуры человеческой и склонность ее к грехам: этот казнил жену, а сам изменял ей куда чаще, чем она ему; тот умертвил невиновную супругу затем, чтобы жениться на другой, и таких случаев не счесть! Святой Августин говорил, что неверный муж подлежит наказанию в той же мере, что и неверная жена.

Слышал я об одном весьма знатном вельможе, который, заподозрив жену свою в любовной связи с неким галантным кавалером, повелел убить его, когда тот выходил из дворца, а вслед за ним и супругу: незадолго до этого, на придворном турнире, она, не спуская глаз со своего друга, который на диво умело правил конем и храбро сражался, воскликнула: «Ах, как метко он целится!» На что муж отвечал: «Верно, только не слишком ли высоко?» Слова эти удивили даму; малое время спустя она умерла, отравленная то ли ядовитыми духами, то ли пищею.

Знавал я одного высокородного сеньора, который убил жену, красивую и благородную женщину, отравив ее незаметно безвкусным и безуханным ядом, дабы жениться на знатной даме, бывшей до того замужем за принцем; кончилось тем, что за злодеяние это он угодил в тюрьму, осужденный и покинутый друзьями; дама же обманула его, и вместо женитьбы выпали на его долю позор, несчастье, а также презрение всех, кто его знал.

Мне известны многие уважаемые люди, гневно осуждавшие былых наших королей, к примеру Людовика Сварливого и Карла Красивого, за убийство их жен — Маргариты, дочери Робера, герцога Бургундского, и Бланки, дочери Отелена, графа Бургундского: обе они были обвинены в супружеской измене и преданы жестокой смерти в темнице Шато-Гайяр; так же поступил и граф де Фуа с Жанной д'Артуа. Притом женщины эти не совершили тех преступлений или проступков, кои вменялись им в вину: просто-напросто мужья возненавидели жен своих и, обвинив в любовных шашнях, умертвили, а сами женились на других.

Вот так же недавно и король Английский Генрих казнил и обезглавил супругу свою Анну Болейн, порешив жениться на другой; король этот был люто кровожаден и любил менять жен. Так не лучше ли было ему, как завещал Господь, отвергать их, нежели предавать жестокой казни? Но, увы, эти господа охочи да свежатинки и желают лакомиться ею самолично, ни с кем не делясь: проев приданое первой жены, они заводят себе следующую, которая также приносит немалое богатство, и никогда не насыщаются вполне. Вот таким был и второй царь Иерусалимский Бодуэн, который, обвинив свою первую жену в распутстве, отринул и прогнал ее, дабы сочетаться браком с дочерью герцога Малитерна, ибо за нею давали богатейшее приданое, а он нуждался в деньгах. Об этом рассказано в «Истории Святой земли». Подобным мужьям ничего не стоит нарушить Божьи законы и установить свои собственные, кои позволяют им предавать смерти злосчастных своих супруг.

А вот Людовик Молодой не стал губить жену свою, герцогиню Элеонору Аквитанскую, когда, вернувшись из похода в Сирию, заподозрил ее в измене, вполне возможно, что и напрасно; он лишь развелся с нею, не пожелав действовать по закону ревнивых мужей, ими самими установленному противу всякого права и разума; оттого-то и прославился он среди прочих королей своею добротою, а тех запомнили как жестоких и коварных тиранов: сие есть свидетельство совестливой души и поистине христианского его смирения. Даже римские язычники в большинстве своем поступали в подобных случаях более по-христиански, нежели по-язычески: императоры их, весьма часто становившиеся рогоносцами по вине распутных и сластолюбивых жен, при всей своей жестокости, чаще разводились с ними, нежели убивали по примеру нас, христиан.

Так, Юлий Цезарь не посягнул на жизнь супруги своей Помпеи, а всего лишь развелся с нею, когда она изменила ему с юным римским красавцем Пульхром Клавдием, в коего влюбилась

без памяти, а он в нее; этот Клавдий, улучив день, когда у Помпеи в доме устраивалось священное празднество, куда допускались одни женщины, переоделся гетерою (а лицо у него было еще гладкое и безволосое) и, замешавшись в женское общество, принялся петь и играть на разных инструментах, а затем, воспользовавшись суматохою, уединился со своею любовницей и насладился ею вволю; дело, однако, раскрылось, юношу прогнали из дворца и обвинили в прелюбодеянии, но ему удалось, благодаря влиятельным знакомствам и деньгам, добиться помилования и избежать кары за содеянное. Цицерон превзошел себя в красноречии, произнося обвинение против него, однако Цезарь притворился, будто верит в невиновность жены, и отвечал, что не только не желает марать супружеское ложе убийством, но полагает, что жена его выше всяких подозрений. Такое годилось разве лишь для успокоения окружающих — сам-то он доподлинно знал правду, заставши жену с любовником и понимая, что все произошло с ее согласия и по доброй воле; ведь коли женщина решилась на измену, не ее дружку заботиться о мелочах, уж она изыщет в один час столько разных хитростей, сколько нам, мужчинам, и за сто лет не придумать; так, одна знатная дама, моя знакомая, говорила своему любовнику: «Вы только пробудите у меня желание, а уж способ переспать с вами я и сама найду».

Так кому, как не Цезарю, разбираться в подобных ухищрениях: ведь он и сам был не промах, недаром же называли его петухом, что топчет всех курочек подряд; в Риме водилось немало рогачей по его милости, чему свидетельством еще и пословица, ходившая среди его солдат: «Romani, servate uxores, moechum addicimus calvum», что означает: «Римляне, Цезарь идет, прячьте получше супруг; лысый наш вождь и развратник всех… вокруг!»

Итак, благодаря мудрому изречению о невиновности жены Цезарь избег звания рогоносца, которое заставлял носить других; однако же в душе был сильно уязвлен сим происшествием.

Октавий Цезарь также отверг Скрибонию за склонность к распутству, а не за что-нибудь иное, но не причинил ей никакого зла; правду сказать, сделав его рогоносцем, она была в своем праве, ибо сам он содержал несчетное количество любовниц; он устраивал для этих дам празднества и, на глазах у мужей, сажал их рядом с собою за стол, а потом уводил в спальню, вслед за чем, насладясь объятиями, выпускал оттуда на всеобщее обозрение растрепанных, полураздетых и с красными ушами — как говорят, верный признак того, что женщина побывала в постели; правда, сам я слышал, что у ней должны гореть щеки, а не уши. За это и пользовался он репутацией бесстыдного

развратника, и даже Марк Антоний упрекал его в беспутстве, однако император оправдывался тем, что спит со всеми этими женщинами не разврата ради, но желая узнавать через них тайные замыслы их мужей, коих сильно опасался.

Знавал я многих мужчин, и вельмож, и прочих, что ухаживали за дамами по той же причине, тем самым соединяя приятное с полезным; я мог бы назвать множество эдаких хитрецов, извлекающих для себя отсюда двойное удовольствие. Вот и заговор Каталины был раскрыт благодаря болтливости распутной девки.

Тот же Октавий решил однажды умертвить дочь свою Юлию, жену Агриппы, за ее безудержное распутство, коим она позорила его (ибо иногда дочери бесчестят отцов своих более, чем иные жены — мужей), однако всего лишь изгнал ее из города, запретил давать вино и богатые наряды, повелел одеть в рубище и не допускать к ней мужчин — тяжкое наказание для женщины знатного сословия, особливо в двух последних пунктах.

Цезарь Калигула, считавшийся жестокосерднейшим из тиранов, узнав, что супруга его, Ливия Оттилия, тайком оказывает милости первому своему мужу Каю Кальпурнию Пизону, у которого он увел ее силою, и что она в его отсутствие услаждала Пизона, тогда еще не убитого, прекрасным, стройным своим телом, не покарал жену с обычной свирепостью, но лишь изгнал, а случилось это через два года после того, как он отнял ее у Пизона и сам женился на ней.

И так же обошелся Калигула с Туллией Паулиной, которую отнял у супруга ее Меммия: он всего лишь прогнал ее от себя, запретив, правда, заниматься сладким любовным ремеслом не только с прежним мужем, но с кем бы то ни было; поистине жестокое наказание, коего Меммий вовсе не заслужил.

Слыхивал я и об одном принце-христианине, который также запретил своей даме сердца спать с мужем — столь сильно он ревновал ее.

Клавдий, сын Друза Германика, подобным же образом отверг супругу свою Плантию Геркулалину за бесстыдное ее распутство и, что еще хуже, за посягательство на его жизнь; как он ни был жесток и как ни тяжки были обе ее вины, он тем не менее не стал убивать ее, а покончил дело разводом.

Кроме того, вспомните, сколько времени претерпевал он любовные шашни и наглую ложь второй своей супруги, Валерии Мессалины, которой мало было спать с мужчинами тайком, втихую: она вдобавок отдавалась всем подряд в публичных домах, затмевая бесстыдством самых распутных шлюх в городе; по свидетельству Ювенала, дошло до того, что, переспав с мужем и

дождавшись, когда он заснет, она потихоньку вставала с постели, разряжалась в пух и прах и отправлялась в бордель, где никому не отказывала, отчего возвращалась домой в изнеможении, но все еще не насытившись объятиями. Хуже того, для пущего удовольствия и из жгучего желания прослыть непревзойденной развратницею, она заставляла мужчин платить себе, назначая особую цену за каждый способ любви, за каждую ласку, точно оценщик в ломбарде, и никогда не уступала ни полушки.

Мне приходилось слышать об одной нашей довольно знатной даме, которая некоторое время вела столь же распутную жизнь, наведываясь переодетою в бордели, дабы предаваться там разврату и досконально изучать все стороны продажной любви; однажды стража во время ночного обхода арестовала ее, точно уличную девку. Знавал я немало и других таких же распутниц, что пускались на подобные, всем известные проделки.

Впрочем, Боккаччо в своей книге «Несчастья знаменитых людей» отзывается о вышеупомянутой Мессалине весьма снисходительно, извиняя нрав ее тем, что она родилась при неблагоприятном расположении светил, которые и вселили в нее беса, так же как и во многих других женщин. Муж ее знал о том и долго терпел разнузданное поведение супруги, пока ему не донесли, что она, ничтоже сумняшеся, сочеталась браком с одним из красивейших римских патрициев, Каем Силием. Заподозрив, что здесь кроется заговор против него, Клавдий приказал убить ее, но свершил это именно из боязни покушения, а не из-за распутства, к коему давно притерпелся и привык.

Те, кто видел изображение означенной Мессалины, найденное совсем недавно в Бордо, верно, признают, что бесстыдный образ жизни и впрямь запечатлелся на лице ее. Я говорю об античной медали, найденной в руинах римских зданий, — очень красивой и достойной восхищения. Судя по ней, Мессалина была женщиною величественной осанки, весьма рослою, с правильными чертами лица и искусно уложенной по древней римской моде прическою; высокий рост вполне подтверждает ее репутацию: по мнению многих философов, врачей и физиогномистов, женщины большого роста скорее прочих расположены к любовному неистовству в силу своей мужеподобности, которая наделяет их и мужским пылом, и женской пылкостью; соединяясь вместе в одном теле, они делают человека и вовсе необузданным сластолюбцем; верно говорят, что большому кораблю — большое и плавание; так и женщины высокого роста, по мнению лучших знатоков искусства Венерина, более охочи до любви и расположены к ней лучше, нежели малорослые.

По этому поводу припоминается мне один принц, мой знакомый, который, желая польстить женщине, чьими объятиями насладился, рекомендовал ее следующим образом: «Она высочайшая распутница, совсем как моя матушка». Но, заметив изумление слушателей, разъяснил, что сим опрометчивым высказыванием вовсе не желал уподобить матушку свою шлюхам, а всего лишь имел в виду, что названная дама столь же высока ростом, как его родительница. Вот как оно бывает: иногда скажется такое, чего и не думал выговорить, а иногда, не думая, невзначай и правду вымолвишь.

Стало быть, рослым женщинам повезло более других, пусть хотя бы в царственной осанке, их отличающей, которая в любви ценится и привлекает столь же сильно, сколько в других делах и занятиях; так, рослый и красивый жеребец во сто крат авантажнее смирной рабочей лошадки и доставляет множество радостей своему седоку. но притом надобно, чтобы и всадник отличался умением, ловко держался в седле и управлял скакуном сильною и привычною рукой. То же можно отнести и к высокорослым женщинам: в силу своего сложения они часто бывают своенравнее других и скидывают седока, коли он слаб и неопытен, как рассказывали мне некоторые ездоки, коим довелось вскакивать на эдаких норовистых кобылок; чуть что не так, упрямицы сбрасывали их с себя на всем скаку, с насмешками и поношениями. Так, слыхивал я об одной даме из этого города, которая, возлегши первый раз со своим возлюбленным, прямо сказала ему: «Обнимите меня покрепче и стисните руками и ногами как можно сильнее, да держите что есть мочи, ибо я так брыкаюсь и бью задом, что иначе вам не удержаться. Да не церемоньтесь особо, у меня достанет сил и ловкости выдержать ваши удары, как бы вы ни старались; проявите же усердие, сударь, а у меня-то уж его в избытке. Так что не ленитесь, и вам воздастся сторицею». И что же вы думаете — женщина перещеголяла-таки своего наездника резвостью.

Вот к чему надобно быть готовым, когда ложишься в постель с такою любовницей — смелой, жизнерадостной, пылкой, хорошо сложенной и в теле; но хотя чрезмерный пыл этих дам и способен доставить множество услад, иногда они проявляют излишнюю властность, препятствующую истинной нежности. Однако же верно говорят: «Резвой гончей рост не помеха» — это я к тому, что бывают и малорослые женщины, повадками своими, грацией и привлекательностью не уступающие другим, а то и превосходящие их в искусстве прельщать (пускай судят знатоки этого дела, прав ли я!), подобно тому как и низкорослая лошадка может не отстать от породистого скакуна; кстати, один добрый

человек говаривал, что женщина похожа на многих животных, особливо же на обезьяну, — стоит лишь посмотреть, как изворачивается и суетится она в постели.

Я сделал сие отступление так просто, потому что вспомнилось, теперь же обратимся к главному.

Даже кровожадный Нерон всего лишь прогнал от себя за измену жену свою Октавию, дочь Клавдия и Мессалины, сим деянием и ограничив свою жестокость.

Император Домициан поступил и того благороднее: он отверг супругу свою Домицию Лонгину, ибо она без памяти влюбилась в актера-шута по имени Парис и только тем и занималась, что распутничала с ним, забросив собственного мужа; однако по прошествии некоторого времени Домициан, раскаявшись в своем поступке, вернул ее; легко представить, каким вывертам да ухищрениям обучил ее кривляка-любовник, думая, что старается для себя.

Пертинакс так же милостиво обошелся со своей женой Флавией Сульпицианою: он не прогонял и не возвращал ее, но, зная, что она занимается любовью с певцом и музыкантом и увлечена им, предоставил ей полную свободу действий, сам же взял в любовницы двоюродную сестру свою, некую Корнифацию, полагаясь, вероятно, на мнение Гелиогабала, говорившего, что нет на свете ничего слаще бесед с родственниками и родственницами. И я знаю многих людей, которые произвели подобный обмен, следуя тому же правилу.

Также и император Север не озаботился бесчестием жены своей, известной беспутным поведением; он и не помышлял исправлять ее, говоря, что, коли ее зовут Юлией, надобно прощать ей, ибо во все времена женщины, носившие это имя, были бесстыдными развратницами и наставляли рога мужьям; да и сам я знаю многих дам, нареченных теми или иными именами (которые здесь называть не стану из уважения к нашей святой религии) и из-за этих имен приверженных распутству и трудящихся передком куда усерднее других, иначе зовущихся; ни одна из них не избежала этой участи.

Итак, я никогда не окончил бы сей труд, ежели взялся бы описывать бесчисленное множество знатных патрицианок и императриц римских, живших в древности и славившихся распутством, коих жестокие мужья, ими обманутые, не наказали примерно и со всею надлежащею строгостью; полагаю, что среди дам этих трудно было бы сыскать добродетельных, о чем и свидетельствуют их жизнеописания; да стоит лишь взглянуть на античные медали и статуи, их изображающие, как сразу видишь запечатленное на прекрасных лицах этих женщин необузданное

сладострастие.

Однако же мужья их, беспощадные к иным грехам, прощали им этот и не умерщвляли изменниц, по крайней мере не всех. Поистине странно, что язычники, не признающие Господа нашего, выказывали такую мягкость и всепрощение к грешным своим женам, большинство же нынешних королей, принцев, вельмож и мужчин иных сословий жестоко и безжалостно карают супруг за сию провинность.

Надобно еще похвалить благородного короля нашего Филиппа-Августа, каковой король, отвергнув вторую жену свою Ингебургу, сестру датского короля Кнута, под тем предлогом, что она состоит с ним в родстве третьей степени чрез первую его супругу Изабеллу (а на самом деле подозревая ее в изменах), тем не менее подчинился церковным канонам и вновь призвал ее, хотя и женился к тому времени на другой: просто-запросто посадил в седло у себя за спиною да и привез обратно во дворец, не дожидаясь постановления Суассонской ассамблеи, нарочно для того созванной, но слишком долго и нерешительно разбиравшей дело.

Нынче знатные сеньоры так милостиво уже не поступают: самое мягкое наказание, какое они избирают для своих жен, — это пожизненное заточение на хлебе и воде либо смерть от яда или кинжала, от их собственной руки или по приговору суда. Не пойму я этого: коли уж пришла охота отделаться от старой жены и завести новую, как оно часто бывает, отчего не дать ей развод тихо-мирно, не причиняя никому зла и неудовольствия, притом еще, что не пристало мужчине рвать узы, коими Господь соединил его с законною супругой. Видели же мы, однако, тому примеры и в недавних временах, — взять хоть королей наших Карла VIII и Людовика XII.

По этому поводу довелось мне услышать рассуждения одного нашего великого богослова о покойном короле испанском Филиппе, который, в нарушение всех канонов, женился на племяннице своей, матери нынешнего короля; вот что он говорил: «Нам следует признать Папу Римского наместником Бога на земле, всемогущим или же нет; в первом случае (чего мы, католики, и должны придерживаться) нам следует подчиниться его абсолютной и бесконечной власти, которой он может вершить и разрывать браки по своему усмотрению; ну а ежели люди откажут ему в таковой власти, то я умываю руки, оставляя сие заблуждение тем, кого добрыми католиками отнюдь не назову. По моему суждению, один лишь наш Святой Отец может быть судьею супругам в их семейных раздорах, какие случаются меж мужем и женою в неудачном браке».

Разумеется, жены вполне достойны осуждения, когда позорят эдаким образом мужей своих, нарушая законы брака, заповеданные Господом; однако же, с другой стороны, Господь решительно запретил убийство, по каким бы причинам сие гнусное деяние ни свершалось; на моей памяти почти все кровожадные и безжалостные убийцы, даже и грешных жен своих, заплатили за это и плохо кончили, ибо женщины, пусть и виновные в распутстве, все-таки достойны милосердия Божьего, примером чему та же Магдалина.

И наконец, следует признать, что эти несчастные женщины по причине их красоты куда ближе к Богу, нежели мы, мужчины, ибо все прекрасное угодно Ему, тогда как безобразие — добыча дьявола.

Великий Альфонс, король Неаполитанский, говорил, что красота — истинный признак добронравия и мягкосердечия; так прекрасные цветы обещают вкусные и аппетитные плоды; я и сам многажды в жизни видел немало красавиц, которые притом отличались добротою; даром что эти дамы не чурались любовных забав, они никому не причиняли зла, а всего лишь мечтали о плотских удовольствиях и прилагали все силы к тому, чтобы удовлетворить свое хотение.

Правда, что встречались мне и другие — злые и коварные, жестокие и пронырливые; эти думали не об одной только любви, а и том, как бы кому навредить.

Так можно ли усомниться в том, что женщины, отданные на волю и прихоть недобрых своих мужей, стократ заслуживающих Божьей кары, одним этим довольно уже наказаны?! Ибо угрюмый, вспыльчивый нрав таких господ трудно даже описать.

Расскажу теперь об одном сеньоре из Далмации, который, убив любовника своей жены, принудил ее в течение нескольких ночей спать рядом с его окровавленным, зловонным мертвым телом; несчастная едва не задохнулась от запаха разложения.

На ту же тему в «Ста новеллах» королевы Наваррской есть претрогательная грустная история об одной прекрасной даме из Германии, которую муж заставил пить из черепа убитого им любовника: сеньор Бернаж, бывший тогда послом Карла VIII в этой стране, стал свидетелем сего ужаснейшего зрелища, о чем и поведал в своем донесении.

В первый раз, как попал я в Италию и проезжал через Венецию, мне рассказали историю, будто бы истинную, о некоем албанском ходже, который, застигнув жену за изменою, убил ее любовника и, разъяренный сознанием, что ему самому не удалось удовлетворить жену (а был он весьма пылок, хорошо знал толк в Венериных делах и за одну ночь мог предпринять десять —

двенадцать любовных атак), придумал следующее наказание для жены: разыскал дюжину бравых молодцов, горячих и неутомимых в постели, да и нанял их за деньги, повелев собраться у ней в спальне (а она была очень красива) и выполнить как можно усерднее свой мужской долг; тем же, кто отличится особо, посулил даже двойную плату; что ж, они постарались на славу, замучив даму до смерти, к великой мужниной радости; сей лихоимец еще и поизмывался над умирающей, сказавши со злобным смехом, что дал ей насладиться допьяна жгучим напитком любви; то же самое некогда Семирамида говорила Киру, коего голову приказала погрузить в чашу, наполненную кровью. Бывает ли смерть ужаснее этой?!

Та несчастная дама не умерла бы, будь она столь же крепкого сложения, как одна солдатская девка при лагере Цезаря в Галлии, которая в один прием пропустила чрез себя целых два легиона, после чего встала и пошла как ни в чем не бывало.

Рассказывали мне об одной красивой девице из некоего французского города, который во времена гражданских войн был взят приступом; девицу изнасиловали солдаты, но она выжила, а после того отправилась в церковь, дабы исповедаться и узнать у кюре, сильно ли она согрешила; тот отвечал, что поскольку она была взята силою и против воли, испытывая омерзение, то никакого греха тут нет. На что девица воскликнула: «Ну и слава богу, хоть однажды в жизни нагулялась всласть, да притом не согрешив против себя и Господа!»

У одной весьма благородной дамы во время Варфоломеевской ночи убили мужа, а ее самое подвергли насилию; после этого она стала выпытывать у знающего и ученого священника, сильно ли она оскорбила Господа и память погибшего своего супруга. Тот разъяснил ей, что коли она при этом насилии получила удовольствие, то, значит, несомненно согрешила, а ежели испытала отвращение, то все равно согрешила. Вот так прекрасная сентенция!

Я коротко знал одну даму, которая возражала против подобного мнения, говоря, что получает наслаждение именно тогда, когда ее принуждают к объятиям и почти насилуют, ибо чем упорнее женщина сопротивляется, тем сильнее распаляет она мужчину; пробив наконец брешь в стене крепости, он берет ее приступом с большею яростью и азартом, разжигая тем самым аппетит и у самой дамы, которая бледнеет и едва не испускает дух у него в руках, но не с перепугу, а от сладостного удовольствия, какое он доставил ей своей силою. Дама эта полагала, что надобно как можно чаще ломать комедию пред мужем, притворяясь то злою, то капризною, то неприступною,

дабы посильнее разжечь в нем вожделение; и следует признать, что в таких случаях у них все получалось как нельзя лучше, ибо, по свидетельству многих писателей, та женщина больше нравится мужчине, которая привередничает и сопротивляется, а не та, что по первому слову покорно ложится на спину. То же и на войне: почетною считается победа над сильным неприятелем, а не над слабым да трусливым; слава тому, кто одержал ее в жестоком бою. Однако не следует даме и пересаливать, ибо ее могут принят?) за хитрую распутницу, желающую легко отделаться, а подобное сравнение будет ей обидно; но, впрочем, мне ли давать им, особливо самым ловким и умелым в сем ремесле, советы, когда они и сами давно превзошли науку любви?!

Хочу сказать, что многие сурово порицают ревнивых мужей, готовых убить жену за измену, тогда как в распутстве своих супруг сами же и повинны. Ибо, по словам святого Августина, безумен тот муж, кто требует целомудрия от жены, сам будучи погружен в бездну разврата; коли ожидаешь от нее чистоты, то прежде будь и сам чист. В Священном Писании даже говорится, что не следует мужу и жене слишком сильно любить друг друга плотскою, сладострастною любовью, ибо ежели они станут предаваться ей часто и пылко, то начнут пренебрегать любовью к Господу; я и сам частенько встречал супругов, столь горячо и страстно любящих друг друга, что они забывали служить Богу, вспоминая о Нем лишь после объятий и услад в постели.

Более того, мужья эти поступают куда как скверно, обучая жен своих в супружеской постели множеству любострастных ухищрений — вывертов, ухваток и новых способов любви, прибегая, в частности, к помощи бесстыдных описаний и рисунков Аретино и добиваясь того, что огонек вожделения, тлеющий в женском теле, разгорается неугасимым пламенем и превращает женщин в истинных распутниц; приводит же сия наука к тому, что дамам становится мало одних мужей, и они начинают искать утех на стороне. И, видя это, мужья, в злобе и ревности, наказывают бедных своих супруг, чего делать не вправе: ведь коли женщину обучили сладкому любовному ремеслу, она норовит показать свое умение другим, тогда как мужья принуждают их скрывать его ото всех, кроме них самих; таких тиранов-мужей уподобил бы я тем конюшим, что выращивают и обучают красивого коня да и прячут его в конюшне, не позволяя никому ни взглянуть на него, ни сесть в седло, но лишь похваляясь его статями, как будто кто-нибудь поверит им на слово.

Слышал я историю об одном благородном кавалере, который влюбился в некую красавицу, но узнал от своего друга, что только

понапрасну теряет время, ибо она страстно любит мужа; тогда он проделал тайком дыру в стене их спальни, напротив кровати, и смог наблюдать все разнузданные и любострастные ухватки, мерзкие позы, невиданные выверты, в коих жена даже превосходила мужа, предаваясь сему занятию с чрезвычайным пылом; наглядевшись на все это, наш дворянин ушел и назавтра отнесся к другу своему со следующими словами: «Эта женщина станет моею тотчас, как только супруг ее отбудет в какое-нибудь путешествие, ибо она не совладает с той пылкостью, какую подарили ей природа и любовное искусство, но непременно захочет излить ее на другого мужчину; тут-то мою настойчивость и будет ждать сладкая награда».

Знавал я и другого бравого кавалера, который, влюбившись в красивую и благородную даму и зная, что она, с ведома и дозволения мужа, держит у себя в туалетной книгу Аретино, тотчас же с уверенностью предрек, что добьется ее милостей; он служил даме терпеливо, долго и преданно; наконец овладел ею и убедился, что у любовницы его были отменные учителя и наставники, во главе коих, однако, назвал он не людей, но госпожу Природу. Впрочем, как поведала ему позже красавица, книга Аретино и долгие упражнения также немало способствовали ее искусству.

Можно прочесть рассказ о знаменитой куртизанке из Древнего Рима по имени Элефантина, которая придумала и описала такие способы любви, что и самому Аретино за нею не угнаться; многие знатные дамы, даже и принцессы, склонные к распутству, изучали сию распрекрасную книгу, словно Библию. Вспомним также об известнейшей сирийской блуднице, прозванной «дюжина вывертов» за то, что она изобрела двенадцать изощреннейших способов доставлять мужчине порочное и жгучее наслаждение.

Гелиогабал за большие деньги и ценные дары нанимал и содержал мужчин и женщин, способных замыслить и показать такие новые ухищрения, которые разожгли бы его чувственность. Да и многие другие властители поступали точно так же.

Недавно Папа Сикст приказал повесить в Риме одного из секретарей кардинала д'Эсте, по имени Капелла, вменив ему в вину множество преступлений, из коих главным было написание книги с весьма живописными картинками, изображающими некое знатное лицо, мною не называемое из почтения к сану его, и не менее знатную даму из первых римских красавиц; оба они представлены там в натуральнейшем виде.

Знавал я принца, поступившего еще остроумнее: он приобрел у ювелира великолепный кубок позолоченного серебра

тончайшей работы, истинный шедевр ювелирного искусства, доселе невиданный: в нижней части этого кубка весьма изящно и прихотливо были вырезаны фигурки мужчин и женщин в позах Аретино, а наверху столь же мастерски изображались различные способы соития зверей; там-то и увидал я впервые (впоследствии мне частенько доводилось любоваться сим кубком и даже, не без смеха, пить из него) случку льва со львицею, вовсе не похожую на спаривание всех прочих животных; кто сие видел, тот знает, а кто не видел, тому и описывать не берусь. Кубок этот стоял у принца в столовой на почетном месте, ибо, как я уже говорил, отличался необыкновенной красотою и роскошью отделки что внутри, что снаружи и радовал глаз.

Когда принц устраивал пир для придворных дам и девиц, а такое случалось часто, то по его приказу виночерпии никогда не забывали поднести им вина в этом кубке; и те, что еще не видали его, приходили в великое изумление и, взяв кубок в руки или уже после того, прямо-таки теряли дар речи; другие краснели, не зная, куда деваться от смущения, третьи шептали соседкам: «Что же тут такое изображено? По моему разумению, это мерзость из мерзостей. Да лучше умереть от жажды, нежели пить из эдакой посудины!» Однако же им приходилось либо пить из описанного кубка, либо томиться жаждою, вот почему некоторые дамы пили из него с закрытыми глазами, ну а другие и этим себя не утруждали. Те дамы или девицы, кто знал толк в сем ремесле, посмеивались втихомолку, прочие же сгорали со стыда.

На вопрос, что они видели и отчего смеются, дамы отвечали, что видели резьбу на кубке и теперь ни за какие сокровища в мире не согласятся пить из него. Другие же говорили: «По моему разумению, здесь нет ничего худого, любоваться произведением искусства не грешно»; третьи заключали: «Доброе вино и в таком кубке доброе». Такие уверяли, будто им все равно, из чего пить, лишь бы утолить жажду. Некоторых дам упрекали в том, что они не закрывают глаза, когда пьют из него; ответ был таков: им, мол, хотелось воочию убедиться, что подали именно вино, а не яд или какое-нибудь снадобье. У таких выспрашивали, от чего они получают большее удовольствие — от того, что пьют, или от того, что видят; дамы отвечали: «От всего». Одни восклицали: «Вот так чудища!» Другие: «Ну и шутки!» Третьи: «Ах, какие прелестные фигурки!» Четвертые: «Ох и точные же зеркала!» Пятые: «Уж верно, ювелир позабавился вволю, выделывая эдаких уродцев!» На что шестые добавляли: «А вы, монсеньёр, забавляетесь еще более, купив сей прекрасный сосуд!» Иногда спрашивали у дам, не зудит ли у них внутри, когда они пьют из кубка; те отвечали, что не такой безделице разбудить в них любовный зуд; у других

допытывались, не разогрело ли их сверх меры вино из такого кубка, заставив позабыть о зимней стуже; на это следовал ответ, что, напротив, вино их освежило. Осведомлялись также, какие из этих изображений дамы желали бы иметь у себя в постели; те возражали, что невозможно перенести их с кубка в другое место.

Короче сказать, кубок этот вызывал великое множество шуток, прибауток и острот, коими перебрасывались за столом кавалеры и дамы, забавляя себя и других, в том числе и меня, бывшего сей потехе свидетелем; но самое забавное, на мой взгляд, зрелище представляли невинные девицы либо притворявшиеся таковыми и впервые попавшие сюда дамы, которые сидели с постной миною и кислой усмешкою, строя из себя святош, как свойственно некоторым женщинам. Заметьте себе, что, даже умирай они от жажды, слуги не осмелились бы подать им вина в другом кубке или бокале. И пусть какие-то из них клялись и божились, что ноги их больше не будет на таких пирах, однако все равно они являлись вновь и вновь, ибо принц был веселым и щедрым хозяином. Были такие дамы, которые в ответ на приглашение отвечали: «Я приду, но с условием, что меня не принудят пить из того кубка», однако за столом не выпускали его из рук. И наконец, все дамы привыкли и стали пить из него без малейшего стеснения; надо думать, они перепробовали и пустили в Дело все, на нем увиденное, в свое время и в своем месте: согласитесь, что человек, наделенный воображением, должен все испробовать в жизни.

Вот какое действие оказывал сей знаменитый кубок. Остается лишь вообразить, о чем беседовали, как шумели и пересмеивались дамы в своей компании и о чем мечтали в одиночку, вспоминая кубок.

Я полагаю, что кубок сей весьма отличался от того, который Ронсар воспел в одной из первых своих од, посвященной ныне покойному королю Генриху; она начинается словами:

Берет старинный кубок в руки он.
Вином его радушно наполняет.
По чину воинам подносит сей ритон.
Пурпурное вино смеется и играет.

Что же касается кубка принца, то здесь не вино улыбалось людям, а люди — вину, ибо одни пили, смеясь, другие пили, восхищаясь; одни удовлетворялись, попивая, другие попивали, удовлетворясь; только не подумайте, будто я разумею под этим что-либо худое.

Словом, кубок этот производил действие потрясающее,

настолько выразительны были фигуры и образы, на нем запечатленные; по этому поводу вспоминается мне, как однажды несколько дам со своими кавалерами посетили замок графа Шато-Вилен, иначе сеньора Аджасе, и вот, проходя по роскошно убранным покоям, увидали они развешанные в галерее великолепные, редкостные картины. На одной из них, едва ли не лучшей, представлено было множество нагих женщин в купальне, которые столь нежно и любовно ласкали и гладили друг дружку, столь пылко и вместе с тем целомудренно сплетались в объятиях, что воспламенили бы сердце и плоть даже самого сурового и стойкого из отшельников; вот отчего одна высокая дама, мне знакомая, погрузилась в созерцание сей картины и долго, неотрывно разглядывала ее, а после обернулась к своему кавалеру и, словно задыхаясь от любовной лихорадки, приказала: «Довольно мы здесь задержались, сядемте поскорее в карету и ко мне домой, ибо я не в силах совладать с нетерпением, надобно утолить сжигающую меня жажду!» И они тотчас отбыли, а приехав к даме, испили вместе тот животворный настой, который сладок без сахара и которым кавалер щедро попотчевал даму из своего сосуда.

Подобные картины и рисунки приносят нестойким душам куда большую пагубу, нежели это кажется; в той же галерее висела картина, изображающая Венеру обнаженную; она возлежит на ложе, глядя на сына своего, Купидона; на другой картине Марс обнимает Венеру, на третьей Леда ласкает лебедя. И там, и в других местах есть множество картин, куда более скромных и целомудренных, нежели гравюры Аретино, однако ж все они посвящены одному предмету, а именно близки к вышеописанному кубку, у коего есть хотя бы немалое преимущество перед другим, который Рено де Монтобан отыскал в замке, описанном Ариосто; на нем безжалостно высмеивались бедные мужья-рогоносцы, тогда как наш всего лишь делал их таковыми, зато не выставлял напоказ ни обманутых супругов, ни их неверных жен.

В наше время никто уже не нуждается в подобных книгах или картинах, ибо нынешние мужья сами не промах и могут научить чему угодно.

Знавал я в Париже одного книгоиздателя-венецианца по имени мессир Бернардо (он приходился родственником великому Альду Мануцию из Венеции): он держал лавку на улице Сен-Жак и однажды в разговоре клятвенно заверил меня, что менее чем за год продал более полусотни двухтомников Аретино множеству женатых и холостых людей, мужчин и даже женщин, из коих назвал мне трех весьма знатных дам, чьи имена я здесь, конечно, не раскрою; они самолично купили эти книги в самых роскошных

переплетах, взяв с хозяина клятву не выдавать их; однако мне он проговорился — более того, рассказал, что некая дама спросила у него такую точно книгу, какую видела она в руках одной из вышепомянутых особ; он отвечал ей: «Signora, si, e peggio»[7], и тотчас она, вынув деньги, закупила все до одного экземпляры по бешеной цене. Вот уж поистине сумасбродное любопытство, способное отправить мужа этой дамы в Корнето, близ Чивита-Веккья.

Все эти позы и движения противны Богу; недаром же святой Иероним говорит: «Тот муж, что развратничает со своею женою, свершает грех прелюбодеяния». И поскольку о том же говорили многие видные богословы, я выражу сию мысль по-латыни, тем более что сами они не пожелали перевести ее на французский: «Excessus canjugum fit quando uxor cognoscitur ante, retro stando, sedendo in latere, et mulier super virum»[8]; это созвучно с тем, что прочел я в одном старинном присловье:

> In prato viridi monialem ludere vidi
> Cum monacho leviter, ille sub, ilia super[9].

Некоторые утверждают, что когда женщина принимает неположенную позу, она не может зачать. Однако же многие женщины опровергают эти слова, говоря, что в странных, противоестественных и бесстыдных позах они зачинают даже лучше, нежели в дозволенной и общепринятой, да, кроме того, и удовольствия получают больше, особливо когда, по словам поэта, занимаются любовью more canino[10], что, на мой взгляд, отвратительно; но полнотелые женщины, по крайней мере многие из них, предпочитают такую позу из опасения повредить грудь и живот.

Некоторые врачи утверждают, что хороша любая поза, но semen eiaculetur in matricem mulieris, et quomo-docunque uxor cognoscatur, si vir eiaculatur semen in matricem, non est peccatum mortale[11].

Вы найдете диспут на эту тему в «Summa Benedicti», у врача-франциscанца, весьма подробно описавшего все виды плотских прегрешений, о коих он слышал или читал. Тот, кто ознакомится с его опусом, узнает из указанного пассажа о многих извращениях, совершаемых мужьями с их женами. И еще пишет он о том, что quando millier est ita pingguis ut non possit aliter coire[12] только в определённой позе, non est peccatum mortale, modo vir eiaculetur semen in vas naturale[13]. По этому поводу многие говорят, что лучше мужьям воздерживаться от сношений ç женами, когда у тех чрево полно (как поступают, к примеру, все

животные), нежели осквернять брак подобным непотребством.

Знавал я одну знаменитую римскую куртизанку по прозвищу Гречанка, бывшую на содержании у знатного французского вельможи. По прошествии некоторого времени захотелось ей увидеть Францию, проехавшись туда за счет сеньора Бонвизи, богатейшего лионского банкира родом из Лукки, который был в нее влюблен; прибыв в Лион, она первым делом стала расспрашивать об этом богаче и его жене, а главное, о том, не наставляет ли жена рога мужу, ибо, сказала она, «я в свое время обучила ее муженька стольким премудростям любви, что коли он все их показал и передал своей супруге, вряд ли она не поделилась сей наукою с другими: ведь ремесло наше, особливо когда им хорошо владеешь, столь зажигательно, что во сто крат приятнее заниматься им со многими, нежели с кем-нибудь одним». К тому же, добавляла она, эта дама обязана поднести ей богатый подарок за тяжкие труды, поскольку муженек ее, впервые поступив в школу любви, ровнехонько ничего не знал, не умел и не было ученика тупее и неповоротливее его; однако же она столь успешно обучила и наставила этого неумеху, что, верно, по возвращении супруга его прямо-таки не узнала. Жена банкира и в самом деле пожелала увидеться с этой куртизанкою и, переодевшись, тайком посетила ее, а та не постеснялась высказать ей все вышеизложенное, добавив к сему множество других, еще более непристойных слов, ибо стыдливость была ей неведома. Вот каким манером мужья выковывают острые ножи, дабы самим себе перерезать глотки, а иначе говоря, украсить голову рогами. Вот так-то Господь Бог и наказывает мужчин, оскверняющих святость брака; те же, кто отыгрывается за это на женах своих, достойны стократ более суровой кары, нежели эти последние. Так что я не удивляюсь суждениям того врача-францисканца, который называл брак почти адюльтером — в том случае, когда его оскверняют вышеописанным мною образом.

Вот отчего священникам нашим запрещено вступать в брак, ибо, ложась с женой и оскверняя таким образом свою чистоту, им после невозможно приближаться к святому алтарю. Мне доподлинно известно, что некоторые развратничают в постели с женой куда более смело, нежели гуляки со шлюхами в борделях; там, по крайней мере, мужчины опасаются подцепить дурную хворь и потому держатся оглядчивее иных мужей, которые беззаботно предаются бесстыдным забавам с женами своими, полагая их чистыми и безвредными и не боясь заразиться, хотя случается и такое; я и сам знавал мужей, награжденных позорной болезнью по милости жен, а впрочем, случается и наоборот.

Мужья, предающиеся недозволенным излишествам с женами,

достойны осуждения, по мнению многих высокоученых докторов, ибо ведут себя в постели не как положено, скромно и пристойно, а распутничают, будто возлегли с наложницею, забывая о том, что брак заключается для исполнения супружеского долга и продолжения рода, а не для постыдных утех и блуда. Приведу в пример ответ императора Сейануса Коммода, иначе прозванного Анкусом Вером, супруге своей Домиции Кальвилле, попрекнувшей его тем, что он лишал ее многих плотских услад и ухищрений, осчастливливая ими куртизанок, распутниц и шлюх; вот что он сказал ей на это: «Смиритесь, возлюбленная супруга, с тем, что я удовлетворяю похоть мою с другими, ибо звание жены сообразно с достоинством и честью, но не с постыдным любострастием и развратом».

Не могу сказать (ибо так нигде и не отыскал), что ему отвечала на это жена его, императрица, но, надо полагать, ее мало удовлетворила сия благостная сентенция, и скорее всего она в сердцах возразила ему так, как сделали бы многие, если не все замужние женщины: «Пропади пропадом эта ваша честь, и да здравствует наслаждение! Ибо с ним жизнь куда приятнее, нежели с честью».

Нет никакого сомнения и в том, что большинство нынешних мужей, да и не только нынешних, согласятся с этим девизом, ибо для чего же они вступают в брак, если не для приятного времяпрепровождения и всяческого любострастия, для обучения жен своих разнообразным ухищрениям, и позам, и бесстыдным возбуждающим речам, дабы Венера, дремлющая в каждой женщине, от всего этого пробудилась и встрепенулась; но беда, коли супруга, переняв сию науку, пойдет на сторону — ждут ее тогда побои, наказания, а то и лютая смерть.

Во всем этом столь же мало смысла, как если бы кто-нибудь, вырвав бедную девушку из материнских объятий, лишил девственности и чести, а после, натешившись вволю, побоями принудил бы ее жить целомудренно и честно; поистине большей нелепости в мире не сыскать! Кто из нас не сочтет такого мужчину безумцем, достойным порицания?! И кто не осудит за эдакое многих мужей, которые развращают и растлевают собственных жен куда усерднее, нежели сделали бы это их возлюбленные, ибо законному супругу всегда сподручнее любовника заниматься сим ремеслом; ну а дамы, пристрастившись к эдаким упражнениям, начинают заниматься ими то с тем, то с другим по примеру опытного всадника, кому стократ приятнее вскочить на коня, чем какому-нибудь увальню неумелому. «Ну что за проклятое ремесло Венерино! — сетовала та же куртизанка. — Как примешься за него, так уж до самой

смерти не отстанешь, до того прилипчиво!» Вот почему мужьям следует быть осмотрительнее и не обучать жен своих чему не следует, а уж коли обучили, не наказывать за то, что дамы слишком резво побежали по дорожке, на которую те сами толкнули их.

Тут следует сделать отступление, рассказав об одной красивой и благородной замужней даме, мне знакомой, которая отдалась некоему знатному дворянину как из любви, так и из ревности к другой даме, бывшей у него любовницею на содержании. Лежа с ним в постели и наслаждаясь объятиями, она сказала ему: «Ну вот, теперь я могу быть довольна, наконец-то я одержала верх над любовью вашею к такой-то». На что дворянин возразил: «Как может взять верх особа, подчиненная другому и под ним лежащая?» Дама, уязвленная в самое сердце, признает: «Да, вы правы». И тут же проворно из-под него выбирается и, не дав ему опомниться, подминает под себя и усаживается верхом. Вряд ли какой всадник или римский воин вспрыгивал на коня столь резво, как дама эта вскочила на своего кавалера и принялась за работу со словами: «Ну вот, теперь-то я смело могу сказать, что взяла верх над вами, поскольку сижу сверху!» Даме этой не откажешь в остроумии и в смелом бесстыдстве, с каким она обошла своего любовника.

Слыхивал я об одной необыкновенно красивой и добронравной даме, страстно приверженной любовным забавам, но притом столь гордого и независимого нрава, что она не переносила, когда мужчина ложился сверху и таким образом подчинял ее себе; такое она почитала за величайшее унижение и решительно отвергала сей вид покорности и рабства, стремясь всегда и во всем верховодить. И еще одного придерживалась неукоснительно: никогда не отдавалась она мужчине выше себя ростом, боясь, что он, употребив силу, станет вертеть, крутить и ломать ее, как ему вздумается; напротив того, выбирала только равных себе или же низкорослых, коими могла командовать и помыкать в постели, при любовной схватке, не хуже иного военачальника на бранном поле; всем им приказывала она знать свое место и не чересчур усердствовать, а не то прощай любовь или сама жизнь; ни один из них, что стоя, что сидя, что лежа, так и не смог добиться перевеса хоть в какой-нибудь малости, подчинив или унизив даму, если не было на то ее согласия. Отношусь с этим рассказом к суду и мнению тех кавалеров и дам, кого заботит сия сторона любви с ее позами, телоположениями и способами.

Дама эта могла распоряжаться подобным образом, не нанося ни малейшего ущерба хваленой своей чести и горделивому

сердцу, ибо, по отзывам некоторых опытных в сем деле людей, существует множество всяких способов и средств добиться покорности и послушания.

Вот, не правда ли, жестокая, странная и нелепая причуда гордого женского нрава! Хотя, с другой стороны, и здесь имеется свой резон, ибо нет большего страдания для гордой женщины, чем сознавать себя униженной, попранной, растоптанной; каково ей, при ее достоинстве, думать: «Такой-то сунул меня под себя и всю измял, как тряпку, только что ноги об меня не вытирает, а действует иначе, но одно другого стоит».

И та же дама никогда не позволяла любовникам своим целовать ее в губы, объясняя это так: «Прикосновение губ к губам есть самое чувствительное и драгоценное среди всех прочих касаний — руки ли, другой ли части тела, а потому не желаю, чтобы чужой, грязный, недостойный рот поганил мой собственный».

А вот и второй вопрос, который я желал бы обсудить: какое преимущество имеет более сильный над своим партнером, мужчиной или женщиной, в сих любовных схватках и победах?

Мужчина торжествует по вышеприведенной причине, а именно: победа кажется ему более почетной, когда он удерживает нежную свою неприятельницу под собою, подчиняет и приручает ее, крутит и вертит, как ему вздумается, ибо нет такой женщины, пусть даже самой знатной, которая, очутившись в эдаком положении хотя бы с низшим и неравным себе, не покорилась бы закону и предписанию Венерину; вот почему вся слава и честь в данном случае принадлежит мужчине.

Женщина же рассуждает так: «Да, я согласна, что мужчина должен гордиться, удерживая меня под собою и подчиняя своей воле; однако же пусть его тешится своей пресловутой победою, зато я непременно одержу верх над ним веселостью, шаловливыми прихотями, словом как бы невзначай, но отнюдь не принуждением. Вдобавок стоит мне наскучить своею победою, как заставлю его служить мне усерднее раба или каторжника на галере, старательнее ломовой лошади, и он принужден будет трудиться, пыхтеть, потеть, изворачиваться и налегать из последних сил, тогда как я знай себе полеживаю и горя не знаю, да еще либо посмеиваюсь над бедным тружеником, либо жалею его — смотря по настроению, потом, вдоволь натешив свою прихоть, оставляю любовника на постели одного, измученного, заезженного, обессиленного и растерянного; теперь уж ему не до подвигов, только бы отдохнуть да подкрепиться каким-нибудь питательным блюдом, не то, глядишь, сейчас дух вон. Я же, после эдаких его вывертов и стараний, нимало не утомлена, а весьма

даже ублажена и довольна и забочусь лишь о том, как бы найти другого столь же усердного всадника, готового к бою и капитуляции. Вот так-то, господин любовник! Словом сказать, я никогда не сдаюсь сама, но беру в плен нежного моего неприятеля, памятуя о том, что легко сдавшегося ждет бесчестие, а сражающемуся до последнего вздоха уготована слава».

Одна красивая и благонравная дама поведала мне, как однажды ночью муж разбудил ее крепко спящую, дабы заняться любовью, после чего она ему сказала: «Теперь вы довольны? Ну а я еще нет!» И, находясь сверху, налегла на него всем телом, крепко стиснула руками и ногами, приговаривая: «Я вам покажу, как будить меня, в другой раз прежде крепко подумаете, стоит ли игра свеч!» — и давай мучить, тормошить и трясти мужа что было сил, а он, лежа под нею, никак не мог освободиться, и пришлось ему вторично поработать до седьмого пота, пока не взмолился он о пощаде и на последнем издыхании не поклялся ей, что отныне будет обладать женою только в положенное время, согласно ее настроению и желанию. Не правда ли, вот занимательный сюжет, более располагающий к размышлениям, нежели к изложению на бумаге?!

Таковы были резоны этой дамы — и вышеприведенный, и еще многие другие.

К сему мужчины присовокупляют и следующее: «У нас нет никакого сосуда, ни большого, ни малого, в отличие от женщин, которых природа наделила таковым и куда мы сбываем ту грязную субстанцию (коли можно так назвать мужское семя, изливаемое во время супружеских или просто любовных объятий), что оскверняет ваше лоно, уподобляя его помойной лохани». — «Верно, — отвечают дамы, — но сейчас же после того, как прекрасная ваша сперма, которую полагаете вы даже чище крови, попадает в нас, мы извергаем ее в лохань или горшок, куда сливают вонючие грязные помои, ибо что пятьсот, что тысяча, что две-три тысячи соитий, что миллион, все равно нам-то предостаточно одного-единственного, ибо матке нужна всего одна капля, коли та угодит в нужное место, ну а остальное, как уже сказано, прочь, в отхожий чулан! Так что не бахвальтесь тем, что оскверняете нас своею грязною спермою, ибо, кроме той одной, потребной для зачатия капельки, все прочее выбрасывается тотчас после объятий как ненужная мерзость. Притом мы говорим или думаем так: „Господин садовник, вы удобрили мой сад, вот же вам ваша поливка, возьмите ее себе, коли хотите; я более не нахожу в ней прежнего вкуса“. И заметьте себе, что самая ничтожная из шлюх может ответить подобным образом даже принцу или королю, коли он ее этим попрекнет, и будет в своем праве, выказывая такое пренебрежение, хотя королевская кровь — наиблагороднейшая в мире и не всякая из нас удостаивается смешать ее со своею».

Вот каково мнение женщин — с той, однако, оговоркою, что негоже драгоценнейшей и чистейшей королевской крови осквернять себя соединением с чужою, неблагородною; недаром

же по закону Моисееву запрещалось изливать семя в землю; что же сказать о нашем случае, когда королевскую сперму сливают в помойную лохань!

Уж лучше бы женщины поступали по примеру того знатного сеньора, который однажды ночью, возбудившись во сне, осквернил себя и замочил спермою простыни; он приказал закопать их в земле, сказавши, что негоже пренебрегать даже каплею, ибо в капле этой содержится не-родившийся младенец, теперь все равно что умерший, а ведь она могла бы попасть в чрево женщины, и та родила бы ребенка.

Конечно, он мог и ошибиться, ибо случается, что от тысячи супружеских соитий в год женщина все равно не беременеет, а некоторые и за всю жизнь не могут понести, оставаясь бесплодными и бездетными, откуда и пошло богохульное мнение, что брак, мол, служит не столько для продолжения рода, сколько для наслаждения, — резон, коему верится с трудом, ибо, коли женщина не беременеет от всякого соития, значит, есть на то неведомая нам Господня воля в наказание жены или мужа; известно ведь, что самая великая милость, какою Бог благословляет супругов, есть здоровое потомство, рожденное в законном браке, а не в сожительстве; правда, многие женщины находят утеху в том, чтобы родить именно от любовника; эти воздерживаются от сношений с мужьями, дабы знать наверняка, что зачали не от них, а ежели и спят с ними, то не допускают внутрь себя их семя; не знаю, достойно ли это порицания, — так человек со слабым желудком, взявши в рот скверный, несъедобный кусок, пожует его да и выплюнет прочь.

Вот отчего слово «кукушка», означающее тех апрельских птиц, что откладывают яйца в чужие гнезда, прилипло, в силу странного парадокса, к мужьям, в чье гнездо, а вернее, в чьих жен откладывают свое семя любовники, делая им незаконных детей.

И по той же причине многие женщины полагают себя верными мужьям своим именно тогда, когда спят с мужчинами, предаваясь плотским утехам, но не принимая семя, дабы совесть была чиста; так, рассказывали мне об одной знатной даме, что говорила любовнику: «Забавляйтесь со мною сколько угодно, ублажайте как хотите, но только берегитесь поливать мой сад: коли упустите хоть одну каплю, вам не жить». И приходилось бедняге, не теряя головы, в страхе стеречь тот миг, когда начнется прилив.

Мне довелось услышать похожий рассказ из уст шевалье де Санзе из Бретани, весьма благородного, честного и храброго дворянина, который, не унеси его смерть еще в юные лета, обещал сделать блестящую морскую карьеру, начавши свою

службу с подвигов, коих следы носил он на теле: пушечное ядро неприятеля оторвало ему руку во время морского сражения. В молодости постигло его несчастье: он был взят корсарами в плен и увезен в Алжир. Там продали его в рабство к главному местному мулле, у которого была жена-раскрасавица; женщина эта так пылко влюбилась в нашего Санзе, что приказала ему явиться к ней в покои для любовных утех, пообещав усладить его лучше, нежели всех своих других рабов, но притом строго-настрого, под страхом смерти или вечного заточения, воспретив излить в нее хоть одну каплю семени, ибо, по ее словам, не желала осквернить себя христианской кровью и тем самым тяжко оскорбить мусульманский закон и великого пророка Магомета; более того, предупредила его, что даже если она распалится и прикажет ему излить в нее все семя, доставив ей высшее наслаждение, то чтобы он не смел этого делать, ибо сей приказ будет повелением ее тела, но не души.

Санзе, которого содержали лучше и свободнее других рабов, хотя он и был христианином, дозволил себе этот грех, противный его вере, ибо куда же прикажете деваться человеку, попавшему в жестокую неволю?! Повинуясь своей госпоже, он сумел и ее ублажить, и в то же время не потерять головы; истово молол зерно на мельнице у дамы, не упуская, однако, ни капли жидкости, но, чувствуя начало половодья, тотчас отстранялся и изливал семя в другое место; за эту заслугу дама пылко возлюбила его, благо что он не послушался, когда она в забытьи кричала: «Оставьте, оставьте у меня, я вам позволяю!» — поскольку боялся побоев палками на турецкий манер, каковому наказанию часто подвергались на его глазах товарищи по несчастью.

Вот какова жестокая женская прихоть; турчанка эта во многом преуспела: и плоть свою потешила, и душу спасла, и христианскую веру слуги своего уважила, запретив ему смешивать свою кровь с турецкою; однако же, по словам Санзе, никогда в жизни не приходилось ему попадать в эдакий переплет.

Поведал он мне и другую, еще более занятную историю о том, как обошлась с ним турчанка, но, поскольку сей рассказ слишком уж скабрезен, не стану приводить его здесь из опасения оскорбить слух целомудренных наших дам.

Какое-то время спустя Санзе был выкуплен из плена родственниками своими из богатого и знатного бретонского рода, к коему принадлежал и коннетабль, который нежно любил старшего брата и всеми средствами способствовал его освобождению; прибыв наконец ко двору, Санзе поведал господину Строцци и мне множество занимательных историй;

одна из них и изложена выше.

Что же сказать теперь о мужьях, коим мало владеть и обладать своими женами, они же еще разжигают аппетит у их воздыхателей и любовников, не говоря о прочих. Знавал я многих таких мужей, что нахваливали посторонним жен своих, расписывая их прелести, разбирая все стати, смакуя супружеские услады и любовные сумасбродства в постели; более того, дозволяли чужим мужчинам целовать и ласкать своих жен и даже видеть их обнаженными.

Чего заслуживают эдакие мужья, если не крепких ветвистых рогов?! Вот так же случилось с царем лидийским Кандавлом, который вздумал нахваливать Гигесу несравненную красоту своей супруги, как будто его за язык тянули; а потом приказал ей явиться пред ними обнаженною; увидав царицу без покровов, Гигес столь пленился ею, что убил Кандавла да и завладел и женою его, и царством. По преданию, царица так возмутилась непотребством мужа, что сама склонила Гигеса к злодейству, сказав ему: «Пусть тот, кто заставил тебя смотреть на меня обнаженную, умрет от твоей руки, либо ты умрешь — от его». Вот и судите сами, умно ли поступил этот царь, разжигая у другого вожделение к прекрасной юной плоти жены своей, которую должен был, напротив, хранить как зеницу ока.

Людовик, герцог Орлеанский, убитый впоследствии у ворот Барбетт в Париже, поступил иначе (а был он великим повесою и любил совращать знатных придворных дам): переспавши с одною из них, наутро принял он у себя в спальне ее мужа, явившегося засвидетельствовать герцогу свое почтение; накрыв голову дамы простынею, он обнажил все ее тело и, позволив мужу разглядывать и даже трогать его (отнюдь не видя лица), настойчиво спрашивал, нравится ли тому сия прекрасная незнакомка; муж был поражен красотою ее тела; наконец герцог милостиво отпустил его, и бедолага удалился, так и не узнав, что любовался собственною женой.

Коли бы этот муж позорче разглядывал жену свою в постели нагою, то, думаю, он тотчас признал бы ее по многим приметам; отсюда совет мужьям: не вредно изучить жену с обоих концов.

После того как злополучный муж покинул спальню, герцог Орлеанский спросил любовницу, сильно ли она перепугалась. Предоставляю вам самим судить, какую ужасную четверть часа претерпела бедняжка: окажись ее муж чуть посмелее и приподними он краешек простыни, пришел бы ей конец! Правда, герцог заверил ее, что в таком случае тотчас убил бы дерзкого, дабы помешать ему причинить зло своей жене.

Хорош же растяпа и этот муж: проспавши следующую ночь с

женою, он рассказал ей о том, как герцог Орлеанский хвастал пред ним нагою любовницей, прекраснее которой он никогда не видывал, вот только о лице ее он, мол, судить не берется, ибо герцог скрыл его под простынею. Можно вообразить, о чем в тот миг думала его жена. Кстати, дама эта родила от герцога незаконного ребенка, прозванного Орлеанским бастардом, который впоследствии стал опорою французского престола и грозою Англии; от него и пошел благородный и бесстрашный род графов Дюнуа.

Но вернемся еще ненадолго к нашим догадливым мужьям, не узнающим нагого тела жен своих: слыхал я об одном таком, который однажды поутру, одеваясь, принял у себя в спальне друга и показал ему жену свою, крепко спавшую в постели и по причине жары скинувшую с себя простыни; муж своею рукой откинул занавесь алькова, дабы солнце осветило поярче нагое ее тело, отличавшееся совершенною красотой, и позволил другу налюбоваться ею всласть; вслед за чем оба они поспешили во дворец к королю.

На следующий день дворянин этот (а он давно ухаживал за благонравной женой друга своего) рассказал ей, что видел ее обнаженною, а в доказательство перечислил все мелкие особенности прелестного ее тела, не забыв и самых потаенных мест; да и муж подтвердил его рассказ, добавив, что сам отдернул занавесь. Дама, от злости на супруга, не замедлила отдаться своему воздыхателю, чего он ранее никак не мог добиться при всей своей преданной любви.

Знавал я одного наизнатнейшего сеньора, который однажды поутру сбирался на охоту, и пока его обували в спальне, допустил туда своих приближенных; жена его лежала рядом с ним в постели, зажавши в горсти его мужское орудие, как вдруг сеньор наш поднял одеяло столь проворно, что она не успела отдернуть руку, и все увидали, где она держала ее, да вдобавок и саму ее голою до пояса; сеньор со смехом обратился к присутствующим: «Ну как, господа, не показал ли я вам много интересного, что у себя, что у моей половины?» Но супруга его была столь поражена и уязвлена сим поступком, особливо в отношении своей руки, что, думается мне, отплатила ему за сию шалость с лихвою.

Известен мне подобный же случай с одним знатным вельможею, прознавшим, что друг и родственник его влюбился в его жену, и вот, то ли желая посильнее разжечь аппетит у сего воздыхателя, то ли злорадствуя оттого, что владеет такою красавицей, а тот — нет, он однажды поутру показался этому влюбленному в постели вместе с женою, обнаженной до пояса: вдобавок потребовал, чтобы тот оценил по достоинству мужнюю

милость и глядел во все глаза. Судите сами, могла ли дама, оскорбленная эдакой бесцеремонностью своего супруга, не оказать воздыхателю другую милость, куда более приятную, украсив мужа своего тем, что он заслужил сполна, а именно ветвистыми рогами.

Слыхал я историю о другом знатном сеньоре, который выставил жену нагишом пред повелителем своим, принцем, правда по просьбе или приказанию последнего, большого любителя эдаких зрелищ. Не правда ли, тут оба они виновны и достойны звания сводников, развратников и мучителей?!

Никогда не следует хвастать ни обнаженной женою, ни землями своими, ни прочим добром; один видный военачальник рассказывал мне, как покойный герцог Савойский отсоветовал последнему королю Генриху, возвращавшемуся из Польши через Ломбардию, въезжать в город Милан — на том якобы основании, что это может не понравиться королю Испанскому; причина, однако же, заключалась совсем в другом; он опасался, что король, попав в сей город и увидев его красоту, богатство и величие, соблазнится всем этим и пожелает захватить и отобрать назад, по закону и праву войны, подобно своим предшественникам. Вот какова была истинная подоплека, которую собеседнику моему растолковал покойный король, раскусивший хитрость герцога. Однако, желая угодить этому последнему и не досаждать королю Испании, он последовал данному совету и объехал город стороною, хотя имел сильнейшее желание посетить его; сие он сам милостиво поведал мне по прибытии в Лион; герцог же Савойский, без сомнения, в этой истории показал себя скорее испанцем, нежели истинным французом.

Я полагаю преступниками также и тех мужей, которые, добившись помилования стараниями жен своих и чрез них оставшись в живых, выказывают после того мерзкую неблагодарность, попрекают этих женщин в любовных связях с другими мужчинами и обращаются с ними жестоко и безжалостно, а иной раз посягают даже и на их жизнь. Слыхивал я об одном таком сеньоре, коего замыслили убить заговорщики; жена слезно умолила их не приводить сей злодейский замысел в исполнение и отвела от него гибель; что же муж? — стал обходиться с бедной женщиной хуже, чем с собакой.

Встречал я еще одного дворянина, которого обвинили в нарушении воинского долга, а именно в том, что он не защитил генерала на поле битвы, более того, сбежал, бросив его умирать без всякой помощи; приговорили этого дворянина к смертной казни на плахе, невзирая на двадцать тысяч экю, что дал он судьям за смягчение приговора. Жена его переговорила с одним

знатным сеньором и, повинуясь разрешению и мольбам своего мужа, переспала с ним; и вот то, чего не добились деньги, сделали ее красота и прелесть ее тела: преступнику вернули и жизнь и свободу. Он же в благодарность замучил жену чуть не до смерти. Ну не достойны ли презрения эдакие злобные безумцы?!

Правда, знавал я и других, которые не поступали как вышеописанные, а, напротив того, отлично зная, откуда пришло спасение, всю свою последующую жизнь благословляли ту щель, чрез которую ускользнули от смерти.

Есть и еще одна разновидность рогачей: эти, промаявшись весь свой век с неверною супругой, не желают и в смерти расставаться со своею маятой; знал я одного такого, женатого на видной и красивой женщине, которою, однако, обладал на паях со многими другими; так вот, лежа на смертном одре, он все стонал: «Ах, душенька моя, помираю я! Ох, дал бы Господь, чтобы вы составили мне компанию и мы вместе отправились бы на тот свет! Тогда мне и помирать было бы куда как легче!» Но жена его, все еще не старая и пригожая, тридцати семи лет дама, не пожелала сопровождать его на сем скорбном пути, то есть оказалась поумнее пресловутой Эвадны, дочери Марса и Фебы, жены Капанея, которая, по преданию, столь горячо любила мужа, что бросилась в погребальный костер, куда возложили его останки, да и сгорела заживо вместе с ним, доказав тем самым свою верность и решимость не покидать супруга даже в смерти.

Альцеста поступила еще благороднее: узнав от оракула, что мужу ее Адмету, царю Фессалии, грозит скорая гибель, ежели никто не отдаст за него свою собственную жизнь, она ринулась навстречу смерти и тем спасла мужа.

Но, увы, нынче уж не сыщешь таких сердобольных женщин, что по своей воле легли бы в могилу прежде мужа либо следом за ним. Нет, «повывелась добрая порода», как выражаются парижские лошадники, когда не могут сыскать чистокровных скакунов.

Вот почему я счел неуместными причитания описанного выше умирающего мужа, который приглашал свою половину разделить с ним смерть, словно звал на праздник. В нем говорила злая ревность, ибо он предвидел, какие муки испытает в аду, зная, что супруга его, которую он так старательно обучил любовному ремеслу, не преминет пустить в ход сию науку в объятиях сердечного дружка или нового мужа.

Вот уж поистине странная ревность, да и не ко времени: он все грозился жене, что, коли смерть его минет, он больше не станет терпеть от нее того, что терпел доселе; однако ранее, будучи в добром здравии, преспокойно дозволял ей жить и

забавляться в свое удовольствие.

Не таков был бесстрашный Танкред, геройски прославивший себя в Крестовых походах. Оказавшись на пороге смерти и видя подле себя скорбящую жену, а с нею графа Триполитанского, он приказал им пожениться сразу после его кончины, что они и исполнили.

А ведь при жизни он видел их любовные шашни; жена его пошла резвостью в мать свою, графиню Анжуйскую, которая сперва долго была на содержании у графа Бретонского, потом у короля Франции Филиппа, от которого родила дочь по имени Сесиль: вот эту-то дочь она и выдала замуж за благородного Танкреда, который, по рыцарским своим достоинствам, никак не заслужил звания рогоносца.

Один албанец, состоявший на службе у французского короля, был приговорен к повешению за какие-то злодейства у себя на родине, в горах; когда вели его на казнь, он попросил дозволения увидеть свою жену и проститься с нею, а была она весьма красива и привлекательна. И вот он, прощаясь с женою, поцеловал ее и вдруг вцепился ей зубами в нос да и откусил его напрочь. Когда судьи спросили его, зачем он столь гнусным образом изувечил прекрасное лицо своей супруги, он отвечал: «Я поступил так из ревности, ибо жена моя столь хороша собою, что после моей смерти непременно попадет в руки кого-нибудь из друзей моих, будучи весьма лакомой до любовных утех, меня же самого забудет на другой день. Вот я и решил постараться, чтобы после того, как я умру, она помнила обо мне, плакала и горевала — ежели не из-за моей кончины, то хотя бы из-за собственного уродства, и пусть никто из моих близких не вкусит с нею тех наслаждений, какие познал я сам». Не правда ли, вот омерзительный ревнивец?!

Слыхивал я о других, которые, чувствуя приближение смерти от старости, немощи или боевых ран, тайно и скрытно сокращали, по злобе и ревности, дни супруг своих, даже молодых и красивых.

И вот довелось мне однажды подслушать спор об этих жестоких тиранах-мужьях и о том, имеют ли право женщины, заподозрив безжалостные их замыслы, опередить убийц и сыграть первыми, дабы спастись самим, а тех услать подыскивать квартиры для постоя на том свете.

Из этого спора узнал я, что женщины считают возможными такие деяния, которые, разумеется, противны Господу, ибо Он запрещает всякое убийство, но зато обеспечат жизнь на этом свете; все они сошлись в том, что лучше самой опередить злодея, нежели позволить ему опередить себя; что в конечном счете

человек должен защищать свою жизнь, а поскольку даровал нам ее сам Господь, только Он один и может отнять, послав естественную смерть. Но знать, что тебя хотят лишить жизни, и не противиться сему злодейству и не спасаться, коли можешь спастись, означает пойти на самоубийство, каковое Бог строго осуждает, вот отчего лучше уж отправить мужа вперед, вовремя отразив угрозу, как это сделала Бланш д'Овербрюкт со своим супругом, сьёром де Флави, компьенским маршалом и губернатором, который предал Орлеанскую деву, став причиною ее плена и гибели. Дама эта, Бланш, прознала, что муж собирается утопить ее, и опередила его, успев с помощью мужнина цирюльника задушить злодея; король Карл VII тотчас помиловал ее — думаю, скорее из-за предательства мужа, нежели по другой причине. Об этом можно прочесть во «Французских анналах», в частности там, где пишется о Гиени.

Точно так же поступила, в царствование короля Франциска I, госпожа де ла Борн, которая обвинила мужа своего перед судьями во многих чудовищных преступлениях по отношению к ней и к другим, привела доказательства сих злодейств и добилась его ареста, суда и казни через отсечение головы. Я сам слышал историю эту от своей бабки, которая отзывалась о госпоже де ла Борн как о благороднейшей особе из хорошего рода. Вот эта женщина успела опередить лиходея-мужа.

Королеве Иоанне Неаполитанской также удалось первой покончить с инфантом де Майоркой, третьим своим супругом, которому она приказала отрубить голову по причине, описанной мною в других рассуждениях; однако вполне возможно, что она боялась его и решила опередить; полагаю, она была в своем праве, как и все другие дамы, которые опасаются злодеев-мужчин.

Я слыхал о многих женщинах, которые не раздумывая, одним махом улаживали это дело и тем самым избегали собственной смерти; знавал я одну из них, которую муж застал с любовником; он ни слова не сказал ни той, ни другому, но удалился в страшном гневе, оставив их в страхе и растерянности. Дама, однако, сказала своему другу: «Даром что муж ничем не попрекнул и не наказал меня, чую я, что он замыслил какое-то злодейство; но пусть только я уверюсь, что он готовит мне гибель, и я заставлю его сойти в могилу первым». Судьба смилостивилась над этой дамою: по прошествии некоторого времени муж ее умер своею смертью, чему она немало порадовалась, ибо, как ни подлизывалась к нему, он с той самой поры глядел на нее волком и так и не простил.

Есть и еще один предмет для споров о разъяренных и опасных мужьях-рогоносцах, а именно кому из двоих должен мстить муж

— жене или ее любовнику.

Одни уверяют, что мстить следует жене, основываясь на итальянской пословице, гласящей: «Morta est bestia, morta la rabbia o veneno»[14]. Этим кажется, что они избавятся от своего несчастья, уничтожив ту, что была его причиною; так же рассуждают, к примеру, ужаленные скорпионом: самым действенным лекарством почитают они того же скорпиона, убитого, раздавленного и прижатого к ране, им нанесенной; такого рода мужья называют главными виновницами своего позора жен. Притом я говорю здесь о благородных и знатных дамах, а не о каких-нибудь замухрышках подлого сословия; дамы эти умеют обратить свою красоту, прелесть и учтивые манеры в опаснейшее оружие и с ним открывают военные действия, которые мужчинам остается только продолжить; стало быть, более виноваты те, кто нападает, а не те, что обороняются; к тому же мужчины часто ввязываются в опасные, гибельные схватки по призыву тех же дам, возвещающих о своей любви многими ухищренными средствами; так, осаждающим невозможно проникнуть в большой процветающий и надежно укрепленный город, ежели за его стенами не сыщется какой-нибудь тайный благожелатель, который укажет дорогу внутрь и отопрет неприятелю ворота.

Но поскольку женщины более слабы и хрупки, чем мужчины, надобно прощать им, зная, что коли уж они полюбят всей душой, то непременно и любой ценою добьются желаемого, а не станут таить эту любовь в глубине сердца, томясь и горюя (как поступают лишь немногие!) и утрачивая в печали свою красоту, которая, по их разумению, должна быть источником радостей и удовольствий, а не причиною смерти от любовной лихорадки.

Разумеется, я знавал многих дам, именно так и устроенных; они всегда нападали первыми, и не без причин: одни пленялись красотою, мужеством и привлекательностью мужчины, вторые рассчитывали выудить из него побольше денег, третьи жаждали драгоценных камней, жемчугов и платьев из золотой и серебряной парчи, — и все это они вытягивали из мужчин так же умело и ухватисто, как продавец вытряхивает плату из покупателя (недаром же говорится: «Баба берет, значит, дает!»); четвертые гонятся за придворными милостями, пятые завлекают судейских, дабы получить, благодаря красивому телу, то, чего не получишь по закону; вдобавок к перечисленному всё они ждут от любви сладостных любовных утех.

Видал я на своем веку многих женщин, до того влюбленных в своих дружков, что они бегали за ними по пятам, не отставая ни на шаг и покрывая себя позором пред всем светом.

Так, одна красавица, влюбившись по уши в знатного сеньора, носила его цвета, тогда как принято, напротив, чтобы воздыхатель носил цвета своей дамы. Я мог бы даже назвать эти цвета, но, боюсь, разоблачение будет слишком уж неприлично.

Знавал я еще одну даму, муж которой нанес оскорбление ее любовнику во время придворного турнира; пока торжествующий супруг на бале во дворце праздновал победу, дама с досады переоделась мужчиною и побежала к своему дружку, дабы утешить его объятиями, ибо она сгорала от любовного нетерпения.

Я встречал одного благородного дворянина, имеющего добрую репутацию при дворе, который решил записаться в близкие друзья к некой красивейшей и привлекательной даме, благо она выказывала ему живейшее свое расположение; к другой же даме относился он с почтительным уважением и не более того, хотя она непрестанно залучала его к себе сладкими любовными речами, говоря, к примеру, так: «Дозвольте мне, по крайней мере, любить вас, коли уж вы меня не любите; оцените не достоинства мои, но страстную любовь, что я питаю к вам!» (Хотя, разумеется, она при этом уповала именно на свои прелести!) Что ж было делать нашему дворянину, куда деваться? Пришлось ему полюбиться с нею, коль скоро она его так упорно осаждала, и лечь с нею в постель, а после спросить плату за сию услугу, ибо, само собой разумеется, за такие услады положено платить сполна.

Словом, я мог бы назвать бесконечное множество дам, которые сами искали милостей у мужчин, а не ждали, когда те у них попросят. Вот почему на них и лежит большая вина, нежели на их любовниках: однажды наметив себе жертву, дама уже не остановится на полпути, а дойдет до конца, завлекая мужчину в свои сети нежными взглядами, телесными прелестями и шаловливой грацией, давно отточенной и испытанной на сто ладов; далее, умелой размалевкою лица, ежели оно не довольно красиво, кокетливым чепцом или наколкою, искусно и богато украшенной прическою, идущей к чертам, великолепными, роскошными нарядами, а главное, сладострастными, почти похотливыми речами, к коим добавляются ласковые и соблазнительные касания и ужимки, а также гостинцы и подарки. Не успел кавалер и оглянуться, как он уж в плену, и ничего ему не остается, как принять предлагаемое; почему и считается, что мужья должны в первую голову мстить женам.

Другие же полагают, что по возможности следует мстить любовникам, как тем, кто осаждал город: ибо ведь это они первыми объявляют войну, засылают лазутчиков, возводят валы и

роют мины под стенами, палят из пушек и ходят на приступ и первыми же ведут переговоры с неприятелем; то же можно сказать и о любовниках, которые отважно и решительно осаждают крепость женской стыдливости, так что дамы, выдержав все тяготы борьбы, в конце концов поневоле должны выкинуть белый флаг, капитулировать и впустить нежного своего неприятеля в ворота. В чем, должен признать, они виновны менее, нежели иные думают: защищаться от захватчика не так уж легко, и здесь без потерь не обойтись; так, довелось мне видеть многих кавалеров, которые после длительной и упорной осады все-таки завладели предметом своей страсти, хотя дамы эти долго не сдавались и вначале уступать были вовсе не намерены, однако же почти все, а некоторые и против воли, капитулировали подобно тем парижанкам, что часто подают нищим не столько из жалости или из любви к Богу, сколько желая поскорее отвязаться от наглых приставаний; а еще бывает, что дама уступает домогательствам знатного сеньора из страха, не осмеливаясь отказать вельможе, который может в отместку и ославить, и обидеть, что я не раз и видывал на своем веку.

Вот почему мужья-злодеи, коим так сладко мучить, терзать и убивать жен своих, не должны вершить суд скорый и неправый, а сперва им следует тайком разузнать, что да как, пусть даже сие дознание будет им в тягость и ввергнет в раздумья и сомнения, доставив множество печалей.

Кстати, к сему: знавал я одного чужеземного принца, женатого на красивой и добросердечной даме, которую он покинул ради другой — то ли известной куртизанки, то ли соблазненной им фрейлины; этого ему показалось мало, он стал спать с любовницей своею в комнате, расположенной прямо под спальнею жены, и всякий раз, водружаясь на свою красотку, со злой радостью стучал два-три раза короткой пикою в потолок с криком «Эй, жена, я поехал!». Таковое измывательство продолжалось много дней подряд и смертельно уязвило бедную женщину, которая наконец с отчаяния решила отомстить и отдалась одному весьма досточтимому дворянину, сказавши ему однажды в беседе с глазу на глаз: «Я хочу, чтобы вы спали со мною, иначе разорю и опозорю вас». Тот обрадовался столь редкой удаче и согласился не раздумывая. С тех пор, стоило принцу заключить в объятия свою наложницу и крикнуть: «Я поехал!» — как жена, милуясь с любовником, отвечала ему сверху: «И я тоже!» — либо: «А я вас обогнала!» Все эти словесные перепалки и скачки наперегонки тянулись до тех пор, пока принц наконец не заподозрил правды и, приказав последить за супругою, узнал, что та наградила его ветвистыми рогами и

скакала так же резво, как муж, платя ему тем самым за глумление. Уверившись в ее измене, принц понял, что комедия обратилась в трагедию; когда он в последний раз возгласил ей свой «отъезд», а она ответила тем же, то взбежал по лестнице и внезапно распахнул двери ее спальни, застав любовников за делом. Дама сказала: «Я знаю, что погибла; можешь убить меня на месте, я не страшусь смерти, более того, желаю ее, ибо успела отомстить тебе, сделав рогоносцем; однако ты сам виноват в своем позоре, который я никогда не навлекла бы на тебя в ином случае; я была верна и предана тебе и не изменила бы ни за какие сокровища, но ты оказался недостоин такой честной и порядочной женщины, как я. Итак, убей меня хоть сейчас, но, умоляю, если у тебя в сердце осталась хоть искра милосердия, пощади этого беднягу, который попал сюда не по своей воле, но по моему настоянию и как орудие моей мести». Принц, однако, жестоко и безжалостно убил обоих. Посудите сами, что же иное могла сделать сия принцесса в ответ на мужнее презрение и издевательство, как не это?! Одни оправдают ее, другие осудят; много доводов можно привести и с той и с другой стороны.

В «Ста новеллах» королевы Наваррской есть одна весьма замечательная: она посвящена королеве Неаполитанской и весьма сходна с вышеприведенной; героиня точно так же отомстила мужу, но только развязка была не столь трагическою.

Но оставим в стороне злобных, обезумевших рогоносцев-мужей — довольно уж о них говорено; мерзкие и отвратительные их деяния недостойны подробных описаний, да и сам сюжет к тому не располагает. Побеседуем-ка лучше о рогоносцах снисходительных, благодушных и многотерпеливых, невзыскательных и мягкосердечных, на все закрывающих глаза и все сносящих с ангельскою кротостью.

Итак, среди этих рогоносцев бывают и вовсе несведущие, и те, что все знают еще до свадьбы, а именно, что девица или вдова, на коей собрались они жениться, успела пожить в свое удовольствие; первые же ничего такого не подозревают и верят на слово избранницам своим либо их родителям, друзьям и знакомым.

Знавал я многих мужчин, что женились на девицах или дамах, отлично зная, что те прошли через руки королей, принцев, знатных и простых дворян; однако же, прельщенные их похождениями, а также богатством, драгоценностями и деньгами, заработанными любовным ремеслом, ничтоже сумняшеся, вступали в брак с ними. Поговорим же здесь в первую очередь о девицах.

Слышал я историю о дочери великого государя, которая влюбилась в одного дворянина и отведала вместе с ним первых

плодов любви, после чего аппетит у ней так разгорелся, что она целый месяц продержала любовника взаперти у себя в туалетной, потчуя его самыми отменными и изысканными супами и мясными блюдами, дабы в нем укрепились силы и не иссякла та чудесная субстанция, до коей она стала весьма лакома; обучившись под ним начаткам любви, она и дальше держала его наставником всю жизнь, не упуская меж тем и других учителей; позже, в возрасте сорока пяти лет, сочеталась она брачными узами с одним знатным сеньором, который ни словом не попрекнул ее, напротив, не мог нарадоваться на столь выгодную женитьбу.

Боккаччо приводит нам пословицу, модную в его время: «Девка употребленная — что луна нарожденная: та, что ни месяц, родится, а эта, глядишь, все девица». Пословицею этой намекает он на героиню одной из своих новелл, прекрасную дочь султана Египетского, которая пропустила через себя девятерых любовников одного за другим, поимев с ними дело не менее трех тысяч раз.

Наконец выдали ее замуж за короля Альгарвы якобы девственницей; на самом же деле король тотчас распознал обман, но промолчал, довольный заключенным браком; новелла сия написана превосходно.

Слышал я от одного вельможи, что среди людей знатного сословия (не всех, конечно, но многих) не принято попрекать девиц тем, что они до замужества три-четыре раза прошли сквозь строй и пики мужчин; а говорил он это со слов одного сеньора, пылко влюбленного в знатную даму, также любившую его, но чуть более опытную, чем ее воздыхатель; однако возникло некое препятствие к их браку, и пришлось им расстаться, по каковому поводу вельможа мой спросил, успел ли он, по крайней мере, прокатиться на этой лошадке. И, получив ответ, что не успел, хотя и стремился к тому, заметил: «Тем хуже для вас, а вот усладили бы себя и горя бы не знали!» Ибо, повторяю, у знати не положено слишком строго блюсти девичью честь, и в родовитых семьях все сходит с рук, что до венца, что после. А добрые мужья и снисходительные рогоносцы и так предовольны.

Когда король Карл объезжал свои владения, в одном большом городе, который я назову позже, оставлена была девица, разродившаяся дочерью от одного весьма знатного сеньора; девочку поручили заботам бедной горожанки, коей уплатили за уход и кормление двести экю. Бедная женщина усердно воспитывала свою питомицу целых пятнадцать лет, по прошествии которых та выросла, стала совершенною красавицей и пошла по дурной дорожке, ибо родная ее мать четыре месяца спустя после родов вышла замуж за одного вельможу, а о дочери

даже ни разу не справилась. Что и говорить, многонько знавал я таких дам и кавалеров, беззаботных и бессовестных!

В бытность мою в Испании услыхал я однажды историю о богатом и знатном андалузце, который выдал сестру за другого столь же высокородного сеньора; по прошествии трех дней он сказал новобрачному: «Senor hermano, agora que soys casado con mi hermana, y l'haveis bien godida solo, yo lo hago saber que siendo hija, tal y tal gozaron d'ella. De lo passado ne tenqa cuydada, que poca casa es. Del future guardate, que mas y mucho a vos toca»[15]. Этим желал он сказать, что сделанного не воротить, не о чем и сокрушаться, но будущее затрагивает честь мужа куда сильнее прошлого.

Многие мужчины придерживаются того же мнения, предпочитая быть рогоносцами, так сказать, задним числом, нежели в настоящем; в этом они, может статься, и правы.

Рассказывали мне об одном высокородном чужеземце, что выдал замуж свою раскрасавицу дочь за другого знатного вельможу, который долго искал ее руки, да вполне и заслуживал ее; однако же перед тем, как выпустить дочь из дому, отец решил самолично снять пробу, говоря, что уж коли он так усердно воспитывал и взращивал сию породистую кобылку, то должен первым вскочить на нее, дабы проверить, на многое ли она годится. Не знаю, правда ли это, только говорили, что познал ее не один отец, но и другой красивый и благородный дворянин; муж тем не менее не увидел в этом поступке ничего для себя обидного — напротив, почел за честь. Да и решись он ее осудить, его бы не поняли: она была красотка не из последних, а красоте к чему же пропадать зря?!

Слыхивал я и множество других историй об отцах, особливо знатного сословия, что обходились со своими дочерьми столь же бесцеремонно, наподобие петуха из басни Эзопа: петух этот встретил лисицу, и та стала угрожать ему смертью, от которой петух решил откупиться, собрав все свое добро, а главное, прекрасное свое потомство. «Ага! — воскликнула лисица. — Вы, господин сладострастник, топчете дочерей своих так же бесстыдно, как и других кур; за этот-то грех я и обрекаю вас смерти!» И тотчас сожрала петуха. Каково рассудила хитрая шельма?!

Вот и додумывайте сами, чем занимаются некоторые девицы с любовниками своими, когда еще задолго до них прошли через руки отцов, братьев, кузенов и прочих родственников.

Уже в наше время король Неаполитанский Фердинанд таким образом познал в браке тетку свою, дочь короля Кастильского, когда ей сравнялось не то тринадцать, не то четырнадцать лет;

правда, сие свершилось с папского дозволения. Но поначалу священнослужители долго спорили и препирались по этому поводу, не зная, возможен ли подобный брак. Здесь стоит вспомнить римского императора Калигулу, который совратил всех своих сестер, одну за другою, из коих особенно сильно любил самую младшую, Друзиллу; ее он лишил девства, будучи еще совсем мальчиком, а впоследствии выдал замуж за консула Луция Кассия Лонгина, но вскоре отнял у мужа и стал жить с нею открыто, как с законной женой; и даже, заболев однажды, все свое имущество, то есть империю, завещал именно ей. А когда она умерла, он так скорбел о ней, что приказал отменить все судебные заседания и прочие работы, дабы народ вместе с ним соблюдал всеобщий траур; долго еще не стриг он волос и бороды в знак печали и, обращаясь с речью к сенату, военным или простому люду, неизменно клялся именем Друзиллы.

Что же касается других сестер, то он, вдоволь натешившись, пустил их по рукам своих приближенных, коих содержал и развращал наряду с женщинами; не желая помнить о том, что они услаждали его и потакали каждому его желанию, он весьма недостойно и безжалостно обошелся с ними: сослал в глухую провинцию, но прежде отобрал все кольца и драгоценности, дабы переплавить в монеты, ибо прокутил и растратил огромное наследство Тиберия и сильно нуждался в деньгах; однако вот что удивительно: вернувшись после его смерти из изгнания и увидев, что брат их схоронен небрежно, кое-как и тело его едва присыпано землею, бедняжки сестры тотчас распорядились откопать прах и сожгли его на погребальном костре с оказанием всех необходимых почестей умершему; вот истинное великодушие, отнюдь не заслуженное столь развращенным и неблагодарным братом!

Итальянцы, желая оправдать извращенную любовь своих соотечественников, говорят: «Cuando messer Bernardo il buccieco sta in colera et in sua rabbia, non riceve legge, et non pardona a nissuna dama»[16].

Нам известно множество подобных историй о древних. Но вернемся к нашему рассуждению: слышал я рассказ об одном таком умельце, который выдал за друга красивую и благонравную девицу, похваляясь притом, что уступил ему знатную кобылку чистейших кровей, здоровую и резвую, почему друг и должен нижайше его благодарить; однако тот через приятеля своего из той же компании велел передать сему благодетелю следующий ответ: «Все это верно и прекрасно, только вот кобылку свою вы начали объезжать чересчур рано, отчего она нынче передком слабовата».

И вот еще что хотелось бы мне разузнать у господ мужей: получи они эдаких кобылок целыми и нетронутыми, без пороков да изъянов, неужто те обошлись бы им столь дешево? Ведомо ли им, что, не подвернись они под руку, девиц этих тотчас сбыли бы другим, быть может и более достойным; так барышники любою ценой отделываются от лошадки с порчею; так и родители, отчаявшись сбыть дочь замуж за приличного жениха, подсовывают ее какому-нибудь простофиле, да и то еще им сильно повезет, коли сыщут эдакого и всучат ему девицу, что повидала виды, либо только-только встала на дурную дорожку, либо собирается встать.

Сколько же повидал я на своем веку девиц, которые не донесли девственности до брачного ложа; однако же, наученные матерями, тетками и подружками, сведущими в распутстве, умело притворялись непорочными и напуганными при первой атаке мужа и с помощью всяких хитроумных способов и изобретений уверяли его, будто их сосуд никем еще не почат. Большинство таких притворщиц достигают этого криками и сопротивлением в первую брачную ночь, чем мужья их остаются весьма довольны, полагая, будто честь победы за ними и они первыми ворвались в осажденную крепость на манер бравых бесстрашных солдат; назавтра они пыжатся, словно боевые петухи, и хвастают триумфом своим перед друзьями-приятелями, а бывает, и перед теми, кто побывал в сей крепости задолго до них, а нынче всласть потешается над простаком; ну а молодая жена, со своей стороны, делится радостью с теми наставницами, что так хорошо научили ее ломать комедию.

Бывают, однако, подозрительные мужья, коих сопротивлением этим не обманешь и криками вокруг пальца не обведешь; один из них, мне знакомый, спросил у жены, с чего это она так брыкается и отбивается — неужто не любит его? Молодая стала оправдываться тем, что она, мол, боится боли, какую он может ей причинить. Тогда муж возразил: «Вы, стало быть, это уже испытали, ибо как можно бояться того, что вам неведомо?» Но хитрая девица не попалась на эту удочку, заявив, что наслушалась замужних подружек, которые ее и предостерегали. «Хорошенькие же беседы ведете вы меж собою!» — отвечал муж.

Есть и другое средство, коим пользуются такие женщины, а именно показать наутро после брачной ночи простыни, испачканные кровью, какую проливает бедная девственница, в муках потерявшая невинность; в Испании, например, заведено выставлять эту простыню в окне с громким криком: «Virgen la tenemos!» (Она у нас девственница!)

Я слыхал, что и в Витербо обычай сей поныне в ходу. Но те,

кто прошел огонь, воду и медные трубы и не могут похвастаться собственной девственной кровью, придумали хитрую уловку (о которой и в Риме мне поведали многие молодые куртизанки): дабы набить цену своей так называемой непорочности, они вымазывают простыню голубиной кровью, которая считается чище любой другой; назавтра муж при виде такой простыни расцветает от счастья, поверив, что это следы девственности его жены; бедняга гордится собственной доблестью, не подозревая, сколь глубоко заблуждается.

По этому поводу расскажу забавную историю об одном дворянине, который в первую брачную ночь оказался бессилен познать жену; она же, отнюдь не будучи невинной и добропорядочной девицею и боясь гнева супруга, не преминула, по совету опытных матрон, кумушек и близких подружек, запастись испачканным кровью лоскутом; на ее несчастье, муж так и не смог взбодрить свое орудие, ей же пока еще не подобало выказывать свою прыть и любовное искусство, ибо сие было бы весьма странно для непорочной юницы; не пришлось ей и обороняться от наскоков мужа, визжа, царапаясь и кусаясь (как ожидали соглядатаи, попрятавшиеся по углам спальни), — словом, ровно ничего в ту первую ночь не случилось.

Ближе к утру, по заведенному обычаю, кто-то из гостей, вставши из-за свадебного стола, отправился в спальню да и стащил оттуда пресловутую простыню, на коей присутствующие усмотрели следы крови; она была внезапно выставлена на всеобщее обозрение с ликующими криками, что вот, мол, сколь славно новобрачная рассталась со своею непорочностью и кровь сия — свидетельство того, как лихо молодой супруг разорвал девственную плеву; тот, однако же, отлично помнил, что ничего такого не совершал, и при виде испачканной простыни впал в великое изумление, но вовремя спохватился и гордо напыжился; лишь после, поразмыслив как следует, заподозрил наконец хитрую потаскливую плутню, но ни единым словом не обмолвился о своей догадке.

Новобрачная же и конфидентки ее все дивились его притворству. Так оно и шло целую неделю кряду, вслед за чем муж обрел должную силу и наездился всласть на молодой жене; потом, словно позабыв про обман, во всеуслышание объявил, что нынче показал свою удаль и сделал супругу настоящей женщиной, добавив к сему, что ранее был поражен бессилием. Вот когда все вокруг принялись удивленно судить и рядить об этих чудесах, перемывая косточки новобрачной, что ввела их в заблуждение запачканной простынею; так-то она и опозорила сама себя, попавшись в собственную ловушку из-за бессильного

мужа.

Многие мужья с первой же ночи узнают, порочны или непорочны их жены, судя по тому, сильно ли заезжена дорога; так, один мой знакомый женился на даме, уже побывавшей до того в браке, но уверявшей, будто первый ее муж из-за бессилия своего к ней и не притронулся и она непорочна, как девица; однако после первого же перегона он сказал ей: «Э-э-э, милая моя, не больно-то похожи вы на девственницу, у которой не сразу и путь отыщешь; ваша дорожка столь широка и наезжена, что на ней заблудиться мудрено!» И верно заметил: на этой стезе ему не помешали ни барьеры, ни ухабы, все прошло как по маслу; коли первый муж и впрямь ее не почал, видать, за него постарались многие другие.

Что же говорить о заботливых матерях, которые, видя мужскую немощь своих зятьев, становятся своднями при дочерях и подсовывают их другим мужчинам, советуя даже и забеременеть от них, дабы заиметь наследника после смерти мужа.

Знавал я одну мамашу, что склоняла дочь к супружеской измене и пособляла ей изо всех сил; к несчастью, та не смогла понести даже и от любовника. Знаю я и мужа, который, не будучи в силах сам справиться с женою, призвал рослого, крепкого слугу, дабы тот познал ее спящую и тем самым спас его мужскую честь, однако жена вовремя проснулась и не допустила парня до себя, после же подала в суд на мужа, и в конце концов после долгой тяжбы их развели.

Король Генрих Кастильский поступил тем же манером: по свидетельству Батисты Фульгозиуса, он был не способен сделать ребенка своей супруге и прибег к помощи молодого красивого придворного, каковое поручение тот и выполнил весьма исправно; за услугу эту король щедро наградил его, осыпал почестями и титулами; нужно ли сомневаться, что супруга короля в благодарность нежно возлюбила его. Вот поистине благородный рогоносец!

По поводу супружеского бессилия проходил недавно судебный процесс в Париже, где ответчиком выступал казначей сьёр де Бре, а истицею — жена его, утверждавшая, что он не спит с нею по причине мужской слабости или иной какой немощи: удрученная сей ущербностью супруга, жена и подала на него в суд. Судьи решили, что сперва их обоих должны освидетельствовать самые видные парижские врачи. Муж выбрал себе одних, жена — других; по этому случаю при дворе сложили весьма забавный сонет, который передала мне в руки знакомая знатная дама за обедом у ней в доме. Одни говорили, будто он

сочинен женщиною, другие уверяли, что мужчиною. Вот этот сонет:

Почтенный сьёр де Бре и верная супруга,
Которых тяготил бесплотный их союз,
Избрали семь врачей известнейшего круга,
За деньги могших снять любых страданий груз.

Три нанялись де Бре избавить от недуга.
Недорого берут Бессиль, Сонье, Кургуз.
Жене помочь в беде взялись четыре друга —
Верзиль, Толстель, Дюже, всеведущий Бутуз.

Заране ясно, кто кого осилит:
Верзиль одержит верх над немощным Бессилем,
Дюже побьет Сонье; Толстель, Бутуз — Кургуза.

Кому не друг Верзиль, Дюже, Бутуз, Толстель,
Тот проиграет суд, как женину постель,
А проигрыш такой ужасен для француза!

Слыхал я и о другом муже, который в первую ночь столь нежно и страстно обнял молодую жену, что та от восторга и удовольствия потеряла голову и принялась весьма резво подпрыгивать и тереться об него, забыв о робости, приличествующей новобрачной; на это муж только и промолвил: «Ага, все понятно!» — да и помчался вскачь по наезженной дорожке. Вот каковы наши осведомленные рогоносцы; я мог бы рассказывать о них без конца, но не вижу в этом толку. Самое худшее, в чем можно их упрекнуть, так это женитьба, как говорится, на телке с теленком, иными словами — на беременной. Я знаком с одним таким дворянином, который женился на весьма пригожей и добронравной девице по милости и воле принца, их господина, благосклонного и к жениху, и к невесте; по прошествии недели новобрачной стало ясно, что она с прибылью, и ей ничего иного не осталось, как самой объявить о том, дабы скрыть прошлые шалости. Принц, давно уже заподозривший шашни девицы с другим своим придворным, предупредил ее: «Знайте, моя милая, что у меня записаны день и час вашей свадьбы; берегитесь, когда мы сравним их с днем и часом родин ваших, как бы не вышло вам позора!» Но девица при этих словах всего лишь слегка зарделась, и ничего более; стыд же свой скрыла под невозмутимой личиною dona da ben[17].

Бывают, однако же, девицы, которые так боятся отца и

матери, что легче вырвать у них сердце из груди, нежели лишить девственности, ибо родители для них во сто крат страшнее мужей.

Слышал я историю об одной красивой и благонравной девице, которая на любовные домогательства воздыхателя своего отвечала так: «Потерпите немного, вот как я выйду замуж да распечатают и набьют мне чрево, тут-то мы с вами и позабавимся вволю, а брак — он все прикроет».

Другая девица также сказала вельможе, что ухаживал за нею: «Попросите-ка нашего принца выдать меня поскорее за того, кто ищет моей руки, да оплатить мою свадьбу, как он и посулил; на следующий же день после венчания мы с вами слюбимся, и пусть Бог меня покарает за обман, коли я надую вас!»

Я был знаком с дамою, которую один дворянин, родственник ее жениха, начал обхаживать за четыре дня до бракосочетания; не прошло и шести дней, как он уж переспал с нею, по крайней мере хвастался этим. Да и трудно было не поверить, ибо они льнули друг к другу так, словно выросли вместе; он даже перечислял чуть ли не все Родинки на ее теле, в самых укромных местах, и связь их Длилась довольно долгое время. Дворянин этот говорил, что близость их много облегчалась родством его с мужем; так, на одном маскараде он и его любовница обменялись одеждою: она надела его костюм, а он — ее платье, над чем доверчивый супруг весело смеялся, все же прочие злословили и осуждали.

Ходила при дворе нашем песенка о муже, что женился во вторник, а рога надел в четверг; вот уж поистине не задержался и времени зря не терял!

Что же сказать о девице, чьей руки упорно искал один юный дворянин, даром что из богатой и знатной семьи, но большой мерзавец, вовсе ее не достойный, за коего, однако, родители заставляли ее выйти. Девушка объявила, что скорее умрет, нежели станет его женою, и умоляла жениха отказаться от своей любви и оставить в покое ее самое и родителей, иначе, будучи принужденной к этому браку, тотчас сделает его рогатым. Но все же пришлось ей подчиниться приказу и повелению особ, имевших над нею власть, а также и воле родителей.

Накануне свадьбы жених, видя девушку печальной и задумчивой, спросил, что с нею; она гневно отвечала: «Вы не пожелали отказаться от меня, так не забудьте же мое обещание: ежели я буду иметь несчастие стать женой вашей, то сделаю вас рогоносцем — клянусь вам в этом и сдержу мое слово». И верно, с тех пор она не отказывала ни одному из своих воздыхателей и воздыхательниц, доказав мужу вполне, что порядочная женщина умеет держать данное слово.

Судите сами, достойна ли сия дама порицания: за одного ученого двух неученых дают, а ведь она мужа недвусмысленно предупредила. Что бы ему остеречься и воздержаться от брака! Впрочем, он ее изменами нимало не озаботился.

Такие девицы, отдающиеся любовникам тотчас после венца, поступают сообразно поговорке итальянцев: «Che la vacca che e stata molto tempo ligata corre piu che quella che ha havuto sempre piena liberta»[18]. Так же поступила уже упомянутая мною первая супруга Бодуэна, царя Иерусалимского, которую муж силой обратил в свою веру: выбравшись из монастыря и сбежав в Константинополь, она там предалась такому распутству, что не пропускала никого — ни прохожих, ни солдат, ни богомольцев, идущих в Иерусалим, и, как последняя потаскуха, ложилась под каждого, забыв о своем королевском достоинстве, а причиною тому великий пост, что претерпела бедняжка в заточении. Да и не одна она, а множество других пускались во все тяжкие, вырвавшись на волю.

Как же не назвать добряками мужей-рогоносцев, которые позволяют женам своим развлекаться на стороне с теми, кто ищет их милостей, а заодно извлекают из жениной неверности немалую пользу и прибыль для самих себя?! Великое множество эдаких мужей кружит подле королей и принцев в ожидании денег, титулов и прочих благ; еще недавно прозябая в бедности, заложив имущество свое либо разорившись в тяжбах или на войне, они, глядишь, вдруг поднимаются на вершину славы и богатства через ту узенькую щель, что составляет главное достоинство их супруг, и видят в том отнюдь не оскорбление, но, напротив, славу и почет; и горе той даме, что утратила сие драгоценное достоинство, как одна моя знакомая, которую муж нечаянно наградил не то сифилисом, не то гонореей, лишив тем самым красоты и половины того органа, коим она пособляла ему. Поверьте, что милости и благодеяния сильных мира сего способны развратить любую чистую душу и наплодить множество рогоносцев. Вот, к примеру, история об одном иноземном принце, который во время какой-то затянувшейся войны назначен был генералом по приказу короля и, отбывая надолго, оставил при дворе жену-раскрасавицу; повелитель нашего доблестного воина не преминул соблазнить ее, да притом так поусердствовал, что вдобавок и обрюхатил.

По прошествии тринадцати или четырнадцати месяцев вернулся муж и, застав жену в столь интересном положении, впал в неописуемую ярость. Пришлось бедной даме (а она за словом в карман не лазила) изворачиваться и оправдываться и пред ним самим, и пред деверем; наконец она сказала мужу так: «Сударь,

экспедиция ваша вызвала крайнее неудовольствие при дворе (а он и впрямь неудачно провел кампанию) и репутация ваша столь пошатнулась, что, не проникнись ваш повелитель любовью ко мне, вам бы и вовсе конец; вот почему я, не желая вашей погибели, решилась погибнуть сама. Но не печальтесь: я нанесла больший урон своей чести, нежели вашей; для вашего спасения пожертвовала я самым драгоценным, что имела; судите же сами, так ли сильно я оскорбила вас, как вам кажется, коли без меня и жизнь, и честь, и положение ваше — все было бы утрачено. Нынче же дела ваши устроены лучше, чем прежде, и пусть свидетельство неверности моей слишком бросается в глаза, никто не осмелится вслух порицать меня. Так простите же и вы мое прегрешение».

Деверь дамы, такой же краснобай, как и она, присовокупил к сему свои не менее убедительные резоны; вдобавок, может статься, и у него рыльце было в пушку; словом, оба они постарались на славу. Что ж, пришлось мужу смириться и простить, после чего они зажили лучше прежнего, душа в душу, как добрые супруги и друзья, чем, однако, государь и повелитель, запачкавший их семейное гнездо, остался, как я слышал, весьма и весьма недоволен; он так и не простил мужу его снисходительности и с тех пор обходился с ним холоднее, чем прежде, хотя в глубине души и радовался тому, что дама не артачилась и покорно усладила его. Многие кавалеры и дамы оправдывали бедняжку, находя, что она поступила благородно, погубив себя во спасение супруга, дабы вернуть ему монаршию милость.

Ах, и не сказать, сколько примеров того же рода можно привести к сему случаю; помяну лишь одну знатную даму, спасшую жизнь мужу, которого суд приговорил к смертной казни за взятки и прочие денежные плутни с государственной казною в свою пользу; муж потом всю жизнь любил ее за это, холил и лелеял.

Слышал я также историю об одном высокородном сеньоре, коего приговорили к отсечению головы и уже было возвели на эшафот, как вдруг пришла весть о помиловании; а добилась этого дочь названного сеньора, весьма красивая девушка: отец, сходя с эшафота, заметил только: «Благослови, Господи, щедрую п… моей дочери, через которую я спасся!»

Святой Августин размышляет в сомнениях, согрешил ли некий христианин из Антиохии, когда, будучи заключен в темницу из-за крупного денежного долга, позволил жене переспать с богатым купцом, который, в доброте своей, посулил еще и отквитать ему эту сумму.

Коли уж святой Августин не в силах разрешить сие сомнение,

то что же сказать о множестве женщин, вдов и девиц, которые во спасение родственников своих, отцов и мужей отдаются телом (особливо красивым телом) тому, кто имеет власть избавить несчастных от тюрьмы, рабства, смерти, осады и взятия города — короче, от неисчислимых бедствий, вплоть до того, что некоторые из этих дам вербуют в своей постели военачальников и солдат, дабы те сражались на их стороне или помогли выдержать долгую осаду (о чем я мог бы рассказывать и рассказывать), не боясь из любви к ближним запятнать собственную честь. Да и можно ли запятнать ее сим благородным деянием, из коего выходит одно лишь великое благо?!

Кто осмелится утверждать обратное, заявив, что позорно ходить в рогоносцах, когда положение сие приносит спасение от смерти, процветание, милости и титулы, деньги и прочие благополучия? Да я знаю десятки мужей — а слыхал и о сотнях других, — кому удалось сделать карьеру и преуспеть благодаря красоте и податливости их жен!

Не хочу никого обижать, но осмелюсь все же заметить, что, по мнению многих мужчин и женщин, дамы оказывают мужьям своим неоценимую услугу, раздобывая то, чего собственными достоинствами супругу вовек не раздобыть.

Я знавал одну весьма ловкую даму, которая добилась ордена Святого Михаила для своего мужа: награду сию, кроме него, носили всего только двое наизнатнейших принцев во всем христианском мире. Дама часто говаривала мужу во всеуслышание (она была нрава общительного и любила принимать у себя гостей): «Ах, друг мой, долгонько же пришлось бы тебе гоняться за сим диковинным зверем, что нынче ты носишь на шее!»

Слышал я историю об одном вельможе времен короля Франциска: вельможа этот, получив тот же орден и желая возвыситься над покойным господином де Шатеньере, моим дядею, сказал ему с насмешкой: «Вам, верно, хотелось бы носить на шее такой же орден». На что дядя мой, острослов и шутник, каких мало, отбрил, не задумавшись: «По мне, лучше сдохнуть, нежели лазить за орденами в ту узкую щель, в какую вы пролезли». Вельможа не нашелся что ему возразить на это, слишком хорошо зная, откуда подул ветер.

Слышал я и другую историю об одном знатном сеньоре, коему жена выхлопотала и сама принесла указ о назначении на некий высочайший государственный пост; указ этот даровал ей принц в благодарность за известные милости; муж решительно отверг сие назначение, ибо супруга его целых три месяца пребывала в фаворитках у принца, о чем он догадывался; тем

самым проявил он благородство души, коим выгодно отличался всю свою жизнь; однако же какое-то время спустя все же принял сию должность, совершив поступок, о котором я здесь распространяться не стану.

Вот эдаким-то манером дамы наши затевают и выигрывают баталии, какие кавалерам и не снились; я хорошо знаю сих воительниц и мог бы назвать их поименно, да боюсь угодить в сплетники и злопыхатели; расскажу лучше, как наши прелестницы доставляют мужьям не только почет, но и богатство.

Знавал я одного бедного дворянина, который привез ко двору красотку жену; не прошло и двух лет, как они зажили припеваючи и деньгам счет потеряли.

Надобно еще благодарить тех дам, что доставляют прибыль мужьям своим, а не делают их разом и голодранцами и рогоносцами, как, например, Маргарита Намюрская, которая сдуру отдала все свое добро Людовику, герцогу Орлеанскому, при том что он и так был могущественным и знатнейшим сеньором, братом короля; она разорила мужа дотла, ввергнув в нищету и вынудив продать свое графство Блуа все тому же герцогу, который даже не подумал отблагодарить глупую женщину за то богатство, что она отобрала у мужа и принесла ему. Ну а в том, что она была глупа, сомневаться не приходится: кто же, находясь в бедности, отдает деньги богатому?! Герцог же взял, да еще и посмеялся над ними обоими, что было весьма свойственно этому вельможе, легкомысленному и непостоянному в любви.

Знавал я еще одну даму, которая, влюбившись по уши в некоего придворного и дозволив ему пользоваться ее милостями, все стремилась пощедрее одарить своего возлюбленного, но никак не могла сделать это, ибо муж прятал от нее мошну с деньгами не хуже иного кюре; тогда она преподнесла сердечному другу все свои украшения, стоившие не менее тридцати тысяч экю; при дворе шутили, что теперь человек этот может выстроить целую крепость из этих драгоценных камней — столько их было; вслед за тем даме досталось большое наследство; завладев еще двадцатью тысячами, она и из них большую часть подарила любовнику. Говорили, что, не получи она этих денег, она бы ему отдала и рубашку и платье с себя. Не правда ли, эдакие алчные злодеи и вымогатели достойны самого сурового осуждения за то, что вытягивают последнее из потерявших разум безумиц; ведь кошелек — не женское чрево, никогда не скудеющее от щедрот своих; он сам собою не пополнится, и то, что оттуда выудишь, — пиши пропало! Придворный, коего любовница осыпала своими каменьями, спустя некоторое время умер, и все его имущество, по парижскому обычаю, пустили с молотка; вот когда украшения

дамы выплыли на свет божий, и их узнали все, кто видел эти камни на ней самой; то-то было позору безрассудной женщине!

Один знатный принц, питавший любовь к некой добронравной даме, приказал купить дюжину бриллиантовых пуговиц, великолепно обделанных и покрытых письменами в виде иероглифов загадочного содержания; он преподнес эти пуговицы своей любовнице, которая, внимательно рассмотрев их, заметила, что не нуждается в загадочных изречениях, ибо между нею и им все давно уже сказано ясно и непреложно.

Знавал я одну даму, которая часто говаривала мужу, что скорее сделает его вороватым, нежели рогатым; поскольку оба эти звания весьма двусмысленны, супруги, надо полагать, могли похвастать небольшою толикой и того и другого.

Однако думаю, что большинство дам поступают иначе, берегут кошельки свои куда строже, нежели пылкие тела, и, даже будучи весьма богатыми, редко одаривают кавалеров, разве что время от времени преподнесут недорогое колечко, муфту, шарф или иную безделицу, полагая, что так заставят больше уважать и почитать себя.

Впрочем, знавал я одну весьма знатную даму, отличавшуюся необыкновенной щедростью и дарившую любовникам своим шарфы, перевязи и прочее убранство, из коего даже малейший пустяк стоил от пятисот экю до трех тысяч; вещи эти, изукрашенные вышивкою, жемчугами и драгоценными каменьями, по великолепию не знали себе равных. И она требовала, чтобы мужчины не прятали ее подарки по сундукам да кошелькам, как иные дружки иных дам, но открыто щеголяли в них пред всем светом, украшая ими себя, а собою — их и прославляя щедрую дарительницу, которая отличала своих любимцев по-царски, как и подобает истинно благородной даме, не в пример тем прижимистым бабам, что раскошелятся, самое большее, на какой-нибудь серебряный перстенек. Но чаще всего дарила она мужчинам красивые кольца с драгоценными каменьями, ибо роскошный шарф, или бант, или кружево надевают лишь в торжественных случаях, кольцо же на пальце носится каждодневно и всегда уместно.

Разумеется, при этом истинно благородный и великодушный кавалер должен служить даме за красоту, которой она блистает, а не за золото и камни, коими блистают ее подарки.

Что до меня, то могу похвастаться: я и сам нередко служил добронравным дамам, притом отнюдь не низшего сословия, и коли бы принимал от них все, что они дарили мне, или вымогал то, что хотел, уж верно, был бы нынче богачом и имел предостаточно всякого добра, и мебелей, и денег на тридцать

тысяч экю поболее, однако всегда довольствовался малым, предпочитая доказывать любовь мою скорее щедростью, нежели алчностью.

Разумеется, будет только справедливо, ежели мужчина, пользуясь милостями дамы, положит ей в мошну столько же, сколько она дала ему за его нежную службу, но во всем следует знать меру: не подобает кавалеру швыряться деньгами по прихоти любовницы, не подобает и ей вконец разоряться на милого друга: лучше всего соблюдать в сих делах разумное равновесие.

Я часто видел, как мужчины утрачивают любовь к женщинам из-за их жадности и скупости: наскучив непрестанными просьбами и требованиями своих любовниц, они решительно бросали их и уж более к ним не возвращались; что ж, поделом надоедам!

Вот почему истинно благородный возлюбленный должен печься скорее о плотских радостях, нежели о материальной выгоде; когда дама чересчур вольно распоряжается семейным достоянием и муж видит, как оно тает и уплывает на сторону, он досадует на это куда более, нежели на ту свободу, с какою она распоряжается своим телом.

Бывает и еще один вид рогоносцев — из мести, когда кто-нибудь, возненавидев знатного сеньора или простого дворянина, да и любого человека за нанесенный ущерб либо афронт, вступает в любовную связь с его женою и, соблазнив ее, украшает обидчика своего рогами.

Знавал я одного высокородного принца, против которого затеял мятеж подданный его, также знатный вельможа; не будучи в силах отомстить, тем более что тот скрывался от своего повелителя, не даваясь ему в руки, принц решил отыграться на жене: та однажды явилась ко двору, дабы испросить милости для супруга, и ей назначена была аудиенция в саду, где стоял уединенный павильон. Дама пришла туда, но вместо дела услыхала лишь любовные признания, после чего принц легко одержал над нею победу; впрочем, дама особенно и не противилась, будучи привержена сему занятию. Однако, не удовлетворясь сей местью, принц пустил даму по рукам, отдав своим придворным и даже лакеям. Позже он говорил, что отомстил своему мятежному подданному сполна, переспав с его женою и украсив ему голову ветвистой короною именно затем, что тот мечтал сделаться монархом и повелителем; вот, мол, и достался ему венец, да только не золотой, а роговой.

Тот же принц обошелся подобным манером с одной молодой девушкой, да еще с ведома матери: зная, что она помолвлена за другого принца, его кузена и неприятеля, он насильно овладел ею

и лишил невинности, после чего, два месяца спустя, выдал замуж за ее суженого якобы девственницей, сочтя таковую месть весьма сладкой в ожидании другой, куда более суровой, но отдаленной.

Знавал я одного благородного дворянина, который, будучи увлечен одной знатной и красивой дамою, вымаливал у ней награды за свои нежные чувства; она же решительно отказывала ему в свидании наедине, поскольку была убеждена, что он добивается ее любви не из-за красоты ее, но из желания отомстить ее мужу, нанесшему этому дворянину какое-то оскорбление; тот, однако, отрицал сие намерение и в течение еще двух лет продолжал столь верно и преданно ухаживать за дамою, что разуверил ее совершенно, и она наконец даровала ему то, в чем прежде отказывала, объявив, что ежели в начале их знакомства и подозревала его в злодейских замыслах, то ныне предовольна и охотно ублаготворит и кавалера своего, и себя, ибо столь нежного воздыхателя положено любить и поощрять. Судите сами, сколь разумно повела себя дама, не позволив любви увлечь ее на тот путь, куда ее тянуло против воли, пока она не уверилась вполне, что ее любят за достоинства, а не из мстительных планов.

Однажды господин де Гуа, один из самых блестящих французских дворян, ныне покойный, пригласил меня ко двору к себе на обед. За столом собралось с дюжину образованнейших людей того времени, в их числе господин епископ Дольский из бретонского рода д'Эпине, господа Ронсар, де Баиф, Депорт, д'Обинье (двое последних еще живы и могут подтвердить мой рассказ); других гостей я не припомню, знаю лишь, что среди присутствующих было только двое военных — сам де Гуа и я. Заговорили о любви, об ее усладах и печалях, удовольствиях и неудовольствиях, хороших и дурных сторонах; после того как хозяин дома выслушал мнение каждого из нас обо всем вышеперечисленном, он заключил, что высшая степень наслаждения заключается в мести, и попросил всех гостей сочинить экспромты-четверостишия на эту тему, что мы тотчас и исполнили. Сохранись они у меня, я охотно привел бы их здесь; победу одержал епископ Дольский, истинный златоуст.

И разумеется, господин де Гуа затеял эту забаву не случайно: он метил в двух знатных сеньоров, мне знакомых, коим наставил рога в наказание за ненависть, что они питали к нему; жены этих господ были весьма красивы, вот почему он извлекал из этого занятия двойное удовольствие — и месть, и усладу. Я знаю множество людей, которые мстили своим обидчикам таким же образом, извлекая из сего поступка величайшее удовлетворение.

Также знавал я красивых и добронравных дам, которые утверждали, что, когда мужья их дурно и жестоко обращались с ними, бранили и оскорбляли, били или учиняли иные неудовольствия, самой большой их радостью было наставить рога супругу, а наставив, посмеяться над ним вместе с сердечным дружком, после чего с удвоенным пылом предаться любовным утехам.

Слыхал я об одной любезной и красивой даме, которая на вопрос, изменяла ли она мужу, отвечала: «А с чего бы мне наставлять ему рога, коли он ни разу не обидел меня и пальцем не тронул?!» Тем самым желала она сказать, что, соверши ее муж то или другое, тотчас сыскался бы защитник, согласный отомстить за нее с нею же.

А вот забавная история об одной весьма привлекательной даме, которая услаждалась однажды нежной любовной схваткою в постели с милым другом, и вдруг посреди пылких и бурных объятий сломалась у нее сережка, сделанная по тогдашней моде из черного хрусталя в виде рога изобилия. На это дама тотчас нашлась, сказавши: «Вот видите, сколь предусмотрительна природа: на один сломанный рог всегда придется дюжина других, тех, что украсят голову бедняги рогоносца, супруга моего; пусть-ка надевает их по праздничным дням, коли ему охота!»

Другая дама, оставив супруга своего храпеть в постели, прибежала перед сном навестить милого дружка; тот спросил ее, где муж, и она ответила: «А где ж ему быть — лежит, постель сторожит, все боится, как бы его гнездо не загадил чужак; ну да ведь вам-то нужна не постель его с простынями, а я сама, вот я и пришла к вам, оставив мужа в сторожах, да еще в сонных».

Кстати, о сторожах: слышал я историю об одном доблестном дворянине (которого и сам знаю), что обратился однажды к весьма достопочтенной даме, общей нашей знакомой, с издевкою спросив у нее, не приходилось ли ей посещать Сен-Матюрен. «Ну а как же, — отвечала та, — вот только я не смогла войти в церковь, ибо она была битком набита рогоносцами: они так усердно сторожили ее, что не пропустили меня внутрь; ну а вы сами, я полагаю, влезли на колокольню, дабы стеречь сверху и оповещать всех остальных».

Я мог бы порассказать о тысячах иных острот, но, боюсь, места не хватит, разве что в каком-нибудь уголке сей книги.

Бывают рогоносцы и добровольные — те, что по своей воле соглашаются щеголять в известном уборе; эти, как я знаю, говорят своим женам: «Такой-то влюблен в вас, мне он хорошо знаком; он частенько навещает нас, но это из любви к вам, милая моя. Приласкайте же его, он, при своих связях, может оказать нам множество полезных услуг и приятностей».

Другие обращаются к жениным ухажерам: «Моя жена влюблена в вас, вы ей нравитесь: приходите же к ней почаще, вы доставите ей удовольствие, побеседуете и развлечетесь вместе — словом, приятно проведете время». Этой уловкою толкают они людей на такие деяния, о коих те вовсе и не думали: взять, например, историю императора Адриана, который, находясь в Англии (как это рассказано в его жизнеописании), где он воевал, получил из Рима множество донесений о том, что супруга его, императрица Сабина, занимается любовью чуть ли не со всеми оставшимися в городе галантными кавалерами. Воспользовавшись оказией, она отослала из Рима письмо одному придворному, сопровождавшему императора в Англию; в нем сетовала она на то, что он совсем забыл ее и не пишет, — верно, увлекся какой-нибудь местной красоткою и завел с нею шашни; письмо это случайно попало в руки самого Адриана, и когда несколько дней спустя придворный этот явился к императору испрашивать отпуск в Рим якобы для устройства домашних дел, Адриан со смехом сказал ему: «Ну-ну, отправляйтесь, молодой человек, отправляйтесь, императрица, моя супруга, ждет не дождется вас!» После каковых слов римлянин этот, поняв, что император проник в его тайну и может сыграть с ним жестокую шутку, ночью, никому не сказавшись, бежал из лагеря, правда отнюдь не в Рим, а в Ирландию.

Но вряд ли ему следовало опасаться за свою жизнь: Адриан, коему порядком надоели любовные подвиги супруги, частенько говаривал: «Эх, не будь я императором, давно бы отделался от жены, но, увы, не могу показывать дурных примеров». Этим желал он выразить, что сильные мира сего обязаны сносить свои тяготы не жалуясь и с достоинством. Вот истинно благородная мысль, которой руководствовались многие знатные особы, но только по другим причинам! Не правда ли, сей император был весьма остроумным и находчивым рогоносцем!

Доблестный Марк Аврелий, которому посоветовали изгнать супругу его Фаустину за распутное поведение, ответил так: «Коли мы расстанемся с женою, надобно будет расстаться и с ее достоянием — иначе, с империей». И кто бы не согласился ходить

в рогоносцах за эдакий жирный кусок, да и за меньший тоже?!

Сын его, Антоний Вер, прозванный Коммодом, хотя и отличался крайней жестокостью, точно так же ответил тем, кто советовал ему умертвить его мать Фаустину за то, что она вступила в бесстыдную связь с гладиатором, от коего ее так и не смогли отвадить; пришлось убить этого молодца и заставить Фаустину напиться его крови.

Многие мужья поступают по примеру доблестного Марка Аврелия, боясь лишить жизни жен своих, дабы не лишиться имущества, коим те владеют; такие предпочитают числиться в богатых рогоносцах, нежели в честных бедняках.

Господи боже, сколько же повидал я на своем веку рогоносцев, которые зазывали и залучали к себе в дом родственников своих, друзей и приятелей, дабы свести их с женою, и, оставив ее наедине с кавалерами в спальне либо в туалетной, сами удалялись со словами: «Поручаю супругу мою вашей чести».

Знавал я одного такого; вы с первого же взгляда сказали бы, что для него наивысшее счастье состоит в ношении рогов; он сам искал к тому случая и, главное, никогда не забывал сказать счастливому сопернику: «Моя жена влюблена в вас по уши; любите же и вы ее, как она вас». И когда любовник навещал его жену, он тотчас уводил из комнаты всех посторонних, стремясь оставить парочку наедине и дать удобную возможность насладиться любовью. А коли ему приходила срочная надобность вернуться в комнату, он еще внизу лестницы начинал говорить во весь голос, кашлять или чихать погромче, дабы предупредить любовников и не застать их врасплох; сами понимаете: можно сколько угодно знать или догадываться о шашнях своей жены, но узреть их воочию не слишком-то приятно, а быть пойманным за руку — и того меньше.

Вот отчего сеньор этот, выстроив однажды красивый дом, на вопрос управляющего своего, не угодно ли хозяину украсить фасад рогом изобилия, отвечал: «Об этом спросите у моей жены, она в сем предмете о рогах разбирается куда лучше моего, вот пусть сама и распорядится».

Гораздо глупее поступил другой мой знакомец, который, продавши одну из своих земель за пятьдесят тысяч экю, взял в уплату сорок пять из них золотом и серебром, а в счет оставшихся пяти — рог единорога. Чем развеселил всех своих друзей, втихомолку потешавшихся над простофилею. «Мало ему собственных рогов, — говорили они, — так он и еще прикупил».

Знавал я одного высокородного сеньора, храброго и честного человека, который сказал однажды со смехом дворянину,

состоявшему у него на службе: «Сударь мой, уж и не знаю, чем вы околдовали жену мою, но только она от вас без ума и каждую минуту, и днем и ночью, расхваливает на все лады. Я же всякий раз отвечаю ей, что знал вас задолго до нее и лучше могу оценить достоинства и заслуги ваши, которые и в самом деле высоки». Кто, скажите, был удивлен сей речью? Да именно тот самый дворянин, ибо он только всего и делал, что водил эту даму под локоток к вечерне в свите королевы. Однако он тотчас же оправился от изумления и ответил так: «Сударь, я нижайший слуга госпожи супруги вашей и весьма признателен ей за благосклонный отзыв обо мне, который почитаю за высочайшую честь; однако я с ней завел не амуры, а всего лишь строю куры (так он и сказал, шутя и насмешничая), поскольку вы, монсеньёр, милостиво дозволили мне это; к тому же супруга ваша может поспособствовать мне в женитьбе на моей возлюбленной, и я очень рассчитываю на ее помощь».

Принца отнюдь не покоробила сия шутка — напротив, он весело рассмеялся и стал подзуживать своего подданного поусерднее приударять за его женой, что тот и исполнил, пользуясь предоставленной свободою ухаживать за столь красивой дамою и принцессой; а та весьма скоро заставила его позабыть о женитьбе на любовнице, которая отныне служила лишь прикрытием новой связи. Принцу, впрочем, случилось и приревновать, когда однажды увидал он в королевской спальне названного дворянина с алой, испанского шелка, лентою на рукаве, по последней придворной моде, и, разглядев эту ленту, заметил у своей половины, стоявшей возле постели королевы, точно такую же, словно обе они были сделаны из одного куска; однако об этом своем открытии он не обмолвился ни словом и ничего не предпринял. Тем самым он как бы скрыл под пеплом тайны яркое пламя их любви, не дав ему обнаружиться, и поступил мудро, ибо чаще всего скандал вредит мужьям куда сильнее, нежели изменницам-женам; лучше уж жить согласно поговорке: «Si non caste, tamen caute»[19].

Сколько же громких скандалов и дрязг навидался я в свое время из-за нескромности дам и их возлюбленных! А ведь мужей отнюдь не заботили женины шашни; они стремились лишь к одному: чтоб все было, как говорится, sotto coperte[20] — шито-крыто и не вылезало на свет божий.

Знавал я одну такую нетерпивицу, которая открыто хвасталась любовными связями, словно и не было у ней vужа, словно она была вольна делать все, что вздумается; тщетно любовники и близкие друзья предостерегали ее, осуждая сию пагубную беспечность, — она никого не слушала и тяжко за это

поплатилась.

Дама эта никогда не следовала примеру многих других, поумнее ее, которые втихую ведут свои любовные делишки и развлекаются вовсю, но притом весьма умело скрывают сии приятные забавы, и ни один самый зоркий соглядатай не заподозрит ничего дурного: в свете они обращаются с любовниками своими столь сурово и высокомерно, что ни мужья, ни сыщики не найдут к чему придраться. А коли случится таким дамам отправиться в неотложное путешествие, дабы прикрыть грешок, они и тут сумеют притвориться и даже на смертном одре ни словом, ни криком не выдадут боли и страдания.

Я знаю одну красивую и добронравную даму, которая в день смерти благородного сеньора, ее любовника, явилась в спальню королевы с таким же веселым и смеющимся лицом, как и накануне. Некоторые язвили по поводу такой сдержанности, говоря, что она, мол, крепится из боязни не угодить королю, не любившему покойного. Другие порицали даму за холодность и недостаток любви, говоря, что природа наделила ее бессердечием; ведь женщины всегда найдут чем уколоть товарку, о коей судачат.

Впрочем, знавал я и других двух дам, также красивых и благородных, которые, потеряв любовников своих в военном сражении, во всеуслышание горевали и оплакивали их, открыто носили траурные темные платья, навешивали на себя всякие золотые кропильницы со святою водой, и четки, и броши с черепами, и прочую заупокойную дребедень вместо украшений — словом, выставляли себя на всеобщее посмешище, губя свою репутацию; правда, мужья этих дам нимало сим скандалом не озаботились.

Вот до чего доводит наших красавиц пылкая любовь, сама по себе достойная всяческого восхваления, когда бы они не щеголяли ею в открытую, а после сами бы от этого не страдали. Но, порицая дам, не следует забывать и об их кавалерах, которые заслуживают не меньших упреков, выказывая при всех страдания, точно коза, в муках котящаяся: то уставят на даму глаза, да еще выкатят их так, что хоть подбирай; то начнут извиваться и корчиться, словно от боли; то вздохнут со стоном; вдобавок они открыто носят цвета своих дам, да и во всем прочем ведут себя столь несдержанно, что и слепому видно, в чем тут дело; притом одни питают истинную страсть, другие же притворяются, но и те и эти желают показать всему свету, что влюблены без памяти и что предмет их обожания делает им честь красотою, происхождением, да и богатством тоже. На самом же деле, Бог свидетель, как бы эти господа ни кривлялись, они не заслуживают

ни полушки из всего, чем одаривают их дамы.

Я знавал дворянина (и из знатных!), который, желая оповестить весь мир о своей пылкой любви к одной красивой и добронравной даме, приказал двум слугам и пажам целый день напролет стоять у дверей ее дома со взнузданным мулом. Мы с господином Строцци как раз случайно проходили там и увидели пресловутого мула, пажей и слуг. Мой друг, подойдя к ним, спросил, где сам их хозяин, на что последовал ответ, что он находится в доме этой дамы; господин Строцци расхохотался и сказал: «Готов спорить об заклад, что его там нет!» И велел своему пажу остаться возле дома, проследив, выйдет ли оттуда счастливый любовник; потом отправились мы к королеве, где и увидали нашего героя, при виде которого не смогли удержаться от смеха. Ввечеру мы подошли к нему и с притворным негодованием вопросили, где он обретался в таком-то часу пополудни, добавив, что ему нипочем не оправдаться, ибо все видели его мула и пажей у дверей означенной дамы. В ответ он так же притворно рассердился на наше заявление и шутки над его возвышенной и благородной любовью, а затем поведал, что и в самом деле был у ней, умоляя никому об этом не рассказывать, иначе мы погубим и его, и бедняжку даму, коей муж не простит огласки и скандала; мы торжественно пообещали ему (хохоча и насмехаясь вовсю, Даром что он был знатен и влиятелен) ни словом не обмолвиться о его делах. Однако он все продолжал свои представления с мулом; тогда несколько дней спустя мы Раскрыли ему свою шутку, натешившись над ним вдоволь в веселой компании — весьма, впрочем, добродушно; кавалер наш был сильно пристыжен, ибо дама прознала от нас об его обмане, велела слугам своим подстеречь мула с пажами, да и гнать их прочь от дома, точно надоедливых нищих. Более того, мы еще и мужу ее рассказали сию историю, преподнеся ее в столь шутливой форме, что и он нашел ее крайне забавною и посмеялся вместе с нами, сказавши, что уж этот кавалер его рогами не украсит и что, ежели мул вместе со слугами еще раз окажется у его дома, он прикажет отворить двери и впустить их внутрь, дабы приютить и укрыть от стужи, от жары или от дождя. При всем том другие кавалеры частенько делали его рогоносцем. Вот как благородный сеньор решил заработать себе репутацию сердцееда за счет добронравной дамы, нимало не заботясь о грозящем ей скандале.

Знавал я и другого дворянина, который бесцеремонностью своею погубил весьма красивую и достойную даму, в которую влюбился; он все торопил ее отдать ему то, что она оставляла для мужа, а она решительно отвергала его домогательства; тогда,

отчаявшись, он сказал: «Ну, коли так, я клянусь обесчестить вас, мадам!» И принялся бродить вокруг ее дома, как бы таясь и скрываясь, а на самом деле столь ловко, что все видели его там и днем и ночью; кроме того, он всюду похвалялся мнимым своим счастьем, в свете обращался с этой дамою как со своей любовницей; перед приятелями распространялся об интимных достоинствах, коих в действительности не знал и не ведал; дальше — больше: однажды поздно вечером заявился в спальню к этой даме, закутавшись в плащ и прячась от ее домашних; наконец дворецкий учуял кое-что и, подстерегши кавалера, доложил мужу, который принялся искать любовника и, не нашед его, все же надавал пощечин жене и поколотил ее, а после, подстрекаемый тем же дворецким, схватил кинжал да и прикончил несчастную; король не осудил, а, напротив, одобрил и помиловал его. Вот сколь горестная участь постигла бедняжку, о которой все сожалели, ибо дама была необыкновенно хороша собою. Но дворянин этот недолго праздновал победу, ибо вскорости Бог покарал злодея, послав ему смерть на войне за неправедный умысел против чести и жизни ни в чем не повинной дамы.

Однако справедливости ради скажу, что встречал на своем веку великое множество других дам, которые сами были виноваты в своем бесчестье и огласке, ибо первыми начинали атаку, завлекая кавалеров в свои сети; такие красотки расточают мужчинам нежнейшие ласки, приветливые слова и умильные взгляды; кокетничают напропалую и подают надежду на счастье, но лишь только доходит до дела, куда что девается, на все отказ; вот когда достойные кавалеры, попавшиеся на удочку и совсем уж было расположенные к сладким любовным утехам, отчаиваются и приходят в неистовый гнев; тут-то они и мстят обманщицам, безжалостно ославляя их на весь свет распутницами и шлюхами и рассказывая направо и налево все, что было и чего не было.

Вот отчего не подобает достойной даме завлекать галантного кавалера, ежели она не готова сполна воздать ему за все заслуги и угождения. Придется ей идти до конца, коли она не хочет погибели, пусть даже кавалер ее — наиблагороднейший из людей; другое дело, когда дама по пылким взглядам и ласковым речам кавалера угадывает, что он вознамерился ухаживать за нею, а ей это неугодно; в таком случае она должна сразу же дать ему от ворот поворот, хотя, говоря откровенно, женщинам трудно решиться на эту жестокость, и они вечно дают поблажку своим воздыхателям, милы те им или нет; ан после, глядишь, уже и поздно отваживать их от себя и приходится, хочешь не хочешь, исполнять обещанное.

Бывают, однако, дамы, коим нравится принимать ухаживания, ни к чему не обязывающие, а так, за одни красивые глаза; они уверяют, что им, мол, сладко одно лишь начало, а не конец, желание, а не исполнение его. Многие дамы говорили мне это, но вряд ли они рассуждают разумно, ибо, пожелав однажды любви, по ее же закону непременно захотят и исполнения желаний; стоит только женщине подумать или только возмечтать о любви, как, почитай, дело сделано: коготок увяз — всей птичке пропасть. И ежели мужчина знает сей закон и упорно добивается той, которая разбудила в нем вожделение, он непременно получит ее всю, с головы до ног, что называется с потрохами.

Вот каким манером несчастные мужья делаются рогоносцами из-за тех жен, что грешат, казалось бы, лишь в мыслях, а не на деле; дамы эти вьются вокруг огонька, который сами же и разожгли, и, не успев оглянуться, сжигают на нем свои крылышки: так иногда глупые пастушки, зазябнув в поле, где пасут баранов и овец, возьмут да разведут костерок, чтобы согреться, ничего дурного не замышляя и вдруг, по недосмотру, огонек этот разгорится в такой пожар, что спалит и леса и кустарники по всей округе.

Таким дамам надобно брать пример с одной разумнейшей женщины, графини д'Эскальдасор, живущей в Павии; господин де Лескю, ставший впоследствии маршалом де Фуа, учился в этом городе (почему и звали его протонотарием де Фуа, тем более что он собирался посвятить себя Церкви, хотя позже сложил с себя сан и сделал военную карьеру) и воспылал любовью к этой даме, превосходившей красотою всех женщин Ломбардии; она уступила его домогательствам, не желая отвергать кавалера, приходившегося близким родственником знатному вельможе Гастону де Фуа, монсеньёру Немурскому, пред которым тогда трепетала вся Италия; и вот однажды устроены были в Павии большое празднество и бал, куда съехались все красивейшие дамы города и окрестностей со своими кавалерами; появилась там и наша графиня, затмившая красотою всех присутствующих; она нарядилась в роскошнейшее платье небесно-голубого цвета, сплошь расшитое золотыми факелами и серебряными мотыльками, что летали близ огней, обжигая себе крылышки, — над этим нарядом потрудились лучшие вышивальщики из Милана, никем не превзойденные в своем искусстве; все собравшиеся пришли в величайшее восхищение.

Господин протонотарий де Фуа повел свою даму танцевать и между прочим полюбопытствовал, что означают символы, вышитые на ее платье, заподозрив в них некий скрытый смысл, для него неблагоприятный. Графиня ему отвечала: «Сударь, я

приказала разукрасить мне платье таким же манером, каким военные и прочие всадники украшают норовистых коней, что могут понести либо лягнуть: они подвешивают им на круп большой серебряный колокольчик, дабы их спутники и все окружающие знали, что им грозит опасность, и остерегались строптивой скотины. Вот так же и я, с помощью сгорающих в пламени факела мотыльков, предупреждаю порядочных мужчин, оказывающих мне честь своею любовью и восхищением моей красотой, что им не следует слишком приближаться ко мне и желать большего, нежели простое любование, ибо они ровно ничего не достигнут, а всего лишь сгорят, подобно тем мотылькам». История эта описана в «Девизах» Паоло Джовио. Этими словами дама предупреждала своего кавалера, чтобы он не заходил слишком далеко, а спохватился бы на полпути, пока не поздно. Уж не знаю, преуспел ли он после того у сей дамы или же нет, однако, будучи смертельно ранен и взят в плен в бою при Павии, попросил доставить его именно к графине, в ее городской дом, где ему оказали самый радушный прием и заботливый уход. Спустя три дня раненый умер, к великому горю графини; историю эту, в ответ на мою, поведал мне кавалер де Монлюк однажды ночью в траншее под Ла-Рошелью, когда на него напала болтливость; он уверял, будто графиня и впрямь была ослепительно красива и без памяти любила названного маршала, за которым преданно ходила в последние его дни; при всем том он не был уверен, перешли они в прошлом границу дозволенного или нет. Пример сей вполне достаточен и убедителен для многих ранее помянутых дам.

Итак, есть рогоносцы столь снисходительные, что вместо примерного наказания отправляют жен своих к священникам и прочим порядочным людям, дабы те наставили их на путь истинный; жены, конечно, пускаются в притворные слезы и покаянные речи и, бия себя в грудь, клянутся и божатся, что никогда более не согрешат; однако недолго держат данное слово, ибо слезы и обещания таких дам подобны клятвам или ссорам влюбленных. К примеру, знавал я одну даму, пустившуюся во все тяжкие и позорившую своего мужа, как раз уехавшего в некую провинцию по поручению принца, а заодно и по собственным делам; повелитель его счел своим долгом послать туда монаха-францисканца, дабы тот предупредил мужа о распутном поведении его половины и призвал к порядку сию грешную душу. Супруг был весьма поражен таковым посланием и заботливостью своего принца, но всего лишь поблагодарил его за доброту да пообещал принять надлежащие меры, однако по возвращении ни словом не попрекнул жену, да и правильно поступил, ибо чего он

этим достиг бы?! Коли женщина ступила на эту дорожку, она уж с нее не сойдет, так же как почтовая лошадь, скачущая во весь опор, галопом, не сменит его на смирную рысцу.

Эх, сколько же повидал я достойнейших дам, коих мужья застигали за этим делом и били-трепали, ругали-увещали — словом, действовали и лаской и таской, понуждая не грешить более; что ж, красавицы наши, ничтоже сумняшеся, обещали, сулили и клялись блюсти целомудрие, однако, глядишь, прошло малое время, и они, вспомянув известную поговорку: «Passato il pericolo, gabbato il santo»[21], принимались еще усерднее сражаться на любовной войне: многие из этих грешниц, чувствуя, как их точит червь раскаяния, сами, по доброй воле, давали себе клятву исправиться, но, увы, быстро забывали о ней и уже раскаивались в своем раскаянии, как описывает это Дю Белле в поэме о раскаявшихся куртизанках. Такие женщины уверяют, будто расставаться с сей сладкой привычкой и вредно и не нужно, ибо сколь быстротечно пребывание наше в земной юдоли!

Хотел бы я узнать, что ответили бы на это молодые девицы, которые в юные свои лета покаялись, надели монашеский клобук и обрекли себя на заточение, коли попросить их высказаться прямо и откровенно о сем предмете; верно, и им нередко хочется, чтобы высокие монастырские стены пали, выпустив затворниц на волю.

Вот отчего мужьям следует укрощать жен своих после первой же бесчестной измены, не иначе как отпустив узду и только посоветовав им вести делишки шито-крыто, не допуская до скандала; ибо все лекарства от любви, описанные Овидием, все неисчислимые изощренные средства, с той поры изобретенные, даже и те, что мэтр Франсуа Рабле открыл почтенному Панургу, все равно что мертвому припарки, разве только пустить в дело старинную припевку времен короля Франциска I, вот она:

Кто не хочет, чтоб жена
Хоть разок была грешна,
Посади ее в горшок,
Да на погреб, в холодок!

Во времена короля Генриха один жестянщик принес на ярмарку в Сен-Жермене дюжину неких железных приспособлений для запора женских ворот; они представляли собою род пояса с полосою, проходящей между ног и замыкавшейся на ключ; устройство задумано было столь хитро, что женщина, его надевшая, никак не смогла бы предаваться сладким любовным утехам, ибо в полосе этой мастер проделал лишь несколько

крошечных дырочек для отправления малой нужды.

Говорят, нашлось-таки пятеро или шестеро ревнивых мужей, которые купили эту штуку и засупонили жен своих столь крепко и надежно, что тем только и осталось сказать: «Прости-прощай, счастливое времечко!» Но и тут одна хитрая дама сыскала выход: нашла искусного мастера, показала ему свою железную узду и то, что под нею, и он изготовил запасной ключ, коим дама, едва только муж за порог, отмыкала и замыкала сию тюрьму своей женской вольницы в любое время, когда хотела. Супруг так ничего и не заподозрил. А его половина вовсю предавалась любовным утехам, награждая рогами простофилю-мужа и полагая, что теперь вечно и без удержу сможет развлекаться на свободе. Но все дело испортил ей тот самый умелец, что изготовил запасной ключ, и, как говорят, не прогадал, ибо оказался первым, кто проверил и испробовал его на деле, орогатив чересчур ревнивого мужа; что ж, оно и правильно, недаром же и Венера, наикрасивейшая и наираспутнейшая из всех женщин в мире, имела мужем Вулкана, кузнеца и слесаря, и был он весьма злобен, грязен, хром и крайне уродлив.

Но это еще не вся история: множество галантных кавалеров-придворных строго пригрозили упомянутому жестянщику, сказав, что, ежели он и дальше станет торговать подобными гнусными изделиями, они его просто-запросто убьют, и посоветовали ему вернуться домой да выбросить все оставшиеся штуки; так он и поступил, и более об них никто не слышал. Вот поистине мудрый поступок, ибо пусти он их в дело, погубил бы чуть ли не половину человечества; судите сами: ведь все эти мерзкие и коварные приспособления, наглухо замыкающие женскую природу, есть самое ужасное препятствие к размножению рода людского.

Есть и такие мужья, что поручают охрану жен своих евнухам, каковой обычай сурово осудил император Александр Север, запретив применять его к римским матронам, ибо и евнухи эти тоже не безгрешны; разумеется, женщинам невозможно спать с ними и зачинать детей, однако евнухи также вполне способны питать нежные чувства и доставлять дамам невинные наслаждения, весьма близкие к истинной страсти; правда, что некоторые мужья нимало не огорчаются подобными забавами, полагая истинной изменою не любовные шашни, но рождение чужого ребенка, каковое дитя приходится затем кормить и воспитывать. А все прочее их вовсе не заботит, более того, я знавал таких, что и незаконных детей принимали в лоно семьи, лишь бы настоящие их отцы доставляли чадам своим приличный доход и содержание; многие мужья даже подучали жен своих просить у любовника пенсион на воспитание детей. Так,

например, случилось с одной знатной дамою, которая забеременела от короля Франциска I, от коего и произошел на свет сьёр Вильконен. Она попросила короля закрепить за ее ребенком некоторое состояние на случай внезапной смерти, что тот и сделал, положив на имя сына в банк двести тысяч экю, дававших недурные проценты, так что юноша этот, по достижении взрослого возраста, получил превосходнейшее наследство, позволившее ему вести роскошную и беззаботную жизнь при дворе; окружающие дивились сему богатству, подозревая, что он обирает какую-нибудь тайную любовницу; никто из них и не подумал об его матери, однако же именно она снабжала его деньгами без счету; мало кто знал, откуда молодой человек берет их, притом что происхождение его так и осталось никому не ведомым; только когда он умер в Константинополе, состояние это, как принадлежавшее бастарду, передано было маршалу де Ретцу, весьма пораженному столь долго хранимой и наконец раскрывшейся тайной; не пожелав воспользоваться сим даром, он тщательно проверил факт незаконного рождения, вслед за чем отказал эти деньги господину де Телиньи, назначив его официальным наследником означенного Вильконена.

Поговаривали, будто сия дама родила сына не от короля, а от кого-то другого, обогатив его за счет своих любовных похождений; однако господин де Ретц тщательно обследовал все банки и действительно в одном из них отыскал и деньги, и долговые обязательства короля Франциска; тем не менее сплетники утверждали, что ребенок этот — от другого члена королевской семьи, правда не менее знатного; другие приписывали отцовство некоему придворному; как бы то ни было, но для надежного сокрытия тайны и должного воспитания Вильконена совсем не глупо было свалить всю вину на его величество, и это далеко не единственный случай подобного рода.

Думается мне, что в мире, а равно и во Франции, найдется множество женщин, которые согласились бы произвести на свет ребенка такой ценою и, не чинясь, позволили бы королю или принцу придавить им живот (чтобы он после вздулся), однако чаще случается, что те живот-то придавят, да мошны не оставят, обманывая глупых женщин, охотнее всего отдающихся за galardon[22], как говорят испанцы.

Но вот какой интересный вопрос возникает по поводу этих незаконных, рожденных от любовника отпрысков: имеют ли они право наследовать отцовское либо материнское состояние; ведь это великий грех, коли женщина отдает его такому ребенку; некоторые юристы полагают, что жена должна признаться мужу в

измене, сказав ему всю правду. Таково, например, мнение мэтра Сюбтиля. Но другие опровергают сей вывод, говоря, что таким образом женщина опозорит себя, вот почему наши дамы к огласке отнюдь не склонны; доброе имя куда дороже благ земных преходящих, сказал царь Соломон.

Итак, лучше уж незаконному ребенку лишиться состояния, нежели матери его погубить свою репутацию; недаром же гласит старинная пословица, что «дороже имя святое, чем платье златое». Отсюда теологи вывели следующую максиму: когда пред нами встает выбор меж двумя необходимостями, меньшая должна уступить место более насущной. Нет сомнений, что сберечь свою добрую репутацию много важнее, нежели достояние другого человека, стало быть, следует предпочесть первое второму.

Кроме того, разоблачив себя пред мужем, женщина подвергается риску быть убитой за измену, иными словами, как бы идет на самоубийство, что строго осуждается Церковью: даже из страха насилия или же после свершения такового женщинам запрещается накладывать на себя руки, ибо сие есть смертный грех; лучше уж допустить насилие над собою (ежели крик и сопротивление не позволяют избежать его), нежели покончить жизнь самоубийством; насилие над телом не считается грехом для жертвы, коли она противится ему рассудком. Именно так ответила святая Люция тирану, который угрожал отвести ее в бордель на поругание: «Вы вольны подвергнуть меня насилию, но непорочность моя от того лишь вдвойне воссияет».

По таковой же причине многие осуждают поступок Лукреции. Правда, надобно оговориться, что святая Сабина и святая Софонисба, которые вместе с другими христианскими девственницами лишили себя жизни, дабы не попасть в руки варваров, оправдываются нашими теологами и Отцами Церкви, ибо, как считают эти последние, пошли на это, вдохновленные Святым Духом; точно так же, с поощрения Святого Духа, после взятия Кипра одна местная девушка, недавно обращенная в христианство и попавшая в плен к туркам вместе со многими другими женщинами-христианками, тайком подожгла порох на галере, увозившей их в рабство, да и сгорела в пожравшем все и вся пламени со словами: «Знаю, что Господу не угодно видеть, как поганые турки и сарацины оскверняют тела наши!» Одному Богу было известно, не надругались ли над девушкой нечестивцы еще ранее и не стала ли гибель ее искуплением греха; правда, вполне возможно, что хозяин не притронулся к ней, желая продать ее девственницей, дабы выручить побольше денег, ибо в этих восточных странах, как, впрочем, и во всех других, много водится любителей свежатинки.

Но, возвращаясь к непорочным стражам бедных женщин, а именно к евнухам, повторю еще раз, что они не допускают близких сношений и не делают мужей рогоносцами, позволяя себе разве лишь легкие шалости.

Я знавал во Франции двух женщин, взявших себе в возлюбленные парочку таких целомудренных кавалеров, дабы избежать опасности забеременеть, получая притом всяческое удовольствие от сношений с ними и нимало не сетуя на недостачу. Однако в Турции и Мавритании встречаются столь ревнивые мужья, что, заприметив таковые шашни, тотчас лишают рабов своих мужского естества, напрочь отрезая у них то, чем грешат. По свидетельству людей, хорошо изучивших жизнь в Турции, из дюжины жертв столь жестокой операции выживают едва ли не двое; зато выживших мужья почитают и любят как истинно верных, надежных и целомудренных хранителей чистоты и чести жен своих.

Мы, христиане, не держимся столь мерзостных и бесчеловечных обычаев, зато, вместо охолощенных евнухов, приставляем к супругам своим древних старцев — так, например, поступают в Испании повсюду, вплоть до королевского двора, где старики эти охраняют инфант, их фрейлин и прочих дам из свиты. Но, Господь свидетель, есть старики, во сто крат более опасные для молодых девушек и женщин, нежели юные кавалеры, коим бывает куда как далеко до первых в коварном, хитроумном, необузданном и пылком искусстве развращения.

Я полагаю, что подобные стражи, кому седина в бороду, а бес в ребро, не более надежны, чем молодые; то же скажу и о старых дуэньях: так, одна из них проходила со своими юными подопечными по большой зале, где стены были ярко расписаны огромными мужскими членами; увидев их, старуха прошептала: «Mira que tan bravos no los pintan estos hombres, como quien no los conosciesse»[23]. Услышав эти слова, девицы обернулись к старухе, и одна из них, мне знакомая, спросила у своей подруги, разыгрывая святую невинность, что это за редкостные птицы нарисованы по стенам (а некоторые и впрямь снабжены были крылышками). Та отвечала, что это птицы из Мавритании и что живьем они еще красивее, нежели в изображении. Одному Господу ведомо, приходилось ли ей видеть их вживе, однако тут пришлось притвориться несведущей.

Многие мужья нередко попадают впросак с таковыми стражами: им думается, что, доверив жен своих присмотру старухи (которую и те и другие почтительно величают матушкою), они надежно защитили ее с переду; однако же для красавиц наших нет ничего угоднее и приятнее эдакой дуэньи,

что, будучи жадна до денег, никому не откажет, охотно продавая своих подопечных мужчинам.

Другие, менее алчные, не могут соблюсти молодых красоток, неизменно ищущих любовных приключений, по иной причине, а именно: целый божий день мирно дремлют в уголку у камина, даже не подозревая о том, что прямо у них под носом юные дамы украшают мужей своих пышными рогами.

Знавал я одну такую даму, которая ухитрилась изменить мужу в присутствии дуэньи, да так ловко, что та ничего и не заметила. Другая сделала то же самое при своем супруге, почти на виду у него, пока он играл в приму.

Бывают и такие дуэньи, что по причине подагры или хромоты не поспевают за юными своими госпожами, которые резво обгоняют их и, добежав до потаенной аллейки, рощицы или же туалетной, успевают-таки прямо в платье сорвать свой куш, оставив с носом колченогую или подслеповатую старуху. Бывают и такие пожилые опекунши, в свое время пожившие всласть, что жалеют молодых женщин и дают им всяческую поблажку: сами указывают дорогу к греху и толкают на нее, пособляя по мере сил. Недаром же говорил Аретино, что нет большего удовольствия для дамы, познавшей грешную любовь, как наставить на сей неправедный путь другую, еще не превзошедшую сию сладкую науку.

Вот почему даме, желающей обрести надежную наставницу в любви, лучше обратиться к старой сводне, нежели к молодой подруге. Мне рассказывал один весьма галантный кавалер, что он никогда не имел дела с пожилыми дуэньями, да и жене своей строго-настрого заказывал, позволяя ей видеться лишь со сверстницами — молодыми, зато менее опасными; к сему приводил он множество мудрых резонов, коих обсуждение предоставляю я более опытным ораторам.

Вот по этой же причине один мой знакомый сеньор доверил надзирать за женою, которую сильно ревновал, кузине своей, еще незамужней девице: таковые девицы, в силу собственной непорочности, уподобляются собаке на сене, что и сама не ест и другим не дает; эта, однако же, сама лакомилась вдоволь, зато подопечную свою держала на голодном пайке; правда, та все же умудрялась время от времени перехватить на стороне, чего надзирательница ее, при всей зоркости своей, не замечала — коли не притворялась слепою.

Я мог бы привести здесь великое множество способов, к коим прибегают злополучные рогоносцы, дабы укротить и стреножить резвых своих жен, помешав им пастись на чужом лужку; но что толку — они могут сколько угодно использовать старые средства,

о которых слышали от других, и изобретать новые, свои собственные, — все будет тщетно, ибо коли уж завелся у женщины в сердце любовный червячок, она неизменно станет посылать мужа к Гийо Мечтателю, о чем полагаю я рассказать в главе, наполовину уже написанной, где разбираются все хитрости и уловки женские в сей части, сравнимые разве что с военными хитростями опытнейших стратегов на войне. По моему мнению, самое лучшее, надежное и приятное лекарство от измены, каким ревнивый муж может употчевать жену свою, так это предоставить ей полную и ничем не стесненную свободу; один галантный кавалер, женившись, говаривал: чем больше женщине запрещаешь, тем больше ей именно того хочется, ибо так уж оно заложено в ее природе, особливо когда дело касается любви, где аппетит разгорается от запрета пуще, нежели от дозволения.

А вот еще один вопрос, до рогоносцев касающийся: ежели кто насладился любовью с чужою женой при жизни ее супруга, а тот возьми да помри, и вот любовник после женится на вдове, можно ли назвать второго ее мужа рогоносцем, как это делали многие весьма достойные люди?

Некоторые возражают, что нельзя, мол, числить его в рогоносцах, ибо сам же он и свершил сие деяние, а человека, наставившего рога себе самому, обманутым мужем не назовешь. И однако же, есть ведь такие оружейники, которые, выковывая шпага, умудряются заколоть самих себя или своих собратьев по ремеслу.

Другие утверждают, что такой муж и в самом деле рогоносец, только не de facto, a de jure, и приводят к тому множество обоснований. Но поскольку проблема эта весьма сложна, оставляю решение ее первому же собранию, которое пожелает заняться этим вопросом.

К сему расскажу здесь об одной знатной замужней даме, которая, еще будучи замужем, завела любовную связь с одним кавалером и поддерживала ее четырнадцать лет кряду; все это время она страстно желала смерти своему супругу. Но не тут-то было — упрямец никак не желал отправляться на тот свет, невзирая на все заклятия раздосадованной дамы. Конечно, болезни его и немощи свое брали, однако смерть все не шла, так что последний король Генрих, беседуя с одним бравым и достойным дворянином о добром здравии названного мужа, частенько говаривал: «У меня при дворе есть две особы, которые ждут не дождутся, когда такой-то преставится; одному не терпится получить денежки, другой — выскочить замуж за своего возлюбленного». Но дело затянулось, не обещая обоим ничего хорошего.

Вот сколь мудр и всевидящ Господь наш, ниспосылающий людям то дурное, чего они желают другим; однако недавно мне передали, что связь их расстроилась и они прервали сношения: о свадьбе более речи нет, к великой досаде дамы и к не меньшей радости ее кавалера, который решил искать счастья в другом месте, ибо ему надоело ждать смерти мужа, тем более что тот, словно в насмешку над людьми, то и дело объявлял о близящейся кончине, устраивал великий переполох, но каждый раз оставался в живых и в конце концов пережил претендента на свое место. Несомненно, того постигла Божья кара, ибо где же это видано — прочить себя в мужья даме, у коей имеется законный супруг, и желать смерти тому, кто еще полон сил!

Я желал бы рассказать еще об одной даме, также знатной, хотя и не столь высокородной, как предыдущая: дама эта вышла замуж за дворянина, преследовавшего ее своей любовью; она же не любила его, зато знала за ним множество болезней и немощей, от коих не было ему ни минуты покоя; доктора сулили ему смерть не более чем через год, особливо именно по той причине, что он пылко любил жену и слишком часто спал с нею; дама надеялась вскорости похоронить супруга и наследовать за ним все его добро — деньги, красивую мебель и прочее достояние, поскольку был он весьма богат и жил на широкую ногу, настоящим барином. Однако дама жестоко обманулась: муж ее по сю пору здравствует и наслаждается жизнью пуще прежнего, сама же она давно умерла. Говорили, будто дворянин этот лишь притворялся хворым и немощным, дабы надеждою на скорое наследство привлечь к себе даму (за которой водился грех жадности и стяжательства) и жениться на ней, но Господь Бог рассудил иначе и послал смерть не пастуху, а козе — прямо на лужку, где она была привязана.

Что же сказать о тех мужчинах, которые женятся на знаменитых в прошлом куртизанках и распутницах по обычаю, широко принятому и во Франции, но особенно в Испании и в Италии, дабы свершить, как они утверждают, богоугодное дело — por librar un’anima christiana del infierno[24] и наставить женщину на путь истинный.

Разумеется, некоторые заявляют, что коли мужчины эти женились на таких развратницах ради столь святого дела, их уже не сочтешь рогоносцами, ибо все, что творится во славу Господню, не подлежит осуждению; хотя следует оговориться: одни жены, ступив на путь праведный, весьма скоро возвращаются на прежнюю дорожку (я и сам видывал множество таких в обеих этих странах) и, не будучи в силах исправиться, валяются с мужчинами в первой встречной канаве; но есть и

другие, которые, состоя в браке, грешат не более, чем в прежней жизни.

В первый раз, как посетил я Италию, случилось мне влюбиться в одну замечательно красивую римскую куртизанку по имени Фаустина. И поскольку у меня было мало денег, а она стоила дорого — брала десять — двенадцать экю за ночь, — пришлось мне удовольствоваться одними взглядами да словами. По истечении некоторого времени я возвращаюсь в Италию с большей суммой денег, отправляюсь в дом Фаустины, добившись свидания чрез ее наперсницу, и что же?! — застаю ее замужем за неким правоведом; она живет там же, где занималась своим ремеслом, и, радушно приняв меня, рассказывает все обстоятельства своего удачного брака и уверяет, что навсегда отринула прежние безумства. Сгорая от любви к ней еще сильнее, чем ранее, я выкладываю свои новенькие блестящие французские экю. Вид денег поколебал ее, и… она дала мне то, чего я так жаждал, сказавши, что по заключении брака твердо условилась с мужем о полной своей свободе, только без огласки и скандала, и что он позволил ей делать это, но только за большие деньги, дабы они могли жить в роскоши: так-то она и продолжала торговать собою за крупные суммы. Вот сей муж, без сомнения, был истинным рогоносцем и в помыслах, и на деле.

Слышал я историю об одной даме, которая, собравшись замуж, заручилась обещанием своего жениха, что он оставит ее по-прежнему услаждаться любовью при дворе, а сам будет сидеть в своем углу и обходиться, как говорят, сухостоем (иными словами, работать вхолостую); в утешение обязалась она выдавать мужу ежемесячно по тысяче франков на мелкие развлечения, что аккуратно и выполняла, не заботясь более ни о чем, кроме собственных утех.

Итак, женщина, хлебнувшая в молодости вольной жизни, редко когда удерживается от того, чтобы не взломать запоры супружеской крепости, особливо ежели ее манит и соблазняет золото; примером тому дочь царя Акрисия, которая, будучи заключена в неприступную башню, все-таки уступила нежному приступу Юпитера, обернувшегося золотым дождем.

«Ах, может ли женщина соблюсти себя, — воскликнул один галантный кавалер, — коли она красива, честолюбива, жадна до денег, обожает роскошные наряды и хочет всех затмить; ясное дело, что заработать все это можно отнюдь не головою, но передком, даже если сперва дама держит его на запоре, а муж ее, благородный и бесстрашный, не расстается со шпагою для защиты жениной чести!»

Эх, сколько же повидал я на своем веку таких достойных

храбрецов, угодивших в сию ловушку! Жалко и прискорбно смотреть, как отважные воины после многих славнейших побед, одержанных над врагом, носят лавровый венок триумфатора, где меж листьев проглядывают позорящие их рога; весьма досадно, что их больше занимают доблестные подвиги, почетные должности и победы над неприятелем, нежели наблюдение за собственными женами и расследование некоторых темных делишек сих плутовок. Вот эдак они невольно и попадают в Корнуолл, известный как приют рогоносцев, что весьма и весьма печально; по сему поводу вспоминается мне один достойнейший, носивший высокий титул дворянин, который однажды с упоением повествовал о своих ратных подвигах и завоеваниях, на что другой кавалер, близкий его друг и соратник, заметил кому-то: «Дивлюсь я, как это он хвастает здесь своими победами; кому и гордиться сражениями, так это его жене — вот кто навоевался так, что мужу и не снилось».

Знавал я и других мужей, коих авантажный вид, приятное обращение и прочие достоинства меркли и бледнели пред позорным званием рогоносца; это ярмо не сокрыть и не скинуть, как вы ни старайтесь: рога есть рога, их ничем не прикроешь. Что до меня, то я рогоносцев признаю еще издалека по многим неоспоримым признакам, жестам, позам и повадкам; лишь однажды в жизни встретил я такого, в ком и самый зоркий глаз не смог бы распознать рогатого мужа, коли не знать жены его, — столь невозмутимо и гордо держал он себя.

Я хотел бы попросить дам, чьи мужья столь же совершенны (как и они сами), не позорить их понапрасну, но что толку, они мне ответят: «А где вы видите безупречных мужей? И где он — тот, о коем вы только что упомянули?»

Ну, разумеется, сударыни мои, вы правы: не каждый муж способен быть Сципионом или Цезарем, прошли те времена. Впрочем, нужно ли поминать тут Цезаря: ведь и он прошел через сей позор, как многие другие заслуженные и добродетельные мужи; стоит лишь прочесть историю императора Траяна, все совершенства которого не уберегли супругу его Плотину от любовной связи с Адрианом, ставшим впоследствии императором, из каковой связи этот последний извлек весьма ценные преимущества, должности и прибыли — основу будущей его карьеры; впрочем, надо признать, что он не страдал пороком неблагодарности, ибо по-прежнему любил и почитал Плотину, а когда она умерла, впал в столь сильную скорбь, что некоторое время отказывался даже пить и есть; печальную весть о ее кончине узнал он в Галлии Нарбоннской, где дела удерживали его три или четыре месяца, в течение которых он несколько раз

писал в сенат с приказом возвести Плотину в сонм богинь и устроить ей роскошные похороны с богатейшими жертвоприношениями; в то же самое время он повелел возвести в ее честь красивейший храм близ Намуса, называемого нынче Нимом, и украсить его мрамором, порфиром и прочими ценными камнями.

Стало быть, во всем, что касается любви и ее утех, ничего нельзя предвидеть заранее, ибо Купидон, бог влюбленных, слеп и мечет свои стрелы наугад; вот отчего дамы, имеющие красивейших, достойнейших, доблестнейших мужей, вдруг ни с того ни с сего влюбляются в самых мерзких уродов, каких только видел свет.

Видывал я множество таких дам, о которых люди спрашивали: «Которую скорее назовешь шлюхою — ту ли, что, имея видного и честного мужа, заводит себе дружка-урода мрачного нрава и ни в чем не схожего с ее супругом или же ту, что, имея мужа брюзгливого и безобразного, любится с каким-нибудь красавчиком, не забывая притом жарко ласкать и мужа, словно бы милее его нет на всем белом свете (как я частенько наблюдал у многих женщин)?»

Разумеется, почти все назовут распутницею скорее ту даму, которая, будучи замужем за красавцем, предпочитает ему уродливого любовника, уподобляясь тем, кто пренебрегает хорошей едою и кладет в рот тухлый кусок. Вот так и женщиною, предпочитающей уродство красоте, похоже, руководит единственно распутство, тем более что нет большего разврата, чем завести сношения с каким-нибудь страшилищем, воняющим, точно козел, и столь же похотливым. И часто бывает так, что красивые и достойные мужчины, привыкшие к деликатному обращению, куда менее способны удовлетворить ненасытную и чрезмерную жажду любви у женщины, нежели грубый, неотесанный, бородатый мужлан с его необузданной похотью.

Другие же утверждают, что женщина, имеющая красивого дружка и безобразного мужа и ласкающая их обоих, не меньшая распутница, чем первая, ибо ничего не упускает ни там, ни здесь.

Эдакие женщины напоминают мне тех путешественниц, которые, странствуя либо за границей, либо даже и во Франции и прибывши ввечеру в чей-нибудь дом к ужину, никогда не забудут спросить у хозяина размер его копья, и не миновать тому пустить его в дело, хотя бы он и был мертвецки пьян.

А еще эти женщины стремятся постоянно, что бы ни случилось, получать удовлетворение перед сном (знавал я одну такую, имевшую весьма способного мужа, который всякую ночь исправно шпиговал ее снизу); но им и этого удовольствия мало, и

они стараются удвоить его, оставляя услады с любовником на дневное время, дабы тешить взор его красотою, еще сильнее разжигающей женский аппетит; вот так, стало быть, и развлекаются они с красивым дружком днями, а с уродцем мужем по ночам; недаром же говорится, что ночью все кошки серы: главное, голод утолить, а хорош собою муж или мерзок — это уж дело десятое. Ибо мне приходилось слышать от многих, что, когда мужчина или женщина приходят в любовный экстаз, они уж не думают и не мечтают ни о ком, кроме своего нынешнего предмета, хотя мне достоверно известно и другое: многие дамы уверяют дружков своих, что помышляют лишь о них, лежа в постели с мужем, отчего и получают стократ большее удовольствие; также и от некоторых мужей знаю я, что, будучи с женою, думают в этот миг о любовнице по той же самой причине: но это, по моему мнению, и есть самый настоящий разврат.

Натурфилософы растолковали мне, что в данном случае мысли человека может занимать лишь один предмет, притом, конечно, не отсутствующий, и приводили к сему множество обоснований; но я недостаточно преуспел ни в философии, ни в науке, чтобы их опровергнуть, тем более что многие из них попросту грязны. Я желал бы рассмотреть этот обычай, скажу, однако, что многажды в жизни своей наблюдал сей странный и противоестественный выбор женщиною любовника-урода.

Возвратись однажды из иностранной провинции, которую я не назову из страха разоблачения имен тех, о ком поведу речь, беседовал я с некой весьма знатной дамой; предметом разговора нашего была одна принцесса, с которою я там виделся; собеседница моя спросила о любовных делах помянутой особы. Я назвал ей кавалера, числившегося в фаворитах у принцессы, не блиставшего ни красотою, ни воспитанием, ни знатным происхождением. На это она отвечала: «Поистине (такая-то) сделала неудачный выбор, оскорбляющий и любовь, и ее самое, при всей ее красоте и достоинствах».

Дама эта имела полное право так рассуждать, ибо сама поступала отнюдь не противно природе и знала, что говорит, имея достойнейшего друга, верного и любящего. И коли уж совсем откровенно, никогда женщина не станет упрекать себя в том, что выбрала и полюбила привлекательного и красивого мужчину, предпочтя его мужу во имя заботы о потомстве, тем более что бывают мужья столь уродливые, столь глупые и неуклюжие, столь трусливые, или блудливые, или вовсе негодящие, что лучше уж их женам вовсе не иметь детей, нежели родить от эдаких чучел; так, я знавал многих дам, которые произвели на свет детей, как две капли воды похожих на отцов

своих и никакими достоинствами не блиставших; другие же дети, рожденные от любовников, во всем превосходили и мнимых своих отцов, и братьев с сестрами.

Вот и некоторые философы, изучавшие сей предмет, всегда утверждали, будто такие дети, рожденные не по закону, а от сердечного дружка и зачатые тайком, тишком и второпях, куда более споры и проворны потом в любовном ремесле, нежели те, что сделаны в супружеской постели, неповоротливо, лениво, медленно и чуть ли не во сне, когда неухватистый супруг только и помышляет что о грубом своем удовольствии.

То же самое слыхал я от людей, что по должности своей занимаются конюшнями королей и знатных сеньоров: лучшие жеребята рождаются от тех кобыл, что урвали свое на стороне, а не от тех, коих случали с породистыми жеребцами под наблюдением опытных конюших; подобное происходит и с людьми.

Скольких же повидал я дам, родивших на свет красивых, здоровых и умных детей, которые всем взяли; а вот зачни они их от законных мужей, вышли бы из этих отпрысков грубые скоты или телки неразумные.

Вот отчего женщины решили помогать сей напасти, подыскивая себе красивых и здоровых жеребцов (если мне позволено так выразиться!), дабы улучшить породу. Правда, видывал я и других, что имели привлекательных мужей, детей же рождали от уродливых и премерзких любовников, и младенцы были вылитые отцы, повторяя в себе их безобразие.

Таков, стало быть, один из признаков удобства или, если хотите, неудобства рогоношества.

Знавал я даму, бывшую замужем за грубым и препротивным уродом; из всех ее детей, четырех девочек и двух мальчиков, лишь двое отличались привлекательностью, ибо родились от любовника; остальные же, плод усилий нерадивого ее муженька (истинного пугала), получились куда как нехороши.

Однако в таком деле дамам следует блюсти крайнюю осторожность и не попадать впросак, памятуя о том, что детишки обычно похожи на отцов, ну а коли не похожи, то выходит родителям их бесчестье; я сам видел, как многие дамы силятся убедить весь свет в том, что их дитя — вылитый портрет своего папаши, а не матери, тогда как на самом деле этого и в помине нет; нельзя доставить мужу большего удовольствия, как убедив его, что ребенок ни в коем случае не мог быть зачат от другого, хотя именно так оно и есть.

Однажды случилось мне попасть в большую компанию придворных, которые разглядывали портрет двух дочерей некой

великой королевы. Каждый из присутствующих высказывал свое мнение о том, на кого похожи принцессы: большинство склонялось к тому, что на мать; я же, будучи вернейшим подданным сей королевы, решительно заявил, что нахожу в них поразительное сходство с отцом и что коли они видели и знали бы его, как я, то, верно, согласились бы со мною. Сестра королевы горячо благодарила меня за сей отзыв и с тех пор обходилась со мною чрезвычайно милостиво, так что многие даже заподозрили в ее благосклонности любовную подоплеку, говоря, что, мол, нет дыма без огня; вот как угодил я ей своим заверением сходства дочерей с отцом. Отсюда вывод: ежели кто полюбит даму и дети будут его плоть и кровь, пускай смело, даже противу очевидного, объявляет, что они как две капли воды похожи на ее супруга, и дело в шляпе.

Правда, ничего нет худого и в заверениях, что ребенок именно похож на мать; так, один придворный, близкий мой приятель, рассказывал, что в беседе о двух дворянах, родных братьях, бывших в большой милости у короля, ответил на вопрос, с кем они более схожи, с матерью или отцом, следующим образом: «Один, холодного и флегматичного нрава, походит на отца, второй же пылкостью пошел в мать»; сим остроумным маневром он приписал характер другого брата матушке его, и впрямь отличавшейся горячим темпераментом, и как бы по справедливости воздал каждому из сыновей.

Есть и другой сорт рогоносцев, ставших таковыми из небрежения к женам своим; я знавал многих мужей, что имея красивейших и достойнейших супруг, не уделяли им должного внимания, манкировали и не занимались ими как следует. Ясное дело, дамы эти, не обиженные ни знатностью, ни гордостью, ни изворотливым умом и оскорбленные таким обращением, платили мужьям той же монетою, и неудивительно: женщина пребывает в забросе у мужа, а тут, глядишь, подвернулся под руку пригожий воздыхатель, вспыхнула любовь с первого взгляда, вот и готово дело; верно же говорится в неаполитанской пословице: «Amor non vince con altro che con sdegno»[25].

Ибо когда женщина хороша собою, блистает умом и многими другими достоинствами, и притом видит, что муж пренебрегает ею, хотя она готова верно и преданно любить его до гробовой доски (притом что оно так и заповедано законами супружеской жизни), уж будьте уверены: коли она не вовсе покорная овца, то непременно отвернется от мужа и заведет себе сердечного дружка, дабы тот услаждал ее и доставлял все необходимые радости.

Я знавал двух придворных дам, из коих одна приходилась

другой невесткою; первая вышла замуж за человека, бывшего в большом фаворе, весьма светского и любезного, который, однако, жестоко третировал ее ввиду скромного происхождения и в присутствии посторонних без всякого стеснения говорил и обращался с нею грубо, точно со служанкою. Бедняжка долго терпела такое обращение; наконец муж ее в чем-то проштрафился и попал в немилость; тут-то наша дама и воспользовалась удобным случаем и сполна вернула ему все презрение, коим он мучил ее во время оно, а заодно с удовольствием украсила его рогами; невестка ее последовала тому же примеру: она была выдана замуж совсем девочкой, и муж не обращал на нее ровно никакого внимания и не любил, как должно; войдя в возраст и почувствовав силу своей красоты, она отплатила ему той же монетою и в отместку за прошлое небрежение наставила ему ветвистые рога.

В другое время довелось мне встречаться с одним знатным вельможею, который имел двух содержанок, од-ну из них — мавританку, для услаждения своих чувств и надобностей, жену же совсем забросил, тогда как она расстилалась пред ним и угождала, как только могла; он и не глядел в ее сторону, никогда не ласкал, и из сотни супружеских ночей бедняжке едва ли перепадали одна-две. Что ж оставалось делать этой несчастной, как не подыскать себе чужую свободную постель и получить от ее хозяина то, чего лишали ее в собственном доме?!

Уж лучше бы сей муж поступил по примеру другого нашего знакомца, который в том же положении — иными словами, развлекаясь на стороне, — сказал жене, донимавшей его своей любовью, прямо и без обиняков: «Ищите-ка себе утех в другом месте и делайте, с моего благословения, все, что вам заблагорассудится; предоставляю вам полную свободу, а вы предоставьте мне, и пусть каждый из нас живет как хочет; вы не мешайте услаждаться мне, а я не стану мешать вам». С тем они и разошлись как корабли в море, один направо, другой налево, не заботясь более друг о друге: то-то пошла у них потеха да веселое житье!

Куда более нравится мне тот хворый, подагрический, бессильный старик, что сказал жене своей, красотке, которую уже не мог ублажать должным образом: «Знаю, милочка моя, что бессилие мое оскорбляет цветущий ваш возраст и что я должен быть мерзок вам; увы, не могу претендовать на пылкую любовь вашу, каковой достоин лишь здоровый и крепкий супруг. Вот почему решил я предоставить вам полную свободу заниматься любовью на стороне с кем-нибудь другим, кто способен ублаготворить вас лучше меня; только постарайтесь выбрать

человека скромного и скрытного, что не ославил и не опозорил бы нас с вами, да пускай он сделает вам парочку красивых деток, коих обязуюсь любить и воспитывать как своих собственных, дабы все кругом полагали их нашими законными отпрысками, тем более что я с виду еще достаточно крепок и не так стар для отца».

Судите сами, не приятно ли было молодой, красивой даме услышать сие любезное приглашение выпорхнуть на волю; она воспользовалась им столь охотно и усердно, что не успел супруг ее оглянуться, как в доме уже появились двое или трое прелестных детишек, к коим старый муж, иногда еще спавший с женою, питал истинно отцовские чувства, надеясь, что и его труды не пропали втуне; да и все окружающие полагали их законными его чадами; вот так-то и муж и жена обрели счастье и благоденствие в своей семье.

А вот и другой разряд рогоносцев, ставших таковыми по женской сердобольности, ибо многие женщины полагают, что нет ничего более высокого, благородного и похвального, нежели доброта и милосердие, повелевающие оделять бедняков хоть частью достояния богачей, — иными словами, заливать огонь страсти, сжигающей сердца неутоленных любовников. «Что может быть милосерднее, — говорят эти дамы, — чем вернуть жизнь умирающему и облегчить страдания тем, кто гибнет от снедающей их любовной лихорадки?!» Верно выразился у Ариосто храбрый паладин, сеньор де Монтобан, согласившись с прекрасной Джиневрою, что смерти достойна та дама, которая обрекает на смерть от любви своего воздыхателя, а не та, что своим согласием дарует ему жизнь.

Разумеется, сие не относится к юным девицам; скорее, подобное милосердие пристало женщинам зрелым, чей кошелек, так сказать, уже развязан и широко открыт для щедрых воздаяний страждущим.

Тут уместно будет вспомнить притчу об одной весьма красивой придворной даме, которая на праздник Сретенья нарядилась в платье из белого атласа, приказав и свите своей также явиться в белом; во весь этот день никто не мог сравниться с ними блеском и сиянием; воздыхатель дамы подошел к подруге ее, которая была тоже привлекательна, но чуть старше годами, зато более остра на язык и могла бы поспособствовать его успеху; все трое принялись любоваться замечательной картиною, изображавшей Милосердие в образе ясноглазой девы в белоснежном покрывале; вот наперсница нашей дамы и говорит ей: «Вы нынче носите тот же наряд, что и Милосердие, но уж коли надели его на себя, то и надобно проявить жалость к воздыхателю вашему, ибо нет на свете ничего благостнее и похвальнее доброты

к ближнему, в чем бы она ни выражалась, лишь бы питать искреннее намерение помочь страждущему. Так явите же свою доброту, а коли опасаетесь мужа и осуждения света, то знайте, что сия боязнь есть пустой предрассудок, коим следует пренебречь, ибо природа одарила нас многими достоинствами не для того, чтобы мы, подобно упрямым скрягам, держали их под спудом, но для того, чтобы щедро и невозбранно оделять ими голодных и неимущих. Конечно, и целомудрие наше можно уподобить сокровищу, которое не следует расточать на низкие дела, но во имя высоких и благородных целей не нужно жалеть ничего и, не скупясь, делиться с теми, кто его достоин и заслужил долготерпеливыми страданиями, отказывать же людям ничтожным и никчемным. Ну а мужья наши полагают, будто они поистине идолы золотые, коим одним положено поклоняться и приносить богатые жертвы, отвернувшись от всех остальных; как бы не так! Один лишь Господь достоин сего поклонения, а люди обойдутся!»

Речь эта не оставила нашу даму равнодушною и много поспособствовала успеху влюбленного кавалера, который, приложив еще некоторые усилия, добился-таки победы. Но подобные проповеди зело опасны для злополучных мужей. Мне довелось услышать (правда, не уверен, можно ли считать историю эту достоверною), что гугеноты, внедряя свою религию, поначалу действовали скрытно и проповедовали по ночам из страха пред гонениями и карами; так, однажды, во времена короля Генриха II, собрались они в Париже, на улице Сен-Жак, куда явилось и множество знатных дам. После того как пастор сказал свою проповедь, он посоветовал собравшимся как можно чаще проявлять милосердие; незамедлительно после этих слов загасили все свечи и каждый кавалер или каждая дама «оказали доброту» своей сестре или брату по вере, кто как умел и хотел; не стану утверждать, что рассказанное — чистая правда, хотя меня уверяли, будто так оно и было на самом деле; вполне возможно, что это ложь и хула на их религию.

Однако мне доподлинно известна история об одной даме, жене адвоката, которая жила в Пуатье; ее прозвали «прекрасная Готрель», и, по всеобщему мнению (да и по-моему тоже, ибо я сам видел ее), она и впрямь блистала небесной красотою и превосходила прелестью и фацией всех знаменитых городских красавиц; не было мужчины, который не восторгался бы ею, не желал бы ее и не отдал бы ей своего сердца. Так вот, однажды по окончании обедни ею овладели сразу двенадцать школяров, один за другим, свершив это как в самой Консистории, так и на паперти или же, как говорили другие, под виселицей Старого

рынка, и она не кричала, не оказала никакого сопротивления, но лишь попросила их произнести отрывок из пасторской проповеди, а затем отдалась каждому покорно и с улыбкою, полагая их истинными братьями по вере. И долго еще творила сию любовную милостыню, хотя даже и за дублон не уступила бы какому-нибудь паписту. Однако несколько католиков, разузнав у друзей своих, гугенотов, заветное слово, звучащее на их собраниях, также ухитрились насладиться ею. Другие нарочно шли туда и притворно обращались в протестантскую веру, лишь бы научиться этому слову и вкусить блаженство с этой прелестной проповедницею. Я в ту пору учился в Пуатье, и многие приятели мои, получившие у ней свою долю, хвастались своим счастием и клялись, что все рассказанное — истинная правда, да и по всему городу пополз слушок: вот, мол, до чего набожна эта женщина, творящая столь богоугодное дело и привечающая братьев по вере!

Есть и другая форма милосердия, весьма распространенная, а именно осчастливливать бедных узников, томящихся в темнице и лишенных женского общества; жены тюремщиков, их стерегущих, а также супруги кастелянов, содержащих в своих замках военнопленных, позволяют этим несчастным вкусить любви единственно из милосердия; известны слова одной римской куртизанки, обращенные к дочери, которая жестоко и непреклонно отвергала без памяти влюбленного в нее кавалера: «E danli ai manco del misericordia!»[26]

Вот так же и жены тюремщиков, владельцев замков и прочих обходятся с пленниками своими, а те, даром что лишенные свободы и терпящие лишения, все-таки одержимы плотской лихорадкою не менее, чем в лучшие времена. Верно гласит старинная пословица: «Желание рождается из бедности», так что и на тюремной соломе бог Приап поднимает голову столь же бодро, как на мягком, роскошном ложе.

Вот отчего нищие и узники в жалких своих приютах и тюрьмах отличаются тою же похотливостью, что короли, принцы и знатные вельможи в прекрасных дворцах и на пуховых перинах.

В подтверждение слов моих приведу здесь рассказ флотского капитана Болье — я уже несколько раз поминал его выше. Он состоял при покойном господине великом приоре Франции из Лотарингского дома и пользовался большим его расположением и любовью. Отправившись однажды к нему на Мальту на фрегате, Болье попал в плен к сицилийцам и был препровожден в Кастель-дель-Маре, что в Палермо, где его посадили в темную, сырую и тесную тюремную камеру и целых три месяца содержали весьма сурово. К счастью, испанец, владелец замка, в котором находилась тюрьма, имел двух красивых дочерей; слыша

непрестанные жалобы и стенания злосчастного узника, они испросили у отца разрешение навестить его из христианского милосердия, что он им охотно дозволил. И поскольку капитан Болье был весьма галантным и разбитным кавалером и умел блеснуть красноречием, ему удалось так очаровать девушек в первый же их визит, что они добились у отца приказа выпустить пленника из ужасной его темницы и перевести в более пристойное помещение, где с ним стали обращаться несравненно мягче. Но и это еще не все: девушки добились возможности ежедневно навещать капитана и беседовать с ним.

Дело кончилось тем, что обе девицы влюбились в своего пленника, хотя он вовсе не был хорош собой, а они блистали красотой; и вот капитан, позабыв о горестном своем положении и риске сурового наказания, соблазнился близостью сих прелестных особ и пустился во все тяжкие, услаждая любовью и их и себя; так оно шло целых восемь месяцев — без шума, без скандала, без вздутых животов, тишком да молчком, ибо сестрицы, нежно привязанные друг к дружке, заботливо помогали одна другой и по очереди становились на стражу, зорко оберегая себя от огласки. Капитан клялся мне (а мы близко дружили, и я ему верю), что никогда, в дни самой полной свободы, не проводил он время в столь пылких и сладостных забавах, как в том прекраснейшем заточении, хотя, как известно, сей эпитет к слову «заточение» никто еще не применял. И услады эти длились все восемь месяцев, пока наконец император и Генрих II не заключили мир и все пленники не были выпущены на свободу. Капитан рассказывал, что никогда так не горевал, как выходя на волю из своего узилища и покидая горячо полюбивших его красавиц, которые при расставании выказали самую искреннюю скорбь.

Я спросил его, не опасался ли он разоблачения. Он отвечал, что, разумеется, опасался, но не слишком, ибо худшею карою за сей проступок могла быть разве лишь смерть, а он предпочел бы смерть возвращению в прежнюю темницу. Кроме того, он боялся, что ежели не удовлетворит желания милых своих тюремщиц, жадно искавших его любви, то они возненавидят его и подвергнут жестоким гонениям, вот почему он закрыл глаза на опасность и ринулся очертя голову в сию прельстительную авантюру.

Согласитесь же, что милосердие двух прелестных испанок достойно всяческих похвал; впрочем, не они первые, не они последние.

Когда-то рассказывали мне, что у нас во Франции герцог д’Аско, попавший в заточение в Венсенский замок, спасся из тюрьмы с помощью одной прекрасной дамы, которая, впрочем, поступила весьма опрометчиво, ибо дело шло об измене королю.

Жалость к предателю — чувство предосудительное, когда оно вредит государственным интересам, но зато похвально и приятно в обычном случае, где речь идет всего лишь о желании насладиться красивым телом; вот тут в милосердии большой беды нет.

Я мог бы привести к сему множество убедительнейших примеров, кои составили бы целое отдельное рассуждение, и, уж поверьте, оно было бы крайне занимательно. Но ограничусь лишь одним нижеприведенным, Дабы развлечь читателя древнейшею историей.

У Тита Ливия есть рассказ о том, как римляне, завоевав Капую, едва ли не сровняли ее с землею, и вот злополучные обитатели города явились в Рим, дабы умолить сенат сжалиться над их несчастьями. Вопрос был поставлен на обсуждение; среди прочих ораторов выступил Аттилий Регул, заявивший, что жители Капуи не заслужили ни малейшего снисхождения, ибо, по его словам, с самого начала капуанского мятежа ни один горожанин не проявил дружеских чувств или симпатии к общественному устройству Римской республики, ежели не считать двух достойнейших женщин, известных куртизанок и распутниц: одна из них Веста Опия из Ателлы, давно живущая в Капуе, а другая — Фаукула Клувия. Первая непрестанно молилась и приносила богатые жертвы богам во имя спасения и победы римского народа; вторая же тайком снабжала съестными припасами несчастных военнопленных, умирающих от голода и нужды.

Вот поистине достойное восхищения милосердие! Читая сию историю, мы все трое — один любезный кавалер, одна досточтимая дама и я сам — сошлись на том, что обеим женщинам вовсе не трудно было расточать нуждающимся подобные или еще более интимные милости, — ведь они и ранее одаряли ими великое множество страждущих, будучи продажными, а возможно, и оставшись таковыми; впрочем, об этом автор умалчивает, оставляя читателя в сомнении и позволяя ему самому решать сию загадку. Но даже если женщины и бросили на какое-то время свое ремесло, то вполне могли тряхнуть стариной (я думаю, нет ничего легче) и вновь осчастливить бывших своих любовников, с коими некогда спознавались, а теперь решили возобновить былое знакомство; либо же, напротив, они увидели среди пленников еще незнакомых им мужчин и, сочтя их бравыми красавцами, посчитали достойными самого щедрого милосердия — иными словами, наслаждения их телом, — можно ли было поскупиться в столь благочестивом деле?! Итак, благородные эти дамы вполне заслужили расположение и признательность Римской

республики, которая и возместила им понесенный ущерб, вернув все добро и позволив жить в еще большем достатке, чем прежде. Кроме того, им было объявлено, что власти исполнят любую их просьбу. Говоря откровенно, Титу Ливию не следовало излагать историю сию в столь целомудренных выражениях, но, поборов стыдливость, прямо написать, что дамы не отказали пленным в прекрасных своих телах; тогда сей исторический анекдот был бы куда занимательнее, а не дразнил бы своею недосказанностью, умалчивая о самом пикантном. Вот об этом-то мы и спорили за чтением сей книги.

Король Иоанн, находясь в английском плену, пользовался таковыми же милостями у графини Солсбери; видно, они оказались столь щедрыми, что он не смог забыть их и впоследствии вернулся в Англию, дабы вновь увидеться с графинею, выполняя данную ей клятву.

Да и другие дамы проявляют доброту к мужчинам единственно из христианского милосердия; так, одна из них, лежа с любовником в постели, ни за что не позволяла ему целовать себя в губы, оправдываясь тем, что уста ее служат для молитв и клятвы супружеской верности, почему и неподобно осквернять их нечестивыми лобзаниями других мужчин, тогда как чрево, немотствующее и никакого зарока не дававшее, имеет право на услады: мол, рот — это одно, а чрево — совсем другое, и тот, что наверху, не имеет никакой власти над тем, что внизу, равно как и наоборот; недаром же, согласно гражданскому праву, одна сторона не может повелевать другою без ее добровольного на то согласия; вот так же и в любовном деле ни один орган не должен брать верх над всем телом — каждый за себя.

Другая столь же щепетильная и совестливая особа, услаждая себя с милым другом своим, всегда водружалась сверху, главенствуя над ним, и ни разу ни на йоту не отступила от этого правила, объясняя сию твердость следующим образом: ежели муж либо кто другой спросит, не взбирался ли на нее такой-то, она смело сможет отрицать это и отвечать, что никогда не взбирался, не рискуя притом оскорбить Господа ложною клятвой. Так она и делала, успокаивая мужа и прочих любопытных и искренне клянясь в невиновности своей всякий раз, как подступались к ней с расспросами; хорошо еще, говорила дама, что никому из них не пришло в голову осведомиться, а не взбиралась ли она сама на мужчин, каковой вопрос поверг бы ее в замешательство и растерянность.

Мне кажется, будто выше я уже писал об этом; впрочем, всего упомнить нельзя, но в данном рассуждении много больше примеров на сей предмет, нежели в других.

Обычно дамы, занимающиеся сладким любовным ремеслом, бывают отъявленными лгуньями, и слова правды от них не услышишь, ибо привычка постоянно врать (а попробуй не соври, сама же в дурах и останешься, того и жди беды!) мужьям и любовникам по всякому поводу в любви и ее превратностях, а также привычка клясться, что «я, мол, принадлежу одному тебе, и никому другому», заставляет наших прелестниц лукавить и кривить душою на каждом шагу, о чем бы ни шла речь — о делах ли, о прочем; таким женщинам веры ни в чем нет.

Знавал я и таких дам, которые отдавались любовникам своим, только будучи беременными, дабы избежать опасности понести от их семени; они не хотели дать мужу повод думать, будто бы ребенок от другого, а он должен кормить, поить и растить его как своего собственного. Тогда как, забрюхатев от супруга, уж более не боялись оскорбить его изменою и украсить рогами.

Вполне вероятно, что они руководствовались теми же причинами, что и Юлия, дочь Августа и супруга Агриппы, прославившаяся в свое время необузданным распутством, каковое повергало в ярость ее отца еще более, чем мужа. Однажды отец спросил ее, не боится ли она забеременеть от кого-либо из своих многочисленных дружков, на что Юлия отвечала: «Я соблюдаю порядок и допускаю пассажиров на мой корабль лишь тогда, когда он уже загружен и трюм его полон».

А вот и еще один сорт рогоносцев: эти поистине великие мученики имеют жен безобразных как смертный грех, которые, однако, рвутся к сладким любовным утехам столь же неистово, как и красавицы: и хотя, кажется, привилегия сия уготована лишь последним, согласно поговорке «Красавцев ждет петля, красавиц же — бордель», уродины сгорают от вожделения точно так же, и надобно их извинить за сию пылкость, ибо и они — женщины и женским началом не обделены, разве только красотою природа их не наградила. Однако же мне приходилось видеть таких уродин, кои успехом у мужчин могли помериться с первейшими красавицами, особливо в молодости; общеизвестно, что всякая женщина стоит ровно столько, во сколько сама себя оценивает и продает; точно так же на рынке все съестные припасы имеют каждый свою цену: один товар обходится дороже, другой дешевле, смотря по тому, очень ли он нужен хозяйке, рано или поздно пришла она за ним, сумела ли сторговаться с продавцом; недаром же говорится: «Товар гнил да дешев, налетай, покупай, нас потом вспоминай!»

Так же поступают и некрасивые женщины, коих немало повидал я на своем веку, и, ей-богу, встречались среди них такие

сластолюбивые и горячие, что куда там иным красавицам! Они, словно торговки на рынке, выставляли напоказ свой товар и бесстыдно нахваливали его во все горло, стремясь запродать себя подороже.

Но самое прискорбное различие состоит в том, что на рынке торговцы зазывают красавиц купить их товар, здесь же уродины зазывают торговцев приобрести себя самих, да еще за бесценок. И более того, часто такие женщины сами приплачивают покупателю, лишь бы вовлечь его в сей род торговли; вот где приходится им раскошеливаться — прямо беда: ведь тут малыми деньгами не обойдешься, ибо уродин за гроши не всякий и возьмет, как они ни прихорашивайся; и, однако, мужья таких страшилищ тоже не расстаются с рогами, хотя эдакий кус любому поперек горла встанет: судите сами, приятно ли видеть рядом с собою в постели вместо ангельского лика дьявольскую образину?!

Вот почему, слышал я, многие желают порядочным мужьям красивых, хотя и несколько блудливых жен вместо уродин, пусть и целомудренных, ибо в безобразии коренятся великие несчастья и неудовольствия и нет никакой благости; красоту же, как полагают, отличают счастье и радость. Отношусь с сим суждением к тем, кто ходил по этой дорожке и знает толк в делах такого рода.

Слышал я, что некоторым мужьям не так уж и нужно Целомудрие жен их, ибо женщины, обладающие сим весьма редким достоинством, столь гордятся им, что, кажется, готовы властвовать и над супругами своими, и над небесами и светилами: они полагают, что за их несравненную чистоту Господь обязан наградить их сторицею. И однако, сильно ошибаются: я сам знаю от некоторых видных богословов, что Бог куда горячее любит несчастных раскаявшихся грешниц (вспомните хотя бы о Магдалине!), нежели надменных недотрог, кичащихся своею непорочностью, в надежде с ее помощью завоевать царствие небесное, презрев милосердие Господне.

Знавал я одну даму, которая столь чванилась своим целомудрием и столь презирала своего мужа, что на вопрос, спит ли она с ним, отвечала: «Нет, это он спит со мною». Вот спеси-то! Сами представьте, как эдакие заносчивые безгрешные дуры третируют мужей своих, коим — что правда, то правда! — не в чем их упрекнуть; ну а ежели такая баба и целомудренна, и притом богата, тут хоть святых вон выноси: уж она пойдет козырять своими добродетелями, гордиться и щеголять своей чистотой, заноситься и корить свысока бедного супруга, без удержу восхваляя собственную неприступность и крепко запертый передок; уж она-то возьмет мужа под каблук и станет тиранить его день и ночь в свое удовольствие; многонько повидал я эдаких гордячек, особливо в неудачных браках. Ежели муж не спорит с нею, а уступает или сводит дело к шутке, она бушует и беснуется еще пуще, превращая благопристойный свой дом в ад кромешный; ежели приходится продать часть ее добра для путешествия с королевским двором или для ведения войны, тяжбы или других надобностей, либо ей же на булавки и развлечения, то об этом и заикнуться не смей без ее согласия, ибо дама наша, вооружась безгрешностью своею, такую власть взяла над супругом, что единолично верховодит в доме, согласно удачному выражению Ювенала в одной из сатир:

> …Animus uxoris si deditus uni.
> Nil unquam invita donabis conjuqe: vendes.
> Has obstante, nihil; nil boec, si nolit, emetur[27].

Сей стих Ювенала, зло высмеивающий сварливых, но целомудренных древних римлянок, вполне приложим и к нашему времени; но коли женщина хоть чуточку распутна, она становится куда приятнее, покорнее, сговорчивее и боязливее, и нрав у ней легче и веселее, и мужу она послушна во всем; я повидал множество таких, что не осмеливались ни перечить, ни браниться

из страха, как бы муж в ответ не упрекнул их в измене и не пригрозил тяжкой карою; а вздумай он сам распорядиться продажею жениного добра, она и пикнуть не посмеет, но на все заранее согласна. Таких дам сколько угодно, и они из мужниной воли не выходят.

И разве не назовем мы счастливцами эдаких рогоносцев, которые мало того, что наслаждаются и блаженствуют в постели с красотками женами (каковое удовольствие сравнимо лишь с плаваньем по чистой и прозрачной реке, а отнюдь не по зловонной сточной канаве), так еще и получают от них тихие семейные услады и живут словно в раю?! Недаром же говаривал один маршал, мне знакомый, что коли придется умереть, то уж лучше от острой, блестящей, чистой и гибкой шпаги, нежели от старого, кривого и ржавого тесака, на коем грязи больше, чем у всех золотарей в Париже.

Все вышесказанное мною об уродинах вполне справедливо и в отношении старух, что изо всех сил тянутся за молодыми, норовя во всем подражать им (этому я, впрочем, посвятил другое мое рассуждение); вот где таится напасть: когда мужья их уже не способны исполнять супружескую обязанность, злодейки принимаются искать на стороне и пускаются на любовные безумства не хуже молодых, однако притом стремятся поскорее достичь конца, минуя начало и продолжение, ибо главная-то сласть, как полагают многие, таится в завершении дела, для начала же и продолжения у старух и сил недостает, что им весьма прискорбно и обидно, — как говорится, чрево просит, да ноги не носят.

Некоторые из этих злосчастных старых дур не скуется ни на деньги, ни на любовь и охотно раскрывают оба кошелька, из коих денежный помогает мужчинам находить достоинства и во втором. Верно говорят, что щедрость во всем хороша, в отличие от скупости, но верно и то, что женщина, щедрая на передок, ценится куда ниже, чем скупая и неподатливая.

Так говорил однажды знатный сеньор о двух достойных дамах, родных сестрах, мне также знакомых, из коих одна сорила деньгами, но строго хранила честь, другая же крепко держалась за свой кошелек, щедро расточая зато плотские милости.

А вот еще и другая разновидность рогоносцев, мерзейшая и гнуснейшая что перед Богом, что перед людьми: эти, польстившись на какого-нибудь смазливого Адониса, отдают ему свою жену, дабы и самим заодно усладиться с эдаким красавчиком.

В первый раз, как довелось мне попасть в Италию, узнал я подобную историю в Ферраре от человека, который, увлекшись

одним прекрасным юношей, уговорил жену свою отдаться ему (а тот был в нее влюблен) и приказал назначить день свидания. Даму долго уламывать не пришлось: она и сама точила зубы на сей лакомый кусочек. Наконец пришел желанный миг: молодой человек встретился со своею возлюбленной, и они вступили в сладкое свое состязание; муж, по уговору с женою, прятался за дверью и, внезапно подойдя к постели, приставил злосчастному любовнику кинжал к горлу, угрожая ему немедленной смертью по законам итальянским, которые много суровее наших, французских. Что ж, пришлось нашему красавцу дать мужу то, чего он добивался, с тем и заключили они обмен: юноша отдавался мужу, а тот предоставлял ему свою жену; вот, не правда ли, самый гнусный из способов сделаться рогоносцем?!

Слышал я историю о том, что в некотором царстве, некотором государстве (называть его не стану) жил-был муж отнюдь не низкого рода, который воспылал противоестественной любовью к одному молодому человеку, горячо любившему свою жену, а она — его; вот подстерег он час, когда тот лег с женою, вошел в спальню и застал супругов врасплох, тесно слившихся в объятии; угрожая мужу смертью, он овладел им прямо на собственной его жене и насладился сколько хотел; разрешите-ка сию задачку: как это все трое сумели получить удовольствие разом и вместе?

Я знаю и другую историю — о даме, которая без памяти влюбилась в одного достойного дворянина, коего приблизила к себе как друга и избранника сердца и в ответ на опасения, не покарает ли ее муж за измену, утешила его в таких словах: «Не бойтесь ничего, он вас не обидит, потому что боится, как бы в отместку я не обвинила его в пристрастии к любви со спины; он умрет со страху, коли я заикнусь об этом и выдам его правосудию. Так я и держу его в узде, ибо, опасаясь моего обвинения, он не осмеливается мне перечить».

Конечно, такое обвинение нанесло бы ему немалый ущерб, ибо законники утверждают, будто содомия наказуема за одно только намерение; впрочем, возможно, дама не пожелала вредить мужу, а тот не перешел от помыслов к делу.

Рассказывали мне, что недавно один молодой французский дворянин, писаный красавец, каких мало при дворе видывали, отправился, по заведенному обычаю, учиться в Рим, где красота его вызвала столь великое восхищение и у мужчин и у женщин, что его прямо-таки рвали на части; куда бы он ни шел — к мессе ли, в конгрегацию, в любое публичное место, — люди ходили за юношей по пятам, любуясь на него; многие мужья позволили женам своим назначать ему свидания у них в доме, дабы, застав

за прелюбодеянием, обменять себя на жену; к счастью, юношу предупредили, чтобы он не поддавался уговорам этих дам, ибо они готовят ему западню, и он, оказавшись достаточно разумным, предпочел непорочность и чистую совесть сим презренным и низменным утехам; выбор его достоин самой высокой похвалы. И все же в конце концов он был убит собственным конюшим. По этому поводу болтали разное, но как бы то ни было, гибель его весьма прискорбна, ибо молодой человек блистал самыми отменными качествами и знатным происхождением и много обещал в будущем как внешностью своею, так и достойными деяниями, что неудивительно, ибо, по словам одного моего современника, в высшей степени остроумного человека, с коим я вполне согласен, ни один урод и развратник никогда не отличался отвагою и благородством, за исключением разве что Юлия Цезаря; видно, сам Господь распорядился предавать таких людей проклятию. Вот почему удивляюсь я, видя, как некоторые из них, приверженные гнусному сему пороку, избегают кары небесной и живут процветая и благоденствуя; однако, думаю, Бог не забудет их и на склоне жизни сполна воздаст за грехи.

Мне доподлинно известно, что многие мужья страдают сим мерзким пороком и не могут от него избавиться; несчастные эти грешники принуждают жен своих служить им не передом, но задом; спереди же соединяются с ними лишь для того, чтобы заиметь детей; вот так и терзают они злополучных жен, у коих весь любовный пыл ушел в передние прелести. И не достойны ли такие жены прощения скорее других за то, что делают рогоносцами мужей, приверженных нечистым задним частям женского тела?!

Сколько есть в мире женщин, которые, по свидетельству опытных акушерок, врачей и хирургов, могут считаться девственными скорее спереди, чем сзади, и имеют право подать в суд на развратных мужей своих; жаль, что все они скрывают сей позор из страха скандала для себя и для них, а возможно, и оттого, что получают от сего занятия большее удовольствие, нежели мы можем себе представить; либо же, как я говорил выше, желают держать супруга в постоянном страхе разоблачения на тот случай, ежели изменят сами, хотя такие мужья легко смиряются с жениной неверностью; впрочем, не в этом суть.

«Summa Benedicti» гласит, что муж, познающий жену противу естественного закона природы, тем самым смертельно оскорбляет ее; тот, кто утверждает, будто он имеет право распоряжаться женщиною как ему угодно, впадает в самую ужасную и гнусную ересь, исповедуемую мерзкими иудеями, коих раввины рассуждают согласно следующей притче: «Duabus mulieribus apud

synagogam conquestis se fuisse a viris suis coqnitu sodomico sognitas, responsum est ab illis rabinis: virum esse uxoris dominum, proinde posse uti ejus utcumque libuerit, non aliter quam is qui piscem emit: ille enim tam anterioribus quam posterioribus partibus ad arbitrium vesci potest»[28].

Я нарочно привел сию притчу на латыни, без перевода, дабы не оскорбить неприличным словом чей-нибудь целомудренный взор или слух. Ну не гнусность ли! Пренебречь прекрасною, чистою частью тела, самим Господом заповеданной для супружеских сношений, ради мерзкой, грязной и презренной, пропускающей чрез себя одни нечистоты!

И ежели мужчина берет женщину таким непотребным образом, ей вполне дозволено развестись с ним, коли нет иного средства его исправить; в той же книге говорится, что те, кто почитает Господа, никогда не должны соглашаться на подобное бесчестье, но, напротив, кричать и вопить во все горло, не боясь ни скандала, ни огласки, ни позора, ни смерти, ибо, как гласит закон, лучше умереть, нежели смириться со злом. И еще одно говорит та же книга (я нахожу это весьма странным): каким бы способом муж ни познал жену, дозволенным или противоестественным, но если она понесет от него, то сей способ уже не считается смертным грехом; однако же существуют способы низкие и мерзопакостные — у Аретино они изображаются в картинках, — далекие от супружеской благопристойности, хотя, как уже сказано, они дозволяются по отношению к беременным женщинам, а также к тем, у кого дыхание слишком сильно и зловоние исходит изо рта или из носу; я слышал, что бывают такие женщины, коих целовать в губы не намного приятнее, чем в задний проход; так, одна придворная дама говорила мне о своей госпоже, весьма высокородной особе, что у ней изо рта пахнет не лучше, чем из оловянного ночного горшка; слова эти изрядно смутили меня. Но близкий друг этой особы подтвердил мне слова фрейлины; правда, что она была уже в летах.

Так что же остается мужу или любовнику, как не прибегнуть к какой-нибудь особенной форме любви?! Только пусть все же не обращается к задней Венериной утехе.

Я мог бы многое добавить по этому поводу, но мерзко мне распространяться на эту тему; боюсь, я и так уже наговорил лишнего, но ведь надобно иногда разоблачать пороки людские, хотя бы ради того, чтобы искоренять их.

А теперь хочу рассказать о том, как люди порицали, да и нынче порицают, двор наших королей, где и девицы и дамы распутничают вовсю, превратив сие занятие в обычай, что весьма

прискорбно и для них, и для множества достойных, целомудренных и добродетельных женщин, которые, глядя на развратниц, становятся на тот же путь, хотя и блистают достоинствами, коих нигде в других местах не сыщешь.

Приведу лишь единственный пример — нынешнюю великую герцогиню Флорентийскую из Лотарингского рода; дама эта прибыла во Флоренцию вечером того дня, что обвенчалась с герцогом, который, перед тем как лечь с нею в постель и лишить цвета невинности, заставил справить малую нужду в красивый ночной сосуд из прозрачного хрусталя и исследовал мочу вместе с придворным врачом, опытным и весьма ученым человеком, дабы определить, девственна ли его невеста. Врач внимательно рассмотрел мочу и на основании своих знаний объявил, что девушка так же чиста, как при появлении на свет из материнского чрева, и что герцог смело может приступить к своей обязанности — он найдет дорожку еще не проторенною; герцог так и поступил, предсказание врача сбылось, и наутро молодой муж в восхищении изрек: «Вот великое чудо, что из этого французского двора девушка вышла девственницей!» Не правда ли, курьезное мнение о нас, французах?! Не знаю, правдива ли сия история, — мне он ее выдал за истинную.

Итак, двор наш пользуется эдакой сомнительной репутацией, и сложилась она не сегодня: издавна считается, что парижские придворные, да и все прочие дамы, не слишком строго пекутся о своей нравственности, в отличие от провинциалок, которые смирно сидят у себя по домам. Многие мужчины остерегаются брать в жены девиц и женщин, часто путешествовавших и повидавших свет. Например, у нас в Гиени во времена моей молодости, как слышал я, некоторые дворяне никогда не женились на той девице или даме, что ездила дальше Пор-де-Пий, в сторону Парижа. И тем доказывали собственную глупость, хотя в других отношениях блистали остроумием и галантными манерами; они полагали, будто разврат и супружеская неверность, обойдя стороною их мирный очаг, спальни и туалетные, гнездятся лишь в королевских дворцах и больших городах. Бедные дурни! Да стоило им самим отправиться ко двору, на войну, на охоту, в суд или в загородный дом, как их жен тут же осаждали, побеждали и укладывали в постель; они же, в простоте душевной, полагали, будто кавалеры всего лишь беседуют с их супругами о домашнем хозяйстве, о садоводстве, ловитве и ловчих птицах, и через слепую свою доверчивость надевали куда более пышные рога, нежели другие мужья; известно ведь, что повсюду, где женщины бойки и красивы, а мужчины ловки и галантны, и те и другие отлично умеют

заниматься любовью и устраиваться так, чтобы мужья об этом не прознали. Эх и недотепы же тупоумные эти мужья! Невдомек им, что у Венеры нет постоянного жилища, как некогда на Кипре, в Пафосе или Аматонте, — она обитает и во дворцах, и в хижинах самых ничтожных бедняков.

Впрочем, с недавнего времени они начали прозревать и, заприметив, что рога раздаются повсюду, где бы ни жили их жены, стали брать их в любом месте, и неглупо Делают; более того, нынче посылают или сами возят их ко двору, дабы те могли людей посмотреть и себя показать, да и не только показать, а для мужей и выгоду кое-какую извлечь из своей красоты, увенчав выгоду сию ветвистыми рогами.

Другие мужья посылают или везут жен своих ко двору якобы для того, чтобы те похлопотали за них в судебной тяжбе; у некоторых и тяжбы-то никакой не было, однако они притворялись, будто таковая есть; или же, коли такая тяжба в самом деле была начата, затягивали ее елико возможно, дабы продлить любовные похождения супруг своих. Иногда случалось даже, что мужья оставляли своих жен в кордегардии дворца, либо на галерее, либо в зале, сами же уходили домой, полагая, что дамы лучше справятся с делом в их отсутствие; я сам знавал многих мужей, выигравших судебный процесс скорее благодаря ловкости, красоте и доступности жен, нежели по праву и закону; впрочем, дамы вследствие этого частенько оказывались с другою прибылью, а именно беременными (в тех случаях, когда специальные снадобья не уберегали их от несчастья); тогда они спешно возвращались домой к мужьям, якобы соскучась по ним и по семье, либо за недостающими документами и сведениями, либо на праздник святого Мартина, либо, по их уверениям, просто на каникулы, пока судейские не заседают. Те и в самом деле не заседали, зато наши красавицы засели крепко.

Отношусь с этим отступлением ко многим судебным докладчикам и судьям, большим знатокам лакомых кусочков, каковыми являются жены истцов и ответчиков.

Не так давно одна весьма красивая и досточтимая дама, мне знакомая, явилась в Париж хлопотать по мужниной тяжбе, и кто-то заметил: «Зря она приехала, ей надеяться не на что, и процесс она наверняка проиграет: дело-то больно сомнительное!» Но разве неведомо этим критикам, что процессы выигрываются не правом, а нравом, иначе говоря, аппетитным передком, как Цезарь выигрывал все свои войны не по праву, но огнем и мечом?!

Вот так и рождаются во дворцах правосудия рогоносцы в отмщение тех судей и советников, коих господа дворяне

награждают рогами с помощью их уступчивых супруг. Среди этих последних я повидал множество дам, вполне приятных для взора и ничуть не уступающих красотою женам и дочерям знатных сеньоров, что при дворе, что в провинции.

Знавал я одну высокородную даму (некогда блиставшую красотой, со временем поблекшей), которая вела тяжбу в Париже; зная, что собственная внешность уже не поможет ей выиграть процесс, она взяла с собою молоденькую смазливую соседку, уплатив ей крупную сумму, чуть ли не десять тысяч экю; и вот то, чего ей самой никогда бы не достичь, она получила с помощью этой красотки, так что выиграли они обе, и каждая на свой манер.

Не так давно видел я даму, которая привезла на суд по некоему делу дочь свою, хотя и замужнюю; молодая женщина была весьма пригожа и вполне заслуживала благоприятного решения материной тяжбы.

Однако пора мне уже завершать сие пространное рассуждение о рогоносцах, ибо я рискую захлебнуться в необъятном океане подобных историй или, иначе говоря, заплутать в бесконечном их лабиринте, не уступающем известному древнему, хотя и ведет меня по нему самая длинная и надежная нить на свете.

В заключение скажу, что ежели мы и причиняем горести, муки и всяческие каверзы злосчастным рогоносцам, то и сами, как говорится, терпим от сего тройной урон, ибо почти все их супротивники — дамские угодники — также претерпевают множество напастей: и они подвержены злой ревности к мужьям своих любовниц и к соперникам, и они вынуждены ловчить, скрываться и лукавить, подвергаться опасности смерти, побоев и оскорблений, мокнуть под дождем, зябнуть под холодным ветром и жариться под палящим солнцем в ожидании тайного свидания. Я уж не говорю о том, что им грозят дурные болезни, какие всегда можно подцепить и у знатной дамы, и у простой горожанки, — словом, они частенько платят дорогой ценою за сущую безделицу; поневоле задумаешься: а стоит ли игра свеч?!

Некоторые бесславно погибли в сей игре, тогда как по достоинствам своим вполне могли бы завоевать целое королевство; пример тому — господин де Бюсси, самый несравненный кавалер своего времени, да и множество других.

Не стану поминать здесь прочих потерпевших от сей любовной напасти и сгинувших согласно изречению итальянцев: «Che molto guadagna chi putana perde»[29].

Граф Эме II Савойский частенько говаривал:

В любви и в бою, не без причин,

На малый успех сто великих кручин,

пользуясь сим устаревшим словцом «кручина» для более удачной рифмы. И еще говорил он, что главное различие между гневом и любовью заключается в следующем: гнев проходит скоро и бесследно, любовь же, однажды угнездившись в сердце, никак не дает себя изгнать.

Вот отчего следует остерегаться любовных дел, не забывая о том, что за все надобно платить свою цену и что любовь часто приносит множество несчастий. А коли говорить всю правду, большинство терпеливых рогоносцев не столь уж и смешны, ибо умеют ладить и обходиться с супругами своими куда искуснее любовников, над коими посмеиваются втихомолку, глядя на все их тонкие ухищрения и тайные шашни с чужими женами; впрочем, и эти последние тоже не промах и нередко ведут свои любовные делишки с согласия и благословения супруга; так, знавал я одного весьма бравого и достойного кавалера, который долго любился с некой красивой и привлекательной дамою, получая от нее все желанные услады; как вдруг приметил он, что она вместе с мужем своим насмехается над его манерами; насмешка сия так уязвила его, что он тотчас покинул свою возлюбленную, и хорошо сделал; а чтобы избавиться от любовных страданий, совершил длительное путешествие и никогда уж более, по его словам, и близко не подходил к вероломной даме. Эдаких коварных и капризных насмешниц следует опасаться больше лютого зверя: они в угоду мужьям своим то и дело бросают надоевших любовников, тут же, впрочем, заводя себе новых, не будучи в силах обходиться без них вовсе.

Знавал я одну весьма знатную и достойную даму, коей сильно не везло с любовниками: пятеро или шестеро из тех, кого я в свое время видел при ней, поумирали один за другим, о чем она сильно горевала; поистине даму эту можно уподобить лошади Сейюса, все владельцы которой погибали лютой смертью; зато было у ней одно большое достоинство: что бы там ни случалось, она никогда не изменяла любовнику и не бросала его ради другого и лишь по смерти его заводила следующего — иными словами, тут же пересаживалась на нового коня, дабы не ходить пешком; так, законники утверждают, что замок или землю дозволено передавать новому хозяину лишь по кончине старого. Сие постоянство дамы достойно самых высоких похвал, но, увы, столь твердые правила встречаются весьма редко, а сколько повидал я иных ветрениц, склонных уступать и там и тут!

Признаться откровенно, может, они и правы, и не следует

прилепляться к одному предмету на всю жизнь, но пробовать всюду понемножку — что в любви, что в бою, что в прочем; люди со страстным и широким нравом так и поступают. Судите сами: ежели корабль стоит на одном-единственном якоре, а тот вырвет штормом и бурными волнами, судну не миновать крушения хоть в гавани, хоть в открытом море.

А разве заниматься любовью с одной-единственной дамою не менее опасно, чем плыть в открытом море, имея лишь один якорь? Даже если вначале она была бесхитростна и простосердечна, разве не делаем мы ее коварной обманщицею благодаря бесчисленным нашим уверткам и ухищрениям, отчего сами же и страдаем, становясь первыми жертвами вероломных своих противниц? Недаром же говорил один достойный кавалер, что во сто раз лучше жениться на красивой и милой женщине, пусть даже и с риском украситься рогами по примеру многих мужчин, нежели претерпевать великие напасти, делая рогоносцами других; впрочем, господин де Гуа судил иначе: когда я однажды явился к нему сватом от одной знатной дамы, он мне отвечал одно: а именно что числит меня в близких друзьях и не хотел бы разорвать сию дружбу из-за моего коварства, каковое принудило бы его свершить самую ненавистную вещь в мире, иными словами, жениться и стать рогоносцем, тогда как до сей поры он сам их плодил; он добавил, что и без того, можно сказать, женится каждый день на всех подряд, — так назывался у него тайный разврат с чужими женами по закону Венерину. Самое же худшее, по моим наблюдениям, заключается в том, что большинство (если не все) подобных героев, украшавших рогами других, рано или поздно все-таки вступают в брак и неизменно украшаются ими сами, а иначе никогда и не бывает, согласно пословице: «То, что ты сделаешь другим, они сделают тебе».

Завершая сие рассуждение, скажу лишь еще слово о споре, так и оставшемся неразрешенным: в каком уголке Европы и прочего христианского мира водится более всего неверных жен и рогоносцев? Говорят, в Италии дамы весьма пылки и оттого зело склонны к распутству, как отметил господин де Без в одной своей эпиграмме, написав, что жаркое солнце способствует жаркому темпераменту, и воспользовавшись латинским стихом:

Credibile est ignes multiplicare suos[30].

То же самое можно сказать и об Испании, даром что она лежит подальше к западу: тамошнее солнце воспламеняет женщин не менее, чем на востоке.

Фламандки, швейцарки, немки, англичанки и шотландки,

хотя и живут не на юге, а в холодных северных краях, не уступают в природной пылкости южанкам, и я сам находил в них столько же страсти, сколько в этих последних.

Гречанки также имеют все основания называться пылкими женщинами, ибо не скупятся на страсть, и оттого мужчины в Италии стремятся заполучить greca in letto[31], ибо те и впрямь обладают весьма привлекательными чертами (недаром же в древности греческие куртизанки слыли лучшими в мире) и многому учили прежде и могут поучить нынче итальянских и испанских дам (впрочем, те, кажется, уже превзошли наставниц своих в искусстве любви); не забудем, что королевой и покровительницей куртизанок считалась Афродита, а была она гречанкою.

Что же до прелестных наших соотечественниц, то они в былые времена не удостаивали вниманием любовную науку и весьма неуклюже занимались любовью, однако вот уже лет пятьдесят как позаимствовали у других наций и крепко усвоили все уловки, ужимки, ухватки и ухищрения сего ремесла, обучились наряжаться, кокетничать, завлекать и ублажать мужчин так ловко, что, пожалуй, превзошли всех иностранок; нынче, как я слышал, француженки ценятся за границей куда выше других женщин, тем паче что слова любви и сладострастия на французском наречии звучат много жарче и возбудительнее, нежели на другом языке.

Кроме того, несравненно большая свобода, коей пользуются француженки, делает их еще более желанными, любезными и доступными, чем иных, да к тому же и супружеская измена у нас карается не так сурово, как в прочих странах, — спасибо французским законникам и судьям, которые, видя многие напасти, проистекающие из строгих наказаний, милостиво ослабили их, исправив жестокое старинное уложение, позволявшее мужчинам распутничать сколько душе угодно, но лишавшее сего права женщин; согласно тем правилам, безупречная жена не могла даже обвинить мужа своего в нарушении супружеского долга, ибо законы нашего королевства препятствовали ей в этом (читайте Каджетана!). Мужчины предусмотрительно ввели сей закон по причинам, изложенным в нижеприведенных итальянских стансах; вот они:

Perque, di quel che Natura concede
Cel’vieti tu, dura legge d’honore.
Ella a noi liberal largo ne diede
Com’agli altri animai legge d’amore.
Ma l’uomo fraudulento, e senza fede.

Che fu legislator di quest'errore.
Vedendo nostre forze e buona schiena.
Copri la sua debolezza con la pena[32].

Словом сказать, во Франции любовью заниматься легко и приятно. Пускай подтвердят это наши истинные знатоки сего ремесла, особливо придворные кавалеры, которые смогут обосновать таковое суждение куда изящнее меня. А на вопрос, где больше распутниц и рогоносцев, отвечу прямо: в любом уголке света, куда ни взгляни, их водится предостаточно, и во всех названных мною странах целомудрие ценится не весьма высоко.

Но вот какую еще задачу хотелось бы мне разрешить, даром что не всякий возьмется за такое дело и рассудит его: коли влюбляются друг в дружку две дамы (а такое случается нынче сплошь да рядом), и спят вместе, и делают то, что у премудрой лесбиянки Сафо называлось donna con donna[33], то следует ли считать это супружеской неверностью, а мужей сих дам — рогоносцами?

Судя по первой Марциаловой книге (смотрите эпиграмму CXIX), они совершают адюльтер: автор повествует о женщине-трибаде по имени Басса, которую осуждает за то, что ни один мужчина не входил к ней: сограждане почитали ее второй Лукрецией; наконец прознали, что водится она лишь с красивыми дамами и девицами, коим заменяет мужчину, наставляя рога их мужьям; по этому поводу Марциал пишет: «Geminos committere cunnos»[34]. Вслед за чем и приводит латинский стих-загадку:

Hic, ubi vir non est, ut sit adulterium.

(Вот великая тайна: мужчины здесь нет, а неверность жены налицо.)

Я знавал в Риме одну куртизанку, старую и хитрую, как никто; звали ее Изабела де Люна, родом она была из Испании. Эта дама прониклась нежнейшими чувствами к другой куртизанке, по имени Пандора, одной из красивейших женщин Рима, которая вышла замуж за виночерпия господина кардинала д'Арманьяка, не оставив притом старого ремесла; Изабела взяла ее на содержание, как мужчина любовницу, спала с нею и часто бесстыдно говаривала, что сумела развратить свою подругу более, чем все ее любовники, вместе взятые, и что та именно с нею наставляет мужу рога. Уж не знаю, как надобно понимать эти слова, разве что она действовала согласно приведенной выше эпиграмме Марциала.

Говорят, будто Сафо с Лесбоса была большой мастерицею в сем ремесле, — более того, сама изобрела его, дав повод дамам-лесбиянкам подражать ей и поныне; Лукиан пишет, что лесбиянками являются те женщины, что не переносят мужчин, зато ухаживают за другими женщинами на мужской манер. Такие женщины, не подпускающие к себе мужчин, но любящие подруг своих точно как мужчины, зовутся трибадами, от греческого слова трфсо или Tpi(5eiv, что означает по-итальянски fricare, а по-нашему «тереться друг о дружку»; на нынешнем же языке эдакую умелицу, что милуется с себе подобной, donna con donna, называют «фрикционою».

Ювенал примерно так же и величает этих женщин в одном из стихов, где пишет по поводу такой трибады:

…frictum Grissantis adorat.

Большой остроумец Лукиан посвящает этому предмету целую главу, повествуя в ней о женщинах, взаимно дарующих друг дружке наслаждение с помощью таинственных чудовищных предметов, сделанных из какого-то чистого и гладкого материала. Прозвище «фрикциона», многим неведомое, у Лукиана встречается в каждой строчке, а женский половой орган зовется у него Филеносом, по имени известной куртизанки Филины, также не чуждой мужской роли в любви. К сему автор добавляет, что, по его мнению, лучше уж женщине поддаться нечестивому соблазну изображать самца, нежели мужчине стать женоподобным, ибо в женской ипостаси он будет выглядеть жалким и ничтожным. Женщина же, притворившаяся мужчиною, напротив, может завоевать репутацию смелой и благородной особы; я и сам знавал таких, мужеподобных и душою и телом.

В другом месте Лукиан описывает двух дам, рассуждающих об этом виде любви; одна спрашивает свою подругу, влюблена ли в нее некая третья дама, спала ли она с нею и как обошлась со своею любовницей. Та, нисколько не чинясь, отвечает: «Сперва она поцеловала меня в губы так, как целуют мужчины, — глубоким лобзанием, уста в уста, язык в язык: и, хотя она лишена мужского члена и телом схожа с нами, женщинами, сердечный жар и пылкость в ней точно мужские; потом я сама обняла и поцеловала ее по-мужски, а она тем временем ласкала, гладила и миловала меня вовсю, получая от сего, как мне показалось, несказанное наслаждение; так она и овладела мною иным, не мужским способом, куда более приятным». Вот так повествует об этом Лукиан.

Словом сказать, в самых разных странах — во Франции и в

Италии, в Испании, в Турции и в Греции — встречается великое множество подобных дам-лесбиянок. Ну а там, где женщины живут в заточении и лишены полной свободы, занятие сие процветает вовсю, ибо вожделение сжигает тела бедных невольниц и им необходимо, как они говорят, облегчить себя хотя бы таким способом.

Турчанки посещают общественные бани именно для этого распутства, нежели для купания, и с жаром предаются сей усладе; даже куртизанки, имеющие в своем распоряжении мужчин в любое время, также встречаются и милуются здесь — так они сами рассказывали мне и в Италии и в Испании. Да и во Франции эдаких немало, хотя, говорят, появились они у нас не так давно, с тех пор как сей обычай завезла сюда одна весьма изысканная дама, имени которой я называть не стану.

Я слышал от покойного господина Клермон-Тайара-сына, умершего в Ла-Рошели, что в детстве он имел честь сопровождать герцога Анжуйского, впоследствии короля Генриха III, в путешествиях и, по заведенному обычаю, учился вместе с ним, а воспитателем при них состоял господин де Гурне; и вот однажды, по прибытии в Тулузу, он занимался с означенным наставником и, сидя в уголку кабинета, вдруг углядел в узенькую щелочку (а стены кабинетов и спален были из досок, сбитых наспех, ибо кардинал д'Арманьяк, тамошний архиепископ, приказал выстроить это помещение спешно, специально для приема короля и его свиты) в соседней комнате двух весьма знатных дам; дамы эти, раздевшись до чулок, лежали одна на другой, целовались взасос, словно голубки, терли, гладили и возбуждали друг дружку и проделывали множество других развратных движений, какие присущи обычно лишь мужчинам; сие любовное действо продолжалось не менее часа, и дамы столь воспламенились и изнемогли от объятий, что даже побагровели и исходили потом, хотя стоял лютый холод; в конце концов, усталые донельзя, они недвижно раскинулись на постели. Он рассказывал, что наблюдал сию распутную игру еще несколько дней подряд, пока двор находился в Тулузе: нигде более ему не случилось видеть подобное, ибо в том месте он мог подглядывать за дамами, в других же — нет.

Он поведал мне множество подробностей, которые я не осмелюсь повторить здесь, и назвал описанных дам. Не знаю, верно ли все это, но кавалер клялся и божился, что так оно и было. Рассказ его вполне правдоподобен, да и особы эти давно уже пользовались такой репутацией, и многие заподозрили, что они привержены сему странному виду любви и проводят в ней долгие часы.

Знавал я и немало других дам, увлекавшихся сей любовью, а среди них одну, считавшуюся непревзойденной мастерицею в сем ремесле, ибо она умела любить, ласкать и ублажать избранниц своих куда лучше любого мужчины, и ее объятия были для них много слаще мужских; и уж коли она обхаживала какую-нибудь даму, то щедро содержала ее, не отказывая ни в одной малости. Муж ее был этим весьма и весьма доволен, как, впрочем, и множество других мужей, радующихся тому, что супруги их предаются столь невинной забаве, а не спят с мужчинами; все они отнюдь не считали своих жен сумасшедшими или шлюхами. Я же полагаю, что они сильно заблуждались: занятие сие — лишь легкая разминка, которая готовит даму к главной игре с мужчиною, ибо когда партнерши как следует распалятся и пробудят похоть одна в другой, их пыл не утолится взаимными объятиями и им захочется остудить его в бурной проточной воде, а не в мирной и стоячей; вот так же и хороший врач, коему нужно перевязать и залечить рану, не почистит ее слегка по краям да не мазнет каким-нибудь пустячным снадобьем, но сперва введет зонд поглубже и заложит туда добрый пучок корпии.

Сколько же повидал я на своем веку таких лесбиянок, которые от похотливых и сладострастных женских объятий охотно переходят в мужские руки! Даже Сафо, непревзойденная мастерица женской любви, пылала страстью к возлюбленному своему, Фаону, и умерла, не перенеся его смерти. Ибо, по словам многих дам, нет истинной любви, кроме мужской, и то удовольствие, что получают они от женских объятий, всего лишь кнут, подгоняющий их к истинному наслаждению, ну а коли нет такового, приходится довольствоваться женской щекоткою. Но найдись только кавалер, с коим можно спознаться без шума и скандала, дама тут же бросит свою напарницу и кинется ему на шею.

Я знавал в свое время двух красивых и милых девиц знатного рода, которые, будучи кузинами, в течение трех лет спали в одной постели и так сильно пристрастились к любовной игре, что, вообразив, будто услада сия — лишь прелюдия к мужским объятиям, решили испробовать и их, да так и превратились в отъявленных распутниц; впоследствии они признавались любовникам своим, что на разврат их подвигли именно те невинные девичьи утехи, с тех пор проклинаемые ими как истинная причина последующего блуда. Однако же, встречаясь меж собою или с другими дамами, кузины все-таки не брезговали перехватить еще кусок и от прежнего блюда, дабы возбудить аппетит к главному, мужскому. Вот так же отвечала некая достойная девица, мне знакомая, кавалеру своему на вопрос, не

занимается ли она женской щекоткою с подругой, обыкновенно спавшей с нею в одной постели. «Ну нет, — со смехом сказала она, — я для этого слишком люблю мужчин». Однако мне-то известно, что любила она и то и другое.

Я знал одного весьма достойного дворянина, который, будучи при дворе, добивался руки некой знатной девицы и для того обратился к ее родственнице. Та объявила ему откровенно, что он только зря теряет время, ибо (как она после призналась мне) другая дама (она назвала ее имя, да мне и самому была известна ее репутация) никогда не допустит, чтобы девушка вышла замуж. Я сразу же понял подоплеку сего запрета, прекрасно зная, что дама заботливо хранила сей лакомый кусочек для себя одной. Дворянин поблагодарил кузину за прямой ответ, не лишив себя, впрочем, удовольствия вставить шпильку, сказавши, что, верно, она тоже состоит в доле; он угадал, ибо та и впрямь урывала себе иногда малую часть от сего пирога, хотя при мне все это решительно отрицала.

История эта напомнила мне и о многих мужчинах, имевших своих миньонов, коих они любили так страстно, что ни за какие блага в мире не уступили бы их ни принцу, ни знатному вельможе, ни ближайшему другу, ревнуя и оберегая сих красавчиков, словно пьяница — свою бочку с вином; скорее уж этот последний уделит стаканчик ближнему. Ну а упомянутая выше дама хранила девицу для себя одной, не делясь с другими; увы, не знала она, что та исподтишка наставляет ей рога с ее же подругами.

Говорят, будто ласки привержены сему виду любви и их самки совокупляются друг с дружкою и живут вместе; свидетельство тому — древние изображения женщин-лесбиянок в виде ласок. Мне рассказывали об одной даме, которая держала у себя этих зверьков и любила смотреть, как они милуются меж собой; нравилось ей также самой ласкаться с ними.

Хочу еще уточнить, что женская любовь делится на два вида: первая выражается в пресловутой «щекотке», вторая же (по словам поэта) в geminos committere cunnos[35]. В этом способе, по мнению многих, нет ничего предосудительного, если только женщины не пользуются инструментом, сделанным из… и называемым godemichis.

Я слышал рассказ о том, как один знатный принц заподозрил парочку придворных дам в том, что они используют такое приспособление, и приказал выследить их; действительно, одну из них застали врасплох с искусственным мужским членом меж ног, надежно привязанным к телу узкими лентами. Дама так растерялась, что не успела снять его; принц заставил ее показать

себя в деле вместе с ее напарницею.

Говорят, что многие женщины погибали оттого, что сей чудовищный инструмент слишком глубоко проникал в их чрево. Я и сам знавал нескольких дам, умерших от этого, что было весьма прискорбно, ибо таким красавицам и чаровницам куда более пристало любиться с достойными и любезными кавалерами, каковая любовь принесла бы им не смерть, а все радости жизни, о чем я и надеюсь написать в другом своем рассуждении; я даже слышал от многих хирургов, что нет ничего более подходящего для исцеления дамы от женских хворей, как естественные сношения с мужчиною, очищающие женское чрево, ибо мужской член с его семенем служит сему назначению много лучше пессария с лечебным составом, применяемого врачами и хирургами; и все же многие женщины, пренебрегая опасностью, что несет им искусственный член, никак не могут без него обходиться.

В бытность мою при дворе слышал я историю о том, как королева-мать однажды приказала обыскать в Лувре все спальни и сундуки, даже принадлежавшие дамам и девицам, желая проверить, не прячут ли там пистолетов или другого оружия, поскольку время было смутное; и вот у одной дамы гвардеец-капитан обнаружил вместо пистолетов четыре огромных, тщательно отполированных godemichis, каковое открытие весьма позабавило придворных, владелицу же повергло в стыд и растерянность. Я знавап эту даму, она жива до сих пор, но и посейчас не избавилась от позорной своей репутации. И опять повторю, что инструменты эти весьма опасны.

Расскажу еще о двух придворных дамах, которые столь пылко и страстно любили друг дружку, что в любом месте, где бы ни находились, без удержу целовались и миловались, забыв о стыдливости и давая пищу для пересудов, особливо мужчинам. Одна из них была вдовою, другая — замужем; случился большой праздник, по каковому случаю замужняя нарядилась в богато затканное серебром платье; и вот, улучив момент, когда их повелительница отправилась к вечерне, обе дамы забрались в ее туалетную, уселись вдвоем на легкий стульчик и предались ласкам и «щекотке» столь бурно и необузданно, что хрупкое сиденьице не выдержало и развалилось: дама в роскошном своем платье упала вверх тормашками прямо в отхожую лохань и с ног до головы замазалась нечистотами; тщетно она вытиралась и отряхивалась, пришлось ей бежать к себе в комнату и переодеваться, отнюдь не оставшись притом незамеченной, ибо сильнейшая вонь, от нее исходившая, привлекла внимание собравшихся, которые, зная подоплеку этого дела, хохотали и

потешались от всей души; даже и госпожа их, не чуждая тех же забав, посмеялась над нею вволю. Судите сами, до чего же не терпелось этим дамам излить свой пыл, коли они не смогли дождаться безопасного часа в безопасном месте, не рискуя опозориться. Можно еще понять и извинить девиц или вдов, предающихся сим фривольным и бесплодным утехам, утоляющим их пыл вместо того, чтобы обратиться за этим к мужчинам, от коих можно ведь и забрюхатеть, — и сраму не оберешься, и плод придется вытравливать, как это случалось и случается со многими; такие женщины полагают, будто, имея дело с подругами, а не с любовниками, они не так сильно грешат перед Господом и распутство их не столь уж предосудительно: мол, есть же разница в том, наливаешь ли воду в сосуд или разбрызгиваешь вокруг оного. Что ж, пускай сами женщины и разбираются в сем предмете, я им не судья и не муж; может быть, эти последние и порицают их, хотя сам я не встречал мужчины, недовольного тем, что жена его любится с подружками, — лишь бы она не помышляла о других изменах; оно и справедливо: ведь такого рода сожительство разнится от связи с любовником, как небо от земли, и, что бы там ни говорил Марциал, мужья от лесбийской любви рогоносцами не становятся. Стихи безумного поэта не следует почитать за евангельскую проповедь. Да вот и Лукиан пишет, что лучше женщине быть мужеподобною или истинной амазонкою и проявлять мужскую похоть, нежели мужчине уподобиться женщине, как Сарданапал или Гелиогабал или многие другие, с ними схожие; чем больше женщина походит на мужчину, тем она смелее и отважнее; впрочем, отношусь с этим суждением к истинным знатокам.

Однажды мы с господином де Гуа читали итальянскую книжицу под названием «О красоте», написанную в форме диалога синьором Аньоло Фиренцуолою из Флоренции, и нам попался на глаза пассаж, где говорилось, что в числе существ женского пола, созданных Юпитером при сотворении мира, некоторые, по его замыслу, должны были любить мужчин, другие же — красивых своих подруг, однако часть этих последних питала любовь чистую и непорочную, как, например, в наше время знаменитейшая Маргарита Австрийская, любившая красавицу Лаодамию Фортегуэрру, другая же часть — любовь похотливую и развратную, как Сафо-лесбиянка, а в наше время в Риме — известная венецианская куртизанка Цецилия; таковые женщины в силу самой своей природы ненавидят замужество и по мере возможности избегают даже бесед с мужчинами.

Тут господин де Гуа не согласился с автором, возразив против того, что красавица Маргарита любила ту даму чистою и

невинною любовью: не зря, мол, она избрала своим предметом именно ее, а не других, столь же красивых и привлекательных; отсюда следует, что она приблизила ее к себе для сладострастных утех, на словах же питала к ней самые святые чувства; не так же ли поступают многие, ей подобные, наводя тень на плетень в любовных своих делишках?

Вот каково было заключение господина де Гуа; а кто захочет оспорить его либо добавить что-нибудь свое, тому вольная воля.

Надобно заметить, что Маргарита Австрийская красотою затмила всех прочих принцесс христианского мира. А красота ищет красоту, влечется к ней, и меж ними возникает любовь — какая, это уж другой вопрос, но скорее любострастная, нежели непорочная. Принцесса эта была замужем первым браком за королем Карлом VIII, вторым — за Хуаном, сыном Арагонского короля, а третьим — за герцогом Савойским, по прозвищу Красивый, так что в свое время их называли самой красивой парою в мире; однако принцессе недолго пришлось наслаждаться супружеским счастьем, ибо герцог умер очень молодым, в самом расцвете своей красоты; она долго скорбела о нем и больше в брак не вступала.

По ее приказу близ Бург-ан-Бресс выстроили церковь, одну из самых красивых и величественных во всем христианском мире. Маргарита приходилась теткою императору Карлу и заботливо пеклась о племяннике, оберегая его от невзгод и напастей; так, она вместе с госпожою регентшей добилась для него в Камбре выгодного мира, неотлучно присутствуя при всех переговорах, и я слышал от стариков и старух, помнивших это событие, какое прекрасное зрелище представляли собою эти две великие принцессы.

Корнелий Агриппа сочинил небольшой трактат в честь женской добродетели; в нем возносит он до небес прелестную Маргариту. Книга сия великолепна, да и могла ли она быть иною, имея столь замечательный предмет и столь достойного и благородного автора?!

Я слышал об одной знатной даме, принцессе, которая отличала любовью одну девицу из своей свиты, предпочитая ее всем прочим; многие дивились этому, ибо другие женщины во всем превосходили ее; наконец дознались, что девица была гермафродитом и услаждала свою повелительницу тихомолком и без всяких препон. Вот это совсем иное дело, чем наши трибады, — тут наслаждение куда глубже.

Рассказывали мне еще об одной знатной даме-гермафродите, обладавшей настоящим мужским членом, правда очень маленьким; в остальном же она была женщина как женщина, на

мой взгляд, весьма даже красивая. От ученых врачей я слышал, что таких существ имеется множество и все они отличаются крайней похотливостью.

И наконец, последнее слово по поводу сего рассуждения, которое я мог бы сделать в тысячу раз длиннее, ибо материал к нему столь обилен и разнообразен, что, возьмись все женщины со своими мужьями, ставшими по их вине рогоносцами, за руки, хоровод сей, думаю, опоясал бы весь земной шар.

Во времена короля Франциска ходила старинная песенка, услышанная мною из уст одной почтеннейшей пожилой дамы; вот она:

Как минется зима, в леса вернутся птицы,
Рогатые мужья собьются в вереницы.
Мой встанет впереди, он знамя понесет,
Твой в арьергарде пузом затрясет.
А мы с тобой придем со стороны
Воззреть на шествие невиданной длины.

Я не хотел бы, однако, хулить многих целомудренных и благоразумных замужних женщин, которые вели себя вполне добродетельно и остались верны клятве, данной пред алтарем мужу; надеюсь воспеть им хвалу в отдельной главе, опровергнув мэтра Жана де Мена, что сказал в своем «Романе о розе» обо всех без исключения женщинах следующие слова:

Шлюхами будете, были и есть;
Всё продаете — и тело, и честь.

Сим двустишием он вызвал такую ненависть придворных дам своего времени, что они добились у королевы позволения высечь дерзкого, раздели его и уже было приступили к нему с плетьми, как вдруг он попросил, чтобы первый удар нанесла ему самая распутная из них; ни одна не осмелилась поднять на него руку, вот так хитрец и избежал порки. Я видел старинный гобелен в нежилых комнатах Лувра, представляющий эту сцену.

Нравится мне также история о проповеднике, который однажды, произнося проповедь свою в весьма достойном обществе и говоря о нравах некоторых женщин и их мужей, ставших рогоносцами по вине супруг своих, внезапно вскричал: «Я знаю их, я вижу их, вот сейчас запущу этими двумя камнями в головы самых позорных рогоносцев в сей компании!» — да и притворился, будто бросает камни; ей-богу, все мужчины как

один пригнули голову, либо прикрыли ее шляпою или плащом, либо заслонили локтем, дабы избежать удара. Он же, опустив руку и успокоив их, сказал: «Вот видите! Я-то думал, что таковых здесь сыщется двое-трое, а вы, оказывается, все не без греха!»

И все же, невзирая на проклятия и хулы женоненавистников, встречаются весьма добродетельные и честные женщины, которым ничего не стоило бы одержать победу над распутницами, завяжись меж ними битва; и победили бы они не числом, но несокрушимой добродетелью, против коей всякий разврат бессилен.

И хотя вышеназванный Жан де Мен порицает тех женщин, что грешат мысленно, я нахожу, что они, напротив, достойны похвалы и превозношения до небес: пусть любострастие воспламеняет и сжигает их тела и души, все же оно не выливается в действие, ибо целомудрие, постоянство и благородство их сердец торжествуют над любовным пылом, заставляя женщин скорее сгинуть в жгучем пламени желания, нежели запятнать собственную честь; вот так же белоснежный горностай предпочтет погибнуть, но не запятнать безупречный свой мех (девиз, принадлежавший одной весьма знатной даме, коим она, впрочем, постоянно пренебрегала); такие женщины имеют полную возможность утолить снедающую их жажду, однако благородство их превозмогает все искушения, а согласитесь, что нет более почетной победы, нежели победа над самим собою. На эту тему в «Ста новеллах» королевы Наваррской есть трогательнейшая история о благородной даме из Пампелуны, весьма любострастной в душе и в мыслях, и притом сгорающей от любви к прекрасному принцу господину д'Аванну; дама предпочла погибнуть от сжигающего ее огня, нежели утолить свою страсть, о чем и сказала своему возлюбленному, прощаясь с ним перед смертью.

Сия благороднейшая и прекраснейшая дама избрала себе кончину необычную и незаслуженно жестокую: по словам одного достойного кавалера и одной высокочтимой дамы, такая гибель — оскорбление Господу нашему, ибо несчастная решилась на нее добровольно, а могла бы избежать смерти. Подобное деяние можно приравнять к самоубийству: многие женщины, обрекшие себя на любовное воздержание такого рода, приводящее к смерти, губят тем самым и тело свое, и душу.

Мне известно от одного опытнейшего врача (думаю, он разъяснял это многим достойным дамам, пытаясь наставить их на путь истинный), что тело человеческое не может находиться в добром здравии, ежели все его члены и части, от самых больших до самых малых, не исполняют сообща те функции, которые

возложены на них природою, и не действуют вместе и согласованно, точно инструменты в оркестре: не подобает одним из них трудиться, а другим оставаться праздными; вот так же все члены общества — военные, ремесленники, крестьяне — должны единодушно выполнять каждый свои обязанности, не перекладывая их на другого, коли хотят сделать свою страну сильной и непобедимой; то же самое относится и к телу человека.

Такие прекрасные дамы, развратные в мыслях, но чистые телом, заслуживают наивысших похвал, в отличие от других, холодных, как мрамор, вялых, бесчувственных и неповоротливых, которые не отличаются красотою и не пользуются успехом у мужчин, согласно словам поэта:

…Casta quam nemo rogavit.

(Целомудренна, ибо никто не посягал на ее целомудрие.) Примером тому может служить некая знатная дама, что сказала одной из своих подруг, блиставших красотою: «Господь смилостивился надо много, обделив прелестью, коей наградил всех вас, ибо, будь я так же хороша собою, я бы стала заниматься любовью и сделалась распутницею, как вы». Вот почему следует похвалить добродетельных красавиц, коль скоро такова их природа.

Но мы часто впадаем в заблуждение, принимая некоторых из дам — унылых, плаксивых, набожных, холодных, стеснительных, молчаливых, скромных в речах и в одежде, похожей на протестантскую, — за святых и непорочных; они же и в мыслях и на деле распутны донельзя.

А есть и другие — веселые щеголихи, кокетливые, взбалмошные и столь разбитные, что так и кажется, будто перед вами шлюха, готовая отдаться первому встречному, — ан нет, поведение их в свете безупречно, ну а что таится в сем омуте на самом деле, того никто не ведает.

Я мог бы привести к вышесказанному множество примеров, коих сам явился свидетелем; ограничусь одним, описанным у Тита Ливия, а еще лучше — у Боккаччо: одна известная римская дама, по имени Клавдия Квинта превзошла всех прочих женщин пышностью своих в высшей степени нескромных одеяний и весьма вольными манерами, бросавшими тень на ее репутацию; однако по наступлении праздника богини Кибелы полностью обелила себя, удостоившись чести, какою обошли всех других, а именно принять с галеры статую помянутой богини, взять ее в руки и отнести в город, чему народ немало подивился, ибо объявлено было, что для священной этой ноши изберут самого

достойного мужчину и самую достойную женщину в городе. Вот как обманчива бывает видимость; многих из наших дам следует сперва хорошенько изучить и узнать, а уж после судить о них, что о дурных, что о порядочных.

И в завершение сей темы хочу поведать еще об одной похвальной добродетели и черте, свойственной рогоношеству, о коей узнал я из уст высокородной и прекрасной дамы; войдя однажды к ней в кабинет, я застал ее за письменным столом, где заканчивала она собственноручно писать историю, которую тут же и показала мне, не таясь, ибо я принадлежал к числу ее близких друзей; дама эта была необычайно остроумна и находчива что в речах, что в любовных делах и ухищрениях; вот начало сей новеллы:

«Кажется мне, что среди многих замечательных свойств натуры человеческой, имеющих отношение к супружеской неверности, есть одно весьма любопытное, коим можно поверить, сколь хитроумно изощряется разум в достижении удовольствий и услад натуры человеческой. Ибо это именно он, разум, изобретает и осуществляет всяческие плутовские, тонкие уловки для сей цели, природа же людская добавляет к тому лишь желание и любострастие; один разум способен изыскать тысячи способов сокрытия любовных делишек дамы, наградив рогами мужа ее, коего надобно умело обвести вокруг пальца, усыпив самую острую ревность, подозрения и гнев, обманув самый проницательный взор, отведя самое назойливое любопытство, заставив поверить в супружеское постоянство там, где его нет и в помине, в простодушие там, где одно лишь притворство, в робость там, где одна лишь дерзкая насмешка, в скромность там, где одна лишь распущенность; короче сказать, обратимся к началу нашей речи и убедимся, что все перечисленные препоны одолеть под силу одному разуму, а не поступкам, опрометчивым и недалеким; он, и только он доставляет истинное наслаждение и порождает куда более рогоносцев, нежели тело, которое по видимости сотворяет их».

Вот доподлинные слова этой дамы, коими начала она свою новеллу, сочиненную ею и записанную собственноручно; я ничего не изменил, опустив разве лишь имена; далее описывает она любовные похождения некой дамы и ее кавалера и, стараясь во всей полноте и возможно подробнее описать их, приходит к выводу, что видимость любви несет лишь видимость наслаждения. Любовь не назовешь истинной, пока она не достигнет наивысшей своей вершины и последнего предела обладания, и сколь часто любовники полагают, будто достигли сего предела, хотя им еще куда как далеко до него, и остаются у

разбитого корыта, горько сожалея о потерянном времени (советую хорошенько взвесить и запомнить эти слова; они как нельзя более верны, и многим из нас следовало бы сделать их своим девизом!). И однако наслаждение — вот главное в любви и для мужчин и для женщин; оно позволяет забыть и потерянное время, и все прочие напасти. Вот почему досточтимая дама, написавшая сию историю, назначила влюбленному в нее кавалеру свидание в лесу, где любила прогуливаться по живописной аллее; оставив на опушке свою свиту, пошла она дальше одна и встретилась с возлюбленным под тенистым раскидистым дубом (добавлю, что дело было летом), «там, где никто, по собственным словам дамы, не заподозрил бы их связь и не увидал тот роскошный алтарь, который оба они воздвигли злосчастному мужу в храме Креатон» (хотя они и не находились на Делосе), построенном целиком из рогов, как будто основал его какой-нибудь весельчак любовник.

Вот так-то дама и высмеивает своего супруга что в сочинениях, что в плотских утехах. Советую другим запомнить каждое ее слово, ибо все они верны и справедливы, будучи сказаны и записаны остроумнейшею и достойнейшею из женщин.

Новелла отменно хороша, и я охотно поместил бы ее здесь, не будь она столь длинною; беседы, в ней запечатленные, весьма изысканны, но пространны: кавалер восхваляет даму, а та упрекает возлюбленного в том, что новая пламенная страсть отвращает его от нее, полной столь высоких достоинств; желая разуверить даму, кавалер представляет ей множество доказательств своей любви, и все они подробнейше описываются в этой истории: затем влюбленные мирятся и проявляют всевозможные чудеса изобретательности и хитрости, дабы обмануть мужа и весь свет.

Я попросил у досточтимой дамы список с ее новеллы, который она весьма охотно дала мне, сделав собственноручно и не желая доверить это дело посторонним, дабы никого не шокировать.

Дама эта имела все основания восхвалять супружескую неверность, ибо до того, как начала изменять мужу, не отличалась особой живостью нрава и была довольно неуклюжа; преступив же черту, стала одною из самых блестящих и остроумных женщин Франции как в любви, так и во всех прочих отношениях. Я и в самом деле могу свидетельствовать, что далеко не одна она достигла совершенства, приобщившись к любви; на своем веку повидал я множество женщин недалеких и неловких, которые затем, обучившись в академии Купидона и матери его, госпожи Венеры, вышли оттуда весьма бойкими, разбитными и

как нельзя более находчивыми; могу заверить, что не встречал ни одной распутницы, которая не была бы изворотлива, как бес.

И вот еще один вопрос, меня занимающий: в какое время года рождается на свет более всего рогоносцев и какое из них наиболее любезно для любви и для победы над добродетелью жен, девиц и вдов? Разумеется, почти все полагают, что самый плодотворный сезон для сих дел — весна: она пробуждает дремлющие холодной и печальной зимою тела и души; и как птицы и звери, ликуя, творят любовь у всех на виду, так и люди, хоть и не схожие с ними в чувствах и делах, проникаются радостью жизни; особливо подвластны ей женщины, которые, по мнению многих философов и врачей, воспламеняются от любовного жара куда скорее весною, нежели в другие времена года; то же я слышал от многих красивых и достойных дам, а в их числе от одной весьма знатной; все они утверждали, что весна пробуждает и неодолимо дразнит чувства и ощущения; дама эта описывала, как упивается она ароматом молодых трав и, подобно юной кобылке, млеет и стонет от Удовольствия, катаясь по этой зеленой поросли, возбуждающей в ее теле новое любострастие; могу заверить, что так она и поступала на самом деле. Три или четыре ее любовные связи, коим был я свидетелем, и впрямь начались по весне, и не без причины, ибо из всех месяцев года апрель и май более других угодны Венере и именно в это время наши красавицы принимаются, встрепенувшись, наряжаться, прихорашиваться, обнажать плечи и грудь, кокетливо укладывать локоны; похоже, будто эти перемены и прикрасы направлены лишь на одно: а именно ведут к сладостным утехам и плодят столько рогоносцев на земле, сколько пернатых летает под небесами в апреле и мае.

Итак, не надейтесь, что прелестные дамы, девицы и вдовы, гуляя по лесам, рощицам, паркам, лугам, садам и в других местах отдохновения и видя повсюду зверей и птиц, охваченных взаимной любовью и бесстыдно спаривающихся у них на глазах, сами не чувствуют любовного зуда и не желают исцелиться от него известным средством. Зрелище сие служит убедительным примером для охладевших и разлюбивших мужчин или женщин: кто из них не воспламенится вновь, любуясь животными и птицами, что домашними, что дикими, как, например, беззаботные воробьи или сладострастные голуби, которые беззастенчиво сливаются друг с дружкою, любятся, плодятся и размножаются прямо на крышах или на ветвях деревьев. Вот так же одна прелестная испанка сказала кавалеру своему, то ли слишком холодному, то ли не в меру почтительному: «Ea, gentil cavallero, mira coro los amores de todas suertes se tratan y triunfan en

este verano, y V. S. queda flaco y abatido», что означает: «Взгляните, любезный кавалер, как торжествует и творится любовь по весне; что ж вы-то глядите столь уныло и бесстрастно?!»

Весна, пролетев, уступает место лету, которое приносит жгучий зной; как одна жара влечет за собой другую, так и жар, снедающий даму, удваивается, и ничто не способно облегчить и освежить ее, кроме омовения в жгучем и бурном потоке Венерином, называемом мужского спермою. Сие означает не лечение противоположностью, но именно лечение подобного подобным, ибо хотя дама каждодневно купается в самом что ни на есть прохладном и чистом источнике, он не приносит ей облегчения, как не принесут его легкие летние одежды или даже полунагота, когда она скинет с себя все вплоть до юбки, оставшись в одной рубашке и чулках, как многие из них делают. Вот где таится опасность, поскольку дамы, разоблачившись, оглядывают друг дружку при ярком солнечном свете и восхищаются своими и чужими прелестями, белизною атласной кожи, округлостью форм, свежестью лица и тела, и, разумеется, впадают при этом в соблазн и вожделение; а дальше надобно либо утолить сию похоть, обратившись к мужчине, либо же сгореть заживо в любовном огне, на что решаются весьма немногие, ибо нужно быть совсем уж круглой дурою, сгубив себя без всякого толку. А ложась на ночь в постель, дама от жары сбрасывает с себя и одеяла и простыни, да еще и рубашку задерет, обнажась до пояса; поутру же, при ярком солнечном свете, разглядит себя как следует со всех сторон и еще сильнее начнет желать сердечного друга и с нетерпением поджидает его. И уж коли он догадается явиться к ней именно в такой миг, то, будьте уверены, ему окажут самый радушный прием и самые страстные ласки, ибо нет для этого лучшего времени дня, чем эдакое утро. «Тем более (говаривала одна знатная дама) что чрево еще хранит жар постели и ночного вожделения, а нет ничего приятнее и слаще, как горячее блюдо, вовремя поданное».

Некоторые, однако, приводят следующую старинную поговорку: «Июнь, июль — время плохое: уста влажны, а чрево сухое»; сюда же относят они и месяц август, неблагоприятный для мужчин, коим опасно чересчур воспламеняться в столь жаркое время и невредно поберечься; впрочем, ежели им угодно сгорать в любовном огне, Бог в помощь, вольному воля! Женщинам же ничто не угрожает, им для этого любое время года, любой месяц и любые погоды хороши.

Итак, наступает лето и приносит сочные плоды, коим назначено освежать вседостойных и пылких наших прелестниц. Некоторые весьма лакомы до них, иные же равнодушны. Но как

бы то ни было, а облегчения они не доставляют ни тем ни этим, ибо ежели некоторые фрукты освежают при зное, то другие плоды, напротив, способны лишь распалить внутренний жар, почему дамы и прибегают к ним возможно чаще, выбирая самые сочные, аппетитные и приятные на вкус, кладя их в супы и салаты; нравятся им спаржа, артишоки, трюфели и грибы-сморчки, тыква и молодое мясо; все это их повара, по приказу хозяйки, приготовят столь искусно, что разожгут в ней аппетит и к еде, и к мужчине; недаром же Многие доктора прописывают пациенткам своим такие особые блюда. Может статься, кто-то из опытных любовников и не согласится со мною — что ж, им виднее.

Я же хочу предостеречь злосчастных мужей и кавалеров: избегайте сих пряных блюд, ибо не успеете оглянуться, как они распалят даму, и она даст вам от ворот поворот, сменив на более острое, пикантное лакомство и покрыв отставного любовника бесчестьем.

Но и это еще не все: наряду со свежими плодами садов и полей весьма любимы дамами новые кулинарные изобретения, а именно аппетитнейшие пышные паштеты, начиненные фисташками, сосновым семенем и прочими возбуждающими приправами, которые лето, в отличие от других сезонов, дарит нам в изобилии; а еще кладут туда петушиные гребешки и членики, устраивая настоящую резню среди хорошеньких молодых петушков, куда более пригодных для сей цели, нежели старые, ибо первые, не в пример вторым, зело горячи, задиристы и неутомимы. Вот, в числе иных, и еще одна услада, которую лето приносит в помощь любви.

Итак, многие дамы, насколько мне известно, любят лакомиться этими паштетами с начинкою, молодыми петушками, стеблями артишока, трюфелями и прочими горячими — и горячительными — блюдами; приступая к ним, они первым делом выуживают из блюда рукою либо вилкою то артишок, то трюфелек, то фисташку, то малую пташку, то петушиный гребешочек, то иной какой кусочек и, нехотя жуя, грустно приговаривают: «Бланш!» Когда же им попадается чудесный петушиный членик, тут они проворно суют его в рот и весело восклицают: «Бенефис!» — как будто бы выиграли драгоценную безделушку в известной карточной игре, столь распространенной в Италии.

Что ж, успехом своим они обязаны именно этим хорошеньким петушкам, коих взращивают летом, а считают по осени, начало которой я не отделяю от лета, ибо она дарит нам великое множество других плодов и мелкой домашней птицы, куда более

горячей, нежели та, что подрастает зимою или поздней осенью, в зиму переходящею; может, и не следовало бы разделять две сии половины, но все-таки конец осени не столь щедр на плоды земные и всяческую живность, как теплое время; конечно, и зима тоже старается одаривать людей всем, чем может: взять, к примеру, вкуснейший испанский артишок, который таит в себе сокровенный жар и возбуждает желание; его едят и в сыром виде, и вареным; даже шишечки его идут в дело — ослы весьма лакомы до них и, поев, становятся горячее и плодовитее; летом растение сие грубо и твердо, и лишь зима делает его мягким и нежным, наделяя пикантным привкусом, потому-то и готовят из него великолепные салаты — новое кулинарное изобретение. Кроме того, изыскиваются всякие иные возбуждающие средства и снадобья у аптекарей, эскулапов и парфюмеров, и ни одно из них не оставляется втуне, а сдабривает собою все те же супы и паштеты. И кто сможет порицать таковую заботу о поддержании внутреннего жара в зимнее время, кто сможет оспорить дам, которые утверждают, что «коли они согревают тела снаружи тяжелыми плотными одеждами и пышными мехами, то почему бы им не разогреваться и изнутри?» Ну а мужчины говорят так: «К чему дамам кутаться в семь одежек и париться в них, ежели они сами жарче любого огня и во всякий миг, стоит нам только начать осаду, готовы к любовной баталии, не прибегая к иному оружию, кроме собственной пылкой природы?! Кто сможет сему воспрепятствовать? Возможно, что они боятся, как бы их горячая, кипучая кровь не застыла в жилах, ежели ее постоянно не разогревать, — не уподобляться же им какому-нибудь отшельнику с ледяною кровью, который питается одними сухими кореньями!»

Что ж, пускай их развлекаются как хотят — кавалерам от того лишь прибыль: ведь коли даму снедает сей неостывающий жар, она сдается при первом же приступе, награждая злосчастного супруга рогами, уподобляющими его лесному сатиру. Но эти милые дамы идут еще дальше — они нередко потчуют аппетитными своими паштетами, бульонами и супами любовников, дабы поддержать в них силу и мощь и не дать сникнуть в решительный момент, а, напротив, распалить их и подвигнуть на невиданные любовные подвиги; а еще дают кавалерам рецепты таковых блюд, чтобы они их ели у себя дома; впрочем, на этом многие из мужчин и спотыкались, как, например, один любвеобильный дворянин, который, наевшись до отвала таких супов и паштетов, изготовленных по рецепту своей дамы, явился к ней в нетерпении, суля небывалую любовную схватку, а в ответ услыхал: «Не хвастайтесь-ка заране, а лучше покажите в деле, на что вы способны». Увы, лакомства эти

позволили галантному кавалеру победить даму всего лишь дважды, и не более. На что дама объявила бедняге, что, видно, повар у него дурен: либо он забыл положить в блюда нужные травы и плоды, либо ошибся пропорцией целебных снадобий, а может, они были вредны кавалеру и потому не оказали должного воздействия; вот как жестоко она насмеялась над ним.

Впрочем, как бы ни были безобидны все эти снадобья, составы и отвары, они и впрямь не для всех годны: одним помогают, другим же — бланш! Я и сам видел женщин, которые отведывали эдакие пряные блюда, но стоило мужу или любовнику приступиться к ним в чаянии самых пылких и страстных объятий, как они клялись и божились, что трапеза сия не пробудила в них ровно никакого вожделения. Подите-ка проверьте, правду они говорили или лукавили!

Впрочем, дамы, приверженные зиме и ее прелестям, утверждают, будто у них есть рецепты распаляющих супов и прочих блюд, какие годятся и на зиму, и на другие времена года. В опыте им не откажешь, его у них довольно, и зима, по их словам, весьма способствует любовным играм; пусть она холодна, темна, печальна, долга и сурова, пусть не дает водить компанию и заставляет прятаться по домам, зато как приятно и славно в эдакую стужу обниматься с милым другом где-нибудь в потайном уголке дома, у камина с жарким пламенем, которое, точно летнее солнышко, согревает слившиеся тела, снедаемые любовным огнем.

А сколь сладостны объятия за плотным пологом кровати, в полумраке, скрывающем любовников от чужих глаз, благо что владелец их тут же, рядышком, греется у камина! Сколь отрадно заниматься любовью на сундуке или постели в каком-нибудь укромном закутке либо просто прильнуть друг к другу, сидя за столом или у буфета, подальше от света канделябра, так что окружающие и не разглядят ничего, сочтя, что эти двое зазябли и потому, желая согреться, сидят тесно.

Но наибольшая сладость для любовников — это очутиться в теплой постели: вот где вкусят они все удовольствия в мире, крепко обнимаясь и жарко целуясь, сплетая тела и обвивая один другого, дабы укрыть от холода, и не на краткий миг, а на долгое время; они нежно согревают друг друга, не страдая притом от чрезмерного летнего зноя и жгучего пота, столь мало уместного в любовных утехах: ведь летом из-за жары так тесно не обнимешься, приходится лежать врозь, что, по мнению врачей, куда лучше и полезнее; мужчины же больше привержены не к летним, а к зимним любовным играм, когда пыл их удваивается и мощь возрастает.

Знавал я в прежние времена одну весьма знатную принцессу, блиставшую умом, остроумием и изящным слогом. Однажды ей вздумалось написать стансы, восхваляющие зиму как наилучший сезон для любви. Представьте себе, что она полагала ее самым подходящим временем для сего занятия. Стансы были написаны и вышли весьма удачными; мне хотелось бы привести все их здесь: читатель открыл бы в них для себя множество привлекательных свойств зимы, особенно способствующих любви.

Знавал я некую знатную даму, одну из красивейших в свете, которая, овдовев, делала вид, будто не желает, по вдовьему своему положению и трауру, посещать двор, ужинать в обществе, ездить на балы, присутствовать на церемонии отхода ко сну у королевы — словом, отказалась от всех светских удовольствий и не выходила из дому, уединившись у себя в спальне, куда не допускала ни сына своего, ни подруг, ни знакомых, отсылая их танцевать и развлекаться без нее; и что же: оказалось, к ней туда являлся любовник, еще до замужества обожаемый ею, но тогда, к прискорбию, женатый; теперь же они превесело проводили время, ужинали вместе, в компании с деверем дамы, а после, пожелав ему спокойной ночи, ложились в постель и вспоминали старую любовь, а заодно обучались и новой, готовясь к предстоящей свадьбе, которую и сыграли следующим летом. Вспоминая все обстоятельства сей истории, скажу, что ни одно время года так не поспособствовало бы благополучному ее исходу, как именно зима, то же подтвердила мне одна из наперсниц дамы.

В заключение хочу объявить, что для любви подходят все времена года, только вот действовать надобно с умом, сообразно обстоятельствам и настроениям любовников; как войны затеваются и ведутся в любое время года и во всякую погоду, а воины пользуются покровительством бога Марса и получают из его рук победу лишь тогда, когда отличатся пред ним геройством и отвагою, так и Венера средь воинства любовников особо отличает самых пылких и страстных в любовных схватках; времена же года тут вовсе ни при чем, выбирай их не выбирай, и столь же бесполезны свойственные каждому сезону фрукты и овощи, составы и отвары, лекарства и снадобья, ибо они не могут ни добавить пылу, ни убавить, как на то уповают многие. Вот к сему последний пример: я знаком со знатной дамою, которая еще в детстве отличалась горячим и пылким нравом; матушка ее, опасаясь, что он сделает из девочки распутницу, целых тридцать лет заставляла ее пить щавелевый сок — то в чистом виде, целыми мисками, то сдабривая им все блюда подряд: и мясо, и супы, и бульоны — словом, других соусов бедняжка и не пробовала. Но напрасно мать уповала на сие охладительное

средство: из дочери ее все-таки вышла самая отъявленная и похотливая распутница, какую только видел свет; уж ей-то вовсе не надобны были пряные паштеты, чтобы воспламениться, — хватало и своего жара, однако же она любила лакомиться ими не менее других дам.

Итак, я завершаю сию главу, хотя мог бы продолжать ее вечно, приводя тысячи доводов и примеров, но негоже без конца глодать одну и ту же кость, так что готов передать перо мое более искусному рассказчику, который сумеет развить сию тему иными словами и резонами; повторю лишь пожелание, услышанное однажды от одной досточтимой испанской дамы, мечтавшей стать зимою, когда подойдет время, а друга своего сделать огнем, дабы она могла, зазябнув, прийти к нему погреться, а он имел бы удовольствие согреть ее и, сообщив ей свой жар и пыл, заставил бы подругу разоблачиться, скинуть одежды, скрывающие ее прелести, и предстать его взору нагой, бесстыдно раскинувшей ноги в постели и готовой сгореть вместе с ним во всепожирающем пламени любовного наслаждения.

Засим желала дама превратиться в весну, а друга своего обратить в цветущий сад, и цветами этого сада украсить голову, прелестную грудь и все свое нагое тело, коим она дозволила бы ему насладиться на душистых простынях ложа.

И также хотелось ей стать летом, преобразив друга своего в прохладный источник с хрустальными струями, дабы он омывал и освежал ее, когда придет она купаться и резвиться в его струях, позволяя им ласкать и обвивать ее тело, сладостное и манящее.

И наконец, грезилось ей, что, сделавшись осенью, обретет она прежнюю свою женскую ипостась, а друг ее вновь станет мужчиною, и оба они, обретя человеческий облик и разум, смогут вспоминать и перебирать былые наслаждения и жить сими прекрасными воспоминаниями, рассуждая и споря о том, какое время года было для них самым утешным и отрадным.

Вот как достойная дама разбирала и приспособляла к себе времена года; я же, со своей стороны, отношусь с этим вопросом к более опытным мастерам сих дел, и пусть они сами решают, какое из четырех описанных превращений милее и приятнее женщине и ее сердечному дружку.

Теперь же завершаю сие рассуждение, а тому, кто захочет узнать побольше о супружеской неверности и разнообразии рогоношества, посоветую разыскать старинную песенку о рогоносцах, сложенную при дворе тому пятнадцать или шестнадцать лет назад; вот ее припев:

Один рогоносец другого ведет.

Ах, что с ними сталось!
За ними и третий с четвертым идет.
Ах, что за жалость!

Смиренно прошу всех досточтимых дам, коим доведется заглянуть в мою книгу, великодушно извинить меня, коли они сочтут некоторые пассажи чересчур вольными, грубыми или сальными; поверьте, я сам старался, как мог, приукрасить и облагородить мои писания, хотя сочности У них не отнять. Да что говорить: я привел бы здесь куда более пикантные и невероятные истории, коли бы не скромность моя и не боязнь оскорбить тех порядочных женщин, кои возьмут на себя труд и окажут мне честь ознакомиться с этой книгою. Добавлю еще, что случаи, здесь описанные, — не городские и не деревенские байки из жизни подлого и низкого сословия; все они относятся к знатным и достойным особам, ибо я положил себе за правило описывать любовные похождения лишь высокородных персон, коих, впрочем, избегал называть по именам и званиям, а стало быть, ничем и никого не опозорил.

Мужьям желают жены райского обличья,
Чтоб грубые свои утратили тела.
Но только женушка резвиться начала,
Как муж отбросит нимб и оперенье птичье
И вмиг докажет ей, как властна и крепка
Законного хозяина рука.

Еще одно:

Не осуди любвеобильных дам,
Тех, что тайком рога мужьям взрастили.
Святоши им бы этот грех простили,
Богоугодным радуясь делам.
Благое дело — страждущему дать.
Клеветникам здесь нечего сказать.

СТАРИННЫЕ СТАНСЫ О ЛЮБОВНОЙ ИГРЕ,

найденные мною в старых бумагах

Любовную игру, что юность занимает,
Сравни с игрой за карточным столом:
Здесь даму только картой прижимают.
Когда ж, пришпоренный азарта жгучим злом,
В триктрак ты сел, не дуйся напролом,
Будь начеку, иначе станет жарко:
Поманит игрока душа его, дикарка,
Бездумно постигать суть сладостных наук.
Того ж, кто банк сорвет с Венериным подарком,
Ждет скорбная игра напастей, бед и мук.

Здесь слово «игра» таит в себе двойной смысл: во-первых, разумеется игра в триктрак, во-вторых, любовная игра с дамою, чреватая тяжкой Венериной хворью и страданиями, ею приносимыми.

РАССУЖДЕНИЕ ВТОРОЕ:
О том, что более всего тешит в любовных делах: прикосновения, взгляды или речи

Вот вопрос в предмете любви, достойный более опытного и основательного исследователя, нежели я сам, а суть его такова: что в любовных делах наибольшее утешение сулит — осязание ли, иначе говоря, прикосновение, любовные ли речи или взгляды? Господин Паскье, без сомнения весьма сведущий в своей юриспруденции (из коей сделал себе профессию), как, впрочем, и в других замечательных гуманитарных науках, разбирает сей предмет в письмах своих, после него оставшихся; однако же в них он чересчур лаконичен, хотя, по моему разумению, будучи столь великолепным оратором, мог бы не скупиться на слова и не лишать нас удовольствия насладиться изящным его слогом; вздумай он подробно развить сию тему и высказать откровенно все, что знал, письма эти оказались бы стократ занимательнее и приятнее.

Главную свою тезу строит он на нескольких старинных виршах графа Тибо Шампанского — автора, с коим я незнаком, если не считать того отрывка, который приводит господин Паскье. Он считает, что сей достойный и храбрый рыцарь былых времен выражает мысли свои весьма красноречиво, — разумеется, не столь элегантно, как нынешние поэты, но, однако, вполне умело и убедительно; впрочем, и сюжет, прекрасный и достохвальный, много помог вдохновению стихотворца, посвятившего свои вирши королеве Бланке Кастильской, матери Людовика Святого; в королеву эту рыцарь был пылко влюблен и состоял с нею в любовной связи. Можно ли упрекнуть в том названную королеву? Дурно ли она поступила? Разве могла она, будучи вполне разумной и целомудренной женщиной, запретить мужчинам любить ее и сгорать от страсти и восхищения пред ее красотою и прочими достоинствами, когда истинное предназначение добродетели и совершенства в том и заключается, чтобы пробуждать любовь? Главное — не идти потом на поводу у того, кто вас любит.

Вот почему не следует дивиться и порицать названную королеву за то, что она была столь горячо любима, и за то, что при ней Францию потрясали раздоры и войны; как говорил один достойнейший человек, раздоры эти происходили в равной мере из-за любви и из-за всяких государственных неурядиц; недаром же во времена отцов наших ходило старинное присловье,

гласившее, что «все мужчины до единого вожделели тела безумной королевы».

Уж не знаю, о какой государыне шла речь в сей поговорке; вполне вероятно, что сложил ее именно граф Тибо в отместку за пренебрежение к нему королевы либо из-за ревности к другому, кого предпочли ему самому; как бы то ни было, а любовное разочарование подвигло его на опрометчивые поступки, приведшие к поражению в сих войнах и смутах; так часто случается, когда прекрасная собою или высокородная королева, принцесса или дама начинает править страною и каждый стремится услужить, угодить и потрафить ей, восхвалить и превознести до небес, дабы войти к ней в милость, пользоваться благоволением и вследствие того похваляться, что правишь государством вместе с нею, извлекая из этого выгоду для себя. Я мог бы привести к сему множество примеров, но уж лучше промолчу.

Что же до графа Тибо, то он, как я уже сказал, взялся за описание прекрасного предмета любви своей, к коему взывает о милости в виршах, приводимых господином Паскье; к нему-то я и отсылаю любознательного читателя, не помещая здесь сего отрывка, ибо полагаю это излишним. Достаточно будет высказать свое собственное мнение, а также мнение кавалеров, более меня сведущих в любовном ремесле.

Начнем с прикосновения, которое смело можно признать наисладчайшим выражением любви, ибо вершина ее — в обладании, обладание же неосуществимо без прикосновения; как нельзя утолить жажду и голод, не попив и не поев, так и любовь насыщается не взглядами и речами, но прикосновениями, поцелуями и объятиями, заключаясь Венериным обычаем. С этим соглашался и самодовольный шут Диоген-киник, заявляя — по обыкновению своему, непристойно и глумливо, — что он желал бы так же легко утолять голод, потирая пустой живот, как удовлетворяет свою похоть, потирая некую часть тела. Я мог бы выразить все вышесказанное еще яснее, но тема вряд ли того заслуживает. Или же вспомним еще об юноше, влюбившемся в Ламию; она столь дорого запросила с него за обладание ею, что он не захотел или не смог столковаться с нею, а потому решился на иное — упорно думая о ней, он осквернил себя и утолил свое вожделение, мысленно обладая этой женщиной; она же, узнав об этом, потащила его в суд, требуя заплатить за полученное удовольствие; судья, выслушав истицу, приговорил побренчать пред нею деньгами, объявив, что за любовь, дарованную в мечте и воображении, один звон денег — вполне достаточная плата.

Без сомнения, можно вспомнить здесь еще многие и многие

утехи и ухищрения науки Венериной, описанные у древних философов, мне же остается сослаться на самых остроумных и утонченных из них, дабы желающие ознакомились с их рассуждениями в сей части. Так или иначе, но именно оттого, что цель любви есть не что иное, как наслаждение, не следует думать, будто его доставляют одни лишь объятия да поцелуи. Многие из нас убеждались, что наслаждение это было неполным, ежели ему не сопутствовали взгляды и речи; тому есть прекрасный пример в «Ста новеллах» королевы Наваррской: некий благородный дворянин довольно долгое время пользовался милостями какой-то неизвестной дамы и, хотя свидания их назначались в непроницаемо-темной галерее и дама не снимала повязки с лица (маски тогда еще не были в ходу), дворянин, обнимая даму, сумел все же заключить, что любовница его хороша собою, привлекательна и желанна. Однако достигнутого ему показалось мало, и он решил узнать, с кем же имеет дело; вот однажды во время свидания (которое всегда приходилось на определенный час) он, крепко обняв даму, пометил ей мелом платье, а было оно черного бархата; после, вечером того же дня, когда дамы, отужинав, сходились в бальную залу, встал он у дверей и, внимательно разглядывая входящих дам, углядел наконец одну с меткою на плече и был немало изумлен, подозревая кого угодно, только не ее, ибо и степенной осанкою, и благонравным поведением, и разумными речами уподоблялась эта дама самой Премудрости Соломоновой, каковою и описана она у королевы Наваррской.

Велико же было изумление нашего кавалера, коему выпал счастливый случай по милости благородной женщины, хотя ее-то можно было заподозрить в последнюю очередь средь прочих придворных дам. Правда, не успокоясь на этом, он пошел дальше, именно поделился с нею своим открытием и стал допытываться, зачем она таилась от него, заставляя любиться с нею тайком и по темным закоулкам. Но хитроумная дама наотрез отказалась и отреклась от чего бы то ни было, клянясь в непричастности к делу спасением своей души и райским блаженством, как оно и принято у женщин, когда они упорно отрицают то, что порешили скрыть, хотя оно уже вышло на свет божий, очевидное и бесспорное.

Дама отделалась испугом, а вот дворянин упустил свое счастье и удачу, ибо любовница его немалого стоила, а поскольку вдобавок разыгрывала из себя святую невинность и недотрогу, то он, можно сказать, лишился двойного удовольствия: одно доставляли бы ему тайные жаркие ласки дамы, другое — встречи с нею при дворе, где держалась она гордо и неприступно; он же, слушая благонравные, строгие и надменные речи дамы пред

всеми собравшимися, мог бы вспоминать про себя ее сладострастную игривость, похотливую повадку и неуемность в наслаждении, когда она бывала наедине с ним.

Да, поистине неоправданный промах допустил наш кавалер, заговорив с дамою о своем открытии; что бы ему и дальше вести свои дела с нею, по-прежнему пользуясь ее милостями: оно ведь одинаково сладко что без свечки, что при факелах. Конечно, ему следовало знать, кто она такая, и я не браню его за любопытство, ибо, как сказано в той новелле, он сильно опасался, что имеет дело с Дьяволом: известно ведь, что Дьявол охотно оборачивается женщиной, дабы завлекать и обманывать людей; к тому же, как слышал я от опытных магов, Дьяволу легче принять облик и формы женщины, нежели обрести дар женской речи. Вот по такой-то причине кавалер наш и был в своем праве, желая убедиться воочию, что он любится с женщиной; по его собственным словам, упорное молчание его любовницы тревожило его куда более, чем невозможность видеть ее, наводя на мысли о кознях господина Дьявола; заключим же из сказанного, что был он человеком весьма богобоязненным.

Но только обнаружив истину, не лучше ли было промолчать?! А как же, возразят мне, разве сердечная склонность и любовь не выигрывают, будучи высказаны вслух? Именно в этом наш дворянин и тщился убедить даму, но не только успеха не добился, а утратил и то, что имел.

Несомненно, однако, что все, кому знаком был нрав этого дворянина, извинили бы его, ибо, согласитесь, нужно обладать слишком уж холодным и расчетливым умом, чтобы, любя женщину, играть с нею в прятки и скрытничать, а я слыхал от моей матери, которая состояла при королеве Наваррской и была посвящена в тайны многих ее новелл (даже и выведена в какой-то из них как одна из собеседниц), что героем помянутой истории был мой покойный дядя Лашатеньере: он славился резким нравом, прямотою, а также изрядной ветреностью.

В новелле многое намеренно изменено, дабы сохранить инкогнито персонажей: так, например, дядя мой никогда не состоял на службе ни у принцессы, госпожи его любовницы, ни у брата ее, короля, и это объясняет, отчего он всегда пользовался добрым к нему расположением помянутых высоких особ.

Даму же я называть по имени не стану, скажу лишь, что была она вдовою и фрейлиной при одной высокородной принцессе и умела казаться более монашкою, нежели придворной дамою.

Я слышал рассказ еще об одной даме при дворе наших последних королей, мне хорошо знакомом; дама эта, влюбившись в одного благородного придворного кавалера, повела с ним дело

точно так же, как и вышеописанная. Но только она, возвращаясь с любовного свидания в свои покои, всякий раз заставляла одну из прислужниц или горничных осматривать ее со всех сторон, ища сделанной любовником метки, и сей предосторожностью уберегла себя от позора и огласки. Когда на девятый день она принесла-таки со свидания метку на платье, ее служанки тотчас же эту метку обнаружили и признали. После чего дама, опасаясь разоблачения и публичного срама, порвала со своим избранником и на свидания больше уже не являлась.

А ведь лучше было бы (как заметил кто-то из моих знакомых) позволить любовнику метить ее сколько душе угодно и столько же раз стирать отметину, извлекая из того двойную утеху: и страсть свою удовлетворять, и вместе с тем подшучивать над правдолюбцем, который с таким усердием открывал для себя сей новый философский камень, того не ведая, что трудится впустую.

Слыхивал я и другую сказку времен короля Франциска — о прекрасном конюшем Грюффи, который состоял при названном короле и умер в Неаполе, во время путешествия господина де Лотрека, и об одной весьма знатной придворной даме, что пылко влюбилась в него, и не без причины, ибо наш конюший был дивно хорош собою, о чем свидетельствует портрет, мною виденный; окружающие так и величали его: красавец Грюффи.

Однажды эта дама призвала к себе в комнату доверенного слугу, которого никто в свете не знал и не видел, и распорядилась, чтобы слуга этот, прилично и богато одетый, явился к Грюффи и донес ему следующее: одна досточтимая и красивая дама желает признаться ему в любви и доказать ее на деле, однако ни за какие сокровища в мире не согласна показаться и обнаружить свое имя, почему и просит, чтобы к ночи, когда все придворные разойдутся по спальням, он последовал за ее слугою, который и проведет его тайком к своей хозяйке, но только сперва пускай даст завязать себе глаза красивым белоснежным платком, как поступают с парламентером, коего вводят во вражеский город с завязанными глазами, не давая увидеть ни улиц, ни залы для переговоров, и вдобавок держат за руки, дабы не мог он сдернуть повязку с лица; вот такие-то условия и передал посланный от своей госпожи, которая не желала показаться возлюбленному до определенного срока, что тот и принял, пообещав все исполнить; затем слуга оставил его до завтрашнего дня, предупредив, что придет за кавалером и, коли тот будет держаться обещанного и окажется один, сопроводит в райские кущи, где счастливцу не придется раскаяться в своем согласии.

Не правда ли, вот остроумное и неожиданное условие?! Оно

нравится мне столько же, сколько требование одной испанской дамы, пригласившей к себе кавалера, с тем, однако, чтобы он принес с собою три «п», а именно был бы «покорным, постоянным и потаенным». На что кавалер отвечал, что охотно придет и принесет требуемое — при условии, однако, что дама не встретит его тремя «х», иными словами, не окажется «холодной худой хрычовкою».

Итак, посланник дамы отбыл, оставив Грюффи в раздумьях и сомнениях. И то сказать: он опасался козней какого-нибудь придворного недоброжелателя или же злой шутки со стороны короля, а то и удара кинжалом. Размышлял он также и о том, какова собою эта неизвестная дама — высокого, среднего или малого роста, красавица или уродина; последнее весьма его пугало, хотя и говорится, что ночью все кошки серы, а бабьи ворота одинаково широки и пройти в них легко что со светом, что без света. В конце концов, посоветовавшись с одним из ближайших своих друзей, решился он пойти на риск, ибо ради любви со знатной дамою (а он почти уверился, что она именно знатна) можно побороть страх и попытать счастья. А потому, дождавшись ночи, когда король, обе королевы и придворные дамы с кавалерами удалились в свои покои, он не преминул отправиться в указанное посланцем место, где и нашел его вдвоем с другим слугою, коему поручено было проследить, не привел ли Грюффи за собою пажа, лакея или какого-нибудь друга-дворянина. Увидев же нашего кавалера одного, первый сказал ему: «Пошли, сударь, госпожа вас ожидает». Потом, завязав ему глаза, повел темными узкими коридорами и неведомыми проходами, так что юноша при всем желании не смог бы определить, где он находится и куда его ведут; затем оказался он в комнате, где царила кромешная тьма, точно как в печке; там-то и поджидала его дама.

Первым делом он почуял ее нежное благоухание — сей аромат уже многое посулил ему; дама тотчас заставила его раздеться и с его помощью разделась сама, а затем, развязав ему глаза, повела за руку в постель, загодя разобранную и готовую их принять; там кавалер наш принялся общупывать, обнимать, целовать и ласкать даму и чем дольше ласкал, тем приятнее и желаннее находил и гладкую атласную кожу ее, и тончайшее белье, и пышную, мягкую постель; так вот и провел он наиблаженнейшую ночь в объятиях неведомой ему красавицы, коей имя мне после тайком называли. Той ночью все вокруг услаждало и ублаготворяло юношу, и одно только сильно досаждало, а именно: он так и не добился от любовницы ни единого слова. А молчала она недаром, ибо днем он частенько

беседовал с нею, равно как и с другими дамами, и тотчас признал бы ее по голосу. Но ют что касается любовных безумств, шаловливых ласк, нежных прикосновений и всех прочих свидетельств любви и страсти, то тут его ничем не обделили.

Наутро, с рассветом, слуга разбудил уснувшего кавалера, помог ему встать и одеться, завязал платком глаза и препроводил на то место, откуда увел накануне; там он и оставил его на волю Божию вплоть до следующей встречи, которая, по его заверениям, должна была состояться в самом скором времени. На прощанье же спросил кавалера, солгал ли он ему, посулив столь сладостные утехи, и хороший ли вышел из него фурьер, коли подыскал ему для постоя эдакий гостеприимный дом.

Красавец Грюффи горячо поблагодарил слугу и распрощался с ним, сказав, что теперь всегда готов вернуться туда за столь низкую цену — да что там вернуться, на крыльях прилететь, буде его призовут; так он и поступил, и сие празднество любви длилось целый месяц, по истечении коего Грюффи пришлось отправиться в то самое путешествие в Неаполь; он с величайшим сожалением оставил свою любовницу, так и не сумев вырвать у ней ни единого слова, но вызвав одни лишь горькие слезы да печальные вздохи. Вот как он отбыл, не узнав и не увидев воочию этой дамы.

Поговаривали, будто с тех пор она обошлась тем же манером еще с двумя или тремя кавалерами, доставляя себе столь изысканное наслаждение. Говорили также, что она пошла на сию уловку по причине крайней скупости: таким образом ей не приходилось делать подарки, какими всякая знатная дама обязана баловать своих любовников, будь то деньги, перстни, драгоценности или прочие щедрые презенты. Здесь же любвеобильная дама и плоть свою услаждала, и кошелек сберегала, да и самое себя никому не показывала — другими словами, оставаясь непойманной, свободно распоряжалась что одной своей мошною, что другой, раскрывая их лишь по собственному усмотрению. Вот они каковы, наши коварные знатные красавицы!

Одни сочтут сей способ любви остроумным, другие осудят его, третьи найдут весьма жестоким, четвертые одобрят даму за ее расчетливость; я же отошлю читателя к тем, кто в сих делах разбирается получше моего; замечу, однако, что названная дама достойна менее сурового порицания, нежели одна королева, которая жила в Париже, в Нельской башне, высматривала из окна прохожих и зазывала к себе тех, кто ей приглянулся; получив же от них желаемое, приказывала сбросить с верхушки башни (и поныне сохранившейся) в ров с водою и утопить.

Не могу сказать, правда ли это: простые люди (особливо в Париже) утверждают, будто так оно и было; стоит только указать кому-нибудь из горожан на сию башню да спросить, что это такое, как вам тотчас же расскажут сию легенду.

Но оставимте жалкие эти приключения, мало что общего имеющие с подлинной любовью, как ее разумеют нынешние дамы, а разумеют они вполне справедливо, что кавалер — не камень безгласный, не скала безмолвная, а живой человек; и уж эти-то дамы умеют добиться от избранников, чтобы те служили им верой и правдой и горячо любили их. А убедившись в их верности, постоянстве и сердечной привязанности, платят им такою же нежной любовью и доставляют им и себе наслаждение, не закрывая ни лица, ни уст, и встречи назначают не в потемках, а среди бела дня, позволяя любовнику и обнимать, и целовать, и трогать, и любоваться, и говорить, поощряя их ко всему этому жаркими, бесстыдными, манящими и сладостными речами. Конечно, иногда не обходится и тут без маски: многие дамы поневоле прибегают к ней, занимаясь любовью, из боязни испортить цвет лица либо из желания скрыть прилив крови (ежели дама воспламенится сверх меры), равно как и испуг, коли застанут их врасплох; такие случаи мне известны, а маска — она все покроет, обманув чужой глаз.

Многие дамы и кавалеры, в любви искушенные, говорили мне, что ежели бы любовь была нема и слепа, то и они уподобились бы диким зверям, которые, не разумея ни дружбы, ни других человечьих утех, знай утоляют без разбора свое вожделение и природную надобность.

Я слышал от многих сеньоров и галантных кавалеров, спавших со знатными дамами, что они находили этих последних куда более свободными и развязными в их прельстительных и непристойных речах, нежели обыкновенных, простых женщин. Да и чему тут дивиться — ведь таким дамам куда легче подыскивать изящные обороты, лежа под мужчиною, который, как бы ни был он силен и могуч, не способен и пахать и петь разом, зато находит немалую утеху в том, чтобы, остановясь передохнуть, услышать от подруги своей возбуждающие, соблазнительные, непристойные словечки, которые способны пробудить даже крепко спящую Венеру; так, многие дамы, беседуя с любовниками своими в свете, при всех, обольщали их столь манящими и вольными речами, что оба получали от них наслаждение не меньшее, чем от объятий в постели; мы же, глядя на них со стороны, ничего худого и заподозрить не могли.

Вот отчего Марк Антоний столь горячо влюбился в Клеопатру, предпочтя ее супруге своей Октавии, которая была во

сто раз красивее и милее названной Клеопатры; зато эта последняя славилась речами своими, любезными и всегда к месту сказанными, изысканными в общей беседе и страстными на ложе любви, и для такой женщины Марк Антоний позабыл все на свете.

Плутарх сообщает нам, что Клеопатра обладала несравненным даром красноречия и блестящим остроумием; она столь грациозно и непринужденно вела беседу, что когда Марк Антоний пытался шутить ей в подражание, желая изобразить галантного кавалера, то выглядел пред нею неотесанным мужланом и грубым солдафоном, никак не более, и далеко ему было до блистающих умом речей царицы.

Плиний рассказывает нам легенду о Клеопатре, которую нахожу я весьма занимательною, а потому приведу ее здесь. Однажды царица в самом радостном и веселом расположении духа нарядилась в великолепные пышные одежды и, возложив на голову венок, чей аромат пробуждал любовное влечение, села за трапезу с Марком Антонием; тот захотел вина, и Клеопатра, занимая его пленительной живой речью, одновременно обрывала со своего венка лепестки, заранее пропитанные смертоносным ядом, и бросала их в чашу Марка Антония, когда же она замолчала и он поднес чашу к губам, собираясь выпить, Клеопатра удержала его руку и крикнула, чтобы привели ей раба или преступника; его приводят, и царица, взяв чашу из рук Марка Антония, дает выпить вино несчастному; тот подчиняется и умирает на месте, и тогда, оборотясь к Марку Антонию, она говорит: «Если бы я не любила так, как люблю, то сейчас избавилась бы от вас без всякого труда, но я слишком хорошо знаю, что без вас не смогла бы жить на свете». Поступок сей и речь, его сопровождавшая, не могли не убедить Марка Антония в любви царицы, и страсть его к ней возросла несказанно.

Вот как прославило Клеопатру ее красноречие, вот отчего все легенды в истории называют ее златоустою, вот отчего и Марк Антоний, преклоняясь пред ее умом, почтительно величал ее царицею: так он и называет ее в письме своем к Октавию Цезарю, написанном в ту пору, когда они еще были друзьями. «Что тебе в том, — пишет он, — что я живу с моей царицею?! Она жена моя, ее судьба назначила мне в подруги на веки веков. Ты же спишь то с Друзиллой, то с Тарталией, то с Леронтилой, то с Руфилией, то с Саморией Литиземой, а то и с другими, и тебе, как я посмотрю, нет разницы, с которою из них возлечь, когда желание томит тебя».

В таких словах восхвалял Марк Антоний свое постоянство в любви к царице, порицая друга за распутство, ветреность и неразборчивость в женщинах; удивлению подобно, как это

Октавий не влюбился в Клеопатру после смерти Антония. Может статься, он и пытался овладеть ею, когда повелел доставить ее в свои покои и остался с нею наедине, но она дала ему отпор; а может, он ожидал увидеть ее иною и она не понравилась ему по этой или иной причине; кончилось тем, что он приказал выставить ее напоказ в римском триумфе, от какового позора она нашла избавление в безвременной смерти.

Итак, заканчивая наши рассуждения по этому поводу, можно вывести, что когда дама полюбит кого-нибудь и положит добиться взаимности, то не сыщешь в мире оратора искуснее ее. Стоит только вспомнить о Софонисбе: Тит Ливий, Апиан и многие другие описали, сколь красноречиво изъяснялась она, явившись к Масиниссе, дабы возгласить ему свою любовь, пленить его и завладеть им, да и после, когда она умирала от яда, красноречие не изменило ей. Короче говоря, пусть запомнит каждая дама: легкий слог — любви залог; я уверен, что редкая из женщин не найдет к случаю речей, способных сокрушить и небеса и землю; даже самая лютая стужа не приморозит ей язык к нёбу.

Красноречие — не последнее дело в любви; ежели дама молчалива и косноязычна, навряд ли она и в постели придется вам по вкусу, так что когда господин Дю Белле, говоря о своей подруге и восхваляя ее добродетели, пишет:

Скромна в речах, неистова на ложе, —

то он имеет в виду те речи, что дама держит в свете, в общем разговоре, но наедине с избранником своего сердца истинно любезная дама не постесняется в словах и забудет о стыдливости, ибо несдержанность в любовных речах угодна Венере и сильнее разжигает страсть.

Слышал я от многих кавалеров, которые любились с красивыми знатными дамами и беседовали с ними в постели, что дамы эти были в речах своих не менее дерзки и распущенны, чем куртизанки, с коими мужчинам приходилось иметь дело; самое замечательное состояло в том, что они вели подобные похотливые речи и с мужьями своими, и с любовниками, обозначая даже, без всякого смущения, откровенным словом то, что прячут под юбкою; однако же в общей беседе ни одно вольное словцо, ни одна сомнительная острота никогда не слетали у них с языка, покоробив слушателей. Надобно заметить, что женщины наши превосходно умеют скрывать истинную свою сущность и держать себя в руках; на самом же деле нет ничего более живого и острого, чем язычок дамы или шлюхи.

Знавал я одну красивейшую досточтимую даму, которая в

беседе с неким благородным дворянином о военных делах — а было время гражданских войн — сказала ему: «Слыхала я, будто король приказал порушить все хвосты у таких-то (и назвала провинцию)». Под словом «хвосты» разумела она «мосты». Ясное дело, дама только что переспала с мужем либо думала о любовнике, вот и вертелось у ней на языке сие словцо, еще тепленькое; собеседник тотчас же воспылал к ней страстью из-за одного этого слова.

А еще одна дама, мне знакомая, в беседе с другою, более знатной, превозносила ее прелести, заключив это славословие следующим заверением: «Только не сочтите, мадам, будто я хочу вас завалить»; намеревалась же сказать не «завалить», а «захвалить», откуда ясно видно, что именно держала она в мыслях.

Заключим же из всего вышесказанного, что слово — большая подмога в любовных играх, а там, где любовники молчат, неполно и наслаждение; возьмите в пример и в сравнение красивое тело: ежели не дано ему прекрасной души, то это скорее идол непреклонный, нежели живой человек; невозможно полюбить такое бездушное создание, а тем, кого природа обделила столь безжалостно, следует поскорее овладеть искусством риторики, дабы восполнить сей досадный пробел.

Римские куртизанки зло насмехаются над порядочными римлянками, которые не так умелы и искусны в речах, как они сами, и аттестуют их при этом следующим образом: «Chiavano come cani, ma che cono quiete della bocca come sassi»[36].

Вот отчего многие достойные кавалеры отказывались любиться с иными, даже и весьма красивыми, дамами — оттого, что те были глупы донельзя, вялы, тупоумны и косноязычны; с такими они расставались без всякого сожаления, говоря, что с тем же успехом могли бы иметь дело с какой-нибудь беломраморной статуей, подобно известному афинянину, что влюбился в таковую статую и даже услаждал себя с нею. Вот отчего и путешественники, оказавшись в чужой стране, редко когда заводят любовь с местными женщинами и не ухаживают за ними, ибо непонятная речь никак не доходит до сердца (я имею в виду тех, кто не разумеет язык сей страны); ну а ежели все-таки входят в любовную связь, то лишь затем, чтобы утолить, подобно животному, природную свою надобность, а вслед за тем andar in barca[37], как выразился один итальянец, плывший на корабле в Испанию через Марсель. Там сошел он на берег и спросил, где можно найти женщин; в ответ ему указывают место, где праздновали в тот день несколько свадеб. Одна из дам подходит к незнакомцу с намерением развлечь его беседою, на что

путешественник наш ей объявляет: «V. S. mi perdona, non voglio parlare, voglio solamente chiavere, e poi me n'andar in barca»[38].

Французу никогда не получить удовольствия с немкой, швейцаркой, фламандкой, англичанкой, шотландкой, славянкой или другой какой иноземкою; будь она красноречивее всех на свете, что в том толку, коли он ее не понимает; зато он вполне может насладиться счастьем с француженкой или, на худой конец, с итальянкой либо испанкой, ибо большинство нынешних французов, как правило, умеют изъясняться на этих языках или хотя бы понимать их; и уж поверьте, что эти наречия весьма удобны и приспособлены для любовных излияний: ежели кому придется иметь дело с дамою из Франции, Италии, Испании или же Греции и она окажется речистою, то можно сразу, без промедления, сдаваться в плен.

В старину наш французский язык не был столь красив и разнообразен, как нынче, — в отличие от итальянского, испанского и греческого, которые издавна отличались богатством выражений; среди дам, кои занимаются, пусть хоть изредка, любовным ремеслом, мне не приходилось встречать косноязычных — все они славились изяществом в речах. Пусть подтвердят мои слова те, кто имел с ними дело. Я же скажу лишь, что красивая дама, ежели она к тому еще и красноречива, дарит мужчине двойное наслаждение.

Рассудим теперь о взглядах. Само собой разумеется, что глаза первыми вступают в любовную схватку, и сладостен тот миг, когда взору вашему предстает нечто редкое и чудное по красоте. Ах, есть ли в мире что-нибудь прекраснее красивой женщины — либо роскошно наряженной и разубранной, либо нагой, в постели?! Одетая дама предлагает чужим взглядам одно лишь свое лицо, но пусть скажет тот, кто увидит все ее тело, весь этот роскошный стройный стан, грациозно колеблющийся и одновременно величавый: согласился бы он променять сие великолепное зрелище на иное? И все же, когда женская нагота надежно сокрыта пышным платьем, она сильнее возбуждает соблазн и желание. Пусть, кроме лица, ничего и не видно, — стоит ли отказываться от наслаждения со знатной дамою, отговариваясь тем, что она одета или что в комнате чересчур светло: хорошо, когда к услугам любовников имеется отдаленный потайной покой, где и мягчайшее ложе, и все прочее предназначено для единственно заветной сладкой цели!

Вот отчего некая высокородная дама (как мне рассказывали), встречаясь с любовником своим в условленный час и тайком от всех, тут же сбрасывала платье и Услаждала себя с ним без всяких проволочек, говаривая так: «Бывали в старину такие дурехи, что,

прячась по темным спальням да потайным углам, разводили церемонии в любви; таким надобно сперва пожеманничать всласть, да раздеться, да разуться, да время потянуть и лишь после того приступить к любовным играм и забавам. А в любви каждый миг дорог: коли уж на тебя напали, так не тяни, сдавайся, и делу конец! И стыдиться тут нечего!»

Я нахожу, что дама эта была права; многие же кавалеры полагают, что куда как занятнее затевать любовные игры с одетой дамою, дабы сперва скомкать, смять, сорвать и сбросить наземь золотую парчу и шелк, отшвырнуть и растоптать серебряные звезды, подвески, жемчуга и прочие драгоценности, ибо в такой битве пыл и удовольствие удваиваются. По этой же причине никогда не сравнится с богатой дамою какая-нибудь бедная пастушка или иная простая девушка, ничем, кроме красоты, не наделенная.

За то и Венеру почитали столь красивою и желанною, что она, ко всей своей прелести, всегда была изысканно одета и благовониями умащена и чудное благоухание за сто шагов исходило от нее. Истинно говорят: ароматы возбуждают и раздражают чувства, тем пособляя в любви.

Вот отчего римские императрицы и патрицианки употребляли их в большом количестве, и в этом нынешние знатные французские дамы, а пуще их — испанки и итальянки, охотно подражают им; надобно сказать, что в Испании и в Италии дамы куда искуснее и изощреннее наших как в умении надушиться, так и в нарядах и украшениях; наши красавицы многому научились у них, а те переняли разные изящные пустячки с античных римских медалей и статуй, во множестве сохранившихся в Испании и в Италии, — всякий, кто взглянет на них, найдет, что в одежде и прическах достигли они полного совершенства и весьма достойны восхищения. Правду сказать, нынешние французские дамы всех превзошли, чем обязаны в первую очередь королеве Наваррской.

Вот отчего приятно и сладостно иметь дело с такими дамами, богато и роскошно наряженными; некоторые придворные в беседах со мною выказывали безусловную свою приверженность к женщине в платье, нежели к раздетой на ложе, будь оно хоть золотом выложено. Другие же твердят, что женщина хороша в своем натуральном виде, без прикрас; к примеру, один знатный принц, мне знакомый, укладывал своих любовниц и возлюбленных совсем обнаженными на черные гладкие тафтяные простыни, дабы грациозные тела их, блистая белизною на черном, сильнее возбуждали в нем пыл и желание.

Да, никто не усомнится в том, что всего приятнее на свете

вид красивой женщины во всем сиянии ее прелести, но легко ли сыскать такую?! В одном предании говорится, например, что Зевксис, сей талантливый живописец, был осаждаем горячими просьбами многих досточтимых дам и девиц нарисовать им портрет Елены Прекрасной, дабы они могли убедиться, так ли она хороша, как гласила молва. Он не захотел отказать им, но, перед тем как приступиться к делу, всех их оглядел внимательно и, взяв у каждой то, что было в ней наикрасивейшего, составил портрет-мозаику из прекрасных частиц — и вышла у него Елена столь дивной красоты, что все вокруг потеряли дар речи от восхищения, но была ли в том заслуга Зевксиса?! Ведь благодаря этим дамам ему оставалось лишь водить кистью по холсту, списывая с заказчиц те черточки, которые и создали столь безупречное целое. Мораль же сей басни в том состоит, что не могла одна Елена являть собою все совершенства женской красоты, хотя и почиталась прекраснейшею из смертных.

Не знаю, правда ли это, но испанцы уверяют, что безупречная красавица должна иметь тридцать к тому признаков. Одна дама из Толедо — а город этот славится красивыми и изящными женщинами, многоопытными в любви, — назвала и перечислила их мне. Вот они:

Tres cosas blancas: el cuero, los dientes, y los manos.
Tres negras: los ojos, las cejas, y las pestanas.
Tres coloradas: los labios, las mexillas, y las ufias.
Tres longas: el cuerpo, los cabellos, y las manos.
Tres cortas: los dientes, las orejas, y los pies.
Tres anchas: los pechos, la frente, y el entrecejo.
Tres estrechas: la boca, l’una y otra, la cinta, y l'entrada del pie.
Tres gruesas: el braço, el muslo, y la pantorilla.
Tres delgadas: los dedos, los cabellos, y los labios.
Tres pequenas: las tetas, la naris, y la cabeça.

Что означает на нашем языке:

Три вещи белых: кожа, зубы и руки;
Три вещи черных: глаза, брови и ресницы;
Три розовых: уста, щеки и ногти;
Три длинных: талия, волосы и руки;
Три невеликих: зубы, уши и ступни;
Три широких: груди, лоб и переносица;
Три узких: губы (и те и другие), талия и щиколотки;
Три полных: плечи, икры и бедра;

Три тонких: пальцы, волосы и губы;
Три маленьких: соски, нос и голова.

Всего тридцать.

Нет к тому препятствий, и даже вполне допустимо, чтобы дама соединяла в себе все эти тридцать достоинств, но все же, должен сказать, непременно сыщется хоть какой-нибудь малый изъян или недостаток, о коем можно поспорить. Спросите у тех, кто видывал на своем веку красавиц, — пусть они выскажут свое на этот счет суждение. Впрочем, даже если красивая дама и не может похвастаться всеми указанными качествами, она все равно останется красавицею, пусть при ней лишь часть описанных признаков; важно, чтобы то были самые главные из перечисленных, ибо я знавал женщин, которые обладали больше чем половиною из этих тридцати и были вполне привлекательны, а все же уподоблялись низкорослому и чахлому подлеску с мелкими кустиками и тонкими деревцами; стоило вырасти рядом раскидистым могучим деревам, как они без труда заглушали жалкую эту поросль.

Наши французские поэты, в том числе и господин де Ронсар, изобразили нам в своих стихах замечательных красавиц; в частности, Ронсар в той оде, которую он посвятил Жанэ, королевскому живописцу, обращается к нему с просьбой нарисовать его возлюбленную со всеми прекрасными чертами ее лица и тела, как он их описал. Все это было действительно отлично описано и давало простор воображению художника; но да простит мне господин де Ронсар. ежели скажу, что любовница его, как бы он ни восхвалял ее, красотою сим деревам все же не уподобилась; то же скажу и о всякой другой даме тех времен, упомянутой в его сочинениях; красавица Кассандра, хоть я и согласен признать ее достоинства, недаром скрыта им под вымышленным именем; так же и Мария, известная нам просто как Мария, впрочем, поэтам и живописцам дозволено творить и изображать все, что им вздумается, — взять хоть прелести Альсины и прочих дам, описанные Ариосто в «Неистовом Орландо».

Все это так, но, по словам одного весьма мудрого человека, природа не в силах создать женщину полного совершенства, какую рождают кисть, резец и душа вдохновенного художника. Ну так что за беда?! Взору человеческому отраден вид любой красивой женщины, прекрасного, белого, точеного ее лица, но даже ежели оно и темновато, не все ли равно, — такое иногда и двум белым не уступит; не сказала разве одна испанка: «Aunque

io sia morisca, no soy de menos preciar?» (Я смугла, но стоит ли за это пренебрегать мною?) Прекрасная Марфиза, к примеру, era brunetta alquanto[39]. Брюнеткам свое место, блондинкам — свое. Совершенство красоты есть воплощение всех достоинств тех красавиц, что мы лицезреем ежедневно, и тело безупречной красавицы должно отвечать лицу формами и очертаниями; это касается как малого, так и большого роста женщин, особливо последних.

А потому упаси нас боже выискивать признаки необычайной красоты, о коих я рассказал и какими нам их описывают другие: хватит с нас и заурядных красавиц; выражаясь эдак, я ничего дурного не имею в виду, ибо и среди них встречаются такие жемчужины, что, поверьте, на их портрет вряд ли достало бы таланта у наших в облаках витающих поэтов, капризных художников и прочих пиндаризаторов — восхвалителей красоты женской.

Увы, разочарую вас: все эти ослепительные красоты, эти прелестнейшие личики, что мы воспеваем и восхваляем, пробуждают в нас вожделение ко всему не менее прекрасному телу дамы, но тут-то и конец очарованию, ибо тело сие, будучи обнажено и внимательно рассмотрено при ярком свете, нередко оказывается до того уродливо, блекло, пятнисто и неладно скроено, будто и голова-то к нему чужая приставлена, — вот так нас частенько и обводят вокруг пальца.

Наилучший тому пример — случай с одним дворянином с острова Майорка, по имени Раймонд Луллий: он был из богатейшей родовитой семьи, и за это, да еще за собственные заслуги и добродетели, был призван в самом цветущем возрасте управлять островом. Состоя в сей должности, он, как это частенько случается с провинциальными губернаторами, влюбился в одну местную даму, бойкую, красивую и весьма речистую, и обхаживал ее долго и преданно, добиваясь последней, наисладчайшей милости. Но дама отказывала ему в ней сколько могла; наконец решилась сдаться и назначила любовное свидание, на которое он с трепетом и поспешил, найдя возлюбленную свою в условленном месте, прекрасную, как никогда. Кавалеру уж было почудилось, будто он попал в рай, как вдруг дама обнажила грудь, сплошь залепленную пластырями, сорвала их один за другим и, пошвыряв с досадою наземь, открыла ужаснейшую раковую опухоль, после чего со слезами на глазах принялась жаловаться и сетовать на свое несчастье, вопрошая незадачливого любовника, что такого он нашел в ней и чем она его прельстила; речь ее была столь трогательна, что кавалер, исполнившись сочувствия к злосчастной красавице,

оставил ее в покое, сам же сделался отшельником. Затем отправился он в крестовый поход, где дал обет безбрачия, а по возвращении принялся изучать богословие и философию в Париже под руководством ученейшего Арнольда из Виллановы; завершив же обучение, уехал в Англию, где король принял его со всевозможными почестями, подобающими его мудрости и знаниям; там он перелил множество золотых и серебряных слитков в железные, медные и оловянные, презрев пошлый и низменный общепринятый обычай обращать железо и свинец в золото; ему было ведомо, что многие его собратья владели сим умением не хуже его; он же мог делать и то и другое, однако решил отличиться от прочих алхимиков.

Я слышал сию легенду от одного галантного кавалера, который, по его словам, прочел ее у юрисконсульта Ольдрада, описавшего случай с Раймондом Луллием в комментарии к кодексу «De falsa moneta». Случай сей описан также, по его свидетельству, у Кароля Бовилля из Пикардии, автора латинского труда о жизни Раймонда Луллия.

Вот каким образом Луллий избавился от своих любовных иллюзий и мечтаний о той красивой даме; возможно, что другие на его месте не стали бы церемониться, а, закрыв глаза, получили бы желаемое удовольствие, тем более что та часть тела, к коей он более всего вожделел, болезнью затронута не была.

Я знавал одного дворянина и некую вдовую даму, которые в подобном же случае нимало не чинились: у ней на соске груди сидела сквернейшая раковая опухоль; тем не менее кавалер женился на даме, а она охотно пошла за него, даже и против воли его матери; и никакая ее хворь и немощь не помешали новобрачным так неистовствовать в первую ночь, что они даже сломали кровать и провалились на пол.

Знавал я также одного достойного дворянина, который, ставши моим близким другом, рассказал однажды, как в бытность свою в Риме влюбился в некую испанскую даму, затмевавшую красотою всех прочих женщин города. Когда они сблизились, дама ни разу не показала ему свои ноги обнаженными, упорно оставаясь в панталонах даже в самый решительный момент; когда же он пробовал снять их с нее, восклицала по-испански: «Ah, no me tocays, hazeis te quosquillas!» (Ай, не трогайте меня, я боюсь щекотки!) Вот однажды, проходя мимо ее дома и увидавши дверь отворенною, он взял да и вошел и, не встретив в прихожей ни привратника, ни слуг, добрался до спальни, где обнаружил даму крепко спящею на кровати, так что смог оглядеть ее всю в обнаженном виде, а обнажилась она по причине большой жары; он рассказывал, что никогда не видел более прекрасного тела, но

только одна нога у ней была белая, гладкая и стройная, другая же — ссохшаяся и тощая, не толще детской руки. Велико же было изумление сего дворянина, который проникся жалостью к даме, но с тех пор больше уж не посещал ее и не занимался с нею любовью.

Есть множество дам, которые, не будучи столь изуродованы, тем не менее от природы тощи, костлявы, сухи и поджары до такой степени, что могут щеголять разве лишь стройным своим скелетом; так, знавал я одну весьма знатную особу, о коей господин епископ Систеронский, способный помериться остроумием с любым придворным, говорил в насмешку, что лучше уж возлечь в постель с веретеном, нежели с нею; так же отвечал нам один досточтимый придворный, коего со смехом обвиняли мы в связи с некой знатной дамою: он возражал нам, что мы, мол, жестоко ошибаемся, ибо он любит плоть, у ней же вместо таковой — кожа да кости; а поглядишь на обеих этих дам в одежде, полюбуешься на прелестные их личики, да только и скажешь: вот лакомый кусочек, пышненький да гладкий!

Одному весьма знатному принцу случилось любиться сразу с двумя красивыми дамами, как это нередко бывает с высокородными особами, приверженными разнообразию. Первая из них была блондинкою, вторая брюнеткою, но обе отличались несравненной красотою и любезным обращением. И вот, по наступлении дня, назначенного принцем для свидания с брюнеткою, ревнивая блондинка возьми да скажи ему: «Значит, вы нынче летите к своей вороне?» На что разобиженный принц спросил: «С кем же, по-вашему, я летаю, когда бываю с вами?» Дама ответила: «С птицей Феникс». Принц, который за словом в карман не лазил, тут же возразил ей: «Сказали бы лучше, что с павлинихой, у коей больше перьев, чем мяса», намекнув таким образом на крайнюю худобу дамы; а худоба ее объяснялась молодостью — известно ведь, что дородность приходит к женщине с годами, и тогда лишь начинают полнеть у ней руки, ноги и прочие части тела.

А вот остроумный ответ, какой дал однажды некий дворянин знатному сеньору, моему знакомому. Оба они имели жен-красавиц. Но мой сеньор счел чужую жену более привлекательной и соблазнился ею. Вот однажды и говорит он тому дворянину: «Сударь, мне желательно переспать с вашей женою». Дворянин, ничтоже сумняшеся (а был он скор на ответ), возразил: «Согласен, коли я пересплю с вашей». Сеньор ему: «Да на что она тебе сдалась — худая, тощая, ты и вкуса-то в ней не найдешь!» На что дворянин заметил: «Ну так что ж за беда, что худа, — я ее так нашпигую, что будет аппетитнее любой пулярки!»

Да, многонько видывал я дам, чьи хорошенькие кукольные личики пробуждали у мужчин вожделение к их телам, однако стоило до тел этих добраться и увидеть, насколько они тощи и лишены плоти, как всякий соблазн и вожделение мигом улетучивались. Среди многих женских недостатков можно, к примеру, назвать костлявый хребет и тощий зад, какие бывают разве что у старых мулов. Дабы скрыть сей изъян, дамы имеют обыкновение пускать в ход маленькие мягкие подушечки, подкладывая их в нужные места; другие носят пышные атласные панталоны, так умело скроенные, что неопытный мужчина, потискав даму, твердо уверится в природной ее округлости и полноте, а штука вся в том, что под панталонами этими надеты еще одни, белые, со множеством сборок и складок, отчего любовник, наслаждаясь с дамою, не снявшей платья, уйдет от нее вполне ублаготворенный и довольный как объятиями, так и роскошным ее нарядом.

Другие дамы, напротив, отличаются столь жирными, грузными, толстыми ляжками и боками, что вряд ли сыщется до них охотник; к тому же из-за чрезмерной дородности от них несет потом или, как выражались в старину, «бараньим салом»; особливо же скверно пахнет от подмышек. Однако и полные женщины, коли они содержат себя в чистоте, бывают желанны и даже привлекательны на вид.

Но все же есть такие, что мойся не мойся, стирай не стирай, а запах ничем не выведешь; знавал я одну такую даму — она была рыжей, и по этой причине от нее несло «бараньим салом» на сто верст кругом; на какие только ухищрения она не пускалась, дабы отбить эту вонь: и мускусом душилась, и амброю, и прочими ароматами, вплоть до того, что носила между ног коробочку с благовониями, столь умело выделанную, что ее не брал и жар, исходящий от тела.

У других женщин кожа бывает скверная, в пятнах и разводах, что твой мрамор, либо мозаика, либо оленья шкура, а то еще вся в перхоти и угрях; не стану продолжать, скажу лишь, что на такое и глядеть-то противно.

Знавал я — да и знаю по сей день — одну высокородную даму, у которой все тело поросло волосом на груди и на животе, по плечам, по спине и ниже спины, — ну прямо обезьяна, да и только. Сами подумайте, к чему это приводит. Ежели верна поговорка, что «волосатый — богатый, а долгогривый — похотливый», то эта дама отвечает ей и в том и в другом отношении и, уверяю вас, не обделяет себя удовольствиями, да и в мужчинах пробуждает и интерес и вожделение.

У других кожа, точно у ощипанной курицы, вся в

пупырышках, а то еще в пятнах, разводах или черная, как у нечистого духа. У третьих груди вздымаются, подобно копне сена, либо свисают, точно вымя у коровы, либо соски у них западают так, что не сыщешь. Эдакую грудь не уподобишь прекрасным персям Елены, которая пожелала однажды, во исполнение некоего обета, преподнести в дар храму Дианы изящный кубок и, призвав для этой цели искусного чеканщика, повелела ему отлить сей кубок в форме безупречной ее груди, что он и исполнил, изготовив сосуд из белого золота, при виде коего всякий затруднялся, не зная, чем больше восхищаться — тонкой ли работою или сходством с грудью, послужившей мастеру моделью, и моделью столь совершенною, что искусство ювелира побуждало зрителей вожделеть к оригиналу. Плиний, описавший сей кубок, особенно подчеркнул тот факт, что он был отчеканен из белого золота. И это в самом деле удивления достойно.

Тот, кто пожелал бы заказать золотой кубок, взяв за модель толстенные вымена, о коих говорил я выше, должен отвалить ювелиру целую груду золота, да и кубок сей стал бы предметом насмешек людей, что, верно, говорили бы так: «Гляньте-ка на эту бадью — она сделана по форме грудей такой-то или такой-то дамы!» Думаю, подобный кубок напоминал бы не изящный ритон для питья, но ту огромную деревянную лохань, из коей обыкновенно кормят свиней.

У некоторых женщин сосок походит на гнилую сливу. У других, если поглядеть ниже, живот одряб и висит, точно старая, потасканная охотничья сумка: такое часто бывает у рожавших женщин, коим после родов небрежные повитухи не натирали живот китовым жиром. Однако и среди них встречаются женщины с гладким, тугим животом и с такой крепкой, точеной грудью, что и юной девушке впору.

Обратимся теперь к самым интимным частям тела; у некоторых дам они на вид отвратительны. У одних волос совсем не вьется, но, напротив, свисает вниз длинной куделью, точно ус сарацина: однако же они никогда не срезают эту поросль, а носят ее, видимо помятуя о поговорке: «По заросшему лужку славно мчать на всем скаку». Это же подтвердила мне одна весьма знатная дама, которая заботливо сохраняет на своем лужку сию травку.

Слышал я о другой красивой и достойной даме, у которой волосы эти были настолько длинны, что она заплетала их, накручивая на шнурки или ленты пунцового либо другого цвета, завивая таким образом, точно букли на парике, а потом прикрепляла к ляжкам и в подобном виде показывалась иногда мужу или любовнику; в другое же время, убедившись, что волосы

крепко завиты, распускала эти косички и щеголяла густым курчавым руном, на какое не поскупилась природа.

Сами понимаете, сколько во всем этом было распущенности и бесстыдства: ведь дама не могла сама заниматься сей завивкою и, стало быть, препоручала это одной из своих горничных, самой приближенной; разумеется, подобное занятие возбуждало похоть во всех ее видах, какие только можно вообразить.

Иным дамам нравится сохранять волос прямым, точно борода священника.

У некоторых женщин руно это и вовсе отсутствует или же оно весьма скудно, как, например, у одной весьма знатной и красивой дамы, мне знакомой; это уж вовсе нехорошо и внушает определенные подозрения; так же обстоит дело с мужчинами, у коих вместо бороды на щеках пробивается лишь пара жидких завитков: таких и за настоящих-то мужчин не считают, а дразнят каплунами.

У иных врата в рай разверсты столь широко, что прямо тебе вход в пещеру Сивиллы. Слышал я, будто встречаются такие, что могут поспорить в этом с кобылою; и тогда дамы прибегают к различным ухищрениям, дабы хоть немного, да сузить проход, но толку мало: пройдут двое-трое гостей, глядишь — а дверь снова нараспашку. Так, рассказывали мне об одной знатной красавице, чей супруг вздумал бахвалиться жениными победами, на что некий галантный сеньор сказал: «Вы правы, сударь, клянусь Богом, победы эти столь же велики, сколь и широки; вам до нее далеко!» Более того, слышал я, что стоит лишь заглянуть в эти ворота, как они сами собою смыкаются, точно у кобылы в течке. Мне рассказывали о трех дамах, способных на эдакие чудеса.

Слышал я о некой весьма знатной, изысканной и красивой даме, которой один из наших королей присвоил прозвище Нижние Ворота, до того проход у ней был широк и просторен, и не без причины, ибо всю ее жизнь через ворота эти шастало великое множество прохожих умельцев; напрасно пыталась она днем сузить сей лаз — ночью, в какие-нибудь два часа, ей снова его расширяли, и все старания шли насмарку, точно у Пенелопы с ее пряжею. Наконец дама бросила тщетные свои ухищрения и решила, что проще ей будет выбирать для своего стойла мулов покрупнее.

Что ж, и такой способ имеет свои преимущества; так, слышал я историю об одной красивой и достойной придворной девице, которая, напротив, имела проход столь узенький, что уж и не чаяла благополучно покончить со своим девством; однако, следуя советам врачей или акушерок, а может быть, подруг и друзей, начала с самых мелких постояльцев, затем взяла себе средних, а

там добралась и до больших, по способу Рабле с его насыпями под неприступными стенами Парижа; таким образом, девица, постепенно продвигаясь по восходящей, столь дивно хорошо приспособилась к большим величинам, что они нимало не страшили ее, как ранее пугали самые малые.

И напротив, одна иноземная высокородная принцесса, мне знакомая, имея столь же узкий проход, так и не осмелилась расширить его ни естественным, ни хирургическим путем, сделав, например, надрез, как советовали ей врачи. Вот стойкая-то добродетель, а главное, сколь редкостная!

У иных дам внешние губы так длинны и обвислы, что напоминают гребень индийского петуха, когда тот разъярен; такие встречаются у многих женщин, как у дам, так и у девиц. Вот история, которую рассказывал мне ныне покойный господин де Рандан. Однажды несколько придворных, добрых приятелей, в их числе господа де Немур, Монпезак, Живри, Жанлис, видам Шартрский, граф де Ларошфуко и другие, от нечего делать прокрались в отхожее место и принялись снизу подглядывать за девицами, справляющими нужду. Одна из них (не стану ее называть) для этого уселась прямо на пол, а поскольку доски были пригнаны неплотно, то губы ее свесились в щель на длину не менее пальца; господин де Рандан, разжившийся на сей случай у лакея своего толстой иглою с суровой ниткою, ухитрился ловко пришпилить губы к дощечке; девица, почувствовав укол, вскочила столь резко, что разорвала их, и вот вместо двух половинок образовалось у ней четыре четверти, свисавшие лоскутами, точно медузы; нечего и говорить, какую боль причинила ей сия шалость и сколь разгневалась их хозяйка. Господин де Рандан и вся его компания доложили о своем подвиге королю Генриху, также большому весельчаку, и он всласть посмеялся над происшествием, рассказав затем всю историю без утайки королеве.

По поводу сих длинных отвислых губ я однажды задал вопрос одному опытному врачу, и тот разъяснил мне, что женщины и девушки от внутреннего зуда и возбуждения непрестанно трогают, теребят, растирают, вытягивают и удлиняют их, отчего и получают удовольствие, нередко при взаимных ласках.

Таковые девицы и женщины хороши были бы в Персии, но не в Турции, поскольку в Персии им делают обрезание, ибо тамошние мужчины полагают, что какая-то часть женского органа (уж не знаю какая) напоминает мужской; в Турции же, напротив, женщин не обрезают никогда, почему персияне и зовут турок нечестивцами, не обрезающими своих женщин, ибо не находят в их органе сходства с мужским; мусульманам неведомо

удовольствие разглядывать женское тело во всех подробностях, как это принято у нас, христиан. Так рассказывают все, кто побывал на Востоке. Зато женщины и девушки, по словам того же врача, частенько предаются там описанному выше занятию под названием donna con donna[40].

Слышал я историю об одной из знатнейших придворных дам, у коей губы сделались короче, нежели дала ей природа; а укоротила их ей хворь, передавшаяся от мужа, так что одной из губ, съеденной шанкром, как не бывало; и женский орган ее, можно сказать, оказался изуродованным; однако же, невзирая на сие несчастье, дама пользовалась немалым успехом, и ей даже случалось принимать у себя в постели одного весьма знатного вельможу. Каковой сеньор после говорил при дворе, что он желал бы своей жене походить на эту даму, ибо ей и оставшейся-то половинки было в избытке.

Слыхивал я и о другой даме, стократ более знатной, чем вышеописанная: у ней матка свисала наружу на длину большого пальца; говорили, будто сия напасть приключилась с нею в родах, по вине неумелой повитухи, и такое частенько постигает девиц и женщин, рожавших тайком либо претерпевших похожий несчастный случай; одна моя знакомая, едва ли не самая красивая из женщин своего времени, овдовев, не пожелала вторично выходить замуж, ибо не хотела показываться второму мужу с эдаким изъяном, оставшимся у ней после первого супруга, — вполне возможно, по причине его дурного и жестокого с нею обращения.

Дама, о коей я веду речь, невзирая на сей досадный изъян, рожала так же легко, как нужду справляла, — видно, оттого, что проход был широк; притом, несмотря на то что она стеснялась своего недостатка, любовники у ней не переводились.

Вот почему, ежели красивая и достойная женщина, заведя себе любовника, не позволяет ему видеть или трогать какое-либо место, смело можно сказать: место сие с изъянцем; ну а коли ни глаз, ни рука такового изъяна не обнаружат, стало быть, его и нет вовсе, и женщина охотно покажет все, чем может похвастать, дабы никто не заподозрил ее в скрытых недостатках; ей и самой хочется лишний раз полюбоваться своими прелестями, да и в любовнике еще сильнее разжечь страсть и вожделение. Кроме того, ни глаз, ни руку не назовешь мужским органом, и не они делают женщину распутницею, а мужа ее рогоносцем; скорее уж на таковое действо способен рот, который может орган сей заменить.

У некоторых женщин означенные губы настолько бледны, словно хозяйки их больны лихорадкою; такие женщины подобны

пьяницам, которые даром что хлещут вино, как свинья молоко, а выглядят так, что краше в гроб кладут; эдаких пьяниц зовут изменниками вину — вот и подобных женщин можно прозвать изменницами Венере, хотя и говорится: шлюхи бледнеют, развратники рдеют. Верно оно или нет, а бледные губы не слишком-то приятны на вид; куда отраднее другое зрелище, подсмотренное мною у одной красивейшей дамы, занимавшей высокое положение, о которой говорили, что она обыкновенно носит разом три цвета — красный, белый и черный, ибо нижние губки у ней были пунцовыми, точно коралл, а вкруг них вились кудрявые черные как смоль волоски, придававшие сердцевине, ими обрамленной, еще большее очарование и оттенявшие кожу безупречной белизны. Вот что назову я истинной красотою, а не то, о чем поминал вначале.

У иных женщин, даже и малого роста, промежность бывает столь глубоко разрезана, что к ней и приступиться-то боязно, не зная, в какую грязь угодишь: метишь попасть в одну речку, ан, глядь, заплыл в другую, подобную сточной канаве.

Мне рассказывала госпожа Фонтен-Шаландре (по прозвищу Прекрасная Торси), что госпожа ее, королева Элеонора, будучи разодетой и разубранной, выглядела прекраснейшею из государынь, красивою и дивно сложенною, что подтверждают многие видевшие ее; однако же без платья она казалась великаншею, если судить по чрезмерно длинному туловищу, и карлицею, если поглядеть на коротенькие ее ножки.

О другой даме слышал я прямо противоположное: туловище ее словно принадлежало карлице, ноги же по длине уподоблялись ходулям, а впрочем, отличались стройностью и приятной округлостью; она без труда могла обвить ими мужчину, лишь бы он был маленького роста, и целиком скрыть его.

Среди нас, христиан, есть множество мужей и любовников, которые, не желая уподобляться туркам (коим не в радость созерцание женского органа, ибо он, по их мнению, бесформен), напротив, с величайшим удовольствием любуются им, и не только любуются, а еще и целуют и ласкают, часто по просьбе самих дам; так, однажды некая испанка на слова друга своего: «Bezo los manos y los pies, senora»[41],— отвечала ему: «Senor, en el medio esta la mejor station»[42], желая тем самым подсказать любовнику, что поцелуй в то самое место не менее сладостен, чем поцелуй ручки или ножки. Многие дамы полагают, что их мужья и любовники находят в этом особо изысканное удовольствие, удваивающее их пыл; так говорил мне один высокородный принц, сын славнейшего короля, имевший любовницею некую знатную принцессу. Ни одно их свидание не проходило без того, чтобы он

не любовался женским ее органом и не лобызал его множество раз. Впервые же он сделал это по подсказке одной знатнейшей дамы, фаворитки короля, которая, глядя, как принц ублажает свою подругу, спросила его, видел ли он когда-нибудь ту часть ее тела, что дарит ему высшее наслаждение. Принц отвечал отрицательно. «Ну, значит, вы ничего не понимаете, — воскликнула она, — и не знаете толком, что именно любите; удовольствие ваше отнюдь не полно: надобно еще и видеть то, чем наслаждаешься!» Принц решил последовать ее совету, но дама застыдилась и сомкнула ноги; тогда вторая, подойдя сзади, опрокинула ее на кровать и крепко держала до тех пор, пока принц не разглядел все как следует и не облобызал всласть, ибо нашел сей орган и красивым, и желанным; и с тех пор без этой утехи уже не обходился.

У иных дам ляжки столь неуклюжи, несуразны и невзрачны, что страх берет глядеть на них, а не только что желать, да и колени так кривы и жирны, будто их нарочно салом нашпиговали. А у других, напротив, ноги такие тощие и костлявые, что скорее примешь их за сухой хворост; вот и подумайте, каково у эдаких дам все остальное.

Подобные дамы не чета одной красавице, о которой мне сказывали, что она была полна и дородна, но не слишком, а в меру, особливо в ногах, ибо во всяких вещах хороша золотая середина — un medium; дама эта, переспавши со своим другом, наутро спросила, как он ее нашел; в ответ тот рассыпался в похвалах ее пышной упругой плоти, что доставила ему столько услад. «Ну, по крайней мере, — заметила дама, — вы промчали весь путь в таком седле, где не требовалось подкладывать подушечки».

Иные дамы скрывают самые разнообразные телесные изъяны и пороки; так, слышал я об одной весьма досточтимой женщине, что отправляла большую нужду через передний, а не через задний проход; я расспрашивал об этом опытного врача, и тот разъяснил мне, что, видно, даму «проткнули» слишком юною, и мужчина, сделавший это, был, верно, чересчур щедро одарен природою и вдобавок бесцеремонен, оттого-то и образовалась в ней сия течь, и это весьма прискорбно, ибо дама славилась красотою, а овдовев, тотчас получила от одного достойного дворянина предложение вступить в брак с ним; однако же, познав об этом недостатке, он внезапно покинул даму, которая, впрочем, тут же вышла за другого, кого сей изъян нимало не смутил.

Слышал я о некоем галантном кавалере, который, будучи женат на одной из красивейших придворных дам, никогда не спал с нею. Нашелся другой охотник на это дело, но у дамы из

потайного места так несло вонью, что невозможно было вытерпеть, — вот чем и объяснялось мужнее к ней отвращение.

Рассказывали мне о девице, состоявшей фрейлиною при ныне покойной королеве Наваррской; девица то и дело испускала передком непристойные звуки; врачи мне говорили, будто происходит это от распирающих ее дурных ветров, а случается сие с дамами, которые занимаются друг с дружкой «щекоткою». Фрейлина сия сопровождала королеву в Мулен, когда весь двор туда отправился, а было это при короле Карле IX, который не преминул опробовать девицу, немало повеселив этим придворных.

Другие дамы не способны удержать мочу, и приходится им постоянно носить меж ног губку; я сам знавал двух таких дам, более чем знатных, во времена короля Карла IX; одна из них, еще в девицах, устроила настоящее наводнение в бальной зале и сама едва не умерла со стыда.

О другой знатной даме мне рассказывали, что когда она спала с мужчиною, то начинала непроизвольно испускать мочу либо во время этого, либо сразу же после, точно кобыла после случки; и как на кобылу выливают ведро воды, чтобы удержать ее от сего извержения, так приходилось поступать и с этой дамою.

Иные дамы постоянно кровоточат, словно у них регулы длятся круглый год; иные щеголяют пятнами, синяками и отметинами дурной болезни, коей наградили их мужья или сердечные дружки, либо от собственных порочных привычек и занятий; бывают дамы с ногами, изъеденными волчанкою или другой хворью, доставшейся им в наследство от матерей, которые, нося их во чреве, утоляли разные свои прихоти; так, слышал я об одной даме, у которой вся нижняя половина тела была красною, верхняя же обычною, — ни дать ни взять, городской эшевен.

У некоторых дам регулы столь обильны, что кровь из них хлещет, как из зарезанного барана; сия напасть — великая досада для мужей и любовников, коим Венера дарует непрестанное желание, требующее каждодневного утоления, дама же бывает здоровой и чистой какую-нибудь неделю из месяца, а все остальное время пропадает у ней впустую; судите сами, хорошо ли, когда из двенадцати месяцев года можно услаждаться всего лишь пять-шесть или того меньше. Не захочешь, а вспомнишь наших солдат, у коих казначеи утаивают из двенадцати месяцев по крайней мере четыре, считая в каждом из них по сорок — пятьдесят дней и выплачивая жалованье за восемь месяцев вместо полного года. Вот так же мужья и любовники этих женщин должны терпеть и перемогаться, разве что они решат презреть

брезгливость и приличия и замараться; оттого и дети, в сей нечистоте зачатые, являются на свет божий со многими хворями, от коих страдают потом всю свою жизнь.

Я мог бы порассказать и многое другое, но воздержусь, не желая делать суждения мои чересчур вольными и гадкими; все, что могу поведать, относится не к женщинам низкого звания и положения, но к знатным или среднего сословия, каковые дамы прелестными своими личиками возбуждают в мужчинах пылкую любовь, в остальном же доставляют великое разочарование.

Расскажу все же одну короткую забавную историйку, услышанную от дворянина, коему случилось спать с красавицей дамою благородного происхождения, и вот, трудясь над нею, почувствовал он вдруг что-то такое острое и колючее, что едва смог завершить начатое. Наконец, сделав дело, принялся он ощупывать даму и тут обнаружил вкруг причинного ее места с полдюжины волос, а вернее сказать, острых, длинных, жестких и колючих шипов, какие вполне сгодились бы сапожнику на дратву вместо свиной щетины; кавалер пожелал осмотреть получше сие диво, и дама согласилась, правда с величайшей неохотою; волоски эти окружали ее женское средоточие на манер тех бриллиантовых либо рубиновых лучей, какие расходятся во все стороны от броши, приколотой к шапке или чепцу.

Не так давно в Гиени случилось следующее происшествие: одна почтенная замужняя дама из родовитой семьи надзирала за своими детьми во время занятий их с воспитателем, как вдруг этот последний, охваченный то ли внезапным безумием, то ли нахлынувшей на него любовной страстью, схватил с постели шпагу ее мужа и одним ударом рассек несчастной женщине ягодицы и женское место, отчего она едва не отдала Богу душу, не случись поблизости опытного хирурга. После этого нападения пораненный орган выглядел так, что дама с полным основанием могла бы утверждать, будто он побывал в двух жестоких войнах и подвергся двум яростным атакам. Полагаю, что вид его доставлял мало приятности, коли он был весь порублен, а крылья изодраны в лоскуты: крыльями называю я внешние губы — по примеру греков, которые величали их himenea; римляне также звали их alae; французы же употребляют, кроме слова «губы», еще и другие — «дольки», «створки» и прочее; мне же более всего нравится латинское слово alae — «крылья», ибо ни одна птица, ни хищная, ни домашняя, не сравнится проворством своим с тем крылатым органом, коим природа наградила наших девиц, дам и вдов, благодаря чему они заглатывают добычу, что случайную, что законную, прямо на лету.

Могу также, вместе с Рабле, назвать его и «зверьком»,

поскольку он постоянно шевелится сам по себе: стоит лишь взглянуть на него или тронуть, как он приходит в движение и волнение, словно мучимый голодом.

Иные дамы, опасаясь простуды и насморка, ложатся в постель, не иначе как замотав голову шалью, чем, ей-богу, напоминают старых ведьм; днем, глядишь, такая дама разодета и расфуфырена на диво, прямо загляденье; ночью же, стерев краску с лица да закутавшись, становится страшна как смертный грех.

Эдаких дам надобно посещать и разглядывать еще до того, как заведешь с ними любовь или женишься; так поступал Октавий Цезарь в компании с друзьями: он призывал к себе знатных дам, римских матрон и девиц, достигших брачного возраста, и, повелев раздеться, осматривал с головы до ног, словно рабынь, выставляемых на продажу известным сводником по имени Тораний; и только убедившись, что дама не имеет телесных изъянов и пороков, наслаждался с нею.

Так же поступают и турки у себя на базарах в Константинополе и других больших городах, когда покупают себе рабов обоего пола.

Итак, не стану более распространяться на сию тему, ибо, возможно, и так уж наговорил лишнего; скажу только, что мы нередко обманываемся прекрасной видимостью; однако ежели некоторые дамы и внушают нам разочарование, то не беда: многие другие с лихвою возместят урон и досаду, ибо на свете столько красавиц — юных, свежих, благоуханных, чистеньких и аппетитных, что все прочие пред ними выглядят жалкими замарашками; мужчины, любуясь ими, впадают в великий соблазн и спешат перейти от созерцания к делу, дамы же частенько показывают себя без всякого стеснения, когда не страдают никакими недостатками, и сие прекрасное бесстыдство ввергает нас в еще больший соблазн и вожделение.

Однажды во время осады Ла-Рошели несчастный герцог де Гиз, ныне покойный, который удостаивал меня своим расположением и любовью, показал таблички, взятые им тайком у брата короля, нашего главнокомандующего; вынув их из кармана штанов, он сказал: «Месье крайне немилостив ко мне из-за дамы, которую мы не поделили, и я хочу отомстить ему: поглядите-ка и прочтите, что я там написал». Он передал мне таблички, и я увидел написанное его рукою четверостишие, в коем стояло одно неприличное слово, здесь неприводимое:

Коль вы меня ни разу не…
В том не моя вина.
Ведь вы меня нагою повидали,

Я преизрядно сложена.

Затем он назвал мне имя дамы или, вернее, девицы, которое, впрочем, я и сам почти угадал, и я выразил ему свое удивление тем, что Месье не прикоснулся к ней, хотя ухаживания его были весьма настойчивы и вызвали множество сплетен вокруг; де Гиз заверил меня, что так оно и есть, притом по собственной его вине. На это я отвечал: «Тогда, верно, одно из двух: либо он был слишком утомлен, чтобы действовать, либо столь захвачен созерцанием сей красоты, что забыл действовать». — «Возможно, — отвечал герцог, — но как бы то ни было, а он потерпел фиаско, и теперь я хочу посмеяться над ним — подсуну эти таблички ему в карман, и когда он, по своей привычке, полезет туда за ними, пускай-ка достанет и прочтет сей стишок, вот это будет славная месть». Так он и поступил, над чем впоследствии оба они весело посмеялись и позубоскалили, ибо их связывала тесная дружба, к прискорбию позже перешедшая в смертельную вражду.

Одна известная дама или, вернее, девица пользовалась любовью и благоволением госпожи своей, высокородной принцессы; вот однажды та отдыхала, лежа в постели, и тут пожаловал к ней некий дворянин, сгоравший от любви к принцессе, но не удостоенный высшей милости. Тотчас девица наша, пользуясь короткими своими отношениями с госпожой, подходит к ее постели и как бы невзначай сбрасывает с нее одеяло; дворянин, никогда не упускавший случая заглянуть куда можно и нельзя, тут же стал глядеть во все глаза и увидал (как сам позже и рассказывал мне) самое прекрасное зрелище в мире, а именно красивейшее обнаженное тело безупречного сложения, столь белое, стройное и упругое, какое бывает разве только у райских гурий. Однако волшебное это созерцание продолжалось недолго: девица отошла подальше, принцесса же поспешила схватить одеяло; к счастью, прекрасная дама никак не могла справиться с ним и, пытаясь прикрыться, только больше показывала себя со всех сторон, к великому удовольствию дворянина, пожиравшего ее глазами и отнюдь не спешившего помочь, дабы не прослыть дураком; наконец дама кое-как справилась с одеялом и укрыла свою наготу, браня — впрочем, довольно мягко — нерадивую девицу и грозясь наказать ее. Девица же, стоя в некотором отдалении от кровати, отвечала: «Сударыня, когда-то вы сыграли со мною шутку; простите, коли я ответила вам тем же!» — и вышла из спальни. Дворянин же остался и тотчас получил прощение.

Однако, как бы ни было дальше, он пришел от увиденного в такой восторг, что после не уставал твердить: ему, мол, ничего больше в жизни не нужно, как только вспоминать о том волшебном зрелище: думаю, он был прав, ибо несравненно прелестное лицо дамы и белоснежная ее грудь, вызывавшая восхищение видевших ее, обещали столь же упоительные красоты и под платьем; да и сам дворянин подтверждал безупречное ее сложение и величественную осанку, благодаря коим дама превосходила прочих женщин, подобно приграничной башне, что возвышается над всеми остальными.

Услышав рассказ этого дворянина, я, разумеется, сказал ему: «Что ж, дорогой мой друг, живите сим блаженным воспоминанием о небесной красоте, и да продлит оно ваши дни; а себе могу пожелать лишь одного: пусть судьба пошлет мне в дар столь же волшебное видение!»

Названный дворянин сохранил вечную признательность девице, подарившей ему сей счастливый миг, и с тех пор неизменно почитал ее, любил и дарил своей дружбою; однако жениться на ней ему не пришлось: другой, более состоятельный жених похитил ее сердце, и она предпочла его, ибо и женщины имеют обыкновение охотиться за благами земными.

Да, зрелище нагого тела весьма приятно и соблазнительно, однако же и небезопасно — вспомните хотя бы, что сделала прекрасная Диана с беднягой Актеоном или как поступила другая дама, о которой я и собираюсь рассказать.

Один всем известный король любил в свое время прекрасную собой, высокочтимую и знатную вдовую даму, и любил столь пылко и безрассудно, что многие почитали его околдованным, ибо он, позабыв о приличиях, презрел свою супругу, с которой виделся лишь урывками, тогда как даме его сердца доставались все самые прекрасные цветы из его сада; это сильно досаждало королеве, полагавшей себя не менее красивой, обходительной и вполне достойной наиболее лакомых кусочков с мужнина стола; небрежение это весьма ее печалило. И вот она поверила свои горести одной приближенной даме и затеяла вместе с нею непременно хоть в какую-нибудь дырочку, да подглядеть любовную игру мужа своего, короля, с его любовницей. Почему и приказала провертеть множество отверстий в стенах спальни помянутой дамы и собралась понаблюдать в них все, что будут совершать любовники; что ж, взору их предстало чудеснейшее зрелище: красавица дама, белокожая, хрупкая, свежая, полуобнаженная, в одной лишь сорочке, то нежно, то шаловливо, то страстно ласкала своего любовника, отвечавшего ей тем же; сперва они миловались в постели, потом, сойдя с нее, ложились,

дабы освежиться, обнаженными прямо на мягкий ковер; так же поступал и еще один принц, мой знакомый; я знаю с его слов, что они с женою, наикрасивейшей женщиной в мире, спасаясь от летнего зноя, занимались любовью на полу.

Итак, королева, при виде всего этого, с досады горько заплакала, стеная, причитая и жалуясь на то, что муж не обходится с нею тем же манером и не безумствует, как с любовницей.

Наперсница принялась утешать свою госпожу, говоря, что нечего ей горевать, коли она сама решилась увидеть все воочию; мол, чего хотела, то и получила, а слезами горю не поможешь. На что королева отвечала: «Увы мне, вы правы: я вздумала смотреть на то, чего видеть мне никак не следовало; зрелище сие поразило меня в самое сердце». Однако же вскорости она вполне утешилась и более уж не огорчалась, хотя по-прежнему занималась подглядыванием за любовниками, тешась сим зрелищем, а может быть, и кое-чем другим.

Мне рассказывали об одной наизнатнейшей даме, которая, не удовлетворяясь природной своей похотливостью (она была величайшей распутницей, хотя, при своей великой красоте, и замужем побывала, и повдовела), старалась еще сильнее распалить себя и для того приказывала приближенным своим, дамам и девицам, разумеется самым привлекательным, раздеваться догола и тешилась их созерцанием, потом звонко, с оттяжкою, шлепала их рукой по ягодицам; девушек же, провинившихся в какой-нибудь малости, стегала жесткими розгами, с наслаждением глядя, как они корчатся и извиваются под ударами; особенно нравилось ей разглядывать причудливые следы и рубцы от розог на ягодицах.

А иной раз приказывала им прыгать по комнате, задравши платье, сама же подгоняла их, хлеща по голому заду (для такого случая им не велено было надевать панталоны); смотря по их поведению, дама била их то слегка, чтобы только взбодрить, а то и сильно, доводя до слез. И зрелище их обнаженных или полуголых тел возбуждало в ней такую похоть, что нередко она заставляла бедных женщин на ее глазах заниматься любовью с каким-нибудь крепким и сильным мужланом.

Вот каков бывает женский характер! Говорят, будто однажды эта дама, выглянув в окно, увидала рослого, на диво сложенного башмачника, что справлял малую нужду под стеною замка, и при виде статной его фигуры возымела к нему такое страстное влечение, что немедля послала вниз пажа, который передал башмачнику приказ ждать даму в потаенной аллее парка, где она и отдалась ему без всякого стыда, и притом еще столь ретиво, что

вскорости затяжелела. Вот что значит суметь вовремя взглянуть и нужное увидеть!

Рассказывали также, что, кроме обычных фрейлин, состоявших в ее свите, она приручала к себе еще иностранных дам; спустя два-три дня, а то и в первый же раз, как они являлись к ней, она затевала с ними свою излюбленную игру, начиная непременно со своих приближенных, а вслед за ними вовлекая и новеньких, из коих одни изумлялись сей странной забаве, другие же принимали ее как должное. Поистине занятная причуда!

Слыхивал я и об одном родовитом вельможе, развлекавшемся тем, что хлестал кнутом жену свою, в одежде или голую, и наблюдал, как она извивается под ударами.

Рассказывали мне об одной досточтимой даме, которую в детстве мать порола по два раза на дню — не из злобы, а ради удовольствия смотреть, как та корчится и поджимает ягодицы; зрелище это дразнило и возбуждало ее для других игр; даже когда дочери исполнилось четырнадцать лет, мать не бросила своих истязаний — напротив, вошла в такой раж, что чем больше смотрела, тем злее била, а чем злее била, тем больше удовольствия получала от сего зрелища.

Слышал я про одного знатного сеньора, принца (а было это года двадцать четыре тому назад), который, перед тем как лечь спать с женой, приказывал отстегать себя кнутом, без чего никак не мог возбудиться и взбодрить то, чем действует мужчина; одно лишь глупое это средство и помогало ему. Хотел бы я услышать по сему поводу мнение какого-нибудь опытного врача.

Прекрасный писатель Пико делла Мирандола рассказывает, что в свое время знавал одного галантного кавалера, который, будучи высечен до крови ремнем, показывал настоящие подвиги в постели с женщинами, в противном же случае терпел полное фиаско. Вот какие странные встречаются натуры! На мой вкус, так зрелище чужих обнаженных тел все-таки лучше, нежели подобная причуда.

В бытность мою в Милане довелось мне услышать следующую историю: господин маркиз де Пескайре (недавно умерший), будучи вице-королем Сицилии, влюбился в одну красавицу; дождавшись, когда муж ее вышел из дому, он поспешил к ней и застал еще в постели, но удостоился лишь беседы и созерцания дамы, лежащей под простынями, да еще прикосновения руки. Тут как раз вошел муж, коему, по скромному его положению, до маркиза было далеко, как от земли до небес (кажется, он состоял при нем дворецким); он застал их обоих в тот самый миг, когда маркиз отыскивал свою перчатку, потерявшуюся среди простынь, как оно частенько приключается. Сказавши гостю несколько слов,

муж вышел из спальни вместе с ним, затем, вернувшись в комнату, случайно увидел перчатку маркиза, и впрямь завалявшуюся в простынях, чего дама и вовсе не заметила. Взяв ее и холодно взглянув на жену, супруг вышел и с того дня пальцем не притронулся к своей половине, совсем перестав спать с нею. Вот однажды дама, сидя у себя в спальне, взяла перо и написала следующий катрен:

Vigna era, vigna son.
Era podata, or piu non son.
E non se per qual cagion
Non mi poda il mio patron.

Оставленный на столе катрен попался на глаза мужу, который, взявши перо, написал в ответ:

Vigna eri, vigna sei,
Eri podata, e piu non sei.
Per la granfa del leon,
Non ti poda il tuo patron.

Затем он также оставил стихи на столе. Оба четверостишия были доставлены маркизу, и тот сочинил к ним свое дополнение:

A la vigna che voi dicete
Io fui, e qui restete;
Alzai il pamparo; guardai la vite;
Ma, non toccai, si Dio mi ajute.

Катрен сей дошел до сведения мужа, и тот, довольный и успокоенный благородным ответом маркиза, вернулся в свой виноградник и принялся возделывать его так же усердно, как ранее; и никогда еще муж и жена не жили в столь добром согласии.

Спешу перевести это на французский, дабы всем было понятно:

Была я виноградником отменным.
О нем без устали хозяин мой радел,
Но вдруг нежданная случилась перемена.
Забыта я, печален мой удел.

Ваш виноградник не желаю трогать,
Хоть изобильны грозди и сочны.
Коль полюбили вы сей львиный коготь,
Не будете вы мною прощены.

На винограднике — и это всякий скажет —
Я побывал, но только беспорочно.
Лишь подержал лозу, воззрел на грозди сочны.
А коли вру, Господь меня накажет.

Под львиным же когтем автор разумел перчатку, потерявшуюся среди простыней.

Вот поистине снисходительный супруг, который не поддался подозрениям и не стал поднимать шум, а просто взял да простил жену. Я же скажу вам следующее: на свете есть великое множество дам, которые так любят самих себя, что с восхищением любуются нагими своими телами и упиваются собственными прелестями не хуже Нарцисса. Так что же остается делать нам, мужчинам, при виде сего соблазнительного зрелища!

По свидетельству Иосифа, Мариамна, жена царя Ирода, красивая и благодостойная женщина, наотрез отказала мужу, когда тот захотел переспать с нею средь бела дня и рассмотреть ее всю обнаженною. Ирод не злоупотребил своей супружеской властью, в отличие от одного знатного сеньора, мне знакомого, который напал на жену также днем и силой раздел ее, невзирая на сопротивление. А после прислал к ней служанок, дабы те одели ее, плачущую и пристыженную.

Бывают, однако, и такие дамы, которые, ничтоже сумняшеся, без всяких колебаний выставляют свои прелести напоказ, что ночью, что средь бела дня, дабы посильнее разжечь аппетит любовников и крепче приворожить их к себе; но притом некоторые из них решительно запрещают мужчинам касаться их тел, ибо, вступив на сей сладкий путь, каждый захочет во всю прыть одолеть его до конца; дамы же любят растягивать сие удовольствие елико возможно дольше.

И тот, кто проявит терпение и сумеет не поддаться соблазну, удостоится истинного блаженства. Однако следует помнить и о том, что созерцание прекрасной обнаженной женщины опасно для мужского взора; так, Александр рассказывал друзьям, что девы Персии одним своим видом ослепляли смотревших на них мужчин; потому и сам он беседовал с пленницами своими, дочерьми царя Дария, опустив глаза долу, и притом не слишком долго, из страха ослепнуть при виде блистательной их красоты.

Не только в старину, но и поныне персиянки слывут среди всех женщин Востока самыми прекрасными, самыми изящными и грациозными, очаровательными и покорными; платье и обувь их всегда опрятны, так же как и белоснежные тела; особливо же славятся всем этим уроженки древней царской столицы Шираза, которых отличает великая красота, обходительность и грация; по известному мавританскому преданию, пророк мусульманский Магомет ни разу не посетил Шираз из боязни, что, брось он хоть один-единственный взгляд на сих красавиц, душа его никогда уже не попадет в рай. Все, кто побывал в Персии и писал об этом, подтвердят мои слова, а также лицемерие сего мусульманского пророка, весьма искушенного в делах такого рода; свидетельство тому — арабская книга (о чем говорит и Белон) под заглавием «О подвигах Магомета», где превозносится мужская сила и мощь пророка, благодаря которым он, как сам похвалялся, мог осчастливить одиннадцать женщин подряд, одну за другою! Дьявол его забери, этого мусульманина! Не будем о нем более и поминать, все нужное давно уж сказано!

Обратимся лучше к вопросу об Александре, мною здесь помянутом, и Сципионе Африканском: который из них двоих заслуживает больших похвал за свою воздержанность?

Александр, не доверяя собственной добродетельности, даже не пожелал взглянуть на персидских красавиц; Сципион же, после взятия Нового Карфагена, увидал прекрасную собой испанскую девушку, которую солдаты привели к нему как часть военных трофеев и которая сияла такой совершенной юной красотой, что повсюду, где бы ни проходила, прямо-таки ослепляла глядящих на нее, в том числе и самого Сципиона; после учтивого приветствия он спросил пленницу, из какого испанского города она родом и кто ее родители. Красавица ответила на это и рассказала, что была помолвлена с юношей по имени Алуций, принцем кельтиберов, и Сципион вернул девушку ее жениху и родителям, не тронув и пальцем; те были настолько поражены сим благородством, что прониклись величайшим почтением к Риму и Римской республике. Но можно ли сказать с уверенностью, не хотела ли в глубине души эта красавица, чтобы Сципион, красивый и молодой, отважный и победоносный воин, почал ее первым? И если бы кто-нибудь из его или ее приближенных спросил ее, не желает ли она этого, то еще неизвестно, каков был бы ответ: возможно, она выразила бы свое согласие — если не словами, то хоть улыбкою или иным знаком, — ибо взросла в Испании, под ее жарким солнцем, а оно наделяет женскую натуру необыкновенной пылкостью, чему свидетельство — многие нынешние страстные дамы, коих

довелось мне встречать в тех краях. Так что не сомневайтесь: эта в высшей степени красивая и достойная юная испанка не замедлила бы соединиться со Сципионом, скажи он хоть слово, пред алтарем его языческих богов.

Итак, многие восхваляли Сципиона за сию величайшую добродетель — воздержанность; другие же порицали его за это, ибо чем может храбрый и безупречный рыцарь доказать красивой даме благородство своего сердца, как не восхищением ее прелестью и пылкой любовью; неужто же он должен выказывать ей холодность, почтение, скромность и благоразумие, которые, по мнению многих кавалеров и дам, скорее можно назвать глупостью и сердечным скряжеством, нежели добродетелью?! Недаром же одна досточтимая дама, прочитав эту историю, объявила Сципиона круглым дураком, каким бы бесстрашным и великодушным полководцем он ни показал себя: по ее словам, он мог бы вызвать восхищение к себе и к Римской республике более умным способом, тем более что девица досталась ему как военный трофей, а таким трофеем сам Бог велел распорядиться по-иному и уж во всяком случае лучше, нежели всей прочей добычей.

Великий основатель города Рима так не поступил, когда были похищены красавицы сабинянки и ему досталась одна из них; он насладился ею, забыв о всяком почтении, чем дама осталась предовольна и даже не вздумала сетовать, как, впрочем, и подруги ее, которые тотчас слюбились со своими мужьями и похитителями и не стали поднимать шума, не в пример родителям своим, начавшим по сему случаю долгую войну.

Конечно, все люди мыслят и поступают разно, а женщины тем более, и не всякая смирится с эдаким обращением, да и не каждому мужчине покорится; пример тому — супруга короля Ортрагона, одного из галльских королей в Азии; женщина эта, блиставшая безупречной красотой, была взята в плен римским центурионом, который посягнул на ее честь, но встретил достойный отпор, ибо ей претило сожительство с мерзким и безродным солдатом; тогда он взял ее силою, употребив власть, данную ему войною по отношению к пленникам, однако вскорости был за это наказан, ибо женщина жестоко отомстила ему: посулив богатый выкуп за свое освобождение, отправилась вместе с ним в условленное место, где солдата, по ее приказу, вместо выкупа убили, а голову женщина отнесла своему мужу, коему без утайки рассказала, что негодяй обесчестил ее и она отплатила ему таким вот безжалостным образом; муж одобрил ее поступок и оказал ей подобающие почести. И с тех пор он, как повествует история, выказывал супруге своей неизменное

почтение, до самой смерти обращаясь с нею точно со святой; как бы то ни было, а даме все же перепал жирный кусок, пусть даже от низкого мужлана.

Лукреция поступила иначе: ей не пришлось насладиться объятиями, хотя на нее посягнул не простой солдат, а доблестный царь; она совершила двойную глупость: во-первых, не угодив ему на ложе, а во-вторых, покончив с собою из-за такой малости.

Возвращаясь к Сципиону, добавлю, что сей полководец не довольно хорошо знал военные обычаи в отношении трофеев и реквизиций: по словам одного нашего военачальника, нет добычи заветней, чем захваченная в плен женщина; он насмехался над теми своими товарищами, что при осаде и взятии городов запрещали солдатам посягать на женскую честь, говоря, что все бабы любят военных куда более штатских, а жестокое обращение победителя только сильнее разжигает у них аппетит, и не о чем, мол, тут долго рассуждать: удовольствие при них, супружеская честь не посрамлена, ибо имело место насилие, так чего же еще женщине и желать?! К тому же подобным способом женщины часто спасают жизнь и достояние мужей своих — взять хотя бы прекрасную Эвною, жену Богуда (или Боккуса), царя Мавританского; этой женщине и ее мужу Цезарь подарил огромные богатства — не столько, надо полагать, за то, что царь взял его сторону, — как Юба, царь Вифинии и властитель Помпеи, — сколько за красоту жены, с которой Цезарь вкусил блаженство.

Не стану распространяться о прочих преимуществах этого рода любви, хотя таковых и немало; однако, по словам того самого военачальника, многие соратники его, чтя старинные военные обычаи, приказывали оберегать честь дам, у коих следовало вначале спросить согласия, а уж после решать, как с ними обходиться; возможно, они рассуждали подобно нашему Сципиону, который, если вы помните вышеприведенный рассказ, поступил точно собака на сене, что и сама не ест, и другим не дает; взять хотя бы несчастного Масиниссу, многажды проливавшего кровь за него и за народ римский и немало трудов и усилий положившего во славу его; Сципион отнял у сего героя прекрасную царицу Софонисбу, самый главный и драгоценный военный трофей, а отняв, отослал ее в Рим, дабы она прожила там остаток своих дней презренною рабыней; и так оно и случилось бы, коли бы Масинисса не положил этому конец. Слава Сципиона засияла бы куда ярче, явись эта женщина не жалкой пленной, а женою Масиниссы и гордой, непокоренной царицей, чтобы народ при виде ее говорил: «Вот одна из наипрекраснейших побед Сципионовых!» — ибо всем известно:

слава сияет ярче в окружении возвышенных и благородных вещей, нежели подлых и низких.

И наконец, совершенный Сципионом тяжкий промах наводит на одно из двух подозрений: либо он был женоненавистником, либо бессилен спать с женщинами, хотя, говорят, в старости и залезал в постель к служанке своей жены, которая отнеслась к сей шалости весьма снисходительно — быть может, по причинам, изложенным выше.

Итак, дабы покончить с этим отступлением и вернуться на прямую дорогу моего повествования, а там завершить и самое рассуждение, скажу следующее: ничто в мире так не приятно глазу, как вид красивой женщины, либо пышно разодетой, либо кокетливо обнаженной и возлежащей на ложе; пусть только будет здоровой, опрятной и без всяческих изъянов, о коих говорил я выше.

Король Франциск говаривал, что дворянин, богатый или бедный, принимая знатного сеньора у себя в доме или замке, должен непременно вывести ему навстречу красивую свою жену, красивую лошадь и красивую гончую и тем угодить и себе и ему, ибо, взглянув на первую, вторую или третью, вельможа найдет приятность в этом зрелище и окажет милость сему дому; вот отчего и следует представить его взору три этих прекрасных существа, достойные созерцания и восхищения.

Королева Изабелла Кастильская говорила, что для нее любезнее всего на взгляд четыре вещи: hombre d'armas en campo, obisbo puesto en pontifical, linda dama en la cama, y ladron en la horca (воин на поле битвы, епископ в соборе, красивая дама в постели и вор на виселице).

Мне рассказывал покойный господин кардинал Лотарингский, недавно скончавшийся, что когда он отправился в Рим к Папе Павлу IV, дабы расторгнуть перемирие, заключенное с императором, то проезжал через Венецию, где ему оказали самый торжественный прием, какой и подобает фавориту и посланнику столь великого короля. Весь сенат в полном составе вышел приветствовать гостя; его повезли по Большому каналу; из всех окон, туда выходящих, смотрели красавицы женщины, нарочно сошедшиеся, дабы увидеть сию торжественную встречу; тем временем один из самых почтенных сенаторов беседовал с посланцем короля о государственных делах, не умолкая ни на минуту, но, увидав, что тот не сводит глаз с прекрасных дам, сказал ему на своем наречии: «Монсеньёр, я полагаю, что вы меня не слушаете, и вы правы, ибо куда приятнее любоваться сими красотками в окнах, нежели беседовать с надоедливым старцем вроде меня, пусть даже он толкует о важных делах, несущих вам

пользу и славу». На это господин кардинал, который не мог пожаловаться ни на ум, ни на память, слово в слово повторил сенатору все им сказанное, вызвав у старика живейшее восхищение тем, что гость, развлекаясь приятнейшим для взора зрелищем нарядных красавиц, не упустил притом ни единой мелочи из беседы.

Тот, кому пришлось видеть двор королей наших Франциска, а затем Генриха II и его детей, признает, что самое великолепное в мире зрелище — это дамы сего двора: королевы, принцессы и их фрейлины; однако картина сия стала бы куда более прекрасной, будь жив мэтр Гоннен, который заклинаниями и колдовством своим мог бы представить нашему взору этих дам обнаженными, как оно, по рассказам некоего очевидца, и случилось однажды, когда король Франциск приказал ему свершить такое действо; он был весьма сведущ в этом своем ремесле, в отличие от внука, коего довелось нам видеть, — этот не умел ровно ничего.

Я полагаю, зрелище это было бы не менее соблазнительно, чем вид египетских женщин в Александрии во время чествования их верховного божества Алиса, на встречу коего они торжественно выступают, как можно выше поднимая подолы своих платьев, сорочек и нижних юбок, широко расставляя ноги и показывая то, что между ними; они знают, что никогда более не увидят его, так что, уж поверьте, стараются вовсю. Кто хочет убедиться в правдивости сей легенды, может прочесть ее у Алессандро Алессандри в 6-й книге «Радостных дней». Думаю, зрелище сие и в самом деле пленяло взор, ибо женщины Александрии в старину славились красотою, да славятся и поныне.

И ежели старые и безобразные женщины поступали тем же манером, то тут уж ничего не поделаешь: не всегда взору нашему предстает одно прекрасное, однако он должен, елико возможно, избегать уродства и замечать лишь красоту.

В Швейцарии мужчины и женщины без всякого стеснения купаются вместе раздетыми; они только прикрывают перёд какой-нибудь тряпицею, а коли она развяжется, можно увидеть под нею то, что приятно или неприятно вашему взору, в зависимости от того, красиво оно или безобразно.

Перед тем как завершить сие рассуждение, скажу еще следующее: представьте себе, какой соблазн и удовольствие испытывали в старину юные синьоры, рыцари, дворяне, простолюдины — словом, все римляне, когда наступали празднества в честь Флоры — по свидетельству очевидцев, самой прекрасной, любезной и блестящей куртизанки, какую только знал Рим, да и все прочие города. Вдобавок она происходила из

хорошего дома и знатного рода, а такие благородные дамы нравятся мужчинам куда более других, и встречи с ними доставляют несравненное наслаждение.

Итак, наша Флора держала себя высокомернее и неприступнее Лаисы, которая отдавалась, точно последняя шлюха, всем и каждому; Флора же уступала лишь знатным синьорам и даже на дверях своего дома вывесила надпись: «Короли, принцы, диктаторы, консулы, цензоры, понтифики, послы и другие знатные синьоры, добро пожаловать! Прочих не принимают».

Лаиса заставляла платить себе до объятий, Флора же — никогда, говоря, что для того и принимает у себя лишь знатных и благородных синьоров, чтобы и с нею обращались со всем почтением, подобающим досточтимой даме, одаренной столь великой красотой; также она никогда не торговалась, а брала то, что ей давали, утверждая, что истинно любезная дама должна ублажать любовника ради самой любви, а не ради денег и, хотя каждая вещь имеет свою цену, любовь ими не оплатить.

И наконец, она столь совершенно знала любовное ремесло и умела снискать всеобщее восхищение, что, когда выходила из дому на прогулку, народ потом целый месяц судачил о ней, о ее красоте, дорогих и роскошных уборах, величественной осанке, грациозных манерах и дивился многочисленной свите ее, состоявшей из приближенных к ней богатых и знатных синьоров, которые следовали за нею, точно покорные рабы, коих присутствие она всего лишь терпела. Даже иноземные послы, возвращаясь в свои страны, больше распространялись о несравненной красоте и очаровании прекрасной Флоры, нежели о величии Римской республики; особливо отмечали они непринужденное и свободное ее обхождение, не свойственное обычаям этих дам, но она и не походила на них, ибо в жилах ее текла благородная кровь.

Впоследствии она умерла, оставив такие огромные богатства — деньги, мебель и драгоценности, — что их хватило на перестройку крепостных стен Рима и на уплату всех его долгов. Она завещала все свое добро римскому народу, почему и воздвигли ей в Риме великолепнейший храм, названный в ее честь «храм Флориан».

Первое празднество, устроенное императором Гальбой, был именно праздник в честь жрицы любви Флоры, и всем римлянам и римлянкам дозволено было предаваться любому разврату, излишеству и распутству, какое только можно вообразить, вплоть до того, что самой святою в этот день почиталась женщина, отличившаяся наибольшей похотливостью и разнузданностью.

Сами понимаете, там была и фисканья, которую мавританские служанки и рабыни танцуют на Мальте по воскресным дням при всем честном народе на площади; и сарабанда, похожая на фисканью, — обе они сопровождались сладострастными изгибами и похотливыми жестами, из коих исполнители не забывали ни одного. И чем любезнее и податливее была дама, тем легче подбирала она себе самых разнузданных и бесстыжих кавалеров; среди римлян даже ходило такое поверье: кто явится в храм этой богини в самой неприличной одежде и с самыми непристойными движениями, тот станет таким же удачливым и богатым, как сама Флора.

Вот прекрасное поверье, не правда ли, да хорош и сам праздник! — что ж, ведь римляне были язычниками, потому и не приходится удивляться разнузданным и исступленным их пляскам; римские женщины задолго до этих празднеств разучивали все подобающие им непристойные движения так же старательно, как нынешние дамы разучивают какой-нибудь придворный танец; и тем и другим их занятия весьма по вкусу. Ну а молодые и даже старые мужчины с таким же увлечением любовались сими сладострастными вывертами. Случись подобное празднество у нас здесь, уж нынешние кавалеры не упустили бы такого зрелища; боюсь, как бы сбежавшиеся зрители не подавили друг друга до смерти.

Пускай кто захочет осудит сию забаву; оставляю это на откуп галантным кавалерам, коим советую читать Светония, грека Павсания и латинянина Манилия, которые в своих книгах описали самых знаменитых жриц любви; там о них все подробно рассказано.

Я же приведу еще одну историю и на ней закончу.

Читал я в одной книге, как некогда лакедемоняне осадили Микены, коих жители ухитрились выбраться наружу и пошли на Лакедемон, собравшись захватить и разграбить его, пока уроженцы города, не подозревая худого, стояли под их стенами. Однако женщины Лакедемона отважно встали на защиту города и отразили нападение; узнав о том, лакедемоняне вернулись к себе и еще издалека завидели своих женщин в боевом снаряжении, готовых дать отпор неприятелю; мужчины тотчас дали им знать, что это идут они, а не кто иной, и женщины радостно бросились им навстречу, дабы объявить о своей победе; они так спешили обнять и расцеловать вернувшихся мужчин, что позабыли всякий стыд и, даже не сняв с себя доспехов, возлегли с ними прямо на том месте, где встретились; то-то было весело слышать мерный звон доспехов и оружия и видеть то, чего нигде более не увидишь! И в память об этом событии они воздвигли храм со

статуей богини Венеры, которую нарекли Венерою Вооруженной, в отличие от всех прочих, представлявших ее нагою. Вот забавное сочетание и удачная мысль — изваять Венеру в доспехах и назвать вооруженною!

На войне, особливо при взятии неприятельского города, нередко можно видеть, как солдаты в латах насилуют женщин, не имея ни времени, ни терпения снять с себя панцирь, ибо желание и похоть обуревают их; но кто из нас видел солдата в доспехах, возлегшего с женщиной в доспехах же?! Хотелось бы мне знать, какое удовольствие может от сих объятий воспоследовать и что его скорее доставит: само ли действие, вид ли этих двух фигур или звон железа о железо? Следовало бы проделать такой опыт и поглядеть, кто будет доволен больше: сами участники или же зрители, за ними наблюдавшие.

Но довольно об этом, пора и кончать.

Я охотно дополнил бы сие суждение еще многими примерами, но, боюсь, скабрезные эти истории вконец испортят мне репутацию.

Однако не могу удержаться от того, чтобы после стольких восхвалений красивых женщин не привести здесь историю об одном испанце, который, осердясь однажды на некую даму и желая ей отомстить, описал мне ее в следующих словах: «Senor, vieja es como la lampada azeitunada d'iglesia, y de hechura delarmario, larga y desvayada, el color y qesto como mascara mal pintada, el talle como una campana o mola de molino, la vista como ydolo del tiempo antiguo, el andar y vision d'una antigua fantasma de la noche, que tanto tuviesse encontrarla de noche, como ver una mandragora. Iesus! Iesus! Dios me libre de su mal encuentro! No se contenta de tener en su casa por huesped al provisor del obisbo, ny se contenta con la demasiada conversacion del vicario ny del guardian, ny de la amistad antigua del dean, sino que agora de nuevo ha tomado al que pide para las animas de purgatorio, para acabar su negra vida». (Вот она какова: похожа на старую, засаленную церковную лампаду; фигура у ней — точно громоздкий топорный шкаф, лицо — словно грубо размалеванная маска, талия не изящней колокольни или мельничного жернова, черты грубее, чем у языческого идола, взгляд и походка наводят страх, как древнее привидение, явившееся в ночи; я боялся увидеть ее в темноте, как боюсь узреть мандрагору. Иисусе всемилостивый! Да охранит меня Господь от встречи с нею! Ей мало принимать у себя запросто настоятеля, мало нескончаемых бесед с викарием, постоянных визитов надзирателя или старинного ее друга, декана, так она нынче призвала к себе того, кто молится за души в чистилище, и все это лишь с целью поудачнее завершить черную

свою жизнь.)

Вот как испанцы, столь поэтично описавшие тридцать признаков красоты женской, приведенные мною выше, могут при желании охаять даму.

РАССУЖДЕНИЕ ТРЕТЬЕ:
О прелестях красивой ножки и достоинствах, коими ножка сия обладает

Среди разнообразных дамских прелестей и красот, кои мы, кавалеры, восхваляем меж собою, ибо им дано пробуждать любовное влечение, весьма ценится красивая ножка у красивой дамы, и я знавал многих дам, что славились этим особо и о ножках своих неустанно заботились, дабы сохранить их во всей красе. Тому есть множество примеров; мне рассказывали, как одна знатнейшая принцесса, с которою я и сам был знаком, из всех своих придворных дам выделяла одну и была к ней милостива сверх всякой меры, а дело все в том, что та умела, как никто другой, натянуть ей башмак, застегнуть пряжку и укрепить подвязку; в благодарность за сию услугу госпожа приблизила ее к себе более, нежели других, и даже богато наградила. Из чего следует заключить, что ежели дама и пеклась столь ревностно о красоте своих ножек, то отнюдь не для того, чтобы прятать их под юбками да под платьями, но, напротив, видно, надеялась хоть когда-нибудь открыть их посторонним взорам, показав прелестные, изящно скроенные панталоны позолоченного либо посеребренного полотна либо другой богатой ткани (она в таких и щеголяла обычно); судите сами, есть ли толк рядиться для самой себя, коли не можешь дать услады чужому глазу, да и не одному только глазу.

Эта дама не могла даже отговориться тем, что старается для своего супруга (как уверяют большинство женщин, вплоть до самых пожилых, которые чем ближе к могиле, тем ярче рядятся и расфуфыриваются), ибо была вдовою. Правду сказать, в бытность свою замужем она проделывала то же самое, так что, лишившись мужа, видно, не захотела изменить своей привычке.

Я знавал немало весьма красивых и достойных дам и девиц, столь же озабоченных славою драгоценных своих ножек; они неустанно пеклись об их изяществе и прелести, и, без сомнения, были в своем праве, ибо в ножке заключено больше сладострастия, нежели можно даже предположить с первого взгляда.

Мне рассказывали, как в царствование короля Франциска одной даме, столь же красивой, сколь и знатной, случилось сломать ногу, и когда нога у ней зажила, дама нашла, что срослась она криво; это привело ее в такое отчаяние, что она решительно приказала костоправу сызнова ломать ей ногу и

поставить кости на место, дабы вернуть прежнюю гибкость и красоту. Одна ее знакомая, узнав об этом, выказала изумление, но другая дама, весьма в таких делах сведущая, ей отвечала: «Вы, как я погляжу, не разумеете, какую власть заключают в себе красивые ножки!»

Некогда я знавал весьма красивую и достойную девицу, которая, влюбившись в одного знатного сеньора, пожелала привлечь его к себе, дабы получить от него и пользу и удовольствие, но никак не могла своего добиться; вот однажды, проходя по аллее парка и завидев издали предмет своей любви, она притворилась, будто у нее распустилась подвязка, и, отойдя немного в сторонку, подняла юбку и давай возиться с башмаком и натягивать ленты. Этот знатный сеньор пристально на нее поглядел, нашел, что ножка ее весьма недурна, и столь увлекся созерцанием, что не заметил, как ножка произвела то, чего не смогло сделать красивое лицо девицы; он рассудил про себя, что такие стройные колонны поддерживают, верно, не менее прекрасное здание, в чем и признался впоследствии своей любовнице, а уж та распорядилась сим признанием так, как сочла нужным. Заметьте, сколь изобретательна в ухищрениях любовь!

Мне рассказывали об одной прелестной и благородной даме веселого, шутливого и доброго нрава, которая однажды, приказав лакею натянуть ей башмаки, спросила, не впадает ли он при этом в соблазн, вожделение и похоть; правда, что вопрос ее звучал несколько иначе, более откровенно. Лакей, желая выказать вежливость и почтение, отвечал отрицательно. Не успел он моргнуть, как дама размахнулась и закатила ему здоровенную оплеуху. «Убирайтесь прочь, — распорядилась она, — вы более у меня не служите, я дураков при себе не держу».

Нынешние лакеи так не скромничают, поднимая с постелей, обувая и убирая своих хозяек, да есть и кавалеры не промах, что, не задумавшись, сглотнули бы столь аппетитную приманку.

Красота ножек, как вверху, так и внизу, не со вчерашнего дня ценится; еще во времена римлян, читаем мы, Луций Вителлий, отец императора Вителлия, воспылав любовью к Мессалине и желая войти в милость к ее супругу, попросил ее однажды оказать ему честь одним даром. «Каким же?» — спросила императрица. «Ежели вам будет угодно, госпожа, — отвечал он, — дозвольте мне когда-нибудь разуть вас». Мессалина, вообще весьма благосклонная к своим подданным, не захотела отказать ему в такой милости, и он, разув императрицу, взял себе ее сандалию, которую всегда с тех пор носил на груди, непрестанно доставая и целуя, — верно, воображал, что целует самую ножку, чего в действительности даровано ему не было.

Вспомним английского милорда из «Ста новелл» королевы Наваррской, который точно так же не расставался с перчаткою своей возлюбленной и сим тешил свою душу. Я знавал немало мужчин, которые, перед тем как натянуть себе на ноги шелковые чулки, просили возлюбленных своих поносить их неделю или десять дней и только потом надевали сами, довольные и удовлетворенные как душою, так и телом.

Знавал я одного сеньора, которому случилось путешествовать морем с некой знатной дамою — красавицей из красавиц, провожая ее на родину; фрейлины этой дамы, застигнутые врасплох морской болезнью, не могли служить, и тогда он, пользуясь счастливым случаем, вызвался прислуживать ей при вставании и отходе ко сну, обувать и разувать ее; и так, обувая и разувая даму утром и вечером, влюбился в нее до отчаяния, тем более что размещался на корабле бок о бок с нею; да и чей дух не смутился бы, оставив мужчину равнодушным пред столь великим соблазном?!

Любимейшая жена Нерона, Сабина Поппея, как можно узнать из истории, была не только великой искусницею в умении одеваться, наряжаться и носить украшения, но вдобавок ходила в сандалиях с золотыми поножами. Не подумайте, что сим щитом желала она скрыть ножки свои от рогоносца-супруга Нерона (ибо далеко не он один наслаждался их созерцанием и прочие удовольствия от них получал). Нет, столь достопримечательную обувь надевала она лишь по собственной своей прихоти — ведь повелела же она подковать лошадей своей колесницы чистым серебром.

Святой Иероним в весьма изящных выражениях описывает даму, которая ревностно пеклась о красоте ног: «Своим крошечным черным башмачком, блестящим и туго натянутым, уготовила она приманку юношам, соблазняя и возбуждая их звоном пряжек». В то время, видно, такая обувь была в моде, и ее охотно носили многие дамы, исключая разве самых почтенных матрон. Такие башмачки и нынче в ходу у турецких женщин, даже самых знатных и добропорядочных.

Давно уже обсуждается вопрос, какая ножка более соблазнительна и чаще привлекает взоры — обнаженная или же прикрытая и обутая? Некоторые полагают, что природа хороша и без прикрас, однако даже совершенной формы ножка, белая, стройная и гладкая — словом, такая, какой ей следует быть по определению испанцев, пригляднее всего выглядит в роскошной постели, ибо где же еще показаться даме необутой — не по улице же босою гулять! И также не назовешь вполне красивой и привлекательной даму, как бы пышно она ни рядилась, если нет у

ней на ногах шелковых цветных или белых нитяных чулок, какие нынче выделывают во Флоренции, — наши дамы носили эти последние летом, до того, как вошли в моду шелковые чулки; притом положено, чтобы такой чулок был натянут туго, как кожа на барабане, а кокетливая подвязка скреплена булавками или чем-нибудь иным, как нравится и угодно даме. Далее, ни в чем так не хороша ножка, как в легком белом башмачке либо в туфельке черного или цветного бархата с заостренным носком, столь изящно скроенной, что и вообразить себе трудно; я видел эдакие на одной нашей весьма знатной даме, и уж так они мило на ней выглядели, что просто загляденье!

За что еще можно назвать ножку красивою? Ежели она велика несоразмерно, она уж не так хороша, а ежели слишком мала, то умаляет весь облик и очарование своей хозяйки — недаром же хоть оно и неучтиво, а говорится: «П… велика, да ножка тонка». Нет, надобно, чтобы ножки были среднего размера, какие у большинства дам я и видывал, тогда только они и соблазнить способны, тем паче если дама ножку высунет из-под платья, и повертит ею, и взбрыкнет шаловливо, и покрутит заостренным носком беленького своего башмачка (тупой носок нынче не в моде) — а в белой обуви нога всего красивее. Но только эдакие башмачки следует надевать одним лишь высоким и стройным женщинам, а не коротышкам и карлицам, у коих этот длинный носок хлопает по полу и болтается, точно палица на поясе великана или бубенчик на колпаке паяца.

И другого еще пусть остережется дама, а именно: не следует ей отрекаться от своего пола, переодеваясь мужчиною в маскараде или где-нибудь еще, ибо мужская обувь способна обезобразить даже самую прелестную ножку в мире; всякая вещь должна сохранять натуральный вид и быть на своем месте; отказываясь же от своего пола, утрачивает дама вместе с тем красоту и природное свое очарование.

Отчего и нежелательно, чтобы дама мужеуподоблялась, желая покрасоваться в таком виде пред всем светом. Вот недавно наши дамы ввели в моду красивые береты с пером, которое носят на манер гвельфов, гибеллинов или же в самой середине лба (чтобы оставить его весь открытым); так и этот убор не ко всем идет, ибо для него надобно иметь хорошенькое, прямо-таки кукольное личико и особо тонкие черты — вот как у нашей королевы Наваррской: взглянешь ей в лицо, так сразу и не скажешь, хорошенький ли ребенок пред тобою или знатнейшего рода дама, каковою она и была.

Вспоминается мне, как одна дама лет двадцати пяти, недавно представленная ко двору (и мне знакомая), вздумала подражать

королеве, изобразив из себя опытную прелестницу: она явилась в бальную залу в мужском наряде, будучи к тому же высокого роста и сложения мужеподобного; уж поверьте, не было там человека, что не оглядел бы ее пристально и не посмеялся над нею; даже сам король отпустил шутку в ее адрес (а уж в шутках ему не было равных во всем королевстве), заметив, что она походит на палку от метлы, а еще на малеванных фландрских баб с трубкою в зубах, коих вешают над каминами в тавернах и кабаках; он приказал передать ей, что ежели она вновь явится ко двору в таком наряде и обличье, то и ей сунут трубку в рот, дабы потешать и веселить придворных. Вот что заявил король, ибо равно невзлюбил он и саму даму в нелепом ее уборе, и глупого ее супруга.

Потому-то переодевание и нейдет ко всем без различия дамам; даже если королева Наваррская, красивейшая в мире женщина, вздумала бы надеть чужой чепец, пусть хоть самый кокетливый и яркий, красота ее много утратила бы, ибо два разных вида красоты несовместимы; правда, она в том не нуждалась, ибо красоты ей было не занимать. Опять-таки вздумай она показать свою ножку (а столь прелестными, как у нее, не могла похвастаться ни одна дама), выставив ее в непривычной для нашего глаза обуви или же, например, в простеньком башмачке при парадном платье, то и к ножке этой любой остался бы нечувствителен и равнодушен. Так не следует ли отсюда, что прекрасные дамы должны одеваться и показывать свои наряды с величайшей осмотрительностью?

Мне довелось читать в одной испанской книге, озаглавленной «El viage del Principe», о путешествии, совершенном королем Испанским в Нидерланды во времена правления отца его императора Карла. Там рассказано, что среди прочих пышных приемов, которые устраивали для него тамошние изобильные и богатые города, особо отличилось празднество королевы Венгерской, жившей в городе Бен, после какового празднества сложена была даже поговорка: «Mas brava que las fiestas de Bains»[43].

Королева Венгерская придумала представить и разыграть осаду замка со всеми положенными военными маневрами (случай сей был уже мною описан в другой книге), и вот во время этой осады устроила она, среди прочих роскошеств, праздник, по великолепию доселе невиданный, в честь императора, своего зятя, в честь сестры своей, королевы Элеоноры, в честь короля, своего племянника, а также для всех сеньоров и придворных кавалеров с дамами. В конце праздника пред гостями явилась дама со свитою из шести нимф холмов и гор, представлявшая

богиню-девственницу охоты; все семь дам были облачены в античные одежды из серебристо-зеленого полотна, у всех семерых в волосах мерцал лунным светом алмазный полумесяц; они несли луки со стрелами и богатые колчаны за плечами, а сандалии их, также из серебристого полотна, столь изящно облегали ножки, что и описать невозможно. Вот такими и вошли они в зал, ведя собак на сворках, и приветствовали императора, разложив пред ним на столах всякого рода дичь, якобы добытую ими на охоте.

Вслед за ними явилась богиня Палес, покровительница пастухов, в сопровождении шести нимф зеленых долин, одетых в серебристо-белое полотно, с такими же головными покрывалами, усыпанными жемчугом, и в серебристо-белых сандалиях; они несли молоко и сыры и также поставили все это перед императором.

В третий выход настал черед богини Помоны с нимфами и дриадами, несущими плоды. Помоною была одета дочь графини Атремонтской, доньи Беатрисы Пачеко, фрейлины королевы Элеоноры; девочке было тогда не более девяти лет. Ныне она зовется госпожой адмиральшею де Шатильон, ибо адмирал женился на ней вторым браком; так вот, эта девочка-богиня преподнесла императору множество самых сочных и изысканных фруктов, какие только произрастают на земле, и, невзирая на юный возраст, сопроводила свой дар столь нежной и разумной речью, что император и все собравшиеся пришли в восторг, пожелав ей и впредь оставаться такой же прелестной, мудрой, благородной, добронравной, грациозной и остроумной дамою; так оно впоследствии и сбылось.

Она, как и нимфы, была окутана серебристо-белым покрывалом, носила такую же обувь, и голова ее была убрана драгоценными каменьями: то были изумруды, зеленые, как листва плодов, что держала она в руках, а помимо плодов поднесла она императору и королю Испании лавровый венок из зеленой эмали, чьи листья были сплошь осыпаны жемчугом и другими камнями, — зрелище несравненно великолепное; королеве же Элеоноре подарила она веер с зеркальцем посредине, также роскошно изукрашенный и великой ценности.

Как видите, принцесса и королева Венгерская доказала непреложно, сколь она благородна, щедра и сведуща в искусстве обхождения, а равно и в ратных делах, так что сам император, брат ее, остался безмерно доволен и польщен приемом достойной высокородной сестры своей.

Некоторые спросят меня, для чего привел я здесь этот рассказ. А вот для чего: знайте, что девицы, изображавшие нимф и богинь, были выбраны среди красивейших фрейлин королев

Франции и Венгрии, а также герцогини Лотарингской; там были француженки, испанки, итальянки, немки, фламандки, лотарингки, все они, как одна, блистали красотою; бог знает, не затруднилась ли бы королева Венгерская указать, которая из них всех грациозней и прекрасней.

Госпожа де Фонтен-Шаландре, ныне еще живущая, знала это прекрасно; она была тогда фрейлиной королевы Элеоноры; ее звали «прекрасною Торси», и она немало на сей случай порассказала. Так, от нее известно мне, что сеньоры, дворяне и придворные кавалеры всласть нагляделись тогда на изящные лодыжки, колени и бедра дам, представлявших нимф, коих платье, более чем короткое, предлагало глазу непривычно прекрасное зрелище; все мужские взоры, минуя женские лица, всегда открытые и доступные для обозрения, устремлялись вниз, к ножкам красавиц. И многие кавалеры, кого созерцание прелестных лиц оставляло равнодушными, теперь влюбились в эти хорошенькие ножки, ибо в том здании, где красивы колонны, не менее хороши должны быть фризы и архитравы, а роскошные капители изящно вылеплены и отполированы до блеска.

Стоит ли мне продолжать сие сравнение и давать простор фантазии, когда речь идет о переодеваниях и представлении? Почти одновременно с празднествами в Нидерландах, особенно в Бен по случаю прибытия короля Испанского, свершился въезд в Лион короля Генриха, вернувшегося из Пьемонта, где он проводил смотр своему гарнизону, и въезд этот пышностью и блеском превзошел все доселе виденное, по словам дам и кавалеров, кол были тому свидетелями.

Если представление охоты Дианы являло собою прекраснейшую часть праздника королевы Венгерской, то лионская мистерия устроена была во сто крат искуснее: так, на пути своего следования увидал король высокий античный обелиск, а по правую руку — лужайку, окруженную изгородью в шесть локтей высотой; лужайка эта была разбита на насыпи и засажена деревьями, густыми кустами и фруктовыми деревцами. А меж деревьев и кустов бегали олени, лани и козы, все ручные. И тут его величество услышал, как затрубили в рога и трубы, вслед за чем явилась из леса Диана со свитою из девственных охотниц; в руках у ней был роскошный турецкий лук и за плечами колчан, какие носили в древности нимфы; юбку ее туники из черного с золотом полотна усеивали серебряные звезды; пурпурные рукава и лиф сверкали золотыми нитями, а ножки с изящными ступнями и высоким сводом, открытые до колен, обуты были в сандалии пурпурного шелка, вышитые жемчугом, и нитями жемчуга также были перевиты густые пряди ее волос, в которых искрились

драгоценные камни, а надо лбом блистал тоненький серебряный полумесяц, усаженный бриллиантами, и само золото померкло бы в этом блеске, ибо серебро, затмившее его, и впрямь сияло, как ясное серебристое ночное светило.

Подруги ее были одеты в античные одежды всяческих фасонов из тафты с перемежающимися узкими и широкими золотыми полосами, а также и других цветов, коих смелые сочетания удивляли и веселили глаз; сандалии их и другая обувь также были сделаны из шелка, а головы убраны, как и положено у нимф, множеством жемчуга и драгоценностей.

Некоторые из них вели испанских гончих, ищеек, маленьких борзых и прочих псов на черных и белых шелковых сворках, повторяющих цвета короля (он любил тогда даму по имени Диана); все эти собаки оглушительно громко лаяли, прыгая вокруг хозяек; другие несли маленькие бразильские дротики позолоченного железа с ниспадающими кистями черного и белого шелка, а также рога и трубы в золотых и серебряных чехлах с перевязью и шнурами из серебра и черного шелка.

Едва король показался в виду, как из чащи выбежал лев, задолго до того прирученный, и, ласкаясь, припал к ногам описанной богини; она же, видя, сколь он кроток и послушлив, тотчас обвила его шею шнуром из серебра и черного шелка и проворно подвела к королю; и так, приблизившись вместе со львом к изгороди луга и став в одном шаге от его величества, она отдала ему льва, сопроводив свой дар рифмованным десятистишием, какие принято было слагать в то время; в сих стихах, тщательно отшлифованных и отнюдь не малозвучных, говорилось, что в образе этого льва дарует ему богиня город Лион и, так же как ручной лев, город будет послушен, подвластен и покорен приказам и законам короля.

Высказав все это в изящных словах, Диана и ее спутницы почтительно склонились пред королем, а он, милостиво и приветливо взглянув на них и поблагодарив от всего сердца за удовольствие, доставленное сей охотою, распрощался и продолжил свой путь. Итак, заметьте, что Диана и подруги ее были наивиднейшими и красивейшими женами, девицами и вдовами города Лиона, где в красавицах нет недостатка, и они исполнили мистерию эту столь искусно и превосходно, что многие принцы, сеньоры, дворяне и придворные пришли в восхищение. Судите сами, были ли они в том правы.

Госпожа де Валентинуа, иначе называемая Дианою де Пуатье, которой служил король и в чью честь была устроена сия охота, не менее короля осталась ею довольна и всю свою жизнь любила город Лион, тем более что он близко соседствовал с ее

герцогством Валентинуа.

Итак, поскольку мы взялись рассуждать об удовольствии разглядывать красивые ножки, то надо думать (да мне и подтвердили это), что не один король, но и все его придворные кавалеры насладились зрелищем стройных ножек прелестных нимф, столь изобретательно обутых и выставленных напоказ, что вместе с восторгом и желанием одобрить сию изящную выдумку возникало неодолимое искушение подняться на следующий этаж.

Дабы покончить с нашим отступлением и вернуться к основному повествованию, скажу, что и в наше время королевы, особенно королева-мать, любят устраивать и задавать великолепные балы, где все мы, придворные кавалеры, первым делом устремляем взоры на ножки танцующих дам и получаем несказанное удовольствие, видя, как они переступают и дразняще подрагивают ими: ведь для танцев они надевают юбки и платья намного короче обычного, хотя, разумеется, не такие короткие, как у нимф, и не столь высоко подобранные, как хотелось бы. Тем не менее взоры наши, по счастью, проникают туда, где в другое время все скрыто платьем; когда подол вздымается при быстрых поворотах, можно уловить кое-что, для глаза весьма приятное, отчего многие теряют голову, не в силах опомниться от восхищения.

Когда поднялся мятеж в городе Сиене и республике, тамошние прелестные дамы составили три группы, куда вошли самые стройные и красивые женщины, каких только можно было сыскать. В каждую группу входила тысяча дам (стало быть, в общей сложности три тысячи); первая группа была одета в лиловую тафту, вторая — в белую, а третья — в пурпурную; одежды эти были скроены, как у нимф, — иначе говоря, весьма короткими, так что полностью открывали и икры и бедра; и вот эдак продефилировали дамы пред всем городом и даже пред самим кардиналом Феррарским и сьёром де Термом, генерал-лейтенантом короля нашего, Генриха; все они выказали твердую решимость умереть за республику и за Францию, в чем и поклялись; все выказали готовность приложить руку к укреплению города, в знак чего даже несли жерди и фашины на плечах, и решимость их была всеми свидетелями сего зрелища горячо одобрена. Я помещаю рассказ об этом эпизоде в другом моем «рассуждении» — там, где говорится о женской отваге, ибо отвага — одна из прекраснейших черт наших очаровательных дам.

По этому поводу повторяю лишь то, что слышал от дворян и солдат — французов и иноземцев — и многих горожан, а именно: то было самое чудное зрелище из всех когда-либо виденных, ибо

тамошние знатные дамы и состоятельные горожанки красотою затмевали одна другую, — давно известно, что город сей никогда не знал недостатка в красавицах. Но ежели глаз услаждался видом прелестных женских лиц, то что же сказать о зрелище стройных ножек в туго натянутых башмачках, искусство носить которые дамы освоили превосходно; что говорить тогда о высоко подобранных туниках этих нимф, чья поступь была так легка и свободна, что воспламенила и зажгла самых холодных и равнодушных зрителей; и ведь не без задней мысли они положили одеться нимфами: сей наряд дает богатую пищу взорам, ибо коротенькая туника, да еще и с разрезами по бокам, как это мы видим на прекрасных римских статуях, способна лишь умножить радость созерцания.

Чем, скажите, очаровывают девы и жены острова Хиос? Несомненно, что их украшают собственная прелесть и грация, но еще более того — свободная манера одеваться; в особенности же поражают они воображение весьма коротким одеянием, открывающим выше коленей их ножки — холеные и кокетливо обутые.

По этому случаю вспоминается мне, как однажды при дворе некая дама, высокая, красивая и статная, разглядывала великолепный гобелен, где весьма безыскусно изображена была охота Дианы с большой свитою нимф, коих платье отнюдь не скрывало ног; и вот дама, оборотясь к одной из своих подруг, тщедушной и низкорослой, сказала ей: «Эй, малютка, такая мода, право, не про вас. Лихо бы вам пришлось, коли случилось бы выставить напоказ ваши ноги в эдаких-то шлепанцах! Вы бы тогда и носа не посмели из дому высунуть, не то что мы, женщины высокие и стройные, чья походка легка и грациозна и кому ножку показать — только к собственной выгоде. Благодарите же время наше и нынешнюю моду на длинные юбки — я-то знаю, что вы прячете под ними каблуки в локоть высотою, ни дать ни взять ходули или дубинки; ежели кому случится нужда в оружии, тут-то ваши ноги и пригодятся на то, чтобы, отпилив их у вас одну или обе, сражаться ими вместо палицы — то-то врагов бы наколотили!»

Дама эта имела полное право так говорить: ведь самая очаровательная ножка в мире, обуй ее в эдакий башмак с надставленным каблуком, утратит свою прелесть, ибо нарушается тогда естественная пропорция; так что без изящно скроенной обуви и все остальное не в счет. Некоторые дамы полагают, что чем выше каблук и длиннее носок, тем богаче и роскошнее вид их и тем больше сердец они к себе привлекут; увы, жалкое зрелище представляют тогда их икры и ступни, и смешно смотреть на

такую женщину, чей высокий рост — не дар природы, но ухищрения искусства.

Как принято было полагать в старые времена, красивая ножка таила в себе столько сладострастия, что многие римлянки, благонравные и строгие (или, по крайней мере, желавшие казаться таковыми), прятали ноги под платьем, дабы не вводить мужчин в соблазн; да и в наше время некоторые дамы в Италии, подражая им, стыдятся выставлять напоказ ножки так же свободно, как птица; они тщательно оберегают их от посторонних взоров под длинными юбками и уж так медленно, так осторожно и мелко переступают, что не только увидеть, а и заподозрить ноги под платьем невозможно.

Сдержанность сия, возможно, пристала тем, кто помешался на благочестии да приличиях и боится возбудить соблазн в ближнем; она, конечно, похвалы достойна, но я полагаю, что дай им волю, они бы выставили и ступню, и бедро, и кое-что повыше, вот только лицемерие и напускная скромность заставляют их ежеминутно доказывать своим мужьям, что они-де и есть истинные праведницы; что ж, кому и судить о том, как не им самим?!

Знавал я одного дворянина, галантного и предостойного, который на коронации последнего короля в Реймсе разглядел сквозь доски помоста, сбитого нарочно для дам, ножки, затянутые в белый шелк и принадлежащие одной знатной даме — красивой и стройной вдовушке; и так ему это зрелище запало в душу, что он прямо помешался от любви, а ведь и красивое лицо, и прочие стати этой дамы, а не одни только ножки, вполне заслуживали того, чтобы томиться и чахнуть от любви порядочному человеку. Мне-то известно, сколько воздыхателей было у этой дамы — и не счесть!

Словом, как порешил я сам, а со мною многие другие придворные, мне знакомые, вид красивой ножки и маленькой ступни весьма опасен и воспламеняет сладострастия ищущий взор; удивлению подобно, как это многие наши писатели, равно и поэты, не воздают ножке той хвалы, какою почтили они все другие части тела. Что до меня, я писал бы о ней без конца, ежели бы не страх, что меня обвинят в небрежении ко всему остальному телу; что ж, приходится мне обратиться к посторонним темам, ибо и впрямь непозволительно слишком углубляться в один только этот предмет.

Почему я и заканчиваю сие рассуждение, позволяя себе напоследок еще одно только слово: «Бога ради, сударыни мои, не прельщайтесь высоким ростом и не надставляйте себе каблуков под прелестные ваши ножки, коими если не все вы, то многие

можете похвастаться. Хорошенькая ножка сама по себе очаровательна, и, обувая ее, надобно сперва все умно взвесить и меру соблюсти, иначе и дело испортите!»

А засим пусть хвалит и воспевает, кто захочет, другие дамские прелести, как это делают многие поэты, я же скажу так: изящно очерченные бедра, стройные икры и крошечные ступни все же ни с чем не сравнимы и в царстве любви великою властью обладают!

РАССУЖДЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ:
О любви пожилых дам и о том, как некоторые из них любят заниматься ею наравне с молодыми

Поскольку я уже вспоминал выше о пожилых дамах, любящих скачки в постели, я и решил посвятить сей теме настоящее суждение. И расскажу для начала, как однажды, находясь в Испании, беседуя с весьма достойной и красивой, но уже в возрасте дамою, услышал от нее, что «ningunas damas lindas, o allomenos pocas, se hazen viejas de la cinta hasta abaxo» (ни одна красивая или мало-мальски привлекательная дама никогда не постареет от пояса и ниже). Я спросил, что она разумеет под этим — красоту ли тела (а именно нижней его половины), которая не меркнет со старостью, или любовную жажду, терзающую чрево и не покидающую женщину до самой ее смерти. Она отвечала, что имеет в виду и то и другое: «Ибо, заверяю вас, от терзаний плоти можно избавиться только со смертью, хотя с виду кажется, будто возраст отвращает от мыслей о любви; ведь всякая женщина без ума от самой себя, но лелеет свою красу не для себя, а для мужчин, в отличие от Нарцисса, который был влюблен в себя самого и отвергал любовь других».

Красивая дама отнюдь не походит на Нарцисса; так, слышал я рассказ об одной красавице, которая столь пылко обожала самое себя, что нередко, обнажившись в постели и принимая всяческие сладострастные позы, без конца любовалась на свое тело, проклиная притом единственного мужчину, вовсе недостойного обладать подобными прелестями, а именно мужа своего, никак с нею не сравнимого. Наконец от этого созерцания самой себя дама распалилась настолько, что решительно распрощалась с глупой супружеской верностью да и завела себе любовника, способного по достоинству оценить ее красоту.

Вот как женская прелесть разжигает пыл у дамы и подвигает ее на любовь хоть с мужем, хоть с сердечным дружком, дабы тот или другой утолил ее ненасытное желание; одна любовь ведет за собой другую. Более того, будучи красивою и привлекательною для мужчин, к коим она отнюдь не сурова на словах, дама вскорости окажет им милость и на деле; недаром же говорила Лаиса, что стоит женщине открыть рот для нежного ответа своему возлюбленному, как тут же и сердце ее присоединяется к устам и раскрывается ему навстречу.

Кроме того, ни одна красивая и любезная женщина не откажется выслушать комплимент себе; и ежели она хоть раз позволит воздыхателю своему превознести ее красоту, грацию и обходительность — как мы, кавалеры и придворные, привыкли это делать, приступая к любовной осаде, — то он со временем, рано или поздно, все-таки одержит победу и добьется своего.

Доказано уже, что любая красивая женщина, испробовав хоть однажды любовную игру, никогда уж более не откажется от нее, ибо каждая последующая будет для нее все приятнее и слаще; вот так же человек, привыкший к вкусной пище, ни за что не станет есть дурную, и чем ближе к старости, тем более укореняется в нем эта привычка к хорошему столу, как говорят врачи; вот потому и женщина, вошедшая в возраст, становится все более лакома до сладких любовных забав, и ежели губы ее жаждут поцелуев, то нижние также требуют своей доли, и с годами утеха эта не забывается, а тяга к ней не ослабевает, разве что (опять-таки по свидетельству врачей) случится какая-либо тяжкая хворь или другая прискорбная напасть; однако по прошествии оной вновь является охота заняться любовью.

Хорошо известно, что любые дела становятся тяжелее и постепенно сходят на нет с возрастом, отнимающим силы у человека; особливо относится это к Венериным играм, коими пристало заниматься легко и свободно, без принуждения, в мягкой и уютной постели, к сим забавам располагающей. Отношу все сказанное к женщине, а не к мужчине, которому назначена самая трудная часть работы, что с годами делается ему не под силу. Почему он и вынужден, по прошествии юных лет, воздерживаться от любовных услад, к великой своей досаде и неудовольствию. Женщина же в любом возрасте сама не трудится, но лишь принимает, высасывая, точно пиявка, весь жар и всю кровь из мужчины, — само собой разумеется, ежели он расположен дать ей то, что имеет; но любая старая кобыла, коли придет ей охота к скачке, непременно сыщет себе наездника, пусть и плохонького; когда же пожилая дама не найдет такового охотника до своих прелестей, как находила в молодые годы, то и это не беда, коли у нее есть деньги и средства, дабы купить себе эдакого любителя, да еще и не самого завалящего, — так я, по крайней мере, слыхал. Что ж, хороший товар дорог и наносит немалый урон кошельку, в противоположность мнению Гелиогабала — чем дешевле он покупал припасы, тем лучше они ему казались. Но не так обстоит дело с Венериным товаром: этот чем дороже стоит, тем больше нравится, ибо всякий покупатель желает получить за свои деньги самое что ни на есть лучшее и дорогое, притом втрое, а то и впятеро больше обычного.

Вот как сказала по этому поводу одна испанская куртизанка двум бравым кавалерам, которые, поссорившись из-за нее, выхватили шпаги и принялись драться: «Senores, mis amores se ganan con oro y plata, non con hierro!» (Сеньоры, мои объятия покупаются за золото и серебро, а не за железо!)

Так что любовь, купленная за большие деньги, вполне хороша, и многие дамы и кавалеры, заключавшие подобные сделки, знают в этом толк. Не стану долго распространяться здесь о дамах (несть им числа!), коих любовный жар снедал в старости так же неистово, как и в юные годы, ибо они поддерживали его с помощью вторых мужей или все новых и новых любовников; я уж и так часто поминал их в другом месте; а впрочем, поделюсь с вами несколькими историями, дабы рассказ мой был полнее и занимательнее.

Слышал я об одной знатной даме, весьма сведущей в любовных играх, которая, увидав однажды молодого дворянина с белоснежными руками, спросила у него, что он делает с ними, дабы сохранять кожу столь нежной и белой. Тот в шутку отвечал, что, когда только возможно, натирает их спермою. «Ну и не везет же мне! — воскликнула дама. — Вот уже шестьдесят лет, как я натираю ею одно место (которое беззастенчиво назвала своим именем), а оно все такое же черное, как и в первый день, притом что до сих пор омываю его спермою каждый божий день!»

Рассказывали мне о другой даме, которая уже в немолодых летах решила вторично выйти замуж и спросила на сей счет совета у врача, жалуясь ему, что, несмотря на вдовство, желание по-прежнему мучит ее и чрево требует своего; такого, по ее словам, не знала она даже во времена своего замужества, хотя они с мужем трудились в постели сколько было сил.

Врач, человек сговорчивый и добрый малый, желая угодить даме, посоветовал ей выходить замуж, тем самым ублаготворив свое чрево и, елико возможно, насытив его. Дама послушалась — и хорошо сделала, хотя и была перезрелой, как осеннее яблоко; завела себе мужа, а заодно и любовника, который любился с нею как за щедрую плату, так и за удовольствие, извлекаемое из объятий, ибо среди пожилых дам встречается немало умелиц, с коими спознаваться так же сладко, а то еще и слаще, нежели с молодыми, поскольку женщина, много пожившая на свете, куда лучше владеет любовным ремеслом и умеет расположить к себе мужчину.

Куртизанки Рима и Италии, достигшие зрелого возраста, любят вспоминать известную поговорку, гласящую, что «una gallina vecchia fa miglior brado ch'un altra»[44].

Гораций рассказывает об одной старухе, которая так

неистовствовала при объятиях, так резво изворачивалась и подпрыгивала, что не только кровать под нею дрожала и тряслась, но и весь дом ходил ходуном. Вот так неуемная старица! Эдаких бойких дам латиняне звали subare a sue — «свинья» или «хавронья».

Об императоре Калигуле пишут, что он больше всех своих женщин любил Сезонию — не столько за красоту ее или цветущий возраст (она была уже в годах), сколько за безудержную похотливость и невиданное любовное умение, приобретенное со зрелостью; ни одна женщина, даже красивее и моложе ее, не могла сравниться с нею в постели. Когда Калигула отправлялся на войну, он обычно брал ее с собою, и она в мужской одежде скакала на коне бок о бок с ним; нередко он показывал ее своим друзьям совсем обнаженною и при них занимался с нею любовью, дабы похвастать ее бесконечной чувственностью на ложе.

Надобно заключить, что возраст не отнял у этой женщины ни красоты, ни сластолюбивых повадок; доказательство тому — страстная любовь к ней Калигулы. Однако же при всей этой любви он нередко, обнимая ее и лаская ей грудь, говаривал: «Вот красивая грудь, но в моей власти пронзить ее мечом». Увы, несчастную женщину постигла именно такая участь: меч центуриона рассек ей тело, а дочери ее размозжили голову об стену, заставив расплачиваться за злобный нрав отца.

Можно также прочесть историю о мачехе императора Каракаллы, Юлии, которая однажды случайно показалась пред ним наполовину обнаженною; Каракалла при виде ее воскликнул: «Ах, как бы я хотел эту женщину, коли мне было бы дозволено!» На что Юлия тут же ответила: «Отчего же нет — ведь вы император, вам и подобает самому творить законы, а не исполнять чужие!» Ободренный сими удачными словами и податливостью женщины, он тотчас заключил брак и соединился с нею.

Почти такой же ответ получил один из наших трех последних королей, коего я, разумеется, здесь не назову. Влюбившись в некую весьма красивую и любезную даму и намекнув ей на свои нежные чувства, он через несколько дней послал к ней ловкого и речистого дворянина, дабы тот разъяснил ей королевскую волю; дворянин этот (кстати, мой знакомый) доставил даме любовную записку короля и сам постарался на словах убедить ее явиться на свидание. Дама, которая была отнюдь не глупа, отговаривалась чем только могла, приводя множество убедительных причин отказа и не забыв, в частности, самую главную, а именно такую мелочь, как честь. Отчаявшись наконец уломать строптивицу, дворянин прямо спросил, какой же ответ передать королю. Дама

на миг задумалась, потом от отчаяния у нее внезапно вырвались следующие слова: «Что сказать ему? А вот что: я знаю, что подобный отказ никогда не шел на пользу тому или той, что не уступали своим королям, которые чаще умеют приказывать и брать силою, нежели просить и убеждать!» Дворянин, вполне удовлетворенный полученным ответом, донес его королю, и тот, решив воспользоваться удобным случаем, сам отправился в комнату к даме, которая и уступила ему, не слишком сопротивляясь. Ответ ее, весьма находчивый, недаром раздразнил короля. Хотя, с другой стороны, не подобает играть словами столь дерзко, особливо имея дело с коронованной особою; впрочем, ежели дама сумеет повести себя умно и с должным почтением, большого зла в этом нет.

Возвращаясь к истории о Юлии, мачехе вышеназванного императора, скажу, что, уж верно, надо было быть последней из распутниц, чтобы взять в мужья и любить того, кто малое время назад убил у нее на груди ее родного сына: такую женщину иначе как презренною шлюхой не назовешь. Но ради великой чести стать императрицею чего только не забудешь! Юлия эта была страстно любима своим мужем и, хотя достигла уже зрелых лет, не утратила ни частицы красоты своей, коей всегда славилась так же, как и сговорчивостью; свидетельство тому — ее ответ императору, вознесший ее на вершину власти.

Филипп-Мария, третий герцог Миланский, женился вторым браком на Беатриче, вдове покойного Фачино Кане, когда та была довольно пожилой женщиной; однако она принесла в приданое четыреста тысяч экю, не считая недвижимого имущества и драгоценностей, которые сами но себе стоили целого состояния и приукрасили старость невесты; несмотря на почтенный возраст, она была заподозрена мужем в измене, и он приказал умертвить ее. Как видите, почтенный возраст не лишил ее охоты к любовным проказам, и чем более она занималась ими, тем более входила во вкус.

Констанция, королева Сицилии, почти всю свою жизнь, с самой юности, прожила в монастырю в девстве и непорочности и обратилась к мирской жизни в возрасте пятидесяти лет; будучи некрасивой и довольно поблекшей, она тем не менее решила приобщиться к плотским радостям и даже разрешилась ребенком в пятьдесят два года, пожелав притом сделать это публично; для этого приказала она возвести на лугу близ Палермо открытый павильон, дабы народ, присутствуя при родах, не усумнился в законном рождении младенца; то было величайшее чудо, какого не видывали со времен святой Елизаветы. В «Истории Неаполя» говорится, однако, что дитя все-таки родилось не у нее. И все же

из мальчика этого вырос великий государственный деятель, как оно нередко и случается, по мнению одного знатного вельможи, с большинством бастардов.

Я знавал аббатису из Тараскона, сестру господина д'Юзеса из семейства Тайар, которая в возрасте пятидесяти с лишком лет сложила с себя сан, вышла из монастыря и вступила в брак со старшим Шенэ, самым заядлым игроком и гулякою при дворе.

Да и во многих других религиях известны случаи, когда женщины, достигшие зрелого возраста, вдруг отказывались от святой непорочности, дабы отдаться плотским утехам. Уж коли такие не могут устоять, то что же говорить о наших дамах, привыкших тешить плоть с самого нежного возраста?! Неужто же старость помешает им желать и отведывать лакомые кусочки, коими они столь долго услаждали себя?! Куда же прикажете девать в таком случае все эти восхитительные, изысканные супы и бульоны, порошки из серой амбры и прочие горячительные составы, возбуждающие их старые холодные желудки? Уж можете мне поверить, что, ублажая старческий живот, помянутые снадобья и блюда в то же время укрепляют и все остальное тело, сообщая ему, хоть в малой мере, Венерин пыл, который затем подобает расточать на ложе в мужских объятиях, — они-то и есть лучшее в мире лекарство, притом самое натуральное и действенное, так что женщина перестает обращаться за помощью к докторам; надеюсь, те не откажутся сей факт подтвердить. Но самое приятное для наших дам состоит в невозможности забеременеть и потому тешатся любовными играми свободно и беззаботно, дозволяя себе такие вольности и удовольствия, о каких ранее и помыслить не могли из страха перед предательским своим чревом; некоторые женщины предаются любви куда чаще именно после пятидесяти лет, чем до того. И многие знатные и среднего сословия дамы признавались мне, что с нетерпением ожидают наступления сего зрелого возраста, дабы избавиться от страха беременности, а с ним и от риска опозориться на весь свет. Однако возраст огласке не помеха, некоторых из дам плоть и в гробу мучить не перестанет. Вот об этом-то я и хочу рассказать вам историю.

Был у меня когда-то младший брат, которого звали капитан Бурдей; он считался одним из храбрейших и достойнейших воинов своего времени. Хотя он и приходится мне родней, я обязан сказать это, пусть даже слова мои прозвучат нескромно; его доблестные победы во всех наших войнах — тому убедительное доказательство; во Франции не было полководца опытнее и бесстрашнее его; в Пьемонте его числили одним из тамошних Родомонтов. Он погиб при осаде Хёсдена, в самой

последней схватке.

Отец с матерью избрали для него литературное поприще, почему и послали его в восемнадцатилетнем возрасте в Италию для учения; он остановился в Ферраре, ибо госпожа герцогиня Феррарская, Рене Французская, очень любила мою мать и потому решила держать ее сына при себе, благо в городе имелся университет. Но брат, не имея никаких способностей к литературным занятиям, злостно пренебрегал учебою, а вместо нее увивался за женщинами, ублажая их и себя любовью; наконец увлекся он одной французскою вдовой дамою, госпожою де Ла Рош, состоявшей при герцогине Феррарской; они страстно полюбили друг друга и вовсю наслаждались своею любовью, как вдруг отец, видя неспособность моего брата к ученым занятиям, отозвал его домой.

Дама, пылко влюбленная в моего брата и боявшаяся потерять его (тем более что она была лютеранкою), умоляла его взять ее с собою во Францию, ко двору королевы Маргариты Наваррской, при которой состояла до того, как попасть в свиту к мадам Рене, когда та вышла замуж и уехала в Италию. Брат, по молодости лет и легкомыслию, обрадовался сей приятной компании и довез даму до Парижа, где находилась в ту пору королева, весьма милостиво встретившая ее, ибо дама эта, даром что вдова, отличалась и остроумием, и умом, и любезным обхождением, и красотою.

Брат мой, проведя несколько дней с матерью и бабкой, жившими при дворе, уехал затем к отцу. Но по прошествии некоторого времени, совершенно разочаровавшись в литературных занятиях и поняв, что сие не его призвание, покинул родных и отправился воевать в Пьемонт и Парму, где и прославился ратными подвигами. Так провел он в войнах пять или шесть месяцев и все это время носа не казал домой; наконец приехал повидаться с матерью, по-прежнему состоявшей при королеве Наваррской, а двор тогда находился в По; встретив королеву после вечерни, он почтительно приветствовал ее. Королева была любезнейшей дамою в мире; она весьма обрадовалась брату и, опершись на его руку, целый час или два прогуливалась с ним по церкви, расспрашивая о пьемонтских войнах в Италии и многих других вещах, на каковые вопросы брат отвечал столь подробно и красноречиво (а он за словом в карман не лазил), что королева осталась очень довольна как беседою, так и созерцанием собеседника, отличавшегося красотою, благородным обликом и молодостью (ему сравнялось тогда двадцать четыре года). Наконец по завершении сей длинной беседы — а характер и природа высокодостойной королевы были

таковы, что она любила вести долгие занимательные разговоры и между тем, слово за слово, прогуливаться вместе с собеседником, — подвела она брата к гробнице госпожи де Ла Рош, скончавшейся три месяца тому назад и, взявши его за руку, спросила: «Кузен (она называла его так потому, что одна девица из рода д'Альбре вышла замуж за дворянина из семьи Бурдей, чем, впрочем, я отнюдь не собираюсь бахвалиться и пользоваться), не чувствуете ли вы, как что-то трепещет и шевелится у вас под ногами?» — «Нет, сударыня», сказал он. «А подумайте-ка получше, кузен!» — настаивала королева. На это брат отвечал: «Сударыня, стараюсь изо всех сил, но ничего не чувствую, да и чувствовать не могу, ибо ступаю по каменным плитам». — «Ну так сообщаю вам, — сказала тогда королева, не мучая более брата загадками, — что вы стоите на могиле, а значит, и на прахе несчастной, погребенной здесь госпожи де Ла Рош, которую так любили. И поскольку душа человека продолжает жить и чувствовать после его смерти, нет сомнений в том, что прах этой достойнейшей дамы, столь недавно покинувшей сей мир, встрепенется под вашими ногами. И толстая каменная плита, помешавшая вам ощутить сей трепет усопшей, — не помеха. Потому и прошу вас оказать ей почести, подобающие умершим, а особливо страстно любимым, — иначе говоря, прочтите над могилою „Pater noster“, „Ave Maria“ и „De profundis“ и окропите ее святою водой в доказательство того, что вы столь же верный возлюбленный, сколь и добрый христианин. А я вас оставляю». И с этими словами королева удалилась. Покойный мой брат не замедлил исполнить все, ею приказанное, вслед за чем вновь пошел к королеве, которая встретила его шутливыми упреками, будучи великой искусницей в словесных проказах и остроумии.

Вот каков был милостивый нрав сей принцессы, что с должной мягкостью и добротою выполнила тяжкую свою задачу, посвятив моего брата в печальную новость.

Любезные ее речи напоминают мне эпитафию на могиле одной куртизанки, погребенной в Риме, в церкви Санта Мария дель Пополо; на гробнице ее было начертано: «Quaeso, viator, ne me diutius calcatam amplius calces» (Прохожий, ты, кто столько раз меня топтал, давил и тряс, не топочи на сих камнях, оставь в покое бедный прах). По-латыни изречение это более коротко и емко. Но я привожу и перевод для развлечения читателя.

Итак, завершая сию часть, скажу, что нет ничего удивительного в изречении той испанской дамы, услышанном ею от прелестниц, много любивших и любимых, коим нравятся похвалы, комплименты и превозношения, хотя от былой их

красоты ничего уж не осталось; самое большое удовольствие, какое вы можете доставить им, — это заверить, что они ничуточки не изменились и не постарели с годами, особливо же от талии и ниже.

Я слышал историю об одной красивой и достойной даме, сказавшей другу своему: «Уж не знаю, какие тяготы принесет мне в будущем старость (а было ей пятьдесят пять лет), но, слава богу, я никогда еще так резво не занималась любовью, как нынче, и никогда еще она не доставляла мне столько услад. Коли оно так будет и впредь, до самых преклонных лет, мне и старость не страшна, и не жалко прожитой жизни».

Итак, относительно любви и любострастия я привел и здесь, и в других суждениях достаточно примеров, не слишком, впрочем, подробно трактующих нынешний сюжет. Обратимся же теперь к другой максиме, говорящей о том, что красота прелестниц наших, от талии и ниже, не вянет с приходом старости.

Разумеется, к сему испанская дама присовокупила множество убедительных обоснований и изящных сравнений, уподобив, в частности, красавиц дам тем величественным старинным прекрасным зданиям, некогда возвышавшимся над всеми остальными, коих даже и руины хранят былую красоту; таких домов множество встречается в Риме — это и великолепные античные дворцы, и роскошные, хотя и разрушенные, палаццо, и грандиозные цирки, и обширные термы, чьи камни свидетельствуют о прежнем величии и по сю пору внушают людям робость и восхищение, ибо даже развалины эти дышат величавой, мирной или грозной красотою; на некоторых из них возведены новые, современные, весьма красивые строения, словно в доказательство того, что старинные сооружения ничуть не хуже, а то и получше нынешних; вообще такое нередко случается в строительстве, когда опытные архитекторы и каменщики, найдя старинные фундаменты, возводят дома прямо на них, ибо предпочитают древние руины новой кладке.

Мне также приходилось видеть красивейшие галеры и корабли, чья новая оснастка ставилась на старинные корпуса судов, долгие годы без дела пришвартованных в порту; они всегда были крепче и устойчивее тех, что изготовляли из свежего леса.

Кроме того (говорила все та же испанка), разве не видим мы высокие башни, коих кровли и верхние зубцы разрушены, искрошены и повреждены ветрами, бурями и ураганами, низ же и основание целы и невредимы? Ибо природа всегда обрушивает гнев свой на верхние части зданий; даже морские ветры и туманы разрушают и изъедают именно верхушки, щадя нижние ярусы, от них скрытые.

Вот так же и многие красивые дамы утрачивают сияющую красу прелестных своих лиц по причине жизненных тягот, холода или жары, солнца или луны или же обильных румян и белил, коими злоупотребляют, думая, будто станут от них краше, а на самом деле только портят кожу; зато нижней части тела достается не сия вредоносная краска, а естественная сперматическая мазь, и потому здесь не страшны ни холод с дождем и ветрами, ни солнце с луною, ибо юбки и платья туда ничего не допускают.

Коли доймет их жара, они всегда сумеют спастись от нее и прохладиться; да и от стужи у них сыщется множество всяких полезных средств. Сколько трудов и ухищрений требуется, чтобы сохранить красоту верхней части, и как легко уберечь нижнюю! Знайте это и, глядя на женщину, чье красивое лицо уже поблекло, не думайте, будто и низ у ней потерпел тот же урон, — напротив, фундамент сей весьма еще крепок и всей красоты отнюдь не утратил.

Мне рассказывали об одной знатной даме, славившейся необыкновенной красотою и большим пристрастием к любви; один из любовников ее отбыл в долгое путешествие и отсутствовал целых четыре года; вернувшись, нашел он даму сильно изменившейся и, взглянув на увядшее ее лицо, проникся к ней таким отвращением и холодностью, что наотрез отказался возобновлять прежнюю связь. Дама и не настаивала, но изыскала способ показаться ему нагою в постели, а именно сказалась однажды больною и, когда он пришел навестить ее (а дело было днем), объявила: «Сударь, мне хорошо известно, что вы отвергли меня из-за постаревшего лица, но убедитесь, что внизу ровно ничего не изменилось!» — и с этими словами обнажила нижнюю половину тела. «Если лицо мое ввело вас в заблуждение, то уж это, надеюсь, не обманет», — добавила она. У Дворянина, который разглядел, что тело дамы осталось столь же гладким и красивым, как прежде, тотчас пробудился аппетит, и он охотно приступил к трапезе, отведав того, что счел было прокисшим и негодным. «Вот как вы, мужчины, заблуждаетесь, — сказала ему после дама. — В другой раз не доверяйтесь обманчивому облику нашему, ибо нижняя часть тела — не чета лицу. Надеюсь, хоть этому я вас, сударь, научила».

Другая дама, подобная вышеописанной, видя, как меняется и блекнет ее лицо, пришла в такой гнев и досаду на него, что не пожелала более видеть его в зеркале, сочтя недостойным любования, и велела девушкам своим причесывать ее без зеркала; зато она непрестанно разглядывала в нем нижнюю половину тела, притом с тем же вниманием и восхищением, коими некогда

удостаивала только лицо.

Слышал я еще об одной даме, которая, ложась в постель с другом своим при дневном свете, всегда прикрывала лицо белоснежным платком тончайшего голландского полотна из страха, что вид лица охладит пыл любовника и повредит успехам нижней половины тела, которую ни в чем упрекнуть было нельзя. По этому поводу могу рассказать о другой весьма обходительной даме и шутливом ее ответе мужу, который спросил у нее, отчего волосы на ее лоне не поседели и не сделались так же редки, как на голове. «Ах, что за коварное место! — воскликнула она. — Сколько любовных безумств оно познало, а вот старость его никак не берет. Все мои члены, даже и голова, состарились по его вине, само же оно не меняется ни на йоту, сохраняя и крепость, и упругость, и природный жар, и прежнюю охоту к забавам и утехам, а все хвори да болячки достались другим частям тела, особливо же голове, на коей волосы и поседели, и поредели!»

Дама была права, говоря так, ибо на голову и впрямь все шишки валятся, тогда как лону и горя мало; а еще, по словам докторов, волосы на голове редеют от чрезмерной пылкости; как бы там ни было, но у красавиц наших известное место остается вечно молодым.

Многие мужчины, хорошо изучившие женщин вплоть до куртизанок, уверяли меня, что никогда не видели красавиц, постаревших снизу: и ноги, и бедра, и ляжки, и лоно — все оставалось юным, упругим, прекрасным и располагало к любви точно так же, как и раньше. И даже некоторые мужья, уже величавшие жен своих старушками, признавали, что нижняя половина тела у этих женщин столь же задорно-молода и аппетитна и, не в пример лицу, остается по-прежнему влекущей, так что им нравилось спать с супругами своими не менее, чем в юные годы.

Короче сказать, есть множество мужчин, коим приятнее кататься на пожилых, нежели на юных; так, некоторые всадники предпочитают старых скакунов; эдаких коняг столь хорошо обучили в молодости — на ярмарку ли ехать, на прогулку, на охоту ли, — что к ним и в старости не придерешься, ибо они все еще помнят выучку и сохранили резвый шаг и благородную осанку.

Я видел в королевской конюшне коня по имени Квадрагант, обученного еще во времена короля Генриха. Ему было уже более двадцати двух лет, но при всем своем почтенном возрасте он ровно ничего не позабыл и по-прежнему великолепно ходил любым аллюром, чем вполне удовлетворял и короля, своего хозяина, и всех других всадников. То же самое могу сказать и о

современнике его, великолепном скакуне из мантуанских конюшен по имени Гонзаго.

Видел я и бесподобного вороного, коего держали как жеребца-производителя; сеньор Антонио, начальник королевского табуна, показал мне его в Мэне, когда я оказался проездом в тех местах; жеребец ходил и рысью, и галопом, и вольтижировал, а дрессировал его сам хозяин, господин Карнавале; покойный господин де Лонгвиль давал ему за этого коня три тысячи ливров ренты, но король Карл отказал и взял жеребца себе, господина же Карнавале вознаградил иным способом. Да я мог бы назвать бесконечное множество таких скакунов, однако лучше Уступлю слово опытным конюшим, которые повидали более моего.

Покойный король Генрих, прибыв в Амьенский лагерь, выбрал себе для боя очень красивого старого коня по кличке Гнедой Мира, каковой конь, по рассказам опытных кузнецов, там же, в лагере, пал от лихорадки, что многие нашли весьма странным.

Покойный герцог де Гиз послал людей в свои эклеронские конюшни за жеребцом по кличке Самсон, которого держали там как производителя; он непременно хотел сражаться на нем в битве при Дрё, и конь не подвел его.

В первых войнах покойный принц взял в Мэне два десятка коней, тамошних производителей, с тем чтобы пользоваться ими в боях, и роздал своим приближенным, оставив, конечно, скакуна и себе; бравый Аварэ получил коня, некогда подаренного господином коннетаблем королю Генриху и носившего кличку Кум. Невзирая на старость, он превосходил всех прочих коней и пронес своего хозяина через все битвы, словно молодой. Капитану Бурдэ достался Турок, на котором был смертельно ранен покойный король Генрих, получивший в свое время этого коня от герцога Савойского; в ту пору конь этот именовался Злополучным, так не это ли имя явилось дурным предзнаменованием для короля?! Даже молодым жеребец этот не был так хорош, как в старости; хозяин коня, один из доблестнейших французских дворян, любил его, как самого себя. Короче сказать, ни одному из этих образцовых скакунов почтенный возраст не помешал верно и безупречно служить своему седоку; недаром же говорится: старый конь борозды не испортит.

Так же обстоит дело и со многими дамами, которые, в преклонных своих годах, ничем не уступят другим, помоложе, и способны доставить мужчине несравненное наслаждение, будучи в свое время обучены любовному ремеслу в совершенстве, а уроки эти никогда не забываются; главное же, пожилые дамы весьма

щедры на подарки и подношения рыцарям и наездникам своим, коим, ясное дело, требуется куда большее поощрение, дабы скакать на старых кобылах вместо молодых, в противоположность конюшим, что предпочитают брать лошадей молодых и не обученных чужой рукой: таких, по их словам, легче дрессировать.

Вот каким еще вопросом задаются те, кто размышляет о пожилых дамах: что более почетно — завлечь для любовной утехи старую женщину или молодую? Некоторые утверждают, что победа над старой почетнее, ибо в молодости любовный пыл и жар сами просятся нару жу, понуждая женщин отдаваться без лишних выкрутасов; старости же свойственны холодность и благоразумие, победить которые весьма нелегко, оттого-то победителю и достается большая слава.

Вот почему знаменитая куртизанка Лаиса похвалялась и гордилась тем, что в ее «школу» чаще сходились солидные мужи-философы, нежели ветреные и пылкие юноши. Так же и Флора восславляла себя за то, что попасть к ней в дом стремились наизнатнейшие римские сенаторы, а не за то, что ее добивались юные вертопрахи. Итак, мне кажется, что для большего удовольствия и наслаждения куда почетнее одолеть сдержанность и благоразумие, присущие пожилым людям.

Отношусь с этой мыслью к тем, кому сие знакомо на личном опыте и кто убедился, что дрессированная лошадка много приятнее необученной и не знающей, каким аллюром ей скакать. Вдобавок сколь приятно и отрадно для души зрелище входящей в бальную залу, в спальню королевы, в церковь либо в другое какое-нибудь собрание пожилой дамы благородной наружности и величавой осанки — d'alta guisa[45], как говаривают итальянцы, — например, фрейлины короля, королевы или принцессы либо наставницы королевских детей, которую и назначают-то на сию почетную должность за рассудительность и сдержанность нрава. Поглядите, какое благомыслие, какая непорочная добродетель написаны на ее челе, как все окружающие почитают даму за таковые качества, присущие зрелому ее возрасту; зато кто-нибудь один, зная совсем иное, шепнет самому верному своему другу; «Видите важную и высокомерную ее повадку, неприступный взгляд? Только и скажешь, что воды не замутит. Ан нет! Когда я лежу с нею в постели, то ни один флюгер в мире не вертится резвее ее бедер и зада!»

Что до меня, то, я полагаю, мужчина, прошедший через эдакое приключение, должен быть весьма доволен собою. Ах, сколько же повидал я в своей жизни дам, притворявшихся строгими, высоконравственными и неприступными, а на самом деле распущенных и развращенных до крайности, лишь только

доходило до постели; их укладывают туда много чаще, чем молодых, которые, не отличаясь отменной хитростью, сторонятся борьбы. Недаром же говорят, что нет лучших охотниц, чем старые опытные лисицы, умеющие повсюду отыскать и принести добычу своим лисятам.

Мы читаем в книгах о том, что некогда многие римские императоры любили услаждать себя этим видом распутства, а именно связью с такими высокородными и почтенными матронами — как для плотской утехи, куда более приятной с ними, нежели с женщинами низшего сословия, так и ради славы победителя столь неприступной крепости; да я и в мое время знавал множество знатных сеньоров, принцев и дворян, гордившихся и похвалявшихся тем же самым.

Юлий Цезарь и Октавиан Август, его наследник, весьма усердно предавались эдаким, описанным выше завоеваниям; то же самое после них делал и Калигула: он созывал на свои пиры самых знатных и знаменитых римских дам с их мужьями и пристально, придирчиво разглядывал их, а некоторым даже поднимал лицо за подбородок, ежели они, как подобает порядочным женщинам, склоняли голову, прячась от мужских взоров, или же нарочно кривились и гримасничали, дабы этим сберечь свою непорочность (хотя вряд ли таких дам было очень уж много в те времена развратных императоров); однако всем этим женщинам приходилось изображать веселость и удовольствие, а иначе — беда; немало их жестоко поплатилось за свою неуступчивость. Тех же, что имели несчастье приглянуться названному императору, он брал тут же, можно сказать не отходя от мужей: выводил из залы, увлекал в свою спальню, где и получал от дамы удовольствия, какие хотел; после же возвращался вместе с нею обратно и, усадив на место, громко, во всеуслышанье восхвалял ее прелести и достоинства, перечисляя их одно за другим; если же дама обнаруживала какие-нибудь телесные изъяны или недостатки, то он и не думал умалчивать о них — напротив, вслух расписывал все подряд, не пропуская ни одной мелочи.

Нерон проявил такое же, если не худшее, любопытство по смерти своей матери: он внимательно разглядывал ее мертвое тело, переворачивая его и изучая все члены, восхваляя одни из них и понося другие.

Мне приходилось слышать и о некоторых знатных сеньорах-христианах, которые с тем же интересом рассматривали тела умерших своих матерей.

Но я не закончил рассказ о Калигуле: он еще рассказывал собравшимся, как вела себя его избранница на ложе, какую

выказывала похотливость и сладострастие; особливо горько приходилось скромным и достойным женщинам или тем, что изображали себя таковыми за столом: когда они и в постели пытались держаться того же, жестокосердный тиран угрожал им смертью, коли они не удовлетворят все его прихоти; после же, за столом, ко всеобщему развлечению порочил и охаивал несчастных этих дам, которые, гордясь своей чистотою и непорочностью или же лицемерно изображая себя таковыми — donne da ben[46],— вдруг прилюдно разоблачались императором, называвшим их бесстыжими потаскухами — одних незаслуженно, других по праву. То были, как я уже сказал, сливки общества: супруги консулов, диктаторов, преторов, квесторов, сенаторов, цензоров, всадников и других знатных и высокопоставленных особ; нынче, в нашем христианском мире, можно сравнить королев с супругами консулов, которые повелевали народом; с прочими же могу сопоставить принцесс высокого и среднего ранга, эрцгерцогинь и герцогинь, маркиз, маркграфинь и графинь, баронесс, виконтесс и других дам благородного происхождения; думаю, не следует сомневаться в том, что многие императоры и короли, будь у них возможность, точно так же обошлись бы с этими знатными дамами, по примеру тирана Калигулы; однако же, будучи христианами, они боятся Бога и святых Его законов и не желают смущать совесть и порочить честь свою, а также позорить этих дам вместе с их мужьями, ибо тирания нестерпима благородным сердцам. Почему христианские короли и достойны всяческой хвалы и уважения, ибо они добиваются любви красивых дам более мягкостью и дружелюбием, нежели силою и принуждением; оттого и победа их куда как прекраснее.

Мне рассказывали про двух знатнейших принцев, коим нравилось разбирать прелести, достоинства и особенности своих любовниц, равно как и недостатки и изъяны их, повадки, жесты и похотливые выверты в постели; правда, не прилюдно, подобно Калигуле, но в тесной компании близких друзей. Вот чему служили тела сих злосчастных дам, которые старались вовсю, надеясь угодить одним только любовникам своим, а вместо того делались предметом разбора и насмешек других мужчин.

Итак, возвращаясь к нашему сравнению, опять скажу: как некоторые прекрасные здания возведены на прочнейших фундаментах и из лучших камней и оттого веками красуются пред нами к вящей своей славе, так и тела некоторых дам сложены столь красиво, изящно и соразмерно, что время бессильно изменить их и наносит этим женщинам куда меньший урон, нежели другим.

У Плутарха можно прочесть о том, что Артаксеркс более всех своих женщин любил Аспазию, которая, будучи уже весьма пожилою, сохранила всю свою блистательную красоту; до того она состояла в наложницах у его покойного брата Дария. Сын царя так страстно влюбился в нее, невзирая на возраст, что попросил отца своего поделить эту женщину между ними двоими, как делят царство. Но отец, из ревности не желая делиться с ним прекрасной своей добычей, сделал Аспазию жрицею Бога-Солнца, каковые жрицы обязаны блюсти полное целомудрие.

В «Истории Неаполя» читаем мы, что Владислав, король Венгерский и Неаполитанский, осадил Тарент, где находилась герцогиня Мария, вдова покойного Раммондело де Бальцо, и после многочисленных приступов и атак захватил эту даму в плен вместе с детьми и женился на ней, хотя она была уже сильно в годах, благо что очень красива; он увез ее к себе в Неаполь, где сделал королевой, любил и лелеял.

Мне пришлось видеть герцогиню де Валентинуа в возрасте семидесяти лет: она осталась такой же прекрасной и свежей лицом, такой же привлекательной и грациозной, как в тридцатилетием возрасте; недаром же ее любил и обожал один из самых доблестных и достойных наших королей. Могу смело утверждать это, не боясь нанести урон красоте вышеназванной дамы, ибо любовь великого короля к любой женщине есть свидетельство того, что природа наделила ее несравненными достоинствами, — вот почему красота, дарованная небесами, и должна доставаться полубогам.

Я видел эту даму за полгода до ее кончины; она все еще была столь хороша собою, что влюбила бы в себя и камень, хотя какое-то время назад сломала ногу, упавши в Орлеане на мостовую с лошади, которой всегда управляла ловко и умело; но в этот раз лошадь поскользнулась и упала вместе с нею; от перелома и сильных болей, терзавших герцогиню, прелестное лицо ее, казалось бы, могло перемениться к худшему, однако ничуть не бывало: красота, фация, величественная осанка, очарование — все осталось при ней. Особливо хороша была у ней кожа, блиставшая снежной белизною, при том что она никогда не красилась; правда, говорили, будто каждое утро она умывается настоем, изготовленным из жидкого золота и прочих крепких снадобий, в коих я разбираюсь куда менее иных врачей и сведущих аптекарей. Полагаю, что, проживи эта дама еще сто лет, она и тогда не постарела бы ни лицом — настолько оно было моложаво, ни телом, которое даже под платьем выглядело неизменно стройным, упругим и юным. Сколь же прискорбно, когда земля погребает под собою такие прекрасные тела!

Видел я и госпожу маркизу де Ротлен, матушку госпожи принцессы Конде и покойного господина де Лонгвиля; ее красоте не нанесли урона ни время, ни возраст: она уподоблялась прелестному цветку, разве что с годами лицо у ней слегка покраснело; зато чудесные, несравненные глаза, коих красоту унаследовала и дочь, ничуть не изменились и ранили мужские сердца, как и прежде.

Видел я также госпожу де Ла Бурдезьер, во втором браке маршальшу д'Омон, такую же очаровательную в преклонных годах, как в самом юном возрасте; пять ее дочерей, также красавицы, все-таки не затмевали свою матушку. И если позволить мужчинам выбирать, они, вполне возможно, предпочли бы дочерям их мать, хотя она за свою жизнь и родила множество детей. Но эта дама чрезвычайно заботилась о себе, боялась лунных лучей как черт ладана и решительно не признавала ни румян, ни белил, коими пользуются большинство женщин.

Более того, я видел госпожу де Марей, матушку госпожи маркизы де Мезьер и бабушку принцессы-дофины, когда ей было уже сто лет; в этом возрасте она и скончалась такою же красивой, стройной, свежей, веселой, здоровой и привлекательной, какою была в пятьдесят; ну а в молодости уж точно никто не мог сравниться с нею очарованием.

Дочь ее, та самая маркиза, очень походила на мать и умерла столь же моложавою, хотя и дожила только до восьмидесяти лет; к концу жизни она всего лишь слегка ссутулилась. Она приходилась теткою госпоже де Бурдей, жене моего старшего брата, питавшего к ней искреннюю любовь, ибо к пятидесяти четырем годам, родив четырнадцать детей, она сохранилась настолько хорошо, что все люди, ее видавшие, могли еще увереннее меня подтвердить: четыре ее дочери рядом с матерью казались ее сестрами; так некоторые зимние яблоки остаются столь же свежими, как летние, и до самого конца вкусны и сочны не менее, а то и более этих последних.

Госпожа адмиральша де Брион и дочь ее, госпожа де Барбезье, также отличались несравненной красотою до глубокой старости.

Недавно мне сообщили, что прекрасная, некогда знаменитая Поль из Тулузы все так же хороша, как и прежде, хотя ей уже сравнялось восемьдесят лет; не постарело ни прелестное лицо ее, ни стройная фигура.

Сам я видел госпожу президентшу Конт из Бордо в том же возрасте и столь же мало изменившуюся, но по-прежнему любезную, привлекательную и желанную, преисполненную многих других совершенств и достоинств. Я охотно перечислил

бы всех их здесь, да боюсь слишком затянуть мое повествование.

Один испанский кавалер, признавшийся в любви пожилой, но все еще красивой даме, услышал от нее такой ответ: «A mis complétas desta manera me habla V. M.!» (Как это вы любезничаете со мною в мои-то годы!) Этим желала дама указать воздыхателю на преклонный свой возраст и на то, что красота ее близится к закату. Но кавалер возразил ей: «Sus complétas vulen mas, y son mas graciosas que las horas de prima de qualquier otra dama» (Ваши преклонные лета куда драгоценнее и прекраснее, нежели юные года любой другой дамы). Не правда ль, в высшей степени приятный комплимент?

Другой кавалер, также беседовавший о любви с пожилою дамою, которая откровенно сетовала на то, что красота ее поблекла, хотя и не слишком, отвечал на это: «A las visperas se conoce la fiesta» (Любой праздник всего слаще к вечеру).

Даже и сегодня мы видим, как госпожа де Немур, и на заре своей жизни блиставшая красотою, стойко сопротивляется разрушительному времени, которое стирает все, кроме, однако, этой красоты; я готов — вместе со всеми, кто видел эту даму, клятвенно подтвердить, что в юные годы она была прекраснее всех женщин в христианском мире. Я уже рассказывал в другом рассуждении, как любовался ею, танцующей в паре с королевой Шотландскою; им вздумалось протанцевать вдвоем, без прочих дам, и окружающие, видевшие сей танец, затруднялись определить, которая из них была красивее; кто-то сказал, что они походят на два солнца вместе, подобные тем, что, по описанию Плиния, явились некогда в небесах, повергнув людей в великое изумление. Госпожа де Немур, тогда еще госпожа де Гиз, отличалась более внушительной фигурою; да будет мне позволено заметить, не в обиду королеве Шотландской, что величественная ее осанка, хотя она и не была королевою, давала ей преимущество пред сей государыней; впрочем, госпожа де Немур приходилась внучкой великому королю, любимому народом, и имела с ним большое сходство в чертах, в чем я мог убедиться, разглядывая портрет названного короля в кабинете королевы Наваррской: портрет этот явственно подчеркивал все достоинства оригинала.

Полагаю, что это я первым назвал госпожу де Немур «внучкою короля — отца нации», а было это в Лионе, по возвращении его величества из Польши; с тех пор я частенько величал ее именно так; она оказывала мне честь находить сие прозвище приятным и любила слышать его из моих уст. И доподлинно она была истинной внучкой этого великого монарха, походя на него красотою и особливо добрым нравом: доброта ее

не знала границ, никто или мало кто мог пожаловаться на немилость с ее стороны, хотя она многим могла бы навредить в бытность свою замужем за ныне покойным герцогом де Гизом, почти полновластным властелином Франции. Повторяю: госпожа де Немур обладала этими двумя драгоценнейшими добродетелями — красотой и добротой — и сохранила их обе по сей день, почему и выходила замуж дважды, и оба раза за благороднейших дворян, коим трудно сыскать равных; найдись еще один такой же мужчина, достойный этой дамы, ей не составило бы никакого труда вступить и в третий брак, настолько хороша она была даже в старости. Вот так же в Италии дамы из Феррары считаются особо лакомыми кусочками, откуда и родилась поговорка «pota ferraresa — cazzo mantuano» (сунь в феррарский горшок мантуанский посошок).

По этому поводу вспоминаю, как некий знатный синьор-итальянец ухаживал за одной прекрасной французской принцессою, и вот однажды, когда при дворе хвалили и превозносили его достоинства и совершенства, коими он мог бы заслужить ее благосклонность, покойный господин Дау, капитан шотландских гвардейцев, особенно блиставший остроумием, заметил: «Вы, господа, забыли наиглавнейшую его добродетель — cazzo mantuano».

Это же словцо довелось мне услышать, когда герцог Мантуанский, по прозвищу Горбун, решил посвататься к сестре императора Максимилиана, которой донесли, что у жениха на спине торчит большой горб. Говорят, она на это ответила: «Non importa purche la campana habbia qualche diffetto ma ch'el sonaglio sia buono»[47], — имея в виду, разумеется, все тот же cazzo mantuano. Впрочем, другие утверждают, что она не могла такого и выговорить, ибо отличалась благоразумием и хорошим воспитанием; вероятно, слова эти принадлежали кому-нибудь другому, а ей только приписаны.

Но возвращаюсь к принцессе Феррарской; я видел ее на свадьбе ныне покойного господина де Жуайёза, куда она явилась в широком платье-мантии, сшитом по итальянской моде, с рукавами, подобранными до локтя, как носят в Сиене; она затмила всех тамошних дам, и не было человека, который не сказал бы: «Сей прекрасной принцессе рано еще сдаваться, красота ее при ней. Взглянешь на нее и сразу видно, что это прелестное лицо — залог многих других скрытых достоинств, недоступных взору; так, при виде красивого фасада легко вообразить, сколько красивых залов, комнат, спален, передних, туалетных и прочих уютных уголков скрывается за ним». С тех пор принцесса поражала людей своею красотой, не поблекшей с

преклонным возрастом, еще во многих местах, даже и в Испании, на бракосочетании герцога Савойского с Екатериной Австрийской, и все видевшие ее навсегда с благоговением сохранили в памяти красоту и все добродетели названной дамы. Будь перо мое столь же велико и мощно, как лебединые крылья, я бы вознес сию красавицу в небеса, но, увы! — оно слишком слабо и бессильно; однако я еще упомяну о ней в другом месте. Бесспорно одно: принцесса была прекрасна по весне своей жизни так же, как летом, осенью и даже зимою, хотя претерпела немало бед и родила множество детей.

Весьма прискорбно, что итальянцы, презирающие многодетных женщин, называют их scrofa, то есть «супоросая свинья»; на мой же взгляд, те, что производят на свет красивое, здоровое и благородное душою потомство, как та же принцесса, достойны лишь похвалы и Божьего благословения, а не подобного презрительного прозвища.

Я с полным правом могу воскликнуть: что за диво дивное то постоянство, с коим самое непостоянное и легкомысленное существо на свете, а именно красивая женщина, дает отпор всеразрушающему времени! О, не подумайте, будто это именно я так окрестил ее, — мне было бы весьма огорчительно хвастаться таковым мнением, ибо сам я глубоко уважаю постоянство некоторых женщин и вовсе не считаю ветреными всех их без исключения; слова сии принадлежат другому человеку, от кого я их и услышал. Я охотно рассказал бы здесь о многих еще дамах, как иноземных, так и французских, сохранивших красоту и в осень, и в зиму своей жизни, но ограничусь лишь двумя историями.

Первая — о ныне царствующей королеве Английской Елизавете, которая, по рассказам видевших ее, и посейчас красива, как никогда. И ежели это правда, то, стало быть, она и впрямь очень хороша, ибо я видел ее в лето и осень ее жизни; что же до зимы, то она весьма близка к ней, коли уже не достигла; я встречал сию королеву много лет назад и теперь знаю, сколько лет давали ей тогда, в первую нашу встречу. Я полагаю, красота ее столь долго сохраняется оттого, что она никогда не бывала замужем и не познала всех тягот брака и частых родов. Вообще королева эта достойна всяческого восхваления, вот только смерть прекрасной, благородной и изысканной королевы Шотландской сильно повредила ее репутации.

Другая дама — также иноземная принцесса, госпожа маркиза де Гуа, донья Мария Арагонская, — также сияла красотою в свои весьма преклонные годы; я сам видел ее и хочу поведать вам об этом в истории, которую постараюсь сократить, елико возможно.

Через месяц после смерти короля Генриха скончался Папа Павел IV Караффа, и понадобилось собрать всех кардиналов для избрания нового Папы. Вот почему и кардинал де Гиз выехал из Франции в Рим морем, на королевских галерах; адмирал флота и великий приор Франции, брат названного кардинала, как и подобает любящему родственнику, самолично командовал этой флотилией из шестнадцати кораблей. Погоды стояли благоприятные, дул попутный ветер, и через две недели они уже прибыли в Чивита-Веккью, а оттуда и в Рим; там господин приор, видя, что подготовка к выборам затягивается (она и впрямь взяла целых три месяца) и брат его вернется не скоро, а галеры без дела простаивают в порту, решил пока наведаться в Неаполь, дабы осмотреть этот город и приятно провести время.

По прибытии его в Неаполь вице-король — а им был тогда герцог Алькала — принял его с королевскими почестями. Но, подплывая к берегу, адмирал приветствовал город внушительными пушечными залпами; канонада эта длилась довольно долго, город и окружающие замки отвечали тем же; казалось, небеса вот-вот расколются от этого грохота. Задержав галеры свои на рейде, точно при морском сражении, адмирал выслал на берег шлюпку с господином д'Этранжем из Лангедока, весьма достойным и речистым дворянином, дабы тот успокоил вице-короля относительно его намерений и испросил дозволения (у нас тогда был мир с итальянцами, хотя время от времени и случались военные стычки) войти в порт, осмотреть город, посетить могилы предков, там погребенных, и, окропив их святой водою, вознести к Господу молитвы за души усопших.

Вице-король охотно дал на это свое согласие. Господин великий приор велел грести к берегу, приказав возобновить пальбу пуще прежнего из всего оружия, имевшегося на борту шестнадцати галер, — пушек, кулеврин, аркебуз и прочего, так что все окуталось дымом и огнем; затем весьма торжественно пришвартовался к причалу, распустив по ветру все, какие были, паруса, штандарты и флаги; борта галер, по его распоряжению, затянули алым бархатом, адмиральский же корабль — дамасским шелком; гребцов-каторжников также одели в алый бархат, как и солдат-гвардейцев, чьи камзолы украшал серебряный позумент; командовал ими храбрый и достойный капитан Жоффруа, родом из Прованса; можете поверить, что зрители сочли наши французские галеры весьма приглядными с виду, быстроходными и маневренными, особливо главную из них, «Реал», которая была безупречна по всем статьям, и неудивительно, ибо принц-адмирал отличался любовью к роскоши и величию, а также несравненным великодушием.

Итак, пристав к берегу с большой помпой, он сошел на причал вместе со своей свитою; всех нас уже ожидали экипажи и лошади, присланные вице-королем, дабы отвезти в город; среди сотни лошадей были и рослые скакуны, и низенькие испанские кони, и марокканские лошадки, одни красивые, другие более невзрачные, но все под бархатными попонами, богато расшитыми золотом и серебром. Кто-то поехал верхами, другие в экипажах, коих имелось десятка два; их везли самые прекрасные лошади в роскошнейшей упряжи. Там же поджидало нас множество принцев и знатных сеньоров, как неаполитанцев, так и испанцев, которые весьма почтительно и церемонно приветствовали господина приора от имени вице-короля. Господин приор сел на испанского коня; я такого великолепного скакуна давно уж не видывал; впоследствии вице-король подарил его гостю. Конь замечательно слушался седока и выделывал всякие изящные «курбеты», как принято было выражаться в то время.

Господин приор, столь же опытный всадник, как и моряк, превосходно держался в седле и умел заставить коня показать себя во всей красе, да и себя самого также, ибо, надо сказать, он был одним из красивейших принцев своего времени и отличался ловкостью, силой, высоким ростом и мужественным сложением, чем сильные мира сего редко могут похвалиться. Итак, его с почестями препроводили к вице-королю, который уже поджидал его и встретил в высшей степени торжественно: поселил у себя во дворце и оказал прямо-таки царский прием своему гостю, его свите и войску, и не даром, поскольку получил на этом путешествии двадцать тысяч экю. В свите же нас, дворян, капитанов галер и прочих, насчитывалось до двух сотен человек, коих большинство расселили по домам знатных господ, где каждого приняли радушнее некуда.

С самого утра, едва лишь мы встали с постелей, явились к нам проворные и услужливые проводники, готовые сопровождать по городу, показывать и рассказывать все, что угодно. Стоило спросить коня или карету, как тотчас желание гостя исполнялось; притом вам подводили лошадь столь дивную, в столь богатой сбруе, что самому королю впору; всякий из нас проводил день по своему вкусу и желанию. А уж забав и удовольствий в городе имелось в избытке; единственное, чего там недоставало, так это непринужденных и доверительных бесед с порядочными и достойными дамами (ибо других женщин тут хватало). Вот тут-то и оказала нам помощь госпожа маркиза де Гуа, ради которой я и веду сей рассказ: из учтивости и благорасположения к господину приору, а также из желания оказать честь его достоинствам, она, увидя его скачущим на коне по улицам и признав, как обычно

признают друг друга знатные и благородные особы (а она была таковою во всех отношениях), послала к нему однажды достойнейшего дворянина передать, что ежели бы пол ее и обычаи сей страны позволяли навестить его, она тотчас и весьма охотно сделала бы это, дабы услужить гостю всем своим влиянием, по примеру наизнатнейших местных вельмож; однако за невозможностью такого визита просит господина приора принять ее извинения и предоставляет в его полное распоряжение и дома свои, и замки, и все, чем владеет.

Господин великий приор, который был сама учтивость, велел благодарить даму в самых почтительных выражениях и передать, что явится поцеловать ей ручки тотчас после обеда, что и не замедлил сделать, явившись в сопровождении своей свиты, то есть всех нас. Мы нашли маркизу в парадной зале, в обществе двух дочерей, донны Антонины и донны Иеронимы или Джоанны, точно не вспомню, ибо вокруг находилось такое множество прелестных и очаровательных дам и девиц, что вряд ли где-нибудь еще, кроме разве Франции и Испании, встречался мне эдакий цветник.

Госпожа маркиза поздоровалась с нами по-французски и приняла господина приора с величайшими почестями; он отвечал ей весьма почтительно, con mas gran sossiego[48], как выражаются испанцы. В этот раз беседа их касалась лишь общих тем. Некоторые из нас, кто говорил по-итальянски и по-испански, заняли разговором других Дам, кои показались нам привлекательными и кокетливыми, а также весьма и весьма любезными.

Когда гости собрались уходить, госпожа маркиза, уже знавшая, что господин приор намерен пробыть в городе Две недели, сказала ему: «Сударь, когда вам нечем будет заняться, вы всегда можете оказать мне честь своим посещением; смею вас заверить, что вам здесь окажут прием не хуже, чем в доме у вашей матушки, так что можете располагать моим временем так же, как располагали бы ее собственным, притом без всяких церемоний. Знайте, что сюда, ко мне, любят сходиться многие красивые и досточтимые дамы нашего города, да и всего королевства, и, поскольку молодость ваша и общительный нрав побуждают вас ко встречам с такими дамами, я и попрошу их являться в мой дом чаще обычного, дабы составлять компанию вашей милости и благородным дворянам, вас сопровождающим. А вот и мои дочери, коим я прикажу, хотя воспитание их еще не завершено, занимать вас, беседовать по-французски, шутить, смеяться, резвиться и танцевать так же свободно и вместе с тем скромно и достойно, как делается это при французском дворе, и буду весьма

рада сим встречам, ибо прискорбно столь юному, прекрасному и достойному принцу проводить время со старой, унылой развалиною вроде меня; молодость и старость вместе не сходятся».

Господин великий приор живо опроверг последние слова маркизы, возразив, что она и старость не имеют ничего общего, что осень ее жизни даст сто очков вперед весне и лету иных дам, находящихся в этой зале; и впрямь, маркиза была все еще очень хороша собою, превосходя красотою даже обеих своих дочерей при всей их юной прелести, а ведь ей в ту пору было далеко уж за шестьдесят. Сей комплимент господина приора пришелся ей весьма по душе, судя по оживленному ее лицу, кокетливой позе и любезным словам.

Мы покинули дом, до глубины души очарованные этой прекрасной дамой; особенно восхищался ею сам господин приор, по его собственному признанию. И уж можете мне поверить, что после радушного приглашения досточтимой хозяйки и других очаровательных дам господин приор что ни день являлся туда если не с утра, то непременно ввечеру. И он взял в любовницы старшую дочь маркизы, хотя предпочел бы ее самое, но это, как говорится, рег asombrar la cosa[49].

И вот начался праздник за праздником, бал за балом, где господин приор играл, разумеется, первую скрипку. Короче сказать, мы попали в столь любезное и веселое общество, что вместо двух намеченных недель провели там все шесть, отнюдь не жалуясь на скуку, ибо каждый из нас, по примеру своего командующего, завел себе любовницу. Мы пробыли бы в городе и дольше, ежели бы не курьер от короля, привезший известие о войне, начавшейся в Шотландии, так что приходилось спешно переводить галеры с востока на запад; впрочем, плаванье это заняло целых восемь месяцев.

Пришла пора распрощаться с прекрасным и гостеприимным городом Неаполем и со сладостными нашими утехами, что и господин приор, и все мы сделали с величайшей печалью и сожалением, не желая разлучаться с местами, где вкусили столько счастья.

Шесть лет спустя пришлось нам идти на помощь Мальте. Очутившись в Неаполе, я осведомился, жива ли еще госпожа маркиза; мне сообщили, что она по-прежнему живет здесь, в городе. Я тотчас отправился к ней и был встречен дворецким, который пошел доложить своей хозяйке, что я желаю засвидетельствовать ей свое почтение. Маркиза вспомнила мое имя (Бурдей) и пригласила подняться в ее покои. Я нашел ее в постели, она недомогала флюсом, но оказала мне самый

радушный прием. Как мне показалось, она почти не изменилась, оставшись такой красивою, что вполне могла бы свершить известный смертный грех — в мыслях или на деле.

Она заставила меня подробно рассказать об уже покойном господине приоре, обо всех обстоятельствах его смерти, последовавшей, как ей донесли, от яда, и без конца проклинала несчастного, решившегося на сие злодейство.

Я опроверг эту сплетню, заверив маркизу, что верить ей не следует и что умер он от скрытого воспаления легких, которое подхватил в битве при Дрё, где весь день Напролет сражался, подобно Цезарю; уже к вечеру, в последней схватке, он, сильно разгорячившись, простудился — а холода стояли лютые — и скончался от сей болезни месяц или полтора спустя.

По лицу и словам маркизы было видно, как горько она о том сожалеет. Заметьте: за два или три года до смерти господин приор послал в Неаполь две галеры под командованием одного из своих подчиненных, капитана Больe. Любопытно то, что галеры эти шли под флагом королевы Шотландской, который в южных морях никогда не видывали, ибо по причине союза с турками не могло быть и речи о том, чтобы плыть под французским флагом. Господин великий приор повелел капитану Больe идти в Неаполь и приветствовать от его лица госпожу маркизу и двух ее дочерей, передав им множество забавных безделушек и подарков, бывших тогда в моде при французском дворе; они продавались в лавках возле Дворца правосудия; нужно сказать, что господин приор отличался бесконечной щедростью и широтою души.

Разумеется, капитан Больe выполнил сие поручение и предоставил маркизе все дары, принятые с величайшей признательностью; посланника отблагодарили не менее богатым подарком.

Госпожа маркиза была так тронута и подношениями и памятью господина приора, что без конца говорила о нем и о том, как оценила и полюбила его за доброе к ней отношение. Надобно добавить, что из любви к нему она оказала еще одну милость, а именно заботливо ухаживала за молодым гасконским дворянином, прибывшим в первый приезд на одной из галер господина приора и захворавшим какой-то смертельной болезнью. Но судьба сжалилась над ним: благодаря внимательному уходу названной дамы юноша избежал смерти; когда он совсем оправился, она взяла его к себе в дом для помощи и услуг; когда же в одном из ее замков освободилась должность начальника гарнизона, предоставила сей пост молодому человеку, а заодно подыскала ему богатую невесту.

Никто из нас не знал, что сталось с юным гасконцем; мы

сочли его умершим. Но во время плаванья на Мальту повстречался нам дворянин, приходившийся тому младшим братом; однажды он рассказал мне о главной цели своего путешествия, состоявшей в поисках брата, служившего у господина великого приора и оставшегося шесть лет тому назад в Неаполе; с тех пор он не подавал о себе никаких вестей. Я вспомнил о том гасконце и расспросил о нем у людей маркизы, которые и поведали мне о его спасении и удаче; сию добрую весть я не замедлил передать младшему брату, который горячо благодарил меня; затем вместе со мною навестил маркизу, узнав от нее множество других подробностей сего дела, после чего поехал свидеться с братом туда, где тот находился.

Вот истинная преданность в память о дружеских чувствах, которые, как я уже говорил, маркиза питала к господину приору; она оказала мне самый любезный прием и долго беседовала о прошедших временах и всяких прочих вещах, доставляя своим обществом несказанное удовольствие, ибо отличалась замечательным остроумием и красноречием.

Она умоляла меня жить и столоваться только у ней в доме, и нигде более, от чего я, однако же, отказался, не желая прослыть надоедливым прихлебалою. Зато я навещал ее каждодневно в течение всей недели, что находились мы в Неаполе, и неизменно находил радушный прием у хозяйки дома, чьи двери всегда были открыты для меня.

Когда же я пришел прощаться, она вручила мне рекомендательные письма к сыну ее, маркизу де Пескайре, в ту пору командующему испанской армией; кроме того, она взяла с меня слово, что по возвращении я непременно ее навещу и остановлюсь не иначе как в ее доме.

К несчастью для меня, галеры смогли причалить лишь в Террачине, откуда мы отправились в Рим, почему я и не смог вернуться, тем более что решил идти на Венгерскую войну; однако, находясь в Венеции, мы узнали о смерти султана Сулеймана. Вот когда проклял я свое невезение, помешавшее мне вновь наведаться в Неаполь, где можно было провести время несравненно приятнее; вполне возможно, что с помощью госпожи маркизы я нашел бы свое счастье через удачную женитьбу или как-нибудь иначе, поскольку она удостоила меня своею дружбой и благоволением.

Вероятно, злосчастная моя судьба распорядилась так, что я снова оказался во Франции, дабы претерпевать там бесчисленные невзгоды; фортуна ни разу не улыбнулась мне, разве что подарив репутацию галантного кавалера и благородного дворянина, но притом обделив богатством и отличиями, не в пример некоторым

моим товарищам с куда более скромными задатками; прежде многие из этих господ сочли бы себя весьма польщенными, заговори я с ними при дворе, в спальне короля или королевы или в бальной зале, хотя бы свысока, через плечо; нынче же я с прискорбием гляжу на их возвышение и на то, как они пыжатся и важничают, хотя ни в чем не превосходят меня и заслуги их гроша ломаного не стоят.

Что ж, могу с полным правом отнести к себе изречение, вышедшее из уст учителя нашего Иисуса Христа; «Нет пророка в своем отечестве». Возможно, что, служи я иноземным принцам столь же усердно, как и моим, ищи я себе удачу подле них, как искал ее подле наших повелителей, жить бы мне нынче в богатстве и довольстве, а не в печалях и болезнях тягостной старости. «Терпение! — говорю я себе. — Ежели это моя Парка выпряла мне такую нить, я проклинаю ее, ну а коли злосчастной моей судьбою я обязан моим принцам, то пусть и они идут ко всем чертям, разве что уже обретаются там, в аду».

Вот и завершен мой рассказ об этой почтенной даме; она скончалась, не утратив счастливой своей репутации красивой и достойной женщины и оставив после себя прекрасное многочисленное потомство, как то: старшего сына, господина маркиза, дона Хуана, дона Карлоса, дона Чезаре д’Авалоса (со всеми ними я знаком и рассказывал об этом в других своих писаниях), а также дочерей, которые ничем не хуже своих братьев. На этом я и закончу главное мое рассуждение.

РАССУЖДЕНИЕ ПЯТОЕ:
О склонности прекрасных и достойнейших дам питать любовь к мужам доблестным, а храбрых мужей — обожать смелых дам

Не случалось такого, чтобы прекрасные и достойные женщины — пусть по самой натуре робкие и застенчивые — не влюблялись в отважных воинственных мужчин, ибо воинская доблесть почитается столь неоспоримой добродетелью, что не любить за нее невозможно. Как удивительно это — влюбляться в свою противоположность наперекор собственной природе! И вот красноречивое доказательство: Венера, почитавшаяся некогда богинею любви, вежества и тонкого обращения, могла бы, казалось, на небесах либо на пирах Юпитера отыскать самого изысканного и прекрасного возлюбленного, когда ей пришла охота наставить рога своему простодушному супругу Вулкану, но избрала не самого утонченного, раздушенного и припомаженного из всех, а затеяла интрижку с Марсом, богом войны и победы; невзирая на то что он вечно измаран пылью и грязью сражений, что потом от него разит крепче, чем от иного придворного угодника духами; хуже того — подчас, спеша с поля битвы, чтобы возлечь с ней, весь забрызганный своей и чужою кровью, он и не помышлял перед тем привести себя в надлежащий вид и умаститься благовониями.

Благородная и прекрасная царица Пентесилея прослышала о невиданной доблести отважного Гектора, о его воинских подвигах у стен Трои, оборонявшейся против греков, — и молва эта воспламенила ее; она возмечтала иметь от него детей — сиречь дочерей, каковые могли бы наследовать ее престол, — явилась к нему под Трою; увидав же его, восхитилась сим зрелищем и сделала все, чтобы снискать его милость не только боевым своим пылом, но и весьма редкостной красотой; стоило Гектору выступить против врагов, как она пускалась в битву рядом с ним и даже впереди него — там, где жарче всего вскипало сражение; а посему, как говорят, ее несравненная храбрость и искусность в схватке так пленяли великого воина, что он подчас отодвигался в сторонку и замирал в самой гуще сражающихся, дабы вполне насладиться созерцанием доблестной царицы, сеющей гибель вокруг себя.

Нетрудно вообразить, сколь превосходен был бы плод их страсти, если бы они преуспели в этом. Однако им недолго

привелось любоваться друг другом, ибо она, чтобы еще больше понравиться властелину своего сердца, так часто и безрассудно пускалась в самую гущу нападавших, что однажды погибла в кровопролитнейшей из схваток. При всем том некоторые, напротив, утверждают, будто ей не удалось, прибыв в Трою, повидать Гектора, погибшего ранее; узнав об этой утрате, царица, как говорят, была столь поражена и удручена тем, что не сможет насладиться лицезрением героя, за которым так долго охотилась, разыскивая по всему свету, что по собственной воле сгубила себя в самых отчаянных и кровавых битвах и умерла, не желая жить без предмета своего влечения, избранного средь достойнейших.

Так же поступила и Фалестрида, другая царица амазонок: она пересекла целую страну, проделав очень длинный путь, ведомая желанием увидеть Александра Великого, чтимого во всех землях, и попросить его из милости или по взаимной склонности (ах, благословенны времена, когда еще любили и дарили любовь по взаимной склонности!) разделить с нею ложе — чтобы получить отпрыск от столь великолепного и благородного побега. Александр уступил ее просьбе, а не сделай он этого — его должно было бы счесть человеком пресыщенным и испорченным; ибо упомянутая венценосная особа была столь же прекрасна, сколь храбра. Квинт Курций, Павел Орозий и Юстин уверяют, что она прибыла к Александру со свитой из трех сотен дам, так изящно державшихся на лошадях и так ловко обращавшихся со своим оружием, что одно удовольствие было на них смотреть. Царица в глубоком поклоне склонилась перед Александром, а тот принял ее с великими почестями и провел с ней тринадцать дней и тринадцать ночей, потакая всем ее желаниям и прихотям; не переставая притом повторять, что если она родит дочь, то да хранит ее сама как зеницу ока, а ежели сына — пусть пошлет его к нему (ибо знал о ее истовой ненависти к мужскому полу и о том, что амазонки некогда — сразу после того, как умертвили собственных мужей, — издали законы, в согласии с которыми над ними не стало мужчин-военачальников и повелителей).

Можно не сомневаться, что прибывшие с нею дамы и их оруженосицы, в подражание своей предводительнице, поступили подобным же образом и для продолжения рода избрали себе по своим достоинствам доблестных мужей Александровой свиты.

Обольстительная и высокородная Камилла, беспорочная девица, верно служившая своей покровительнице Диане, что охотилась в рощах и лесах, прослышав об отваге Турна в его единоборстве со столь же доблестным Энеем и узнав, как прискорбен жребий героя, в сердце своем приняла его сторону и отправилась к нему, захватив лишь трех из своих почтенных

подруг, бывших ее ближайшими наперсницами, а к тому же искусницами и затейницами в любовных забавах, что нередки промеж воительниц древности (к чести этих дам, они не переставали ублажать свою госпожу везде, где бы она ни была, как сказано у Вергилия в его «Энеидах»; а звали одну из них Армейя, что означает «дева-воительница», другую — Туллия, третью же, ловко владевшую и копьем и дротиком, — Тарпея, и все они, надо сказать, были италийки).

Итак, Камилла, возглавив сей прекрасный маленький отряд (ведь говорят же: хоть мал, да удал и пригож), явилась к Турну, каковой весьма восхитился, воздав должное и прелестям своей гостьи, и ее отважной помощи в его ратных делах; она же столь часто выходила на битву вместе с храбрыми троянцами, что, к немалой горести Турна, обрела там свою погибель. Вот как великодушные и прекрасные девы, избирая смелых и доблестных воинов, помогали им в подвигах на поле брани.

А что иное, нежели бесстрашие Энея, вложило, если верить Вергилию, столь пылкую страсть в грудь бедной Дидоны? Ведь после того как она пожелала узнать о сражениях, разорении и разрушении Трои и он, множа собственные горести подобными воспоминаниями, поведал ей об этом — не забыв упомянуть и о своих победах, — та, не упустив из виду, сколь он отмечен воинским гением, тотчас открылась своей сестре Анне в любви к нему. Самыми проникновенными и важными в ее устах были слова: «Ах, сестра моя, что за гость явился ко мне! Как он хорош собой и сколь милы моему сердцу его неукротимый дух и воинственность в поединках и битвах! Твердо верую, что происходит он из племени богов, поскольку сердца храбрецов от природы робки». Таковы были ее слова. И поверьте, она пленилась им не только потому, что сама была благородна и отважна и душевная склонность подвигала ее любить свое подобие, но и в надежде воспользоваться его услугами, если придет такая нужда. Однако презренный обманул ее и покинул, хотя был не вправе совершить подобную низость по отношению к даме, отдавшей сердце отверженному чужестранцу.

Боккаччо в своей книге «О несчастьях знаменитых людей» поведал нам о некой герцогине Фурлийской, по имени Ромильда; она лишилась мужа, а также и всех земель и владений; притом Кокан, король аваров, отнявший их у нее, осадил ее поместье. Так вот, однажды, когда он приблизился к фурлийским стенам, дабы обозреть их, Ромильда, стоявшая у зубцов башни, заметила его и залюбовалась им; долго она восхищалась, как он красив на великолепном коне и в роскошных доспехах, как храбро бьется, подвергая себя опасности, словно последнего из своих воинов, —

и безрассудно влюбилась, позабыв и простив ему поединок с мужем, разорение и осаду. Она послала к нему гонца, передав с ним, что готова отдать поместье в тот самый день, когда он возьмет ее в жены. Король Кокан поймал ее на слове. И вот наступил условленный день, она облачилась в самые роскошные наряды, сделавшие ее, при всей ее недюжинной красоте, еще прекраснее, и пришла в лагерь короля, чтобы заключить брак. Тот, дабы никто не упрекнул его в измене данному слову, всю ночь ублажал распаленную страстью герцогиню. А на следующее утро, поднявшись с постели, призвал дюжину аваров-солдат из своего войска, известных своей жестокостью и силой, и передал им Ромильду, приказав по очереди заниматься с нею любовью, сколько им заблагорассудится. После того как они хорошенько потрудились день и ночь, Кокан послал за женщиной, стал упрекать ее в похоти и грубо поносить, а под конец повелел посадить ее на кол через срамное место, отчего она и умерла. Поступил он, конечно, жестоко и по-варварски; за столь благородную смелость знатной дамы к ней следовало отнестись галантно и с любовью, коей она достойна! Однако женщины должны всегда помнить подобные вещи, поскольку храбрецам — так приученным убивать, фехтовать и крушить все на своем пути — иногда случается быть жестокосердными и перед дамами. Однако не всех Бог создал таковыми; некоторые, коль скоро благородная особа окажет им честь, одарив своей любовью, приберегают кровожадные безумства для часа бранной потехи, а в домашних покоях приучаются быть добропорядочными и обходительными.

Среди «Трагических историй» Банделло есть одна, которая кажется мне самой красивой из когда-либо читанных; и повествует она о том, как герцогиня Савойская однажды, выходя из ворот города Турина, услышала слова испанской монахини, шедшей в Лоретто во исполнение обета; та воскликнула, что, если бы столь обворожительная и знатная особа вышла замуж за ее брата — прекрасного и отважного сеньора де Мендосу, — можно было бы объявить повсюду, что брак объединил самых великолепных высокородных персон. Герцогиня, хорошо понимавшая по-испански, запечатлела в своей душе речь монахини — и в ее сердце зародилась любовь. Она воспламенилась такой страстью, что замыслила ложное паломничество к святому Иакову Кампостельскому — на деле же затем, чтобы увидеть своего возлюбленного и больше узнать о нем. Добравшись до Испании, она направила стопы к дому сеньора де Мендосы, смогла в свое удовольствие налюбоваться им и решила, что вправду избрала прекрасный предмет для своих

воздыханий. А дело было еще и в том, что сестра сеньора де Мендосы, сопровождавшая герцогиню, предупредила брата, что за прекрасная и благородная гостья явилась к нему, — посему он не преминул показать себя с лучшей стороны, появился перед ней на статном испанском скакуне и был столь обходительным, что мнимая богомолка — удостоверясь в справедливости похвал, расточаемых ему молвою, — еще крепче полюбила его и за красоту, и за мужественную, благородную осанку, каковую она ценила не менее прочих добродетелей и совершенств; ибо предчувствовала, что благородство его души окажется весьма не лишним в будущем, когда ей придется стерпеть ложный навет графа Панкальера, усомнившегося в ее чистоте. При всем том — хотя она нашла его смелым и предприимчивым в воинской науке — он оказал себя неловким в любви; при ней он держался холодно, почтительно, не решаясь на осаду ее сердца пламенными речами, а жаль: это бы ей понравилось более всего — ведь именно за такими усладами она и пускалась в путь. Вот почему, сочтя его почтительную сдержанность любовной трусостью, она, разочарованная, назавтра же отправилась восвояси, не испытав должного удовольствия.

Как видно, подчас дамы столь же пылко привечают отважных в любовной науке, сколь и в воинской, и не потому, что желают, чтобы те были слишком дерзкими и непочтительными, неукротимыми и глупыми, как многие известные мне люди, — нет, здесь потребен medium[50].

Я знавал многих, кто упустил счастливый случай только лишь из сугубой почтительности, и мог бы припомнить сколько угодно поучительных историй об этом, но опасаюсь, что они заведут меня в сторону, и потому поведаю о них в ином месте; а пока ограничусь единственной.

Слышал я, что однажды некая дама, притом из красивейших, прознав о доблестях одного молодого принца, уже одержавшего победу в двух баталиях и особо прославившегося своими воинскими подвигами, страстно за-хотела его увидеть и ради этого, изобретя какой-то предлог, о котором мне не ведомо, отправилась в провинцию, где он тогда пребывал. Что есть невозможного для смелого и любящего сердца? Она видит его — и в свое удовольствие наслаждается этим зрелищем, поскольку он загодя выезжает далеко навстречу ей и встречает ее со всеми возможными и невозможными знаками почтительности, достойными столь блистательной и высокорожденной особы. В этом, как утверждают некоторые, он даже слишком преуспел: приключилось то же, что было меж сеньором де Мендосой и герцогиней Савойской; здесь также чрезмерная вежливость и

скромность породили подобное же неудовольствие и разочарование. И она отправилась назад с теми же притязаниями, с какими прибыла. Весьма вероятно, что, ограничившись малым, он лишь потерял время, и она не подчинилась его прихоти; как бы то ни было, делу это не помогло, хотя оба вышли из положения с немалым достоинством и заслужили всеобщее уважение.

Так чему же послужит предприимчивая дерзость, ежели она не окажет себя равно в боевом деле и амурных приключениях? Ведь бранная и любовная потехи сродни друг другу и пользуются одинаковым почетом; как сказано У древнего поэта: «Всякий возлюбленный — воин; и Купидон, подобно Марсу, располагает своими укреплениями и оружием». Господин де Ронсар сочинил по этому поводу красивый сонет в первой книжке своих «Любовных стихов».

Итак, желая еще раз возвратиться к тому, с каким интересом относятся нежные особы к благородным и отважным мужам, приведу то, что слыхал о беседе ныне царствующей королевы Английской Елизаветы с великим приором Франции из Лотарингского дома и господином д'Амвилем, ныне известным под именем коннетабля де Монморанси. Перебирая за ужином достойные добродетели, все стали хвалить покойного монарха Генриха II за его великодушие и доблесть как на поле брани, так и в миру. И тут ее величество назвала его «весьма воинственным» во всех деяниях. Королева Англии присовокупила, что, не погибни он так рано, она бы исполнила свое намерение посетить сего короля в его владениях и даже повелела приготовить галеры для путешествия во Францию, чтобы собственноручно заключить договор о мире и верности. «Это, наконец, было одним из моих желаний, — заключила государыня, — повидать его; думаю, и он сам не отказал бы мне в этом. Ведь мне по нраву мужественные люди, и меня рассердило, что смерть похитила столь храброго короля, по крайней мере до того, как я смогла с ним встретиться».

Та же королева спустя некоторое время, услышав столько хорошего о господине де Немуре — о его достоинствах и совершенствах, — захотела разузнать о нем у ныне покойного господина де Рандана, когда король Франциск II послал его в Шотландию заключать мир под Малым Лейтом, который был осажден. И господин де Рандан поведал ей о его великих добродетелях и доблести; а поскольку посол столь же хорошо разбирался в делах любовных, как и в военной науке, он распознал в лице государыни искорку любви и сердечного расположения и разжег в ней желание увидеть Немура воочию. Не

желая останавливаться на уже проторенной дорожке, он взял у нее слово, что ежели Немур явится, его примут охотно и радушно, а из этого заключил, что дело может окончиться свадьбой.

Управившись с поручением, он поспешил ко двору и в подробностях описал свою беседу королю и господину де Немуру. Король настоял на том, чтобы господин де Немур прислушался к сим словам, что тот и сделал с отменным удовольствием, ибо это обещало ему получить столь великие владения через союз с такой красивой, добродетельной и благородной королевой.

Дело сразу разгорелось; на немалые средства, выданные королем, он приготовился основательно, не жалея денег: ливреи, наряды, лошади, оружие были выбраны самого лучшего свойства и не скупясь, ничего не упустили — я сам тому свидетель. Все было готово, чтобы предстать пред очи прекрасной монархини, а сопровождать жениха стремились самые блистательные кавалеры французского двора, что побудило королевского шута Греффье написать, будто за море навострился «весь цвет нашего дворянского чертополоха», и этим уколоть легкомысленную придворную молодь.

Меж тем господин де Линьероль, весьма ловкий и обходительный человек, в те времена пользовавшийся покровительством господина де Немура, был отправлен к упомянутой королеве и возвратился с прекрасным и достойным ответом, в котором монархиня выражала свое удовольствие и торопила с приездом. И помнится мне, что при дворе уже считали этот брак делом решенным, но затем вдруг помолвка расстроилась — все так и остались ни с чем, при больших тратах, оказавшихся бесполезными и напрасными.

А я бы лишь прибавил, что тот французский вельможа, от коего и зависел этот разрыв, был, возможно, одержим иными любовными увлечениями и не смог вырваться из их плена, ибо он слыл столь совершенным во всем — молва признавала за ним безусловное первенство и в доблести, и в прочих добродетелях, — что дамы преследовали его по пятам; и на моих глазах немало ловких обольстительниц или непорочных девиц были готовы пожертвовать ради него своим обетом целомудрия.

В «Ста новеллах» Маргариты, королевы Наваррской, мы найдем удивительную историю некой дамы из Милана, уступившей покойному господину де Бонниве, что стал потом адмиралом Франции, когда он домогался от нее любви. В ту ночь названная особа созвала служанок с обнаженными шпагами, чтобы они устроили шум в прихожей, лишь только француз соберется укладываться в постель; те все исполнили по слову хозяйки; она же, приняв испуганный вид, запричитала, что теперь

ей конец; там, снаружи, ее грозные братья — и ему надлежит поскорей забраться под кровать или укрыться за занавесью. Однако господин де Бонниве не устрашился; одну руку он замотал плащом, другой сжал рукоять шпаги и сказал; «Где эти достойные братья, что вздумали меня напугать или навредить мне? Когда они увидят меня — они не осмелятся взглянуть даже на кончик моей шпаги». С тем он распахнул дверь и вышел, готовый к схватке, но увидел лишь женщин, дотоле производивших большой шум и звон; теперь же они перепугались и, перебивая друг дружку громкими восклицаниями, поспешили во всем сознаться. Господин де Бонниве, не увидя достойного противника, послал их всех к дьяволу; возвратился в комнаты, затворил за собой дверь и приблизился к даме; а та принялась смеяться и целовать его, признав, что сама подстроила все это, и уверяла, что никогда не допустила бы его до себя, будь он трусом и не докажи храбрости, приписываемой ему молвою; коль скоро же он явил себя таким решительным и бравым, она осыпала его лобзаниями, увлекла на ложе; и о том, как протек остаток ночи, нам уместнее помолчать, ибо мы ведем здесь речь об одной из самых очаровательных красавиц Милана, чью взаимность Бонниве пришлось завоевывать весьма долго.

Я был знаком с одним достойным дворянином, которому дама, разделявшая с ним постель в отсутствие мужа, устроила подобный же подвох: вдруг к ним вбежала ее служанка и объявила, что супруг вернулся. Дама, прикинувшись удивленной, попросила его спрятаться в дальних покоях, ибо, уверяла она, иначе ее ждет погибель. «О нет, — вскричал этот господин, — я не буду прятаться, а ежели он войдет — я убью его!». Одним прыжком он бросился к своей шпаге; прелестница же рассмеялась и призналась, что решила проверить, способен ли он защитить себя и ее, если подобное произойдет взаправду.

Знал я еще весьма пригожую собою даму, каковая внезапно и без объяснений отвергла поклонника, сочтя его недостаточно мужественным, и заменила другим, по красоте намного ему уступавшим, но чья шпага, одна из лучших в тогдашнем королевстве, вызывала всеобщий страх.

А некогда от умудренных годами людей я слыхал историю об одной придворной обольстительнице, возлюбленной покойного господина Делоржа, человека великодушного и в свои молодые лета слывшего одним из храбрейших военачальников. Наслышавшись от многих рассказов о его мужестве, она однажды, когда король Франциск I и его приближенные наслаждались зрелищем стравливаемых львов, уронила в львиный ров перчатку и, невзирая на то что звери были очень разъярены, попросила

господина Делоржа подобрать ее — ежели он любит ее так, как утверждал. Тот же, не выразив удивления, одну руку обмотал плащом и со шпагой в другой вошел ко львам, чтобы подобрать оброненную перчатку. Фортуна оказалась к нему столь благосклонна и сам он повел себя так уверенно, что львы устрашились клинка и не осмелились напасть на него. Он же, подобрав перчатку, возвратился к возлюбленной и вернул ей ее, причем она и все присутствующие разразились хвалами на его счет. Однако поговаривают, что после этого господин Делорж покинул ее, сочтя, что она воспользовалась этим его шагом только ради собственного развлечения и чтобы выказать, насколько ее положение прочно. А некоторые прибавляют, что он, рассердившись, не просто возвратил, а бросил ей перчатку прямо в лицо, поскольку предпочел бы, чтобы его сотню раз послали сражаться в одиночку против роты пехотинцев, нежели мериться силой со зверьми, что не могло доставить славы. И впрямь, подобные испытания не служат прекрасным или достойным зрелищем: подвигать на них уважаемых людей — оскорбительная забава.

Не более этого мне нравится выходка другой дамы, которая в ответ на заверения вздыхателя, молившего о благосклонности и пылко твердившего, что нет такой услуги (сколь много смелости она ни потребует), в какой он бы мог ей отказать, пожелала поймать его на слове и молвила: «Если вы меня так сильно любите и страх воистину вам неведом — вонзите кинжал себе в плечо ради любви ко мне». Тот, вправду готовый на смерть ради любимой, тотчас вытащил клинок и чуть было не нанес себе рану, если бы я не перехватил его руку и не выхватил у него кинжал, заметив ему, что так поступать и подобными выходками свидетельствовать о своей страсти и великодушии — сущее безумие. Имя дамы я называть не хочу, но воспаленного страстью виконта звали Клермон-Тайар-старший, он потом сложил голову в сражении под Моконтуром; я питал к нему большую симпатию: это был один из самых мужественных и отважных людей во Франции, что, впрочем, доказала его гибель при наступлении во главе роты конных латников.

Если верить слухам, подобное же случилось с покойным господином де Жанлисом, который нашел свой конец в Германии, возглавив отряды гугенотов во время их третьего возмущения. Как-то он переправлялся через реку у Лувра вместе со своей возлюбленной, и она уронила в воду богато вышитый платок (причем сделала это нарочно), а затем попросила его нырнуть за ним. Плавал он не лучше камня, а потому попробовал отговориться — не тут-то было: она назвала его боязливым

трусом; и он, ничего не ответив, бросился в чем был в реку и чуть не утонул, если бы не подоспела другая лодка и его не вытащили.

Сдается мне, что подобными причудами женщины пытаются освободиться от поклонников, которые, быть может, им давно приелись. В таком случае более пристало бы оказывать своим кавалерам достойные знаки внимания и побуждать их ради любви, какую те питают, отправиться на место славных сражений и выказать там свою доблесть, а не подталкивать их к глупым выходкам, как те, что я уже привел, и многие похожие на них, что я мог бы рассказывать без конца.

Так, помнится мне, во время первых возмущений гугенотов, когда мы начали осаду Руана, мадемуазель де Пьенн, одна из весьма достойных фрейлин двора, засомневавшись, достаточно ли образцово вел себя господин де Жерсей на поединке с почившим бароном д'Энграндом и действительно ли он без посторонней помощи убил одного из славнейших вельмож Франции, — дабы испытать его мужество, оказала ему честь, одарив белым шарфом, каковой он приколол к плюмажу и во время разведывательной вылазки к форту Святой Екатерины с безумной отвагой врезался в конный отряд, появившийся из ворот осажденной крепости; почти тотчас он получил пулю в голову и умер; названная девица была вполне удовлетворена, ибо ее сомнения в доблестях избранника рассеялись; она потом говорила, что охотно вышла бы за него замуж, если бы не сомнения в его отваге и в том, что он по всем правилам убил упомянутого барона, — именно они подвигли ее сделать такой опыт. Понятно, что хотя на свете нет недостатка в людях, храбрых от природы, дамы побуждают их ко все новым и новым подвигам — а если те поддаются опасениям и робеют, владычицы их сердец их к тому вдохновляют и распаляют всеми способами.

Нагляднейший пример этого подала прекрасная Агнесса, каковая, видя, что увлеченный ею монарх Карл VII не думает ни о чем, кроме своей любви, и в разнеженности и слабости душевной забросил государственные заботы, однажды поведала ему, что еще в раннем девичестве некий астролог предсказал, будто суждено ей стать возлюбленной и госпожой самого мужественного и воинственного в христианском мире короля; и вот, продолжала она, когда повелитель французов оказал ей честь своей привязанностью, она подумала: именно он — тот, кого ей предназначили звезды; но теперь, видя его столь вялым и так мало пекущимся о делах страны, она понимает, что ошибалась: истинный ее повелитель — английский монарх, столь ловкий в воинских делах и к тому же прямо из-под носа французского суверена похитивший столько богатых городов. «А посему, —

заключила она, — я, пожалуй, отправлюсь к нему, ибо именно на него, как видно, указывал мне звездочет». Таковые слова столь больно уязвили сердце короля, что он заплакал; дальше — больше: его обуяла храбрость, он оставил охоты и прогулки в своих парках, закусил удила и начал вести себя столь смело, так цепко ловил удачу, что изгнал англичан из своего королевства.

Бертран Дюгеклен, женившись на мадам Тифании, посвятил всего себя ее услаждению — и вовсе забросил военные дела (он, так долго и успешно подвизавшийся на воинском поприще и снискавший столько славы и похвал); однако супруга вскоре принялась его укорять и указывать на неприличие такой жизни: до брака все только и говорили что о нем и его свершениях, а теперь они вправе упрекать прежде всего ее самое за то, что отвлекла мужа от его подвигов, тем самым обрекая себя и его, погрязшего в домашних заботах, на всеобщую хулу. И дама не успокоилась, пока к нему не вернулась утраченная смелость; он снова отправился на войну и совершил более, нежели раньше.

Сия почтенная особа принесла полночные удовольствия в жертву чести своего супруга. Да и наши собственные жены, глядя на нас, когда мы поблизости, не могут уделить нам довольно места в своем сердце, если мы не отмечены храбростью и не удостоились славы; но зато, когда мы возвращаемся из похода, совершив что-либо достославное или великое, они любят и обнимают нас от всей души и их переполняет радость.

Четвертая дочь графа Прованского, тестя Людовика Святого, и жена Карла, графа Анжуйского, брата упомянутого короля, — женщина властная и честолюбивая, — не находила себе места оттого, что была простою графиней Анжуйской и Прованской, не имея иных титулов (тогда как из ее сестер две были королевами, а третья — императрицей); она же именовалась лишь дамой и графиней — и потому без устали просила, тормошила своего супруга, всеми средствами изводила его, побуждая добиться какого-никакого королевства. Она достигла своего: супруги были возведены Папой Урбаном на трон Обеих Сицилий (на тридцати галерах отправились они в Рим на роскошную церемонию коронования), а затем сделались повелителями Иерусалима и Неаполя, коими овладели позднее благодаря отваге Карла, но и не без помощи богатств его жены, продавшей все перстни и иные украшения, чтобы ему достало на военные расходы; и они долго, до конца дней, мирно правили в завоеванных землях.

А много позже одна из их внучек, Изабо Лотарингская, дитя царственных кровей, так же точно поступила со своим супругом Рене: он оказался пленником в руках Карла, герцога Бургундского; она же, будучи от природы исполнена мудрости,

величия и отваги, набрала тридцать тысяч войска, повела его сама и, взяв приступом Неаполь, отвоевала королевство Обеих Сицилий, положенное ей по наследству.

Я мог бы бессчетно перечислять дам, гордых духом и помыслами, много послуживших своим мужьям и подвигнувших их возвыситься, силою оружия присвоить себе земли, богатство и удостоиться почестей. Что славнее достояния, добытого острием шпаги? Мне ведомы многие во Франции при дворах наших сеньоров, кого вдохновила на подобное женщина, а не собственное мужество.

Среди прекрасных особ, известных мне, разумеется, немало и таких, что, не помышляя ни о чем, кроме собственных прихотей, держали кавалеров, в ущерб их доблести, при себе, довольствуясь лишь Венериными играми. Подобных я встречал часто, но не хотел бы удаляться от основы повествования, подвигающей читателя к добродетели, а не к греховным помыслам, ибо приятнее слышать о тех, кто побуждает своих избранников к благим делам. И речь здесь не только о замужних женщинах, но и о многих других, каковые ради самомалейшей милости, оказанной кавалеру, принуждали его делать самые немыслимые вещи. Да и в чем истинное удовольствие? Что более возвеличивает дух и переполняет сердце, чем воинские дела и знание, что о тебе тоскуют, что избранница твоя тебя любит, а ты радеешь о том, чтобы ее симпатия крепла, чтобы по возвращении тебе чаще видеть прелестную улыбку, испытывать сладкие чары, ловить лукавый взгляд, поцелуй, знак доброго расположения?

Когда Масинисса, весь покрытый кровью поверженных врагов, взял в жены Софонисбу, Сципион упрекал его, говоря, что во время войны не резон печься о дамах и любовных забавах. Надеюсь, он простил бы мне, Утверждающему, что нет большего наслаждения, чем помышлять о том, что все славные деяния совершаешь ради прекрасных глаз: ни от чего сильнее не бьется сердце и не вскипает мужество в крови. Так некогда чувствовал и я сам. Полагаю, что все, избравшие воинское поприще — таковы же; в этом могу за них поручиться. Они уж, верно, легко согласятся со мной: в пылу сражения, когда противник яростно наседает, мысль о даме сердца Удваивает силы; знаки ее расположения, украшающие доспех, придают отваги; а воспоминание о минувших ласках и предвкушение будущих охраняет жизнь; а ежели ему и случится умереть, то сожалеет он более о том, что покидает любимую. И наконец, когда добиваешься нежной благосклонности, всякое предприятие кажется нетрудным, битва — простым турниром, а гибель — победой.

Помнится мне, что в сражении под Дрё покойный господин Деборд — один из любезнейших и отважнейших кавалеров своего времени, что был лейтенантом у господина де Невера (прежде носившего титул графа Аугского), тоже вельможи весьма совершенных достоинств, в тот день, когда надобно было опрокинуть пехотный батальон, приближавшийся к авангарду, коим предводительствовал покойный господин де Гиз, прозванный Великим, — так вот, этот Деборд, едва дали знак наступать, бросается вперед на своем сером турецком скакуне, а на шляпе его развевается весьма замечательный бант, подаренный возлюбленной (не стану называть ее имени, но скажу, что она была одной из самых знатных и добродетельных девиц; притом весьма уважаема при дворе); и он пускается вскачь, воскликнув: «Ах, как славно я буду драться из любви к владычице сердца, а хоть и погибну, так со славой!» Последнего он не избежал: смяв первые шесть рядов наступавших, в седьмом был сбит с коня и порублен. И что же, по-вашему, разве не с толком употребила красавица знак своего благоволения; и должна ли была она потом корить себя, что подарила эту ленту?

Господин де Бюсси с юных лет умел прославить цвета своей дамы не хуже прочих молодых людей того времени, причем готов поручиться, что среди властительниц его помыслов встречались такие, кто мог внушить поклоннику безумную отвагу не меньше, нежели прекрасная Анжелика, кружившая головы и христианским, и сарацинским рыцарям минувшего; да я нередко слышал и от него самого, что в очень многих единоборствах и ратных подвигах — а таковые случались у него везде, где бы он ни побывал, — он сражался не столько по долгу службы своему сюзерену или из желания прославить себя в свете, сколько ради одной лишь выгоды понравиться даме сердца. Конечно же, он был прав: все почести мира не стоят любви и милостей прекрасной и знатном особы — твоей возлюбленной и повелительницы.

А почему встарь столько добрых странствующих рыцарей Круглого стола и столько храбрых паладинов былой Франции несчетное число раз пускались в походы и битвы, отправлялись так далеко и надолго, если не из любви к прекрасным дамам, которым служили или мечтали служить? Вспомним всех, подобных Роланду, Рено, Ожье, Оливье, Айвону, Ришару и прочим, которым несть числа. Да, хорошее было времечко, счастливое: ведь тогдашние дамы неизменно платили взаимностью и благодарностью за каждый благородный подвиг в их честь и часто отправлялись навстречу своим избранникам или назначали им место свидания где-нибудь в лесу, у источника, на зеленой поляне или на цветущем лугу. Вот достойная награда

отважным и желанным кавалерам!

При всем том можно спросить: почему дамы любят кавалеров-смельчаков? Но, как я уже говорил вначале, храбрость обладает свойством и силой притягивать к себе особ противоположного пола. А кроме того, некая природная склонность побуждает дам ценить благородство души, каковое в сотню раз милее безволия: ибо всегда добродетель нам милее греха.

Иногда эти нежные создания выбирают тех, кто совершенно лишен иных достоинств, кроме смелости и ловкости в Марсовых забавах, полагая, что они столь же хороши и в Венериных утехах.

Не упомню, чтобы из этого правила нашлись исключения, тем более что мнение сие на самом деле близко к истине; пример тому — Цезарь, храбрейший из смертных, и множество других бравых воинов, о коих умолчу. Все они обладают такой силой и притягательностью, какие недоступны земледельцам или людям иных ремесел, ибо в деле каждый из них стоит четырех. Впрочем, сказанное здесь касается не особенно похотливых женщин, а не тех, кто без меры готов отдаться страсти, ибо им слишком уж нравится, когда наслаждения бессчетны. Но ведь в постели с иных храбрецов подчас и спрос невелик: бывает, что боевые тяготы и утомительное бремя походной жизни так истреплют кавалера, что он не может удоволить свою избранницу; да и среди женского сословия попадаются такие, кто предпочтет затейливого служителя Венеры с еще не обтрепанными яркими перышками четырем поклонникам Марса, измочаленным, как драная ворона.

На своем веку я повидал немало прелестниц такого склада; они желали прежде всего веселого препровождения времени и старались получать от жизни одни удовольствия, не склоняя слух к суждениям света. Добрый воин, если их послушать, хорош на поле брани, но с ним нечего делать на ложе утех; и здоровенный, оборотистый в постельных делах лакей стоит приметного и храброго, но усталого от ран и недугов дворянина.

Сужу об этом по словам весьма искушенных особ; да и впрямь чресла воина знатного рода — пускай он и смел, и весьма обходителен с нежными созданиями — слишком избиты и истерзаны его доспехами, что не способствует дородности, как у тех, кого миновали тяготы и невзгоды.

Встречаются и дамы, почитающие за благо иметь мужем или возлюбленным храбреца, потому что он лучше других может охранить их достоинство и чистоту и дать отпор всякому злоречивому наглецу. Такое нередко случается и при дворе; мне была знакома одна прелестная высокородная дама (об имени ее умолчу), ставшая жертвой многих наветов и потому отставившая

друга (любезного ее сердцу, но вялого духом и нескорого на расправу с обидчиками) и остановившая свой взор на другом, отчаянном рубаке, так сумевшем отплатить не в меру говорливым, что с той поры никто не осмеливался затронуть ее честь.

Немало славных жен, известных мне, имели подобные же пристрастия и всегда желали, чтобы их сопровождал и охранял какой-нибудь смельчак, что часто оказывалось весьма полезным; однако им, коль скоро они очутились в его власти, нельзя оступаться и переменивать свою привязанность: стоит такому защитнику заметить непостоянство дамы, как он выходит из себя и готов жестоко проучить и ее, и ее дружков — я в своей жизни повидал немало тому примеров.

Вот почему те мудрые женщины, что желают обзавестись храбрецами и забияками, должны сами вести себя с ними решительно и хранить постоянство либо проделывать все в такой тайне, чтобы их увлечения не выходили наружу. Или же им следует заблаговременно предупреждать любые недоразумения — подобно придворным дамам Италии и Рима, которые предпочитают всегда иметь при себе доблестного защитника («удальца», как они его называют), но ставят условие, что у него могут быть соперники и он не имеет права возмутиться.

Но то, что любо придворным жеманницам Рима и их храбрым защитникам, не годится для благородных сеньоров Франции и иных мест. Однако если высокорожденная дама желает держать себя в строгости и верности, она вправе требовать от своего избранника не щадить жизни, чтобы охранять ее благополучие и спокойствие — если им что-либо угрожает, — беречь ее честь и доброе имя. При нашем дворе я видывал многих, кому легко было заставить умолкнуть злые языки, стоило только разнестись молве, что они покровительствуют даме; ведь и по закону, и по обычаям света мы все должны быть опорой нежному полу, подобно храброму Ринальдо, служившему в Шотландии прекрасной Джиневре; и сеньору Мендосе, влюбленному в знатную герцогиню, о которой я уже упоминал; а также господину де Каружу, что сумел оградить от невзгод свою собственную жену, как повествуется в хрониках о временах короля Карла VI. Я мог бы привести еще тысячи подобных случаев из новейшего времени и древности — однако воздержусь.

Ведомы мне были также дамы, покинувшие малодушных, хотя и весьма богатых поклонников, полюбив и избрав себе в мужья благородных господ, чье достояние, если можно так сказать, — лишь плащ да шпага. Но их избранники, благодаря своим достоинствам и смелости, еще имели случай добиться

высокого положения и богатства, хотя никто не может быть твердо уверен, что последние достаются прежде всего таким; очень часто трусы и ничтожества достигают этого легче; однако, преуспев, они выглядят такими же жалкими — чего не скажешь о мужественных и великодушных господах.

Я не управлюсь вовек, если примусь перечислять причины и резоны, подвигающие дам любить преисполненных доблести мужей. Знаю: если попытаться дополнить сказанное бесконечным числом доводов и историй, получится целая книга. Но мне не хочется так сокращать свой досуг, не переходя от одной мысли к другой; потому удовлетворюсь уже написанным — пусть другие продолжат за меня, говоря: «А вот этого он не вспомнил и о том позабыл…» — но приведенное здесь достаточно полно (хоть его и можно украсить еще многими случаями и примерами). Таковых мне ведомо сколько угодно; причем о делах, мало кому известных или покрытых тайной, — но я не желаю о них распространяться.

Вот почему я умолкаю. Но прежде чем сделать передышку, хочу походя заметить еще одно: точно так, как достославные особы обожают мужественных в битве, они любят смелых и предприимчивых в любовных схватках; вот отчего кавалер застенчивый и сверх меры почтительный не преуспеет у них — и не в том секрет, что дам прельщают чванные и самоуверенные, тщеславные и дерзкие: ведь такой способен унизить свою милую подругу. Отнюдь, женщины предпочитают некую отважную скромность в чувствах или же скромную отвагу — ибо сами они (если не волчицы от природы) не позволяют себе многого, не станут требовать невозможного и натравливать вас на ближнего; но умеют так, словно бы невзначай, будить чужую алчбу и зависть, так мило и нежно вовлекают своих поклонников в дерзкие предприятия и стычки, что это для нас истинное испытание: тот, кто не знает удержу и добивается своего, не помышляя о величии, о щепетильности, угрызениях совести, страхе Божьего суда или чем-либо подобном, воистину не умен, бессердечен и заслуживает, чтобы фортуна отвернулась от него.

Мне знакомы два достойных дворянина, каковым две добропорядочные парижанки — притом отнюдь не низкого происхождения — предложили однажды в Париже прогуляться по саду; там они, разделившись на пары, избрали — каждая дама со своим спутником — по укромной аллее, столь увитой роскошными виноградными лозами на шпалерах, что дневной свет туда почти не проникал и царила приятная прохлада. Один из кавалеров был по натуре предприимчив и понимал, что его собеседница не создана для прогулок на свежем воздухе, а сейчас горит в огне желания (притом жаждет отнюдь не мускатных ягод

на шпалерах); и вот, разжигая пламень жаркими, страстными и безумными словесами, он не терял даром столь удобного случая, а подхватил, без особого почтения, свою спутницу, уложил ее на гряду из свежего зеленого дерна — и испытал сладчайшее удовлетворение, слыша от нее только: «О боже! Что вы делаете? Ну разве вы не самый безумный и странный человек на свете? А если кто-нибудь заглянет сюда, что о нас подумают? Бог мой, да отпустите же меня!» Но наш дворянин не удивлялся ее словам, а продолжал свое дело, и все вышло чудесно и ко взаимному удовольствию, так что, сделав еще два или три круга по аллее, они начали все снова. Затем, выйдя на открытое место, эти двое увидели вторую пару, прогуливавшуюся точно так, как они их оставили. При сем зрелище вполне довольная молодая особа заметила своему спутнику, тоже отнюдь не удрученному: «Думаю, что этот глупец не предложил своей даме ничего, кроме разговоров, умных суждений и прогулки». Когда все четверо собрались вместе, прелестницы спросили друг дружку, хорошо ли было. Удоволенная ответила, что превосходно — так хорошо, что лучше и быть не может. Другая же злобно заметила, что связалась с самым закоренелым дуралеем и заячьей душонкой, после чего оба дворянина могли слышать, как их спутницы, отойдя от них, со смехом восклицают: «О, глупец! О, трус! О, господин Почтительный!» На что осчастливленный сказал своему пристыженному другу: «Смотрите, эти сударыни костят вас — и пребольно, — находя, что вы слишком застенчивы и непроворны». Второй признался в правоте таких слов, но делать было нечего: благоприятный миг канул, и нового не представлялось. Однако же, поняв свою оплошность, он спустя некоторое время наверстал упущенное, найдя иную тропку к ее сердцу, — о чем скажу в другом месте.

Знал я двух братьев — знатных сеньоров, весьма недурных собой, — и любили они двух дам, одна из которых была поболе и ростом, и всем прочим; так вот, однажды, войдя к этой великой даме в ее опочивальню (она еще обреталась в постели, а вторая стояла подле), каждый постарался держаться в стороне от другого, дабы не мешать ему беседовать со своей милой. Один обращался к той, что была на ложе, со всей почтительностью, смиренно прикладываясь к ручке, расточал уверения в преданности, не осмеливаясь ни подойти поближе, ни решиться на приступ крепости. Другой же брат, без вежливых церемоний и учтивых слов, примостил даму в оконной нише и, внезапно сорвав с нее шнурованные панталоны (ибо был очень силен), дал ей почувствовать, что клинок его крепок и он не собирается ни любить на испанский манер, ни говорить о своей страсти одними

глазами, умильными гримасами либо словами, но, как истинный влюбленный, может желать; получив же чаемый трофей, он покинул опочивальню и, уходя, сказал брату так громко, что его собеседница тоже услышала: «Если вы не поступите, как я, — вы ничего не добьетесь; уверяю вас, брат мой, что дерзость и отвага, явленные в иных местах, здесь вам не помогут сохранить честь без подобного же напора; ибо вы находитесь не там, где надобна почтительность: ваша дама ожидает от вас большего». И на том оставил брата, каковой, однако, на сей раз удержался от смелого приступа, отложив до более подходящего случая; но его собеседница не стала от этого его менее уважать, а тем более подозревать в холодности либо недостатке смелости или же телесной немощи: к тому времени он уже достаточно выказал себя как на поле брани, так и на ложе любви.

Покойная королева-мать однажды перед Великим постом велела поставить на театре в парижском особняке архиепископов Реймсских весьма искусную комедию по-итальянски, сочиненную Корнелио Фиаско, капитаном королевских галер. Ее видел весь двор — и кавалеры, и дамы — и множество горожан. Между прочим, там был выведен юноша, проведший всю ночь спрятавшись в спальне одной прелестной особы, но никоим образом до нее не дотронувшийся; так вот, когда он рассказывал об этом приключении своему приятелю, тот спросил: «Ch’avete fatto?»[51] — и, услышав в ответ: «Niente»[52], воскликнул: «Ah! poltronazzo, senza cuore! non avete fatto niente! che maldita sia la tua poltronneria!»[53]

Вечером, после того как сыграли комедию, все мы были в покоях королевы, рассуждали о представлении, и я спросил у весьма добропорядочной и прекрасной сеньоры, чьего имени упоминать не собираюсь, что наиболее привлекательного она нашла в пьесе. И она с наивностью мне отвечала: «Самым замечательным был ответ, который получил юноша (звали его Луччо) от своего приятеля, когда сказал, che non aveva fatto niente: „Ah poltronazzo! non avete fatto niente! che maldita sia la tua poltronneria!“»[54]

Как видим, сказавшая это дама была согласна с итальянцем, упрекавшим друга в трусости, и совсем не уважала того последнего за его вялость и слабость духа. После таких ее слов мы привольно порассуждали об ошибках, обычных в таковых обстоятельствах, и о том, что надобно вовремя ловить ветер и распускать паруса, как советовал добрый моряк. Да простят мне, что я вспомнил об этом забавном и нелепом происшествии, распространяясь о столь серьезных предметах.

Помню, слышал я от моего друга — весьма достойного и

родовитого дворянина — рассказ о некой его землячке, не раз выказывавшей такую благосклонность к своему лакею, что он, не будучи от природы пустым и глупым, не мог сомневаться в ее намерениях; и однажды утром, найдя свою хозяйку задремавшей без всяких одежд на постели лицом к стене, очарованный ее великой красотой, тихонько подошел к ней — благо лежала она очень удобно, на самом краю кровати, — и приступил к осаде; она же, обернувшись, увидала, что тут ее лакей, которого она так желала, и потому, не делая попытки освободиться от наскочившего молодца либо помешать ему, отвернула вновь голову к стене, чтобы ему было удобнее распоряжаться добычей, а ей ничего не потерять, и лишь молвила: «Господин дурак, что внушило вам дерзость сунуться ко мне с этим?» А лакей в ответ со всей почтительностью: «Сударыня, так мне вынуть?» — «Да я не о том, господин дурак, — настаивала дама, — я спрашиваю, что внушило вам дерзость сунуться ко мне?» А тот все сворачивает на свое: «Сударыня, так мне вынуть?» — или еще: «Так ежели пожелаете, то я выну». Она же вновь повторяет: «Да не о том же я, господин дурак». Ну вот оба и твердили это в другой, в третий раз и более, не прекращая меж тем делать то же, что ранее, — пока он не управился вполне, к вящему благорасположению хозяйки, довольной, что он ее не послушался. Да и ей пошло на пользу, что она настойчиво твердила свой первый вопрос, ничего в нем не изменяя, — так они оба потом возвращались к подобной же игре; ибо, как говорят, трудно идет лишь первый клин и первый глоток.

Вот вам добрый и оборотистый слуга! И таким смельчакам, как приметили итальянцы, надобно говорить: «A bravo cazzo mai non manca favor»[55].

Итак, вы можете видеть, что есть немало смелых, дерзких и воинственных людей, преуспевших и в воинской, и в любовной науке; другим больше везет в бою, нежели в постели, а третьим — наоборот, — подобно негоднику Парису, у которого хватило дерзости и мужества похитить Елену у бедняги рогоносца Менелая и спать с ней, но отнюдь не выйти перед стенами Трои на бой с обманутым супругом.

Потому-то еще дамы не привечают стариков и людей пожилых, поскольку те слишком робки; да и срам один — принуждать их к забавам; хотя в любострастии они не уступят молодым, а порой и превосходят последних, чего не скажешь об их силах. Права та дама-испанка, что сказала однажды: «Старики похожи на людей, каковые, видя монарха в его силе и власти, жаждут подражать ему, хотя и не осмеливаются свергнуть его с трона и занять его место». Она еще добавила: «Y a penas es nascido

el de-seo, quando se muere luego», что значит: «Страсть, едва родившись, тотчас гаснет». Недаром кавалеры преклонного возраста, завидев прекрасный предмет, не торопятся на приступ, porque los viejos naturalmente son temerosos; y amor y temor no se caben en un saco (поскольку старики весьма боязливы по натуре, а любовь и страх не засунешь в один мешок). И они правы: у них нет оружия ни для защиты, ни для нападения, в отличие от молодых людей, у которых есть свежесть и красота; ибо, как сказал поэт, «и что бы молодые ни творили — ничто им быть не может не к лицу»; или, по слову другого, «ничто так не противно взгляду, как дряхлый латник иль повеса старый».

Ну вот, достаточно об этом, и я более не стану распространяться на сей счет; разве что новые суждения затронут то, о чем уже было говорено, а именно: точно так же, как дамы любят мужественных и щедрых, кавалеры предпочитают подруг, крепких сердцем и богатых душой. И подобно тому как всякий пылкий, отважный кавалер заслуживает больше восхищения и любви, нежели прочие, — того же достойна блистательная, благородная и смелая дама; но не потому — хочу сразу упредить, — что она непременно должна уподобиться в делах мужчинам: облачиться в латы, скакать на ретивом скакуне, стрелять и фехтовать, бросаться в бой — хотя видывал я и таких.

Особенно памятна мне из них одна, которая во время войн Лиги именно так и поступала. Но переодевание в мужское платье оскорбляет пол. Не говорю уже о том, что оно некрасиво и не идет, но это непозволительно и наносит гораздо больший вред, нежели думают; вот и милой Орлеанской деве мужской наряд только навредил, навлек на нее много обвинений и отчасти стал виновником ее горестного удела и самой гибели.

Вот почему я не желаю ни слишком восторгаться, ни валить подобное мальчишество. А влекут и нравятся мне особы, выказавшие в затруднениях или в минуту опасности достойную храбрость, поступая по-женски, но являя мужскую твердость сердца. Не буду приводить в пример благородных римлянок и спартанок древности, превзошедших в этом всех прочих: они и так прославлены и на устах у всех; но обращусь к не столь известным и жившим в наши дни.

Для начала упомяну самый прекрасный образец, явленный добродетельными и превосходными женами Сиены во время восстания их города против гнета Медичи; там, после того как среди военных людей был наведен порядок, дамы — коих избавили от воинских повинностей как не способных к ратному делу — решили показать, что они достойней многих и годны не только для обыкновенных дневных и ночных забот; желая помочь

защитникам, они сами разделились на три отряда и в месяце январе, на святого Антония, явили себя горожанам, предводительствуемые тремя богатейшими и знатнейшими в Сиене красавицами, собравшись на главной площади — тоже весьма знаменитой своими красотами, — куда вышли под барабанный бой, притом с особыми для каждого из трех отрядов отличиями.

Первой выступала синьора Фортегуэрра; ее наряд, стяг и одежды ведомых ею дружинниц были фиолетового цвета, и девиз на знамени гласил: «Pur che sia il vero!»[56] И все были одеты, как яркие бабочки, в короткие платья, открывавшие прелестные икры. А второю выступала синьора Пикколомини, одетая в пурпур, — как и те, кого она привела за собой, под алым знаменем с белым крестом и девизом: «Pur che no l'habbia tutto!»[57] А третьей стала синьора Ливия Фауста, вся в белом, с облаченными в белоснежное сподвижницами и белым стягом, на каковом красовалась пальмовая ветвь и слова: «Pur che l'habbia!»[58]

Почтенные предводительницы и вся их свита казались богинями, и вокруг них толпилось три тысячи женщин — благородного происхождения и простых горожанок, зажиточных и не очень, но весьма привлекательных на вид и в богатых украшениях и нарядах из бархата, тафты, дамасского сукна и шелков; все они решились умереть за свободу; у каждой на плече была фашина, годная для возведения укреплений, и они принялись за дело с криком; «Франция! Франция!»; сим редкостным зрелищем кардинал Феррарский и господин де Терм, королевский наместник, были весьма восхищены и не нашли более интересного предмета для созерцания и восхваления; да и сам я от многих и многих слыхал, что ничего более великолепного они в своей жизни не видывали. Ведь одному Богу известно, сколько в тех местах женщин благородного облика и безупречных форм.

Мужчины же, и сами жаждавшие освободиться от ига, сделали больше того, на что имели силы, подвигаемые столь необычным примером и не желая ни в чем уступить нежному полу; потому они, во множестве по собственному почину, сбежались строить укрепления; там были дворяне и знатные синьоры, буржуа, торговцы, ремесленники, богатые и бедняки, люди светские и служители Церкви — все бросились на подмогу девицам и матронам. А когда работы закончились, дамы выступили боевым строем, мужчины встали рядом — и все двинулись на площадь к Палаццо Публико приложиться к статуе Девы Марии, покровительницы города, распевая священные гимны и песнопения в ее честь; а голоса их звучали столь

сладостно и согласно, что от удовольствия и умиления у всех на глаза навернулись слезы; после чего его преосвященство монсеньор кардинал Феррарский благословил их всех и каждого, и они разошлись по домам, исполненные рвения в будущем поступать лучше прежнего.

Это благословенное шествие дам напомнило мне (без всяких сравнений) о другом, вполне светском, но столь же красивом, что произошло в Риме во время Пунической войны (рассказ о нем можно найти у Тита Ливия). Там во время празднества шествовало трижды по девять — а всего двадцать семь — невинных девиц, весьма пригожих и одетых в довольно длинные платьица (история умалчивает, какого цвета); после завершения чествований они вышли на площадь и стали танцевать перед народом, выступая цепочками и передавая друг дружке шнурок, подпрыгивая и играя ножками в согласии с песенкой, которую сами и пели; прелестно было глядеть на сих грациозных созданий, дробно перебиравших ногами; ведь всегда люба глазам совершенная собою юная дева, которая умеет благородно и с приличествующими ужимками танцевать под музыку.

Я представил себе этот род танца — и мне вспомнился другой, виденный мною в юности; его исполняли мои юные землячки, а назывался он «подвязка»; они передавали друг другу подвязки из рук в руки, потом через головы, затем сплетали вместе, перешагивали и перескакивали через них, оплетали ими ноги, чтобы тут же грациозно выпутаться и расплести их, освобождаясь дробными прыжками; и притом продолжали глядеть друг дружке в затылок, не выбиваясь из строя песенки или сопровождавшей танец музыки; и на все это было очень приятно глядеть, поскольку в их прыжках, переплетениях и игре с подвязкой сквозила такая умилительность и стройность, что я удивляюсь, отчего этот танец не прижился при наших дворах: ведь нижние панталоны наших красавиц очень милы, и можно было бы любоваться очаровательными ножками, сравнивая, у кого самые узкие маленькие туфли и лучшая стать. Но на такой танец удобнее смотреть, нежели его описывать.

Но вернемся к жительницам Сиены. Ах, такие решительные и прекрасные создания не должны бы никогда умирать, как и слава о них, сохранившаяся в потомстве! Надобно вспомнить и весьма хорошенькую девицу из того же города: во время осады, видя, что брат ее болен и не может встать с постели, она, вообразите, тихонько, под покровом ночи, надевает его доспехи, выходит из дому и, словно двойник братца, приходит к защитникам; те принимают ее за него — и она остается там неузнанной всю ночь. Поступок, без сомнения, достойный, ибо хотя она и переоделась в

мужское платье и облачилась в доспехи, но не для того, чтобы каждодневно носить их, а лишь желая выручить брата. Недаром говорят, что никакая любовь не сравнится с братской и сестринской привязанностью и что ради доброго дела не нужно ничего страшиться, выказывая благородство сердца там, где это потребно.

Думаю, предводитель отряда стражи, куда явилась эта девица, проведав о ее поступке, был очень огорчен, что не признал ее вовремя, чтобы сразу воздать ей хвалу или освободить ее от караула либо же развлечься созерцанием ее красоты и воинственной стати, поскольку не сомневаюсь, что она очень старалась подражать настоящим бойцам.

Конечно, нельзя не оценить это деяние по достоинству, и прежде всего потому, что оно оправдано столь естественным сестринским чувством. Иное дело, что можно поступить так же, но радея совсем о другом, — подобно миловидному Рикардету, который однажды, услышав слова своей сестры Брадаманты о красоте прекрасной испанской принцессы, о ее безнадежной любви, дождался, чтобы воинственная дева, его сестра, заснула, взял ее доспех и оружие и в таком обличье (а ликом и изящными манерами он походил на нее) вынудил бедную принцессу к признанию, предназначенному лишь для ушей подруги; а потом едва не погиб, если бы не милосердие Руджеро, сохранившего ему жизнь, приняв его за возлюбленную свою Брадаманту.

А еще о дамах Сиены рассказывал господин Дезюрсен, сеньор де Лашапель, бывший тогда в Италии и потом поведавший об их самоотвержении покойному королю Генриху; последний так восхитился, что слезы заблистали у него на глазах, и поклялся, что, приведись ему однажды заключить мир либо перемирие с императором, он тотчас снарядит галеры в Тосканское море, а оттуда в Сиену, чтобы, в уплату за добрую волю, посетить этот город, столь преданный ему; но прежде прочего — дабы повидать чудесных этих дам и особо отблагодарить их.

И думаю, не преминул бы совершить подобное, поскольку весьма ценил женское благородство и совершенство; он писал им — особенно трем самым знаменитым — весьма достойные послания, заверяя их в своей благодарности, и посылал дары, принимаемые с удовольствием и душевным волнением.

Увы! Перемирия спустя некоторое время он добился, но, пока этого дожидались, город был взят (как я в ином месте уже говорил); то была неоценимая потеря для Франции — утрата такого великодушного и драгоценного ей союзника, тем более что обитатели Сиены еще помнили о своих истоках и желали снова оказаться среди нас. Ведь поговаривают, что храбрый этот народ

происходит от французских племен, каковые в Галлии именовались сенонами, а теперь зовутся у нас сенами; и по складу души они к нам близки — ибо кровь у них легко воспламеняется, они порывисты и быстры на любое дело, как и мы. А женщины у них милы, непосредственны и грациозны, словно француженки.

Прочитал я в старинной хронике (о которой уже в ином месте говорил), что король Карл VIII во время своего путешествия в Неаполь, проезжая через Сиену, был там встречен с таким триумфом и роскошью, что воспоминание об этом затмило все прочие итальянские впечатления. Там дело дошло до того, что в знак наибольшего расположения и своей покорности все ворота города сняли с петель и уложили на землю; и, пока король там был, они оставались на земле: всякому было вольно входить и выходить; а на место их поставили лишь после его отъезда.

Судите же сами, насколько Карл VIII и вся его свита полюбили этот город и стали его почитать — впрочем, как то было и ранее — и сколько доброго они сказали о нем. Ведь пребывание в Сиене показалось им очень приятным; и под угрозой смерти король запретил самомалейшую дерзость в обращении с местными жителями, а потому ничего худого не случилось. Ах, храбрые сиенцы, живите вечно! Да будет угодно Господу, чтобы вы снова стали нашими во всем (как, возможно, вы и были некогда): и душой и телом! Ведь власть французского короля гораздо мягче, нежели самоуправства флорентийского герцога, да и кровь не лжет. Если бы мы были такими же хорошими соседями, как до нашего отступления, мы могли бы настоять на этом.

Знатнейшие дамы Павии во время, когда их город осадило войско короля Франциска, по примеру и под водительством графини Ипполиты де Малеспины тоже носили корзины с землей, копали рвы и заделывали бреши, помогая солдатам.

Подобно дамам из Сиены поступили и некоторые ларошельские матроны в дни осады их города; помнится, в первое воскресенье Великого поста, когда уже шла осада, господин наш генерал обратился к господину де Лану и под честное слово отправился с ним на переговоры, во время коих передал условия, на которые соглашался город; речи их были довольно странны и продолжительны, о чем я надеюсь поведать в ином месте. Господин де Лану не уступил, город оставил заложником господина Строцци, а войскам дали передышку на этот день и на следующий.

Едва лишь договорились о передышке — тотчас мы вылезли из рвов, и к нам на стены и укрепления пришло множество

горожан; а меж них — сотня дворянок и буржуазок из самых родовитых, зажиточных и прекрасных собой, с ног до головы одетых в белое голландское полотно, весьма приятное глазу. Так они оделись, чтобы помогать нам на укреплениях: носить корзины с землей или копать; другой наряд быстро бы сделался грязным, а этот после стирки выглядел как новый; к тому же его цвет позволял лучше примечать дам среди толпы. Мы все были весьма счастливы лицезреть столь обольстительных красавиц, и, уверяю вас, многим понравилось более всего прочего именно то, что они показались среди нас и не слишком чванились перед нами, а так легко и грациозно вышагивали по самым опасным местам, что на них стоило посмотреть и возжелать их.

Нам стало интересно, что это за привлекательные особы. На наши расспросы они отвечали, что составился отряд из решивших помочь нам. Они сговорились так одеться для работ на укреплениях и для подобных же занятий в самом городе. Многие оказались весьма полезны, а самые мужественные и сильные к тому же вооружились; об одной из них я слышал, что она так часто отражала наступление врагов своей пикой, что и ныне хранит ее, словно святую реликвию, и никому не дает и не желает продать ни за какие деньги: так она ей дорога.

Слыхал я, как некий бывший воинский начальник с Родоса рассказывал (и даже я читал об этом в старинной книге), что, когда сей остров был обложен султаном Сулейманом, прекрасные дамы и девицы не пожалели нежных своих личиков и хрупких талий и разделили добрую часть трудов и тягот осады; они не уходили даже во время самых жарких приступов и храбро помогали рыцарям и солдатам их отражать. Ах! Дивные создания, имена ваши и повесть о вашем геройстве пребудут в веках; и не подобает вам оставаться под властью варваров!

А в царствование короля Франциска I к городу Сен-Рикье, что в Пикардии, подступил фламандский военачальник по имени Домрен, сражавшийся под знаменами господина Дюрю; у него под рукой было сто вооруженных всадников, две тысячи пеших и немного артиллерии. Меж тем в городе оказалась только сотня пехотинцев — что очень мало, — и они бы не выдержали, не приди им на подмогу прекрасный пол. Женщины явились с оружием, стали бросать со стен камни, лить кипящую воду и масло и бесстрашно отразили врага, хотя тот делал все возможное, чтобы проникнуть в город. А две из этих дам отбили знамена у вражеских воинов и возвратились с ними к горожанам; нападавшие же были вынуждены покинуть проделанные бреши в укреплениях, отступить и уйти; молва разнесла хвалу о подвиге красавиц по всей Франции, Фландрии и Бургундии. Через

некоторое время французский монарх пожелал посетить этот город, видел сих отважных особ, весьма хвалил их и благодарил.

В Перонне, осажденной графом Нассауским, тамошние дамы повели себя на редкость самоотверженно, помогая доблестным защитникам города, за что и удостоились изъявлений уважения, благодарности и многих похвал от их государя.

Столь же неоценимые услуги оказывали защитникам Сансера его жительницы, когда во время гражданской войны их город подвергся осаде, — за что по праву собрали богатую жатву похвал и восхищения.

А миловидные обитательницы Витре, в пору войн Лиги, осажденного господином де Меркёром, не щадя себя, проводили на стенах все время, притом сохраняя достойный облик и не жалея прекрасных одеяний, чтобы таковое зрелище подбодрило остальных; они выказали немалое мужество и стойкость; впрочем, доблестные деяния в минуты бедствия равно почитаемы и у неустрашимых мужей, и у столь же отважных дам.

Самоотверженно поступили и благородные жены карфагенские, когда увидели, что их отцы, мужья и братья, родственники и прочие воины перестали стрелять во врага, поскольку тетивы их луков истрепались и порвались, ибо сражение было долгим, а лен, пенька, шелк и все прочее пришло к концу; тогда они отрезали свои дивные белокурые волосы, не пожалев столь необходимого украшения; потом собственными белыми нежными ручками ссучили тетиву и принесли в дар воинам. Позволяю вам самим представить, с каким волнением и вновь пробудившейся отвагой те натянули тетиву на свои луки и продолжили сражение в честь прелестниц, что решились на такую жертву.

В «Истории Неаполя» мы также можем прочесть о том, как знаменитый капитан Сфорца, бывший на службе у королевы Иоанны II, попал в плен к супругу этой властительницы; его бросили связанным в тесный застенок — и быть бы ему без головы, если бы сестра его Маргарита не вооружилась и не выступила с войском на его защиту; она билась так храбро, что сама полонила четырех неаполитанских рыцарей из знатнейших семей, передав королю, что их постигнет та же участь, что его пленников. Тот был вынужден заключить с ней договор и отпустить капитана на волю. Вот какая оказалась у него отважная и достойная сестра! Меж тем я знавал немало жен и родственниц, которые могли бы сделать что-либо похожее и спасти своих близких, коим грозила верная погибель без их поддержки и подмоги, — они же ни на что не решились.

Сейчас от рассказа о благородных и прекрасных особах,

явивших смелость, в трудный час собравшись и поддерживая друг дружку, я перейду к восхвалению тех, что отличились поодиночке. И начну с древности, приведя из всех возможных примеров поступок Зенобии, каковая после смерти супруга не стала, как прочие, терять время на сожаления и слезы о покойном, но овладела царством ради своих детей и пошла войной на римлян и на императора Аврелиана, под чьей властью она тогда пребывала; много забот причинила она римлянам за восемь лет междоусобия, пока во время одной вылазки не была пленена и доставлена к императору. На его вопрос, как ей хватило дерзости восстать против властителей римских, она ответила лишь: «Вот теперь-то я только и узнала, что вы мой император, поскольку вы меня одолели». Он был так доволен своей победой и столь возгордился ею, что решил устроить пышный и величественный триумф, заставив Зенобию идти перед триумфальной колесницей в богатых одеждах и украшениях, жемчуге и драгоценных каменьях, а вдобавок — с руками, ногами и всем телом, закованными в золотые цепи, в знак пленения и рабства; так что под тяжестью драгоценных оков она была принуждена часто останавливаться без сил во время процессии. Но и здесь она представляет нам образец благородного поведения, ибо хотя Зенобия была повержена в бою и попала в рабство, но с благодарностью отнеслась к триумфатору, ожидавшему, пока она посреди шествия сможет перевести дух и набраться новых сил. Похвальна также и любезна терпимость, с какой властитель римский позволял пленнице как следует передохнуть: не торопил ее и не требовал, чтобы она шла быстрее, нежели могла. Так мы и не знаем, кто из них более достоин хвалы: Аврелиан или царица, что, возможно, проделывала все это по предварительному с ним уговору, не из трусости и малодушия, а затем, чтобы увеличить его славу и показать всему свету, что готова принять из его рук и малую награду на закате своего блистательного пути; меж тем император терпеливо ждал, пока она медленно одолевает ступеньку за ступенькой, тем более что ее неспешность продлевала время всей церемонии и позволяла почтенной публике и народу налюбоваться ею и даже позавидовать ей в таких прекрасных оковах, ибо она, по слухам, превосходила красотой всех, о ком говорили либо писали. Она была прелестно сложена и высока ростом, отличалась отменной грацией и величием; а лицо ее, с черными, ярко блестевшими глазами, оставалось весьма миловидным. Среди прочих ее чар особо привлекали белоснежные, очень ровные зубы, а также — живой ум, не лишенный скромности, искренности, а когда надо,

уместной сдержанности; и сверх того — здравые и красивые речи, которые она вела голосом ясным и чистым: ведь ей до того приходилось самой излагать своим военачальникам, как она намерена вести битву, и часто обращаться к воинам с напутственным словом.

Не сомневаюсь, что в великолепных женских одеяниях она выглядела не хуже, чем в полном боевом облачении, ведь прелесть нежного пола для нас важнее прочего; здесь надобно заметить, что император пожелал вывести Зенобию при своей триумфальной колеснице в ее подлинном женственном обличье, отчего внешность мятежной царицы только выиграла, дав народу вдосталь наглядеться на ее совершенства и красоту; а еще остается добавить, что, пленившись ее великолепием, император решился отведать ее чар, а насладившись ими однажды, продолжал наслаждаться и далее; отсюда выходит, что хотя он и победил ее в одном, зато в другом и он и она одержали равную победу.

Меня только удивляет, почему при всей красоте Зенобии император не сделал ее своей законной наложницей; а еще она могла бы, с его разрешения или благодаря попустительству сената, открыть свое заведение или устроить дом свиданий, как поступила Флора, а тем самым обогатиться, накопив добра и денег работою своего тела и постельными баталиями; в то заведение могли бы захаживать великие мужи Рима, какие бы пожелали: ведь есть же особая услада и удовлетворение в том, чтобы попрать под собою царственность и великолепие — и наслаждаться с прелестной царицей, принцессой либо вельможной дамой. Могу здесь сослаться на путешественников, бывавших в подобных местах и имевших сходные приключения. Именно так Зенобия смогла бы вскоре обогатиться из кошелька великих сих — по примеру Флоры, не принимавшей у себя иных гостей, кроме высокорожденных. Разве не стоило бы ей вести жизнь, полную развлечений, пиров, праздничных кавалькад и почестей, вместо того чтобы погрузиться в ничтожество и нужду, как выпало ей, и зарабатывать на пропитание прядением рядом с женщинами низкого происхождения, пока сенат не сжалился над нею, памятуя о ее славном прошлом, и не даровал ей кое-какое содержание и клочок землицы в собственность (его потом долго звали владениями Зенобии). Ведь какая напасть горше бедности? И если кто способен ее избежать — тем или другим манером от нее ускользнуть, — тот, скажу я, делает благо; и каждый сможет вам это подтвердить.

Вот почему Зенобии не пригодилась великая смелость к концу ее дней, как можно бы и следовало уповать, — ведь в

любом деле потребно идти до конца. Говорят же, что во времена своих побед и преуспеяния она велела изготовить триумфальную колесницу для победного въезда в Рим — так она превозносила себя, мечтая завоевать и покорить всю империю римлян! А получилось наоборот: покорил ее римский император, взял в плен и пустил перед собой во время собственного триумфа, воздав себе столько почестей, будто поразил могущественного государя. Хотя будем откровенны: в победе, одержанной над дамой, как бы тяжело она ни досталась, — не много величия и блеска!

Вот и Август возмечтал одержать верх над Клеопатрой, но полного удовольствия не получил: она вовремя позаботилась об этом, поступив так, как советовал Эмилий Павел, укоряя плененного им Персея, жаловавшегося на свой жребий, в ответ на его мольбы о снисхождении заметив, что следовало бы тому ранее навести порядок в собственных делах, имея в виду, что побежденному более подобает покончить все счеты с жизнью.

Случалось мне слышать, что покойный государь Генрих II ничего так не желал, как взять в плен венгерскую монархиню, — и не для того, чтобы с ней плохо обойтись (хотя она давала к тому повод своими свирепыми выходками), а единственно ради славы иметь под замком у себя столь великую королеву и желая поглядеть, какое лицо и обхождение у нее будет в его крепости: столь же ли она пребудет смела и чванлива, как у себя перед войском. Ибо нет никого столь высокомерного и отважного, кто бы сравнился с прекрасной и храброй высокородной дамой, когда она пожелает выказать свою натуру. И той, о ком веду речь, очень нравилось прозвище, данное ей испанскими наемниками, величавшими императора, ее братца, el padre de los soldados[59], а ее — la madré[60], как и Витторию (либо Витторину), некогда, в эпоху древних римлян, прозванную воинами «матерью походных лагерей». Конечно, когда знатная и пригожая собой дама принимает на себя тяготы ведения войны, она бывает весьма полезна и воодушевляет своих людей, что на моих глазах, случалось с королевой-матерью во время наших гражданских войн; она часто приезжала в боевые порядки, и вникала в планы кампаний, и сильно всех ободряла — как то ныне делает ее внучка-инфанта во Фландрии, повелевая армией и появляясь в блеске и славе перед строем воинов, так что, без любезного всем ее присутствия там, Фландрия, как говорят, вовсе не смогла бы продержаться; при том еще, что никогда королева Венгерская — ее двоюродная тетушка — не являла миру столько красоты, достоинства, благородства и любезной обходительности.

У французских историков мы можем прочесть, какую услугу

нам оказала великодушная графиня де Монфор во время осады Аннебона. Ведь сколь ни смелы и мужественны бывают воины, когда выдерживают множество приступов, сражаясь не хуже благородных господ, — они подчас начинают терять бодрость духа и не прочь сдаться. Однако она обратилась к ним с такими пылкими речами, ее прекрасные и смелые слова зажгли такой огонь в их сердцах, что они решились дождаться подмоги; и та, так страстно ожидаемая, пришла вовремя, заставив снять осаду. Но графиня сделала более того: увидев, что все силы противника заняты приступом и что противник оставил свои палатки пустыми, она оседлала доброго коня и во главе полусотни всадников сделала вылазку, посеяв беспорядок во вражеском лагере, и подожгла его; и тотчас Карл де Блуа, заподозрив измену, прекратил сражение у стен. Кстати, о подобном же случае у меня имеется небольшой рассказец.

Во время последних войн Лиги принц де Конде, недавно усопший, будучи в Сен-Жане, потребовал от госпожи де Бурдей — вдовы лет сорока, но сохранившей красоту молодости, — чтобы она выдала ему шестерых или семерых самых богатых людей, живших на ее землях и спасавшихся от него в ее замке Мата. Она без околичностей отказала ему, прибавив, что никогда не предаст и не выдаст бедняг, оказавшихся под ее кровом и под защитой ее слова. Он отослал ей еще один, последний, приказ в послании, где говорилось, что он сумеет научить ее покорности. Она отвечала (я это доподлинно знаю, ибо находился в замке), что, поскольку он сам не обучен повиновению, весьма странно с его стороны требовать противного от других и что, когда он сам подчинится воле короля, она тоже проявит послушание. А в остальном, продолжала она, его угрозы тщетны: ей не страшны ни его пушки, ни осада; и, будучи потомком графини де Монфор, от коей ее семейству достался в наследство сей укрепленный замок, а ей самой — бесстрашное сердце, она полна решимости защищаться и не позволить ему туда проникнуть; укрывшись там, она всех заставит говорить о ней, подобно упомянутой графине под Аннебоном. Покойный принц долго обдумывал это письмо и несколько дней промедлил, не угрожая ей. И все же — не умри он вовремя — он бы решился на осаду; но она уже хорошенько подготовилась, запаслась мужеством и решимостью, необходимыми людьми и всем прочим, чтобы достойно его встретить; случись что — думаю, не миновать бы принцу постыдной неудачи.

Макиавелли в книге «О военном искусстве» пишет, что Екатерина, графиня Форлийская, осажденная в своем поместье Цезарем Борджиа и помогавшей ему французской армией,

сопротивлялась весьма достойно, но ее постигла неудача. Причиною поражения послужило то, что в этом месте было построено слишком много малых крепостей и фортов, чтобы отступать из одного укрепленного места в другое; и, когда Цезарь подвел апроши, сеньор Жан де Казаль, коего названная графиня пригласила себе в подмогу и охрану, покинул пролом в основной стене и удалился в форты, а Борджиа воспользовался его оплошностью и, удвоив напор, опрокинул защитников. И так получилось, говорит автор, что все эти лишние укрепления лишь повредили смелому замыслу благородной графини и ее репутации: ведь она дожидалась наступления армии, перед которой без боя отошли и король Неаполитанский, и герцог Миланский, так и не осмелившись дать отпор. Но хотя исход ее дела оказался несчастным, честь была спасена, добродетелям ее воздалось по заслугам, а по всей Италии по сему случаю сложили немало хвалебных стихов и поэм. Этот пассаж пусть будет уроком тем, кто тщится укрепить свои поместья, понастроив там множество фортов, больших и малых крепостей, башен и цитаделей.

Возвращаясь же к нашим рассуждениям, заметим, что в прошлые времена во Франции не было недостатка в принцессах и вельможных особах, явивших прекрасные примеры доблести — подобно Пауле, дочери графа де Пентьевра, каковая была осаждена в Руа графом де Шаруйе и выказала там столько смелости и благородства души, что, взяв город, граф воздал ей по заслугам и отправил ее в Компьень под надежной, почетной охраной, запретив чинить ей какие бы то ни было препятствия; он отдал дань ее достоинству, хотя и желал много зла ее супругу, коего обвинял в колдовских кознях, наговорах и прочих злоумышлениях против его персоны и жизни.

Ришильда, единственная дочь и наследница Монса, что в Гегенау, супруга Бодуэна VI, графа Фландрского, предприняла все, что было в ее силах, против Робера Де Фризона, своего деверя, назначенного опекуном наследников фландрской короны, чтобы лишить его влияния и власти в свою пользу, и даже дала ему два сражения, прибегнув к помощи французского короля. Во время первого она попала в плен, но также был пленен и её враг Робер — и при обмене обоих выпустили на свободу; но во второй битве с ним ее войско было разгромлено; погиб и сын Арнольф, а ее самое изгнали обратно в Моне.

Изабелла Французская, дочь короля Филиппа Красивого и жена короля Эдуарда II, графа Гиеньского, пребывала в немилости у супруга из-за злобного вмешательства Хьюго Деспенсьера и была вынуждена с сыном Эдуардом удалиться во

Францию; затем вернулась в Англию со своим родственником шевалье из Гегенауского дома и армией, каковую повела сама, и захватила в плен собственного суженого, а затем передала его в руки тех, под чьим надзором ему и пришлось пребывать до скорого конца его дней; впрочем, и ей самой не повезло: она воспылала любовью к некоему сеньору Мортимеру — и ее собственный сын навечно заточил ее в одном из замков. Именно она дала англичанам повод строить козни против Франции. Но какова же неблагодарность и несправедливость собственного сына, позабывшего о ее благодеяниях и жестоко покаравшего мать за столь малый проступок! Малым я его называю потому, что он — в естестве человеческом; к тому ж, проведя столько времени среди воюющих людей, она привыкла к их лихачеству, освоилась среди скопища вояк, походных палаток и шатров — и продолжала вести себя столь же несообразно меж дворцовых куртин, как это нередко случается.

Могу здесь сослаться на пример королевы нашей Элеоноры, герцогини Гиеньской, сопровождавшей своего супруга в заморские земли во время священной войны. Оттого что часто гарцевала на лихих скакунах и размахивала мечом, она сильно повредила собственной чести — и даже доходила до заигрываний с сарацинами, за что король отлучил ее от себя; а это нам дороговато стоило. Можно вообразить, сколь ей хотелось испытать, так ли хорошо ее храбрые спутники поведут себя в алькове, как на ратном поприще; возможно также, что натура предрасполагала ее любить храбрецов — ибо храбрость, наравне с добродетелью, привлекает к себе свойства той же природы. И не может лгать тот, кто говорит, что добродетель, подобно молнии, пронзает все.

Эта королева Элеонора не была среди дам единственной, сопровождавшей в Святую землю собственного супруга. Как до нее и при ней, так и после множество иных принцесс и вельможных особ со своими мужьями отправлялись в Крестовые походы. Крестом пламенели их души, но не сплетались их ноги, раскрываясь навстречу первому возжелавшему; и если некоторые остались добродетельными, другие возвратились истинными блудницами, ибо под покровом обета посетить Гроб Господень они среди бряцания оружия занимались с кем ни попадя любовью — ведь (как я уже говорил) оружие и любовь всегда согласны: меж ними легко возникает крепкое и обоюдное влечение.

Посему подобные дамы рождены, чтобы чтить, любить и прилепляться душой к мужчинам — в отличие от древних амазонок, каковые, хотя и называли себя дщерями Марсовыми, отделались от своих мужей, объявив, что брак — истинное

рабство. Однако ж они слишком возвеличивали себя над мужчинами, хотя волей-неволей имели с ними дело, чтобы рожать девочек, убивая притом младенцев-мальчиков.

Науклерус в своей «Космографии» повествует о том, что в 1123 году от Рождества Христова, после смерти Тибуссы, королевы Богемской (той, что обнесла город Прагу крепостными стенами и не выносила власти мужчин), одна из ее храбрейших фрейлин, некая Валеска, завоевала души многих тамошних девиц и дам, предложив им свободу и расписав ее в ярких красках, а в самых черных — их рабство под мужниной пятой. После чего все они убили кто мужа, кто брата, а кто и соседа — и легко стали повелительницами своей судьбы. А затем взяли оружие своих мужчин и смогли так умело им воспользоваться, выказали столько бесстрашия и ловкости, что, уподобившись амазонкам, одержали много побед. Однако впоследствии — из-за интриг и происков Примислава, мужа Тибуссы, человека, которого она подняла из низкого, подлого состояния, — были разбиты и казнены. Их кончина — это Божья кара за столь неслыханное злодейство во вред всему роду человеческому.

Эти дамы могли бы выказать достославную смелость в иных прекрасных деяниях, столь же отважных и мужественных, но не таких жестоких. Ведь мы уже видели, сколько особ царственной крови, высокородных жен и Дев прославились достойным поведением как в управлении своими землями, так и в иных случаях, о которых существует множество историй. Ведь стремление повелевать и властвовать воцаряется равно и в женских, и в мужских душах, одинаково распаляя всех.

Из тех, кто был не столь подвержен подобному недугу, могу назвать, пожалуй, лишь Витторию Колонну, жену маркиза де Пескайре, о которой я прочитал в одной испанской книге. Когда названный маркиз, как я уже упоминал выше, услыхал из уст Иеронимо Мурона весьма лестные для него предложения, касающиеся Неаполитанского королевства, — платы за то, что он вступит в тайный сговор со Святым престолом, — Виттория, от коей супруг не скрывал самых потаенных своих дум и намерений — и больших и малых, — послала ему письмо, где, заботясь о его благе, просила мужа вспомнить о своих прошлых заслугах и добродетелях, снискавших ему столько похвал и всеобщего уважения, что они возвысили его в славе и влиянии над величайшими королями и правителями земными, и писала: «No con grandezza de los reynos, de estados ny de hermosos titulos, sino con fe illustre y clara virtud, se alcançava la honra, la quai con loor siempre vivo, llgava a los descendientes; y que no havia nigun grado tan alto que no fuesse vencido de una trahicyon y mala fe. Que por

esto, nigun desseo ténia de ser muguer de rey, queriendo antes ser muguer de tal capitan, que no solamente en guerra con valorosa mano, mas en pas con gran honra de animo no vencido, havia sabido vencer reyes, y grandissimos principes, y capitanes, y darlos a triumphos, y imperiarlos», что значит: «Не в величии царств и обилии земель, не в высоких и благородных титулах порука чести и достоинства; она лишь в добром имени дворянина, в его благородном слове и ясной добродетели, таковою она с вечно живыми хвалами наследуется и потомками нашими; и нет столь высокого титула, какой не был бы запятнан и повержен совершенным предательством и нарушенным словом; из любви к добродетели я бы желала быть не женой короля, но такого воинского предводителя, какой умеет побеждать королей, сильных мира сего, великих полководцев не только в схватках своей доблестной рукой, но и в мирных делах, благодаря незамутненному достоинству и несокрушимой мощи духа — именно они дают нетленную славу и повелевают миром». Эта женщина говорила с великой смелостью и благородством; в ее словах все истинно, ибо властвовать, прибегая ко греху, — занятие подлое, зато нет ничего великолепнее, нежели давать законы царствам и королям, опираясь на добродетель.

Фульвия, жена Клавдия, а вторым браком — Марка Антония, не обременяла себя домашними делами, но была одержима великими планами переустройства и, как утверждает молва, повелевала императорами. За это ей была очень благодарна Клеопатра, получив Марка Антония уже вышколенным — наученным повиноваться воле женщины и признавать ее власть.

И о великом французском правителе Карле Мартелле мы читаем, что он ни за что не хотел захватить и носить титул короля, хотя это и было в его власти, но предпочитал надзирать за королями и править от их имени.

Теперь же поговорим о некоторых наших дамах. Во время войн Лиги у нас процветала госпожа де Монпансье, сестра покойного герцога де Гиза, — великая государственная женщина, внесшая большую долю денег, выдумки, острого ума и трудов в основание указанной Лиги. Так вот, однажды, когда Лига уже составилась, госпожа де Монпансье, принимаясь играть в карты (она это очень любила, и говорили, что она их на редкость умело тасует), сказала о тех, кого вовлекла в славное предприятие: «Я их всех так ловко перемешала, что теперь им самим ни растасоваться лучше, ни выбраться из колоды». И все было бы как нельзя прекрасней, если бы ее близкие не погибли. Но она не поникла духом от подобной утраты, а взялась отомстить. Получив скорбную весть из Парижа, она не заперлась в комнатах, на манер

прочих сердобольных особ предаваясь сожалениям, но вышла из своего замка с детьми брата, держа их за руки, и пошла с ними по городу, взывая и вопия о своем горе перед всем людом, возбуждая его к бунту криками и мольбами так, что воодушевленные ею горожане схватились за оружие и в бешенстве поднялись против короля, бесчинствуя перед его дворцом, оскорбляя его портрет (кстати, мы все это видели) и клянясь ему отнюдь не в преданности, а в непокорстве, отчего и последовало его скорое убиение, виновники коего — те господа и дамы, что помогали этому понуканиями и советами. Разумеется, сестринское сердце после потери братцев так напиталось ядом, что не излечилось от него, не отомстив за их убийство.

И слыхал я еще, что, ввергнув парижскую чернь в этакое буйство и непотребную дерзость, она отправилась к принцу Пармскому — требовать, чтобы он помог ей отомстить. Она так торопилась, скача без отдыха и остановок, что однажды лошади, впряженные в ее карету, встали от усталости, увязнув в грязи где-то в пикардийской глуши, и не смогли двинуться ни вперед, ни назад, ни даже переступать копытами. По случаю проезжал мимо некий местный дворянин, который признал ее, несмотря на скрывавший ее звание наряд и подложное имя, и, хотя он был реформатской веры, отринул мысли обо всех ее происках против его единоверцев и злобе ее к ним; и, исполнившись учтивости, произнес: «Сударыня, я узнал вас и пребываю вашим покорнейшим слугой; видя, в какое плачевное состояние вы попали, могу, если вам угодно, предложить свое гостеприимство, поскольку дом мой недалеко и там вам удобно будет обсушиться и отдохнуть. Я снабжу вас всем необходимым и сделаю все, что в моих силах. Не бойтесь: хотя я и принадлежу к исповедующим истинную веру — а значит, я из тех, кого вы так ненавидите, — я не могу разминуться с вами, не предложив вам простой любезности, в каковой вы сейчас весьма нуждаетесь». Она приняла столь учтивое предложение и легко согласилась; он снабдил ее всем потребным для дальнейшего пути и проводил, проделав два лье; она же хотя и скрыла от него цель своего путешествия, но потом, во время этой войны, расквиталась с тем дворянином многими, столь же любезными, услугами.

Некоторых удивило, как могла она довериться первому встречному гугеноту. Но что поделаешь, когда нужда заставит! Она же, увидев в нем человека достойного и открытого сердцем, услыхав столь благородные речи, сочла, что он способен поступить как подобает дворянину.

Когда госпожа де Немур, ее мать, попала в плен после гибели своих сыновей, она, напротив, стала предаваться неистовому

горю, хотя до того по натуре была нрава спокойного и холодного, а в сильное волнение приходила лишь тогда, когда считала это уместным. Тут же она принялась браниться, свирепо обзывая короля обидными прозвищами, проклиная его и насылая ему на голову тысячи напастей — ведь что не придет на язык в годину горя и таких утрат! Дошло до того, что она стала именовать монарха не иначе как «тираном». «Нет, — повторяла она, — я лишь тогда назову его королем добрым и милостивым, когда он предаст меня смерти — подобно моим детям, — чтобы освободить от земной юдоли и приобщить ко благодати Господней». Затем ее крики и проклятия несколько стихали; она делала передышку и лишь шептала: «Ах, дети мои! Ах, мои возлюбленные чада!» — перемежая обыкновенно такие слова прекрасными слезами, способными растопить и каменное сердце. Увы, она имела право так их оплакивать и сожалеть о них, ибо они были столь знатны, добродетельны и отважны (особенно великий герцог де Гиз, воистину старший в семействе и притом — зерцало доблести и благородства). Вот так естественно выражалась ее скорбь по убитым детям; и однажды, когда я оказался поблизости, некая придворная дама, приближенная к ней, поведала мне, что это была в прошлом одна из самых счастливых принцесс на свете — и по многим причинам, кои мне были тотчас приведены, — но прежде всего из-за ее любви к сыновьям, ибо она их обожала до того, что даже помыслить не могла о какой-нибудь их возможной беде, не впав в сильнейшее расстройство; для них, для них одних она жила — притом в постоянной тревоге. Теперь вам нетрудно представить, какую горечь, боль и угрызения испытала она, узнав о смерти этих двоих и от беспокойства за третьего, пребывавшего в Лионе, а также за брошенного в узилище господина де Немура, коль скоро, сама находясь в заточении, она подозревала всякие несчастья, могущие с ними приключиться.

Когда ее перевозили из замка Блуа в крепость Амбуаз — более суровую тюрьму, едва переступив порог и выйдя наружу, она обернулась и подняла глаза к портрету своего деда, короля Людовика XII, высеченного из камня верхом на коне в очень грациозной и воинственной позе. Приостановившись и созерцая его, она произнесла перед всеми, кто сбежался туда, любуясь ее благородным видом и уверенными манерами: «Если бы изображенный тут был жив, он бы не позволил увести свою внучку пленницей и обходиться с ней подобным образом». И, не вымолвив более ни слова, продолжила свой путь. Надо думать, в сердце своем она возносила мольбы к душе покойного, прося отомстить за свое заключение; подобно ей поступали некоторые

заговорщики, замышлявшие погибель Цезарю: отправляясь на кровавое дело, они обращали взор свой к статуе Помпея и шепотом призывали тень его руки — некогда столь несокрушимой — помочь им докончить то, что они задумали. Может статься, и то, что наша принцесса воззвала к душе умершего, ускорило смерть монарха, который так ее оскорбил. Дама, столь мужественная в сердце своем, да еще помышляющая о мести, способна внушить немалые опасения.

Мне вспомнилось, что покойный ее супруг, господин де Гиз, получил смертельную рану, когда она была в его военном лагере, прибыв туда, чтобы повидаться с ним, несколькими днями ранее. Когда он прискакал, раненный, она прибежала к нему, спустившись к выходу из жилища, где он разместился, вся испуганная и заплаканная, и, обменявшись с ним приветствием, внезапно воскликнула: «Возможно ли, чтобы совершивший это и тот, кто направлял его руку (она подозревала господина адмирала), так и остались безнаказанными? Боже, если есть справедливость — а она должна быть, — отмсти за все, иначе…» Но тут супруг прервал ее, сказав: «Душа моя, не оскорбляйте Господа такими речами. Если Он сам ниспослал мне кару за мои прегрешения, да пребудет воля Его и да святится имя Его вовеки. Если же это исходит от кого другого — то коль скоро Ему отмщение, то Он и воздаст, без вашего участия». Но как только он умер, она так ополчилась на убийцу, что его четвертовали, привязав к четверке лошадей, а тот, кого она сочла подлинным виновником, был убит спустя несколько лет (о чем я надеюсь в своем месте поведать), по ее же наущению, ее сыном (это я видел собственными глазами), которого она с рождения натравливала, убеждала и заклинала, с нежной юности растя его для отмщения; и наконец она добилась полного исполнения мстительных замыслов.

Помыслы и мольбы крепких духом жен и матерей могут оказывать сильное действие; так, насколько я помню, Карл IX, объезжая свои владения и прибыв в Бордо, заключил в тюрьму барона де Бурназеля, весьма смелого и благородного дворянина из Гаскони, обвиненного в убийстве другого дворянина, своего земляка по имени Латур. Поговаривали, что навет был ложным. Вдова покойного так рьяно требовала наказания виновного, что при дворе и в королевских покоях стали опасаться, как бы бедному барону вправду не отрубили голову. Благородные кавалеры и дамы пришли в большое волнение и стали прилагать все силы, чтобы спасти ему жизнь. Короля и королеву дважды просили о помиловании. Но этому решительно воспротивился господин канцлер, требуя, чтобы правосудие свершилось. Король

хотел, чтобы все обошлось; он сам был молод — и ничего так не хотел, как спасти несчастного, известного при дворе своим любезным обхождением; и господин де Сипьер желал того же. Меж тем день казни приближался — и все удивлялись бездействию двора. Но тут господин де Немур, который любил беднягу барона (с коим некогда делил тяготы войны), бросился к ногам королевы, умоляя ее даровать осужденному жизнь. Он просил так пылко и красноречиво, что прощение ему было обещано; тотчас с посыльным офицером передали приказ освободить барона из тюрьмы — это случилось как раз тогда, когда его уже выводили на казнь. Жизнь де Бурназеля была спасена, но он испытал такой страх, что следы его навсегда запечатлелись в чертах его лица, оставшегося смертельно бледным. Такую же мертвенную белизну я видел сам, как уже говорил выше, на лице господина де Сен-Валье, тоже едва избегнувшего топора в знаменитом деле господина де Бурбона.

Меж тем вдова Латура не дремала: на следующий день она стала искать встречи с королем в церкви, куда он отправился к мессе, и там бросилась к его ногам. Она показала ему своего сына, коему могло быть от силы два или три года, и сказала: «Сир, если уж вы оказали милость убийце, что лишил этого ребенка отца, умоляю заранее простить и младенца, ибо, как только он подрастет, он воздаст презренному по заслугам». С того дня, как я слышал, мать каждое утро будила свое дитя, показывая ему окровавленную рубашку, в которой был убит ее супруг, и трижды повторяя: «Приглядись к ней хорошенько и запомни: если, когда вырастешь большим, ты не покараешь убийцу — я лишу тебя наследства». Какая страстная женщина!

Когда я обретался в Испании, я там слышал об Антонио Рохасе; то был один из самых храбрых, воинственных и тонких людей, известный рубака, а притом столь любезный, что и среди испанцев мудрено отыскать подобного; и вот он возжелал сделаться священником и принять постриг. Однако в день, когда ему нужно было читать свою первую мессу — он уже направлялся, облачившись в праздничные одеяния, с потиром в руках к главному алтарю, — вдруг услышал, что его мать вослед ему шепчет: «Ah! vellaco, vellaco, mejor séria de vengar la muerte de tu padre que de cantar missa» (Ах, несчастный и презренный! Лучше бы тебе отомстить за смерть родителя, чем распевать мессы). Этот голос так западает ему в сердце, что он бестрепетно сворачивает с полдороги — и отправляется переодеваться. Сделав вид, будто ему стало плохо с сердцем, и отложив все до следующего раза, он удаляется в горы к лесным братьям и там завоевывает такой почет и уважение, что становится предводителем, совершает

много дерзких налетов и краж, мстит за смерть своего отца его убийцам (одни утверждают, что он был убит в схватке, другие — что по приговору суда). Историю эту мне поведал один из настоящих лесных братьев, некогда ходивший под его началом; он превозносил своего атамана до небес и клялся, что сам император Карл не мог с ним совладать.

Возвращаясь к госпоже де Немур, добавлю, что король долго не удерживал ее в тюрьме, а причиной тому стало вмешательство господина д'Эскара; монарх велел ее выпустить и отправить в Париж к господам герцогу Майеннскому и герцогу Немурскому, а также другим принцам из Лиги, посылая с ней слова примирения и забвения всего, что случилось, дабы мертвых оставили мертвым, а живые бы заключили мир. Но, по сути, король добился от нее лишь обещания передать его письмо. Прибыв же на место, она, прежде всего прочего, вволю оплакала погибших и лишь после того передала королевский пакет. Герцог Майеннский составил ответ и спросил ее, советует ли она отсылать его. Она же отвечала: «Сын мой, я здесь не для того, чтобы советовать, а лишь передаю то, о чем меня просили. Вам решать, что вы должны или не должны делать. Призываю лишь ваше сердце и совесть подсказать вам ответ. Что касается меня, я выполнила свое — и умолкаю». Но тайно продолжала разжигать огонь розни и поддерживала его очень долго.

Много было таких, кого весьма удивило, что столь мудрый и осторожный монарх — один из самых ловких людей в королевстве — сделал эту женщину своей посланницей, перед тем так ее оскорбив, что у нее ни сердце, ни душа не должны были лежать к примирению, а искали, как бы его провести. Говорили, что такой совет дал маршал де Ретц, в свое время нечто подобное посоветовавший и королю Карлу, с целью склонить жителей Ла-Рошели к миру и послушанию своему суверену: послать туда господина де Лану, а дабы тот мог заслужить большее доверие, позволить ему разогревать сердца и воспалять души против королевской власти, вести жестокую войну с ней и своими суждениями побуждать ларошельцев сопротивляться законному монарху. Но все это при условии, что, когда его призовут либо сам король, либо его верховный наместник герцог Алансонский, Де Лану тотчас покинет город. Тот исполнил и одно, и другое: и воевал, и выбрался оттуда, как только приказали. Но при этом он так хорошо обучил тамошних жителей военной науке, преподал им такие добрые уроки и так их распалил, что они натянули нам нос. Многие считали, что ничего дурного не произошло, но я сам был свидетелем всему, что там творилось, и надеюсь высказать свое мнение о сем в ином месте.

Вот чьим суждениям доверился французский король, хотя такого советчика лучше бы счесть шарлатаном и низким льстецом, чем назначать маршалом Франции.

Еще добавлю несколько слов об упомянутой ранее госпоже де Немур. Слышал я, что, когда создавали Лигу и показывали этой даме списки примкнувших к ней городов, она, не отыскав там Парижа, все повторяла сыну: «Сын мой, еще ничего не сделано, нам нужен Париж. Если вы его не заполучите — считайте, что у вас ничего нет». Она твердила и твердила о Париже, пока там не появились баррикады.

Вот как благородное сердце всегда тяготеет к возвышенному, и здесь уместно вспомнить маленькую историю, вычитанную мною из одной испанской книжки под названием «La Conqista de Navarra»[61]. При короле Жане это королевство было захвачено правителем Арагона. Чтобы отвоевать его, Людовик XII послал туда армию под предводительством господина де Ла Палиса. Через посредство этого господина де Ла Палиса, привезшего его послание, монарх передал донье Екатерине, что приглашает ее во Францию, где она будет жить вместе с королевой Анной, его супругой, в ожидании, пока сам король, вместе с господином де Ла Палисом, попытается вернуть похищенные у него земли. Королева же, в великодушии своем, ответствовала: «Как, сударь? Я думала, что король, ваш повелитель, посылает вас ко мне, чтобы водворить меня в собственном моем королевстве и вступить в Памплону вместе со мною. Я уже подготовилась — и решилась сопровождать вас, а тут вы предлагаете мне направиться в Париж ко французскому двору? Какое дурное предзнаменование для меня: оно не сулит удачи. Видно, мне не суждено вернуться в родной город». Как она предсказала — так и случилось.

А вот что произошло с госпожой герцогиней де Валентинуа: когда кончина короля Генриха казалась неминуемой и его самочувствие почти не оставляло надежд, ей передали приказ удалиться из его парижского замка, не входить более в его опочивальню. Это сделали как для того, чтобы не помешать ему обратиться к Богу, так и из-за враждебности к ней многих властительных особ. Когда же она подчинилась, у нее потребовали еще вернуть несколько перстней и драгоценных вещиц, принадлежавших короне. И тут она внезапно спросила у господина, что явился к ней с этим поручением: «Как, неужели король умер?» — «Нет еще, сударыня, — отвечал тот. — Но это не замедлит случиться». — «Пока у него осталось жизни хоть на мизинец, — сказала она, — пусть мои недруги знают, что я их не страшусь и не стану им повиноваться, пока монарх еще дышит.

Мое мужество не поколеблено. А умри он — я не пожелаю его пережить; тогда, какая бы горечь ни досталась мне в удел, она покажется сладостной по сравнению с моей утратой. Так что жив король или нет — а враги мои мне не страшны».

Так эта почтенная госпожа выказала величие собственного сердца. Но рассказывают, что она не умерла, как предрекала. Хотя чувствовала много раз, как к ней подкрадывается смерть, она не пожелала ей поддаться — и продолжала жить, чтобы показать врагам свое бесстрашие. Помня, как они сгибались и ползали перед нею, она не хотела делать того же перед ними и являться им с угодливой миной из одного опасения кого бы то ни было раздражить. Случилось другое: не прошло и двух лет, как они сами нашли ее и более чем когда-либо старались завоевать ее дружбу. Я все это видел и говорю: у властителей обоего пола мало стойкости в привязанностях; они легко примиряются с теми, кто им был противен, уподобляясь мошенникам на ярмарке; так они любят, но так же и ненавидят — чего мы, малые мира сего, не можем себе позволять. Ведь нам завещано биться, мстить и умирать и — сколь бы трудным ни было положение — заключать союзы весьма щепетильно, уравновешенно и торжественно, если мы считаем, что так будет лучше.

Достоин восхищения поступок столь решительной особы; впрочем, такие, как она, радея о делах государства, всегда делают несколько больше обычных людей. Вот почему наш покойный король Генрих III и королева-мать вовсе не любили своих придворных дам, умы и языки коих были заняты тем, как шла жизнь в королевстве, и носы вострились туда же, — ибо думать о важных вещах и касаться их разрешалось лишь высокородным наследницам, как говаривали их величества, — поскольку от этого зависела их судьба; или, по меньшей мере, такие заботы пристали тем, кто, как мужчины, проливают пот и натруживают руки, чтобы поддерживать порядок; они же, удобно сидя в креслах перед горящим очагом, лежа на кушетках или на подушках, только и делали, что вели пересуды о высшем свете и французских делах, — словно от них что-то зависело. На что однажды весьма живо откликнулась одна из великосветских остроумиц (об имени коей умолчу), после того как высказала все, что имела, о первых Генеральных штатах в Блуа. Их величества прочитали ей легкую рацею, советуя обратиться лучше к домашним заботам и молитвам; она же, будучи чуть-чуть слишком бойкой на язык, отвечала: «В те поры, когда принцы, короли и великие мира сего отправлялись за море и совершали подвига на Святой земле во имя Креста Господня, нам, слабым женщинам, конечно, было позволительно лишь плакать,

причитать, давать обеты и поститься, прося Всевышнего даровать им доброе путешествие и скорое возвращение; но теперь, когда мы видим, что они делают не более нас, нам не стыдно говорить обо всем: ведь о чем бы мы стали просить Господа, если в поступках своих они таковы же, как и мы?»

Слова довольно дерзкие — и стоили они ей дорого: лишь с большим трудом ей удалось получить прощение, притом — не случись некоего обстоятельства, о котором речь пойдет позже, — примирения бы не было, а наказание ее ждало весьма огорчительное и оскорбительное.

Не всегда полезно давать волю язычку, когда острое словцо само на него просится; видывал я многих, кто не умел управлять собой, — ведь злоязычные натуры столь же ретивы и брыкливы, как арабский скакун; и если засвербит у них во рту от колючей шуточки — они уж ее выплюнут, не проглотят и не пожалеют ни родных, ни друзей, ни знатных вельмож. При нашем дворе встречалось много светских персон с таким расположением духа, их даже прозвали Маркиз (или Маркиза) Сладкоуст, хотя держались при них настороже.

Теперь же, описав благородство некоторых досточтимых особ при жизни, пора коснуться и того, как прекрасно вели себя другие на пороге могилы. Не вдаваясь в дебри давно минувших времен, приведу лишь случай с госпожой регентшей, матерью великого нашего короля Франциска. В свое время — как я видел и слышал — это была как нельзя более миловидная принцесса, притом весьма светская, даже в преклонных своих годах. И терпеть не могла, когда при ней заговаривали о смерти, даже если то оказывался священник, читающий проповедь. «Как если бы, — говаривала она, — им не достаточно известно, что все мы однажды умрем; такие проповедники заводят об этом речь, когда не знают, о чем еще говорить, — словно школьники, не вызубрившие до конца урок, — и, как люди несведущие, суются в царство смерти, о котором не ведают». Кстати, покойная королева Наваррская, ее дочь, не более матери любила, когда заводили подобные песни и угрожали неотвратимой погибелью.

Когда же и ей настала пора умирать, покоясь в постели за три дня до кончины, она вдруг увидела, что спальня ее наполнилась светом, словно брызнувшим в окна. Она стала бранить служанок, зачем развели такой жаркий и яркий огонь. Они же отвечали, что угли едва тлеют; это лунный свет озарил все вокруг. «Не может того быть, — возразила она. — Ныне луна на ущербе — и в этот час не способна так сиять». Внезапно она велела отдернуть занавеси — и все заметили комету, свет от которой падал прямо на кровать. «Ха! — воскликнула она. — Вот предзнаменование,

какого не дождаться низкорожденным. Лишь нам, великим мира сего, Господь ниспосылает такие знаки. Закройте окно: эта комета предсказывает мне скорую смерть. Надобно подготовиться». На следующее утро она послала за своим исповедником и исполнила все, что должна сделать добрая христианка, хотя врачи уверяли, что дела ее далеко не так плохи. «Если бы я сама не видала предвестия своей смерти, — отвечала она, — я бы тоже не поверила, ибо не чувствую себя достаточно плохо». И поведала им о мрачном предзнаменовании. Не прошло и трех дней, как она покинула этот бренный мир и предстала перед Всевышним.

Не могу поверить, чтобы знатные особы — притом недурные собой, юные и благородные — имели бы меньше причин печалиться, переходя из суетного нашего мира в вечный, нежели прочие; но при всем том я мог бы назвать не одну, бестрепетно взглянувшую в лицо смерти — подчас по собственной воле, хотя сначала сама мысль о ней казалась им горькой и отвратительной.

Покойная графиня де Ларошфуко из дома де Руа — на мой вкус и по суждениям других, одна из самых прекрасных и приятных женщин Франции, — когда ее проповедник (ведь, как всем известно, она была реформаткой) сообщил ей, что уже не время думать о мирском и близок час, когда ей суждено предстать пред Господом, ибо Небеса уже призывают ее и пора отринуть житейскую тщету, каковая ничто перед райским блаженством, — сказала ему: «Как прекрасно, господин пастор, слышать все это тем, кто не испытал большого удовольствия от благ сего мира и уже ступил на край могилы; мне же, еще не распростившейся с юностью и наслаждениями в дольнем мире — не говоря уже о красоте, — слышать ваши сентенции куда как горько. Но хоть у меня более поводов любить эту жизнь, нежели у кого бы то ни было другого, — мне подобает выказать благородство помыслов и заверить вас, что принимаю смерть с легкостью, как самое низкое, отверженное, гнусное, уродливое и старое создание Господне». Затем она истово начала петь псалмы — и с тем умерла.

Госпожа д'Эпернон из дома де Кандаль была настигнута столь внезапным недугом, что распростилась с жизнью за шесть или семь дней. Она испробовала все средства избежать гибели, умоляя о помощи Бога и людей, вознося весьма благочестивые моления, а все ее друзья, служанки и челядь молились за нее, ибо ее очень злило, что придется покинуть земную юдоль в столь нежном возрасте; но когда ей доказали, что надобно, укрепясь духом, распроститься с надеждой, ибо никакое снадобье уже не поможет, она воскликнула: «Неужто так? Тогда оставьте попечение — и я найду в себе смелость решиться». Таковы были

ее подлинные слова. Она воздела прекрасные белые руки к небесам и соединила ладони, затем с ясным лицом и твердым сердцем приготовилась терпеливо встретить конец, по-христиански отвращаясь от бренности нашего мира; и вскоре, в молитвах и набожном рвении, эта дама — столь пригожая и любезная, что трудно было в то время найти другую, равную ей, — испустила дух в возрасте двадцати шести лет.

Говорят, что не подобает хвалить близких, но и прекрасную истину скрывать отнюдь не следует. А посему я собираюсь воздать должное госпоже д'Обетер, моей племяннице, дочери моего старшего брата, ибо все, кто видел ее при дворе либо в иных местах, согласятся, что она оставалась одним из самых красивых земных созданий — совершенных и душою и телом, — какие только встречаются в дольнем мире. Дивно развитые формы ее радовали глаз, не говоря уже о прелестном, исполненном очарования лице, о росте и манерах, а ее ум поражал необычной остротой и познаниями; говорила же она весьма чисто, в речи ее была естественная гармония, без ужимок — и она слетала с уст плавно и светло, заходил ли разговор о вещах серьезных или о светских пустяках. Никогда я не встречал женщины, столь похожей, по моему разумению, на королеву нашу Маргариту — и статью и достоинствами; то же я однажды слышал и от королевы-матери. Здесь сказано достаточно, чтобы воздержаться от иных похвал, что я и сделаю: те, кто видел ее, не станут (я в этом уверен) меня опровергать. Случилось так, что на нее напала какая-то хворь, которой не могли распознать врачи, утратив всю свою латынь; притом ей почудилось, что ее отравили; не стану намекать, откуда шло зло, но Господь всевидящий отомстит, а возможно, и люди в том Ему поспособствуют. Она сделала Все, чтобы помочь себе, — но не потому, как сама говорила, что боялась умереть (она утратила какой бы то ни было страх перед могилой после потери мужа, хотя он не был ни в чем ей ровней и вовсе ее не стоил — даже тех прекрасных слез, что пролились после его кончины из ее очаровательных глаз); но ей хотелось бы пожить еще немного, чтобы позаботиться о малолетней дочери, которую она очень любила, — вот причина, что может считаться доброй и разумной, а сожаления о таком муже, по-моему, дело пустое и не стоят того, чтобы принимать их всерьез.

Исследовав свой пульс и найдя его лихорадочным (сама знала толк в этих вещах), она поняла, что нет ей лекарства и спасения, а потому, за два дня до кончины, послала за дочерью и прочла ей весьма назидательные и уместные наставления, призвав любить Господа и жить разумно (и я не знаю матери,

которая смогла бы сделать это лучше — как в том, что касалось светской жизни, так и в разъяснении того, как сподобиться Божьей благодати). Закончив поучения, она благословила дочь и попросила не смущать более своими слезами мир и покой ее души, готовой отлететь к Господу. Затем велела принести зеркало и весьма внимательно всю себя оглядела, промолвив: «Ах, как же мое лицо предает меня в самой болезни, оставаясь таким же, как прежде (а надо сказать, выглядела она прекраснее, чем когда-либо); но ничего: вскоре придет смерть, которая наведет свой порядок, и тебя в могиле пожрут черви и гниль». А на пальцах у нее было множество колец и перстней; посмотрев на них, на прелестные свои руки, она сказала: «Вот светская мишура, которую я когда-то так любила; теперь же с легким сердцем оставляю ее, чтобы в мире ином меня одарили другими, прекраснейшими и совершеннейшими украшениями». Потом, бросив взгляд на сестер, плакавших навзрыд у ее изголовья, стала успокаивать их, прося принять без возмущения то, что ниспослано Господом нашим; ведь, любя ее от всего сердца, они не должны печалиться о том, что ей самой несет радость и благодать; а ее дружеское участие и любовь к ним, никогда не угасавшие, пребудут вечными; так призывала она их — равно как и свою дочь — радоваться вместе с ней; а видя, что слезы полились еще сильнее, добавила: «Милые сестры, если вы меня любите, почему не возвеселитесь вместе со мной, что я меняю жалкую жизнь на счастливую? Душа моя, устав от стольких тягот, желает освободиться от земных уз и обрести покой подле Иисуса Христа, нашего Спасителя; вы же полагаете, что ей надобно быть привязанной к этому бренному телу, переставшему быть ей домом и сделавшемуся тюрьмой. Умоляю вас, дорогие сестры, перестаньте печаловаться».

Она произнесла еще немало по-христиански утешительных слов — и вряд ли какой-нибудь великий доктор теологии сказал бы лучше ее. Но более всего она желала видеть госпожу де Бурдей, свою матушку; она все просила сестер послать за нею и часто повторяла: «О боже! Ответьте, сестрицы, приехала ли госпожа де Бурдей? Ах, как ваши посланцы медлят! Они не удосужились поторопиться и, верно, останавливаются там, где надо и не надо». Матушка ее наконец все же прибыла, но не застала дочь в живых, так как та отошла в лучший мир за час до того.

Она и меня очень просила призвать — поскольку всегда называла своим драгоценным дядюшкой — и послала нам свое прощальное приветствие. Она приказала после своей смерти вскрыть тело, к чему ранее отнеслась бы с негодованием, но

теперь ей хотелось, чтобы причина ее смерти была явлена близким: это могло бы охранить их жизнь и жизнь ее дочери, «ибо, — повторяла она, — надо признать, что мне подсыпали яду пять лет назад, вместе с моим дядей Брантомом и сестрой графиней де Дюрталь; но, быть может, я приняла отравы более других. Нет, я не желаю никого обвинять — боясь ошибиться и отягчить Душу ложным наветом, ибо желаю сохранить ее незапятнанной, чтобы она полетела прямо к Господу, сотворившему ее».

Я никогда не закончу, если буду рассказывать все, ибо ее рассуждения были пространны и в них ничего не позволяло заподозрить слабость тела и угасание духа. Среди прочего упомяну лишь об одном дворянине, ее соседе, большом острослове, любившем пускаться с ней в шутливые беседы. Он также явился, и она ему сказала: «Ах, друг мой! Удар, что я получила, заставляет сдать на милость победителя и язык, и клинок, и все прочее. Прощайте!»

Врач и сестры хотели заставить ее принять какое-то сердечное снадобье, но она его отвергла. «Ведь оно уже не поможет, — проговорила она, — лишь продолжит страдания и отдалит миг покоя». И просила, чтобы ее более не тревожили, несколько раз повторив: «О господи, как смерть сладка! И кто бы подумал?» А затем тихо-тихо отдала богу душу, не потревожив нас ни одним уродливым движением, никаким гнусным знаком, коим смерть обычно запечатлевает свой приход.

Госпожа де Бурдей, ее мать, не замедлила последовать за ней: потеря столь достойной дочери за полтора года свела ее в могилу; семь месяцев она проболела, пребывая в меланхолии, то обретая надежду исцелиться, то теряя ее. Но с самого начала она решила, что ей не выбраться, и не глядела с отвращением в лицо скорой гибели; никогда не молила Господа продлить ее дни и вернуть здоровье, а лишь просила ниспослать ей терпение в горестях и тихую смерть, без мучений и судорог. Так и было: мы даже решили, что она задремала, — так кротко она отошла в иной мир, не двинув ни рукой, ни ногой, не вперяя исполненного ужасом взора, не строя отвратительных гримас, но тишайше смежив очи, и осталась в смерти столь же красивой и совершенной, каковою была при жизни.

Конечно, большое несчастье умирать вот так, не дожив до преклонных лет! Но думаю, быть может, Небеса, не желая, чтобы столь чистые светильники, от сотворения мира озаряющие лучезарный свод, потратили себя здесь без остатка, и превращают их в новые звезды, чтобы те нам светили, подобно тому как наш земной путь озаряли их прекрасные глаза.

Прибавлю, впрочем, и еще кое-что.

Вы, наверное, не забыли госпожу де Баланьи, сестру нашего храброго Бюсси, во всем похожую на брата. Когда Камбре был осажден, она сделала все, что могла, дабы отвратить взятие города; но после многих стараний и благородных ухищрений, видя, что ничего не помогает — и город обречен перейти к врагу, а цитадель тоже не продержится, — не в силах вынести душевную муку и покинуть свои владения (ибо ее супруг и она именовались принцем и принцессой, владетелями Камбре и Камбрези — титулом, который среди большинства народов считается ужасно дерзким, если принять во внимание их положение простых дворян) — угасла, смертельно пораженная скорбью на поле славы. Некоторые утверждают, что она по своей воле приняла смерть, — хотя и находят подобное деяние более языческим, нежели христианским. Однако остается достойной хвалы ее благородная стойкость и примечателен тот выговор, какой она сделала супругу в час своей кончины. «Что осталось тебе, Баланьи, — молвила она, — как можно жить, претерпев столь злосчастное поражение и сделавшись посмешищем и потехой всего света, чтобы на тебя показывали пальцем, вспоминая, что бывал ты в большой славе и возвышался над многими? Ныне ожидает тебя низкий удел, если не последуешь за мною. Учись же у меня, как подобает умирать, не переживая падения и осмеяния». Знаменательно, когда женщина учит нас жить и умирать. Впрочем, он не поверил ей — и не последовал за нею: через семь или восемь месяцев, отринув воспоминания о столь доблестной супруге, он вступил в брак с сестрицей госпожи де Монсо — прекрасной собою, не спорю, и весьма добродетельной девицей; так он показал всем, что желает жить — чего бы то ему ни стоило.

Конечно, жизнь хороша и приятна; но достойна всяческих похвал и благородная возвышенная смерть, подобная той, что избрала сия особа, каковая — если принять, что она погибла от горя, — поступила против женской натуры, коей (как утверждают многие) свойственно то, что противно естеству мужчины, а именно умирать от радости и в радости.

Вспомню еще лишь одну историю, приключившуюся с мадемуазель де Лимёй-старшей, одной из фрейлин королевы, умерших при дворе. Пока она болела, ее ротик не закрывался: она непрестанно говорила, ибо была завзятой говоруньей — едкой на язык и ранящей им метко и наверняка; а к тому же — весьма хороша собой. Когда подошел ее смертный час, она призвала к себе своего лакея, — а у каждой фрейлины при дворе был свой лакей; так вот, ее лакей, прозывавшийся Жюльеном, превосходно играл на скрипке. «Жюльен, — велела она ему, — возьмите

скрипку и играйте до тех пор, пока не увидите, что я уже умерла, — ибо все идет к тому. И исполняйте „Поражение швейцарцев“ с сугубым старанием, а когда дойдете до слов „все кончено“ — повторите их пять или шесть раз, и так жалостливо, как сумеете». Он так и сделал, а она подтягивала голосом; когда же дошел черед до слов «все кончено» — она повторила их дважды, а затем, повернувшись и обратившись к тем, что стояли по другую сторону изголовья, вымолвила: «Вот теперь-то и правда всему конец, да оно и к лучшему» — и с этими словами отошла. Вот веселая и радостная кончина. Рассказ о ней я слыхал от двоих ее подружек, достойных доверия и бывших свидетельницами сего действа.

Если существуют женщины, способные умереть от радости или радостно принять кончину, — немало было и мужчин, поступавших так же; например, подобное можно прочесть о великом Папе Льве, умершем от ликующего возбуждения духа, когда узнал, что французов изгнали из королевства Миланского, — настолько он нас ненавидел!

Покойный господин великий приор Лотарингский возжелал однажды послать к Леванту две свои галеры под водительством капитана Болье, одного из своих наместников, о котором я уже упоминал в ином месте. Этот капитан охотно взялся за дело, поскольку был храбр и воинствен. Когда он подплывал к архипелагу, ему встретился большой венецианский корабль, богатый и хорошо вооруженный. Он обстрелял венецианца из пушек, но тот ответил ему тем же и с первого же залпа снес две скамьи с каторжниками и убил помощника, коего звали капитаном Панье — хорошего товарища в бою и в застолье, успевшего перед смертью только пошутить, обыграв свое имя: «Хоть сам Панье не из Шампани, но шампань из Панье зато хлещет красней бордо. Так чего жалеть о пустом бурдюке, когда пролито вино». Удачное словцо скрасило его последнюю минуту. А господину Болье пришлось отступить, поскольку тот корабль оказался ему не по зубам.

В первый год царствования короля Карла VIII, после введения июльского эдикта против лихих людей из Сен-Жерменского предместья, в оном же предместье собирались повесить мошенника, укравшего шесть серебряных приборов из кухни принца де Ла-Рош-сюр-Ион. Когда бедняга был уже на лестнице и с головою в петле, он попросил палача дать ему сказать последнее слово — и принялся разглагольствовать о том, что невиновен, и доказывать народу, что вешают его зря. «Ведь вот, — говорил он, — никогда я не обморочивал бедняков, нищих и всяких забулдыг, а только разных принцев и вельмож, каковые

самые большие жулики и есть, почище нашего брата, и грабят нас что ни день, а я лишь возвращал то, что они у нас отбирают и крадут». И много других шуточек и скабрезностей он вывалил наружу, о коих распространяться нет нужды, так что священник сам поднялся на лестницу к нему и, обратившись к народу, чтобы его видели, завопил: «Сударь и сударыни! Сей бедный грешник просит вас помолиться за него, так возгласим же ради спасения его души „Pater noster“, „Ave Maria“ и „Salve[62]“». Собравшийся люд затянул было с ним молитвы, но тут жулик пригнул голову и заревел, как телок, весьма едко передразнивая святого отца, а затем пнул его ногой, так что тот полетел с лестницы и сломал себе ногу. «Черт вас подери, сударь, я же говорил, что незачем вам забираться так высоко: не удержитесь, — и поделом вам, графский угодник!» Заслышав его стоны, он расхохотался, а после сам сиганул вниз и закачался в петле. Клянусь вам, что при дворе немало смеялись этой выходке, хотя бедному священнику и досталось. Вот смерть, которую, без сомнения, нельзя назвать грустной.

Покойный господин д'Этамп имел презабавного шута по имени Колен. Когда тот лежал при смерти, господин д'Этамп спросил, как он себя чувствует. «Плохо, сударь, — отвечали ему, — он вот-вот умрет, потому что уже в рот ничего не берет». — «Возьмите этот паштет, — приказал господин д'Этамп, который как раз обедал, — отнесите ему и передайте, что если он откажется что-нибудь принять из любви ко мне, то я лишу его моей милости, ибо мне говорят, что он ничего не берет». С таким поручением отправились к Колену, каковой уже дышал на ладан, он ответил: «Кто говорит, что я не желаю ничего взять? Сейчас ухвачу!» — и, обратив взгляд на тучу мух, круживших вокруг, — а дело было летом — этак ловко стал поводить ручкой (что легче вообразить себе, чем описать) и проговорил: «Передайте господину, что я смог кое-что взять и ухватить из любви к нему, а теперь отправляюсь в царство мух». И, перевернувшись на другой бок, сей шутник отошел в мир иной.

Некие философы, как я слышал, полагают, будто люди нередко вспоминают перед кончиной о том, что они больше всего любили; дворяне, воины, охотники, ремесленники — короче, все, кто чем-либо занимался при жизни, не забывают об этом и в последний час не прочь замолвить словечко о своих прошлых делах; такое мы часто видим.

Женщины тоже, не обинуясь, вспоминают о былом — даже потаскухи; так, слыхал я о бесстрашной особе, каковая перед смертью горделиво перечисляла возлюбленных, былые проказы и канувшие в прошлое удовольствия; притом нарассказала более

того, что все о ней знали, хотя и подозревали в ней лихую распутницу. О подобном обычно заговаривают в бреду либо желая очистить совесть от тяготивших ее воспоминаний; и верно, она произнесла свою исповедь в здравом рассудке и твердом намерении покаяться, не забыв никакой подробности и описав все яснее ясного. «Вот уж действительно, — сказал кто-то потом, — отрадно напоследок очистить совесть, выметя сор поганой метлой и не упустив ни пылинки!»

Мне рассказывали об одной особе, весьма склонной грезить и мечтать ночи напролет, сквозь сон проговариваясь обо всем, чем она занималась днем, и оскандалившейся перед мужем, которому таким образом стали известны ее тайные мечтания (отчего ей потом отнюдь не поздоровилось).

Не так давно некий дворянин, причастный высшему свету и живший в провинции, коей не стану называть, умирая, проделал то же самое: поведал о своих любовных похождениях и проказах, перечислив дам и девиц, с коими был связан, и места свиданий, и каким манером все происходило; вот так он исповедовался перед Всевышним, прося прощения у него и у всего света. Этот человек поступил хуже, чем та женщина, о коей только что говорилось, поскольку она навлекла порицание только на себя, а указанный дворянин — на многих своих пассий. Вот и доверяй после этого дамским угодникам и прожигательницам жизни!

Поговаривают, что люди, снедаемые скупостью, перед смертью впадают в сходное расположение духа — что женщины, что мужчины — и не устают поминать, сколько прикоплено ими драгоценностей и денег. Лет сорок тому назад жила некая госпожа де Мортемар — одна из самых богатых в Пуату, и притом чрезвычайно добычливая; так вот, собираясь отдать богу душу, она не помышляла ни о чем, кроме своих экю, схороненных в особом кабинете, и, несмотря на болезнь, раз по двадцать в день поднималась и шла проверять, все ли сокровища на месте. Наконец час пробил — и священник уже стал призывать ее обратить свой взор к жизни вечной; но она не думала ни о чем ином и все твердила: «Платье мне! Платье! Пойду посмотрю, как бы мои злодеи меня не обобрали!» — помышляя лишь о том, чтобы одеться и отправиться в свой кабинет. Так эта добрая женщина силилась, силилась встать, но тщетно — и умерла.

Вижу, что несколько заплутал к концу моего рассуждения — ведь исходил я первоначально от вещей возвышенных, но сбился с дороги; однако прошу не забывать, что после поучения да трагедии приходит черед и фарсу. На том и кончаю.

РАССУЖДЕНИЕ ШЕСТОЕ:
О том, как опасно плохо говорить о дамах и что из-за этого может случиться

Хорошо бы не забывать, что даже когда занимающиеся любовью дамы отдаются страсти без остатка, они ни от кого не желают выслушивать оскорбительные или неприятные речи, и тот, кто не усвоил этого — рано или поздно, — может быть хорошенько наказан. Короче, они не прочь побаловаться — но так, чтобы никто о сем не говорил. Несомненно, не дело порочить добропорядочную женщину или же раскрывать ее секреты: что поделаешь, если множество очаровательных созданий не вполне довольны своими избранниками?

Часто — и даже в самое последнее время — при дворах знатных французских сеньоров и королей любили перемывать косточки сих благороднейших особ. Я не встречал светских угодников, кои бы не нашли, что сказать о них иногда лживого, а подчас и истинного. Но должно всячески порицать такой обычай: нельзя покушаться на доброе имя дам, особливо из высшего общества. Причем я имею в виду как тех, что не прочь поразвлечься, так и иных, кои к столь пагубному зелью питают отвращение и пригубливать его не намерены.

Как я уже сказал, при дворах последних наших королей процветали тайное злоречие и пасквили, что вовсе не согласно с простодушными обычаями предков, например доброго нашего монарха Людовика XI, уважавшего простоту нравов и — как передавали — любившего трапезовать в обширных залах, пригласив к столу множество достойных людей (как приближенных к нему, так и прочих), а самые ловкие, бойкие и неутомимые в любовных забавах с нашими прелестницами там были привечаемы особо. Он и сам не отказывался подавать в этом пример, желая все познать и поделиться своими откровениями с кем ни попадя. А это, что ни говори, большое непотребство. О женщинах он был весьма дурного мнения и не верил ни в чью непорочность. Когда он пригласил короля Англии приехать к нему в Париж и пировать вместе, он был пойман на слове, но тотчас раскаялся, и нашел достойное alibi, чтобы сорвать эту затею. «Ох, клянусь Небесами, — бурчал он, — что-то мне расхотелось видеть его здесь, ведь обязательно найдется какая-нибудь ловкая, прожженная тварь и привяжет его к своей юбчонке, приохотив к здешней жизни, — и он станет наведываться сюда чаще и бывать дольше, нежели мне угодно».

Но о собственной своей супруге он был чрезвычайно высокого мнения, ценя ее благоразумие и добродетель, — и благо ей, ибо, будучи от природы нрава подозрительного и угрюмого, он бы не смог сдержаться и стал бы поносить ее, как и прочих. Когда же он умирал, то приказал своему сыну любить и весьма почитать матушку, однако не давать ей брать верх над собой: «…Но не потому, что она недостаточно благоразумна и целомудренна, а из-за того, что в ней более бургундской, нежели французской крови». И в силу тех же причин король никогда не любил ее, озаботясь лишь о законном потомстве, а добившись сего, вовсе оставил об ней попечение. А держал ее затем в замке Амбуаз как простую придворную даму, уделив ей крайне скудное содержание, принуждая носить небогатые наряды, словно какую-нибудь фрейлину. Он оставил при ней очень небольшой двор и велел проводить время в молитвах, а сам загулял и весело прожигал свои дни. Можете сами представить, как плохо — при столь малом почтении к нежному полу — высказывался о нем сей государь, да и не он один: имена известных ему особ кочевали при дворе из уст в уста, и не потому, что он порицал любовные ристалища либо хотел покарать самых рьяных и неистовых; но излюбленнейшим его удовольствием оставалось лить на них словесные помои, а оттого бедняжки не всегда могли так свободно (как им было по нраву) взбрыкивать и пускаться в амурный галоп. В его правление непотребству не было положено предела, ибо сам король и его придворные весьма способствовали развращению нравов и тягались в этом друг с дружкой и бахвалились, смеясь — при людях или келейно, — и пускались наперегонки: кто измыслит наискабрезнейшую историю о своих похождениях, постельных ухищрениях (так говорят) и прочих разгильдяйствах. Конечно, сильных мира оставляли в покое — о них судили лишь по видимости и по тому, как они держались прилюдно; думаю, что им было гораздо легче жить, нежели большинству тех, кому выпало обретаться при последнем нашем покойном короле, который, как я помню, держал их в строгости, отчитывал и укрощал, а подчас пречувствительно наказывал. А о Людовике XI я слыхал именно то, о чем поведал.

Зато сын его, Карл VIII, наследовавший после него престол, был иного нрава, ибо его поминают как самого строгого и добросердечного в словах монарха, какого когда-либо видывали, ни разу даже намеком на оскорбившего ни мужчину, ни женщину. Оставляю вам помечтать о том, какою свободою пользовались прелестницы его времени. Но и любил он их весьма ретиво и услужал им достаточно, если не слишком: к примеру, возвращаясь из неаполитанского похода, упоенный славой

победителя, он задержался в Лионе, где возвеселил душу столькими удовольствиями и ухаживаниями за прекрасным полом, устроил столько великолепных турниров и поединков в честь дам его сердца, что позабыл о своих собственных, заброшенных в его королевстве, — а меж тем терял и власть свою над подданными, и города, и замки (которые еще стояли за него и протягивали к нему руки, моля о помощи). Говорят, что тамошние красавицы послужили причиной его смерти, ибо он слишком предался им, будучи слабого сложения; и оттого износился, впал в немощь, а засим и отбыл в мир иной.

Король Людовик XII был к дамам весьма почтителен, ибо, как я уже упоминал, позволял комедиантам, школярам и дворцовым прислужникам говорить обо всем, кроме королевы, его супруги, и дам и девиц двора, хотя сам он бывал в свое время и добрым сотрапезником, и дамским угодником, любил прекрасный пол не менее прочих и таковым остался; но не бахвалился на сей счет, не злословил и не чванился — в противоположность предку своему, герцогу Людовику Орлеанскому. Тому, впрочем, хвастовство стоило жизни: однажды на пирушке, где сидел его кузен герцог Иоанн Бургундский, он похвалился, что развесил в своих покоях портреты самых прелестных особ, коими успел насладиться; и надо же так случиться, что однажды герцог Иоанн вошел к нему в кабинет — и первой же попавшейся ему на глаза дамой, изображенной на одном из портретов, оказалась его преблагороднейшая супруга, почитавшаяся тогда необычайно красивой; звали ее Маргаритой, и была она дочерью Альберта Баварского, графа Зеландского и Гегенаутского. Вообразите, как он был ошарашен! Можно предположить, что он про себя воскликнул: «Ах так? Ну держись!» И, не подавая виду, что его гложет зубастый червь, затаил мстительную обиду и стал повсюду поносить Людовика за нераспорядительность и дурное управление королевством, всячески расписывая, как он плох в этих делах, но не упоминая о своей жене; а затем подстроил его убийство у Барбетских ворот в Париже. Его же собственная супруга померла ранее (а вернее, он ее отравил) и не успела хорошенько остыть, как он женился вновь на дочке Людовика III, герцога Бурбонского. Но возможно, что на этом он выиграл не много: если уж кому суждены рога — сколько он ни меняет домов и убежищ, а они его отыщут.

Герцог поступил весьма мудро, отомстив за прелюбодеяние, но не позоря ни себя, ни свою половину, превосходно сумевшую до времени от него все скрывать. Кстати, я однажды слышал от одного весьма знаменитого полководца, что существуют три вещи, о коих благоразумный человек не должен

распространяться, ежели не получил оскорбления, — умалчивать об их сути и даже придумывать что-либо иное на замену, за каковое и сражаться, и мстить, разве что дело станет так ясно и очевидно, что его невозможно ни укрыть от чужих глаз, ни опровергнуть.

И первое, чего не надобно прилюдно ставить в вину ближнему, — это свои рога и супругу, выставленную на всеобщее глумление; другое — когда кого-либо можно обвинить в содомии и подобных же непотребствах; наконец, третье — когда ты застиг его в минуту трусости и бегства с поединка или сражения. Все три вещи весьма отвратительны, если о них кому-либо поведать; а если драться из-за них, то можно, желая очиститься, вываляться в еще большей грязи, ибо подобные случаи бросают тень и на того, кто о них расскажет: здесь чем больше размазываешь, тем сильнее пахнет и не получается ничего, кроме отвратительной вони. Вот почему, если хочешь сохранить честь, надо от них отодвигаться подале и осторожно уводить разговор в сторону — а лучше попытаться вспомнить о чем-нибудь ином, чтобы отвлечь от прежнего, ибо сии предметы не стоят обсуждений, опровержений или стычек. На сей счет у меня имеется множество примеров, но воздержусь их приводить, дабы не слишком удлинять и утяжелять это свое рассуждение.

Вот почему со стороны герцога Иоанна было весьма благоразумно скрывать свои рога и отомстить своему кузену иначе, без постыдных упреков, тем более что обидчик, услышав их, мог с презрением от них отмахнуться, а значит, боязнь стать посмешищем гораздо более волновала его, нежели оскорбленное тщеславие, позволившее ему нанести удар, достойный ловкого и умудренного придворного.

Посему, возвращаясь к прерванному рассказу, замечу, что король Франциск, крайне неравнодушный к нежному полу (хотя, как считают многие, его избранницы были весьма переменчивы и непостоянны — о чем я уже говорил в ином месте), не желал, чтобы при дворе по сему поводу злословили, и требовал от всех уважения и знаков почтения к своим возлюбленным. Пришлось ему однажды, как я слышал, остановиться Великим постом в Медоне, что под Парижем, и услужал ему там один дворянин, по имени де Бризамбур, из Сентонжа; и вот подавал он однажды королю мясо — согласно своим обязанностям, — а тот велел отнести остатки (как иногда случается при дворе) дамам его маленькой свиты, коих не назову, чтобы не навлечь на них дурного слова. Этот дворянин принялся рассказывать среди своих друзей и приятелей, что сии особы не постеснялись есть в Великий пост не только дозволенное копченое, но также

скоромное жареное мясо, и окрестил их ненасытными обжорами. Те о сем прознали — и тотчас пожаловались королю, какового обуял такой гнев, что он немедля кликнул лучников и повелел повесить охальника без какой-либо отсрочки. Бедняга успел прознать о том от своего доверенного друга и — не помня себя — доблестно бежал. Ведь ежели бы его схватили, то без всяких судебных разбирательств тут же бы и вздернули, не посмотрев на его дворянское достоинство, — в такой гнев он привел государя. Историю эту мне поведал весьма уважаемый и достойный доверия человек, добавив, что тогда же король во всеуслышанье объявил: каждого, кто посягнет на достоинство дамы, будут вешать без проволочек.

А незадолго до того, когда Папа Павел Фарнезе прибыл в Ниццу и король со всем придворным штатом навестил его там, среди его приближенных нашлось немало отменно миловидных особ, возжелавших облобызать папскую туфлю. Тут-то один дворянин принялся разглагольствовать, что, мол, они хотят испросить позволения есть постное мясо, без ущерба для своего достоинства, каждый раз, как им это взбредет в голову. Король узнал о сем — и благо было, что дворянин тот (подобно первому) дал стрекача, не то висеть бы ему на перекладине — как в знак монаршего почтения к Папе, так и из-за исповедуемого Франциском уважения к слабому полу.

Поистине в своих вольных речах эти достопочтенные весельчаки были не так удачливы, как покойный господин д'Олбани. Когда Папа Климент явился в Марсель благословить брак своей племянницы с герцогом Орлеанским, там оказались три уважаемые и пригожие собою вдовицы, каковые — от горестей, забот и мучений, переносимых из-за того, что были лишены мужниных ласк, — чувствовали в себе такой упадок сил, немощь и болезненное расположение, что попросили д'Олбани (приходившегося им родней, да к тому ж оказавшегося в немалой милости у Папы) попросить у того снять с них запрет есть мясо в три постных дня. Герцог д'Олбани любезно согласился — и однажды попросту привел их с собой в папские покои, для чего сначала предупредил короля, который выдал им пропуск. Там, распахнув створки двери, за которой находились все три коленопреклоненные вдовицы, обратившие молитвенные взоры к верховному понтифику, герцог начал первый, проговорив довольно тихо по-итальянски — так, что они его не могли услышать: «Святой отец, вот три страдалицы-вдовицы, прекрасные и весьма добропорядочные особы, как вы успели заметить, каковые в знак верности и почтения к своим погибшим мужьям и рожденным от них детям ни за что на свете не желают

вступать вторично в брак (дабы не уронить чести оных супругов и не навредить малым чадам), но, поскольку иногда их мучит плотское томление, они нижайше просят Ваше Святейшество разрешить им близость с мужчинами без брака, если когда-нибудь подобное искусительное желание их настигнет». — «Что вы говорите, кузен! — воскликнул Папа. — Это было бы противно заветам Всевышнего — и я не могу дать такого позволения». — «Они перед вами, Ваше Святейшество, прошу, соблаговолите их выслушать». Тут одна из троих, взяв слово, сказала: «Пресвятой отец, мы просили господина д'Олбани изложить вам нашу нижайшую просьбу и принять во внимание слабость и хрупкость нашего здоровья и сложения». — «Дочери мои, — ответствовал Папа, — ваша просьба совершенно ни с чем не сообразна, ибо противоречит велениям Господа». Названные вдовицы, не зная, о чем ему говорил герцог, откликнулись с тем же смирением: «Ваше Святейшество, по меньшей мере, дайте нам отпущение хотя бы на три дня в неделю и позвольте нам делать это без лишнего шума». — «Как! — снова воскликнул Папа. — Дозволить вам совершать il peccato di lussuria![63] Да я буду проклят, если соглашусь». Тут упомянутые дамы догадались, что стали жертвой какой-то шутливой проделки и здесь не может не быть замешан их родственник-герцог. «Мы о сем не просим, — запричитали они. — Лишь умоляем разрешить нам есть мясо в постные дни». На то герцог д'Олбани сказал: «Я думал, что дело у вас шло о причащении плоти живой, а не убитой». Папа тотчас распознал подвох и с улыбкой произнес: «Мой кузен, вы заставили покраснеть столь почтенных дам; королева разгневается, если об этом узнает». Та действительно узнала, но не стала чиниться и нашла историю забавной; так же порешил и король; он потом долго над ней смеялся вместе с Папой, который, благословив, отпустил бедняжек, позволив им то, о чем они просили, к их совершенному удовольствию.

Мне сообщили их имена: то были госпожа де Шатобриан (или же госпожа де Канапль), госпожа де Шатийон и вдова бальи из Кана — все три весьма достойные особы. А поведали мне о сем наши придворные старожилы.

А госпожа д'Юзес поступила лучше; в то время, когда Папа Павел III посетил Ниццу, чтобы повидаться с королем Франциском, она была еще госпожой Дю Белле и с ранней юности обладала весьма привлекательной внешностью и острым язычком. Однажды она явилась пред очи Его Святейшества — и, простершись перед ним, стала умолять о трех вещах: прежде всего, об отпущении греха: будучи маленькой девочкой, фрейлиной госпожи регентши (тогда ее еще звали девицей

Таллар), она, вышивая, потеряла ножницы и поклялась принести обет святому Алливерготу, если их найдет, а отыскав, не исполнила сего намерения, поскольку не смогла узнать, где покоятся его святые мощи. Второй оказалась просьба о прощении дерзости: когда Папа Климент прибыл в Марсель, она — все еще оставаясь девицей Таллар — взяла одну из подушек на его спальном ложе и подтерла ею себе перед и зад (а потом Его Святейшество покоил на этой подушке достойнейшую главу и лицо, а также рот, который касался того места на подушке). Наконец, третья просьба: отлучить от Церкви господина де Тэ, поскольку она его любила, а он ее нет, а значит, проклят, ибо тот, кто не любит, будучи сам любим, — достоин отлучения.

Папа, удивленный, осведомился у короля, кто сия особа, и, узнав, что она записная шутница, вовсю посмеялся вместе с королем. Меня не удивило, что она потом стала гугеноткой и от души издевалась над папами, поскольку начала-то она с юных лет; впрочем, и в те поры все в ней пленяло, ибо и черты ее, и речи сохранили былое изящество.

Однако же не надо думать, что великий тот монарх так чопорно и ханжески был нетерпим ко всему, что касалось женщин, и не любил про них хорошие истории; он с удовольствием выслушивал таковые — если в них не было ничего задевающего честь или доброе имя — и даже сам мог поведать что-нибудь подобное; но при всем том, оставаясь королем и пользуясь этой привилегией, не желал, чтобы каждый встречный или человек низкого звания оказался в сем случае на равной с ним ноге.

Говорили мне, что он очень хотел, чтобы все благородные сеньоры при его дворе имели бы возлюбленных, а если они от того уклонялись, считал их людьми пустыми и глупыми; часто он выпытывал у них имена его или ее обоюдной симпатии, обещая свою помощь и благодеяния, — так он был добр и отзывчив душой! А нередко, заметив, что кто-то в сильном раздоре со своей милой, он обращался к ним, спрашивая, что хорошего они сказали возлюбленной; а найдя их слова недостаточно ловкими или любезными, советовал пустить в ход другие, понежнее. А с самыми приближенными не кичился и не скупился, одаряя разными историями и выдумками, одну из коих — притом презабавную — пересказали и мне. В ней шла речь о молодой привлекательной особе, приехавшей ко двору, каковая, не блистая тонкостью ума, легко поддалась улещиваниям больших вельмож, а особо самого короля, который, пожелав однажды водрузить свой «стяг на крепком древке» в ее «цитадели», прямо сказал ей об этом; она же, прослышав от иных, что, когда что-то

даешь королю или берешь у него, надо сперва поцеловать это — или же руку, которая этого коснется или пожмет, — не растерялась, а, смиреннейше поцеловав руку, взяла королевский «стяг» и нижайше водрузила его в «крепость», а затем прехладнокровно вопросила, хочет ли он, чтобы она услужила ему как добропорядочная и целомудренная женщина или же — как распутница. Не надо сомневаться, что он захотел «распутницу» — поскольку с нею приятнее, чем со скромницей, — и тотчас убедился, что она не теряла время зря: и умела и «до», и «после», и все, что душе угодно; а затем отвесила ему глубочайший поклон и, всепокорнейше поблагодарив за оказанную честь, коей она недостойна, стала тотчас (а также и потом) просить о каком-нибудь продвижении для ее супруга. Я слышал имя этой дамы, каковая впоследствии не вела себя столь наивно, как ранее, но ловко и хитро. Однако король не отказал себе в прихоти поведать сию историю, и слышало ее немало ушей.

Он всегда любопытствовал и выспрашивал каждого о его любовных делах — особливо о постельных баталиях, и даже о том, что нашептывали, о чем молили дамы в самой горячке, и как вели себя, и какие принимали позы, и что говорили «до», «во время» и «потом», — а познав, смеялся от всей души, но тотчас запрещал передавать это иным — дабы не вышло позора — и советовал хранить тайну и честь возлюбленных.

А в наперсниках у него пребывал величайший муж Церкви, весьма добросердечный и щедрый кардинал Лотарингский; я бы назвал его образцом великодушия, ибо подобного ему в те времена не водилось; порукой тому — его щедрость, милостивые дары и особенно пожертвования на бедность. Он всегда носил с собой большую суму, куда его камер-лакей, ведавший тратами, каждое утро клал три или четыре сотни экю; а встретив нищего, засовывал руку в свой мешок — и что ухватывала рука, то и давал, не дорожась и не выбирая. Именно ему какой-то бедный слепец, которому была брошена пригоршня золота, громко воскликнул по-итальянски: «O tu sei Chris-to, o veramente el cardinal di Lorrena» (Ты или Христос, или кардинал Лотарингский). Но если он не скупился, благодетельствуя беднякам, то был еще щедрее с иными людьми, особенно с нежными созданиями, коих его чары легко уловляли, ибо в те времена ощущалась большая нужда в деньгах (не то что сейчас, когда кошельки полны у всех), а на привольную жизнь и украшения всегда не хватает.

Рассказывали, что стоило явиться ко двору какой-нибудь пригожей девице или не появлявшейся ранее красили даме, как

он тотчас ее привечал и увещевал, говоря, что желает выпестовать ее своею рукой. А какой наездник! Впрочем, ведь ему приходилось иметь дело отнюдь не с дикими жеребцами. В кругу приближенных короля поговаривали, что не было особы — свежеприбывшей или надолго задержавшейся при дворе, — каковую он бы не совратил или не подцепил на крючок ее жадности и своей щедрости (и мало кто вышел из такой переделки, сохранив чинность и добродетель). А сундуки прелестниц все полнились новыми платьями, юбками, золотом и серебром, шелками — словно у теперешних королев и вельможных дам. Я сам имел случай повидать двух или трех из тех, кто заработал передком подобные блага: ни отец, ни мать, ни супруг не могли бы доставить им ничего подобного в таком обилии.

Кое-кто не преминет заметить, что мне можно бы и обойтись без того, что я только что написал о сем великом кардинале, — поимев больше уважения к его одеянию пастора и почтения к высокому сану, — но король желал его видеть таким, это доставляло монарху удовольствие, а стремление понравиться своему повелителю оправдывает весьма многое: и любовные увлечения, и прочее — лишь бы не было здесь злобы и коварства; а уж воинские подвига и охота, танцы, маскарады и иные упражнения — все благо; притом учтите, что наш кардинал был человеком из плоти и крови, как всякий другой, и его украшали многие добродетели и совершенства, каковые затмевали столь малую слабость (если таковой уместно назвать любовные утехи).

До меня дошла еще одна история о кардинале и его уважении к прекрасному полу. По природе своей он был весьма любезен, но однажды отступил от своего обыкновения, когда встретился с госпожой герцогиней Савойской, доньей Беатрисой Португальской. Однажды, направляясь в Рим, — по поручению короля, своего повелителя, — он проезжал через Пьемонт и посетил герцога и герцогиню. Побеседовав с супругом, он отправился в спальню его половины, чтобы поприветствовать ее. Она, будучи самой чванливой из всех, кого видывал свет, протянула ему руку для поцелуя. Раздосадованный подобной выходкой, кардинал приблизился, чтобы запечатлеть поцелуй на ее устах, однако она отшатнулась от него. Тут он потерял терпение: придвинувшись еще ближе, схватил голову дамы обеими ладонями и, невзирая на ее сопротивление, поцеловал ее дважды или трижды. Ее крики и восклицания по-португальски и по-испански его вовсе не тронули — и ей пришлось подчиниться. «Что с вами? — грозно вопросил он. — Пристало ли вам встречать меня с таким лицом и манерами? Я распрекрасно

целую королеву — мою госпожу, величайшую из монархинь этого мира, — а здесь мне не позволено поцеловать какую-то жалкую замарашку-герцогиню? Мне угодно, чтобы вы знали: я многажды спал со столь же красивыми дамами из столь же почтенных родов, как ваш, если еще не почтеннее». Возможно, что он говорил правду. Принцесса была не права, когда вздумала держаться с таким высокомерием в присутствии столь важного и родовитого сановника — притом кардинала, — ибо нет такого кардинала (если учесть сей высокий титул в церковной табели), какой не сравнится знатностью с величайшими вельможными дамами христианского мира. Однако и господин кардинал напрасно избрал такую жестокую кару за ее гордыню, ибо для сердца высокорожденных, какой бы сан они ни носили, до крайности нестерпимо сносить подобные обиды.

Кардинал де Гранвель хорошо дал это почувствовать графу Эгмонту и прочим, коих имена я удержу на кончике пера, ибо, перечисляя их, слишком нарушил бы ход своих рассуждений, а потому обращусь вспять и перейду к покойному королю Генриху II, который весьма уважительно обходился с дамами, относясь к ним с великим почтением, и презирал хулу и наветы на их добродетель. А когда сам король так мирволит прелестным особам — да притом весьма тверд в этом обыкновении и сурово настаивает на своем, — придворные страшатся лишний раз открыть рот и произнести что-либо непотребное. Ко всему прочему, королева-мать властной рукой поддерживала своих фрейлин и приближенных к ней сеньор и — если с ними что-нибудь приключалось — ограждала от всяческих сплетников, покушавшихся на их добрые имена, ибо и сама она не менее своих подопечных подвергалась такой опасности; правда, о себе она пеклась менее, чем о прочих, благо — если верить ее словам — она была чиста и ясность ее совести и души сами о себе свидетельствовали; посему она со смехом и пренебрежением отбрасывала злобные пасквили и доносы. «Пусть себе бесятся, — отмахивалась она, — им же хуже». Впрочем, если удавалось обнаружить пасквилянтов, она пречувствительно их наказывала.

Случилось как-то одной даме — старшей из рода Лимёй (она тогда еще делала первые шаги при дворе) — сочинить такой пасквиль (ибо она хорошо говорила и писала) — довольно прозрачный, но при всем том не слишком порочащий, скорее веселый; так вот, можете быть уверены, что та не избежала плети: королева-мать отходила ее с двумя своими служительницами; и хотя бедняжка имела честь приходиться ей родней — принадлежа к дому Тюреннов, связанному с Булонским семейством, — она ее с позором прогнала, добившись приказа короля, каковой легко

выходил из себя при одном виде подобных писаний.

Помню я и неприятности, постигшие господина де Мата — доблестного и достойного вельможу, любимого королем, родственника госпожи де Валентинуа. В неразумии своем он всегда затевал легкомысленные перепалки с дамами и девицами. И вот однажды, ополчившись на одну из фрейлин королевы-матери — прозванную Большой Мере, — предложившую ему составить ей компанию для прогулки, он, по простоте, выпалил: «О, мне страшно подходить к вам, Мере, — к этакому здоровенному боевому коню в полном доспехе». И верно, она была самой рослой из когда-либо виданных мною женщин. Мере пожаловалась королеве, что ее обозвали кобылицей и снаряженным для битвы скакуном; та впала в такую ярость, что Мата пришлось немедля покинуть двор, несмотря на покровительство своей родственницы госпожи де Валентинуа, — и лишь через месяц ему позволили переступить порог покоев королевы и ее фрейлин.

А господин де Жерсей, никогда не лезший за словом в карман (особенно когда злословил, на что большой был умелец, хотя злоречие в те поры весьма сурово каралось), поступил гораздо хуже с одной из королевских фрейлин: он питал к ней вражду — и вознамерился отомстить. Однажды после полудня она находилась в покоях королевы вместе с другими придворными девицами и кавалерами (а тогда был обычай в присутствии монархини садиться только на пол), и вот упомянутый забавник, взяв у лакеев мяч из бараньей кожи, которым они забавлялись на заднем дворе, — большой такой и сильно раздутый — примостился рядом с нею на полу и изловчился просунуть сей круглый бурдюк меж ее платьем и нижними юбками так, что она ничего не почувствовала: лишь после того, как королева поднялась с кресел, чтобы отправиться в свой кабинет, сия девица (об имени коей умолчу) тоже встала: и тут — прямо на глазах у царственной особы — из нее вывалился этот бараний мяч, грязный, покрытый свалявшейся шерстью, да еще так пребодро запрыгал, подскочив шесть или семь раз, — словно то она сама решилась повеселить всю честную компанию; у нее же такого и в мыслях не было. Как же удивились и фрейлина, и ее величество, ибо комната та была открыта взорам и ничего от них не укрылось. «Пресвятая Богородица! — воскликнула королева. — Что это, моя милая, и зачем оно вам?» Бедняжка же, покраснев и чуть не плача, залепетала, что ничего не знает, что здесь чьи-то козни, кто-то сыграл с нею злую шутку — и она не может подумать ни на кого иного, кроме Жерсея. Тот же, дождавшись, пока сей бараний пузырь вывалился из-под юбок, тотчас улизнул

за дверь. За ним послали — но он отказался возвратиться и, понимая, в какой ярости ее величество, с жаром от всего отперся. И еще несколько дней он не попадался ни ей, ни Королю на глаза, опасаясь их гнева, хотя и был (вкупе с Фонтен-Гереном) любимцем короля-дофина, и очень терпел, невзирая на то что прямых улик против него не находилось. При всем при том и король, и придворные, и многие дамы втихомолку посмеивались над сим случаем — но так, однако, чтоб не узнала все еще разгневанная королева, ибо никто лучше ее не умел хорошенько осадить примерно наказать за дерзость.

Как-то раз некий почтенный дворянин и одна юная (которую привечали при нашем дворе), бывшие ранее в великой дружбе, рассорились и разругались до того, что девица в апартаментах государыни при всех громко и с гневом объявила: «Оставьте меня — иначе я скажу вслух то, что вы мне тут нашептывали». А сей дворянин только что сообщил ей нечто — для чужих ушей не предназначенное — об одной весьма высокородной особе; и прознай кто об этом — его, самое малое, отлучили бы от двора; а потому, не растерявшись — ибо всегда был скор на ответ, — возразил: «Если вы скажете, что я вам говорил, я расскажу, что я с вами сделал». Кто оказался в проигрыше? Разумеется, девица. Но она тотчас нашлась: «Что вы могли со мною сделать?» А он: «Так что же я мог вам сказать?» Та на это: «Мне-то известно, что вы сказали». И он опять: «И мне не забыть, что я с вами сделал». Она вновь отражает наскок: «Я могу доказать то, что вы мне говорили». И он так же: «А я не хуже вашего способен доказать, что я сделал». И таким манером долго наскакивали друг на друга, говоря подобные слова, пока не расстались, покинув присутствовавших, изрядно, впрочем, повеселившихся.

Их перепалка достигла ушей королевы и привела ее в гнев; ей захотелось узнать о словах и деяниях и того, и другой; а посему за ними было послано. Но они оба — видя, что не миновать им худа, — сговорились и, представ вместе, стали уверять ее величество, будто все это было лишь невинной забавой, — и отрицали, и запирались насчет того, что сказал либо сделал сей дворянин. И так они отговорились, хотя королева все же строго отчитала сего господина за неприличные речи. Он же мне раз двадцать побожился, что, не успей он условиться с указанной особой заранее и выложи они все, пришлось бы ему стоять на своем: что девица та была им лишена невинности, в чем нетрудно убедиться, если осмотреть ее, как надлежит. На то я ему отвечал: «Все так, но ежели бы ее осмотрели и нашли невинной — ведь она была девицей, — вам пришел бы конец; за такое можно и головой поплатиться». «Ах, дьявол ее побери! — воскликнул

он. — Этого-то я больше всего и добивался. А за свою жизнь мне нечего было опасаться: в своем копье я уверен; я-то знал, кто ее первый распочал, — и был сим весьма опечален; а после того как ее бы осмотрели и установили истинные следы содеянного, с ней было бы покончено: она бы оскандалилась, а я был бы отмщен. Правда, мне бы пришлось в наказание жениться на ней, а потом отделаться от нее по мере сил». Вот каким превратностям, порой из-за сущей безделицы, подвергают себя девицы и зрелые дамы.

Знавал я одну из таковых, притом весьма высокопоставленную, коей довелось понести от очень ретивого и обходительного вельможи; причем сначала полагали, что засим последует их свадьба, но потом узнали противоположное. И первым о том проведал король Генрих, чем был до крайности рассержен, ибо та бедняжка оказалась ему — не скажу, чтобы очень, но близка. При всем том он без шума и крика на вечернем балу приказал играть танец с факелом — и пригласил ее; потом прошелся с нею же в гайарде и еще нескольких танцах, где она выказала ловкость и подвижность более обычных и гибкость талии, каковая всегда была хороша; а в тот день она так устроила, что не было видно и следа беременности; таким образом, король (все время очень пристально ее разглядывавший) ничего не заподозрил и даже сказал одному весьма приближенному к себе знатному вельможе: «Ведь есть же столь жалкие и злобные люди, что придумали, будто эта бедная девица на сносях; я же, напротив, никогда ранее не видывал ее столь легкой и грациозной. Клеветники явно просчитались, возведя на нее напраслину». И добрый государь не стал распекать сию достойную и преблагородную девицу, а даже вечером, перед тем как провести ночь с королевой, поделился этими мыслями с нею. Но та, не доверившись его суждению, наутро же сама призвала к себе подозреваемую девицу и тотчас получила от нее признание, что делу уже шестой месяц, хотя бедняжка всячески оправдывалась несостоявшейся свадьбой. Государыня впала в сильнейшее недовольство, однако король, по доброте своей пожелал сохранить все в тайне и не позорить ту девицу и, без огласки, отослал ее к ближайшим ее родственникам. где она и родила хорошенького мальца. Но судьба ему была уготована несчастливая, ибо он никогда не смог добиться от похотливого отца, чтобы тот признал его; и все это долго тянулось, а его матери ничего, кроме убытка, не принесло.

А еще король Генрих, как и его предшественники, очень любил рассказы о похождениях, но не желал, чтобы имена дам произносились прилюдно и позорились; сам он, будучи весьма предрасположен к любовным утехам, хаживал к своим

избранницам в глубокой тайне и изменяя облик, чтобы не навлечь на них подозрения и наветы. А если и бывало так, что некоторые его слабости становились известны, — то не по его вине или попустительству, но чаще из-за нескромности самой прелестницы. Такое случилось, как я слышал, с одной особой из хорошего семейства, госпожой де Фламен, шотландкой, каковая, понеся от короля, вовсе не навесила на свой рот замка, но весьма самодовольно говорила на своем офранцуженном шотландском наречии: «Я сделала все, что могла, и, хвала Всевышнему, ношу под сердцем королевское дитя, что для меня большая честь и радость; а еще могу добавить, что в королевском семени есть что-то несказанно сладостное, благотворное, несравненно желанное — не то что у прочих, — и оттого мне так хорошо, не говоря о добрых дарах, каковые выпали мне в удел».

Сын ее от этой связи стал потом великим приором Франции и недавно был убит под Марселем (а это большое несчастье): он был весьма добропорядочным, храбрым и честным сеньором — и доказал это самой своей смертью. А славился он добрыми делами и тем, что менее других тиранил подданных наших — о чем вам скажут в Провансе, кого ни спросите, — притом жил на широкую ногу и был щедр, но, как человек благоразумный, и тут знал меру.

Что до его матери, она, как я слышал, придерживалась мнения, что спать со своим королем отнюдь не зазорно; распутницы же те лишь, кто допускает до себя людей низкого звания, а не великих монархов или любезных вельмож, в чем была схожа с той королевой-амазонкой, проделавшей триста лье, чтобы забеременеть от Александра Великого (как я уже говорил). Но есть такие, кто утверждает, что одно другого стоит.

После короля Генриха настал черед Франциска II, чье царствование оказалось таким кратким, что сплетники не успели и приготовить пасквили на его дам; хотя отсюда не следует, что, проживи он дольше, он бы позволил такое при своем дворе, ибо то был монарх добрейший и честнейший по своей натуре, не жаловавший доносчиков, а сверх того, весьма почитавший женский пол и неукоснительно вежливый с ним. Тех же обычаев держались королева-мать и его царственная супруга, а также дядья, каковые осаживали неугомонных и ядовитых на язык. Помнится мне, однажды, когда он в августе — сентябре гостил в Сен-Жермен-ан-Ле, пришла ему охота вечером посмотреть на оленей во время гона в прекрасном Сен-Жерменском лесу, и взял он с собой знатнейших принцев, а также вельможных дам и девиц, кои мне известны. Но нашелся кто-то, кто сказал, что нет ничего чистого и целомудренного в наблюдении за такими

любовными играми и звериной похотью: Венерины страсти лишь разогреют кровь и подвигнут к подражанию при виде подобного зрелища; стоит нежным созданиям причаститься ему, как звериные соки и слюна прильют к их телу от чресел, так что освободиться от них можно будет только другими соками: от семени мужского. Когда король услышал это, он отослал и принцев, и дам и отправился один. Но можете быть уверены, если бы сказавший такое дворянин тотчас не уехал — ему пришлось бы худо; при дворе же он снова появился лишь после смерти короля и при новом правлении.

В то время ходило немало злобных книжонок, ливших грязь на тех, кто тогда правил королевством; но ни одна не поражала так сильно, как некий пасквиль, озаглавленный «Тигр» и составленный в подражание первой инвективе Цицерона против Каталины. А говорилось в ней о любовных увлечениях некой прелестной и высокопоставленной сеньоры и близкого ей вельможи. Если бы проказник-автор был обнаружен, имей он даже тысячу жизней — он распростился бы со всеми, ибо его жертвы получили по такому тумаку в живот, что уже не могли оправиться.

Этот король Франциск вовсе не был склонен к любви — и тем не походил на предшественников; в сем он был не прав, ибо в жены ему досталась одна из красивейших женщин на свете и самых любезных; а кто, имея подобную дичь, не охотится на нее, тот оскорбляет обычаи, достоин жалости; да притом, не предаваясь злословию по поводу дам, и доброго о них не говорит, разве что о собственной половине. Этим замечанием я обязан вполне добропорядочной персоне; однако, как я сам убеждался неоднократно, нет правила без исключений.

Король Карл, взошедший на трон после него, по молодости лет сначала не интересовался женщинами, а пекся только о забавах, свойственных его возрасту. При всем том его наставник, покойный господин де Сипьер, бывший — по моему разумению и по мнению каждого, кто с ним встречался, — одним из самых достойных и обворожительных кавалеров своего времени, преуспев в куртуазной почтительности к слабому полу, преподал своему юному ученику и повелителю столь добрые наставления по сему предмету, каких не слышал ни один из королей, до него восседавших на французском престоле. Действительно, и в нежном возрасте, и возмужав король не пропускал ни одной дамы, не остановившись перед ней и не поприветствовав; причем весьма почтительно обнажал главу и делал это всегда — и если безумно торопился, и когда никуда не спешил, и будучи на коне, и прохаживаясь пешком. Когда же и для него наступила пора

любви, он оказал честь некоторым зрелым и юным особам, но с таким благородством и уважением к их достоинству, каким мало кто при дворе мог похвалиться.

Однако в его царствование стали входить в моду великие пасквилянты, среди которых затесались даже некоторые придворные любезники (коих не буду называть по именам); они пренеприятно досаждали досточтимым нежным созданиям — всем скопом и в отдельности, притом самым высокородным, — так что кое у кого из этих насмешников дело потом доходило до настоящих ссор и поединков, и они кончали плохо; притом не потому даже, что им приходилось признаваться в содеянном, — такого не случалось, иначе их близким пришлось бы облачиться в траур, ибо король не потерпел бы малой кары за нападки на великих сих. Другие же строили хорошую мину при неважной игре, твердя, себе самим на посрамление, тысячи положенных в таких случаях опровержений, бессильно повисавших в воздухе, и словно божью росу испивая тысячи оскорблений, не осмеливаясь дать отпор: ведь тогда дело пошло бы о жизни и смерти. Посему — отнюдь не редко — мне случалось с удивлением взирать на людей, охочих позлословить на счет ближнего, но позволявших другим бессовестно и вовсе безнаказанно оскорблять себя. При всем том им удавалось поддерживать о себе мнение как о людях бесстрашных; однако же такой урон своей чести они были готовы стерпеть, не осмеливаясь и слова промолвить.

Помню один дрянной памфлетишко, составленный против некой очаровательной и отменно добродетельной вдовы, которая была не прочь обручиться с весьма высокородным вельможей, к тому ж молодым и недурным собой. Нашлись люди (притом я доподлинно знаю кто), не желавшие такого брака и вознамерившиеся отвратить от него этого влиятельного сеньора, — они-то и сочинили сию писулю, одну из самых неприличных из всего, что я видывал в этом роде; там они сравнивали вдову с пятью-шестью великими блудницами древности, знаменитыми любострастницами, коих она якобы всех собою превзошла. Те, кто выпустил пасквиль в свет, сами же представили его будущему мужу, уверяя, что он сочинен другими, а им одолжен на время. Но, не сумев обмануть его, должны были выслушать в ответ десять тысяч оскорблений, обращенных как бы не к ним, а к неизвестным виновникам, — и пропустили их мимо ушей, хотя считались храбрыми и воинственными. Однако вельможа призадумался, ибо в пасквиле — дабы придать ему правдоподобия — было перечислено и много действительных мелких происшествий; но года через два сей союз все же был заключен.

Король был так великодушен и добр, что вовсе не споспешествовал подобным людям, не перебрасывался с ними в сторонке от всех игривым словцом, хотя любил веселые шуточки, — он не желал, чтобы чернь упивалась ими, ибо сравнивал свой двор с самой знаменитой и великолепной из всех красавиц мира, с признанным воплощением совершенств, — и не позволял пустым, бессовестным болтунам неуважительных слов на этот счет; по его разумению, не подобало при французском дворе говорить о римских, венецианских и иных куртизанках — и не все, что дозволено делать, позволительно высказывать вслух.

Вот как благородно относился монарх к слабому сословию; даже в свои последние дни, когда, как я знаю, ему хотели внушить отвращение к неким весьма влиятельным, достопочтенным и прекраснейшим собою сеньорам, якобы замешанным в громкие дела, затрагивающие и его особу, он не желал ничему верить и был к ним радушен, как никогда, пировал с ними — и умер, провожаемый их благословениями и орошаемый обильными слезами, что они пролили над его телом. И еще долго они поминали его добром, особенно когда настал черед править Генриху III, каковой, по возвращении своем из Польши получив о них дурное донесение, раздул из малости, как ему случалось и прежде, великое дело и стал непримиримым стражем их нравственности, ополчась как на них, так и на многих других, тоже мне известных, из-за чего снискал к себе их сугубую ненависть, в немалой степени ускорившую и несчастье его правления, и его собственную гибель. Я мог бы привести некоторые подробности всего, что там случилось, но остерегусь, чтобы не поддаться искушению провозгласить всякую женщину склонной к мстительности и — сколь бы много времени ни протекло — готовой привести задуманное в исполнение; ведь среди них гораздо более тех, чье негодование лишь сперва пламенеет обжигающим жаром, но со временем успокаивается и стынет, пока вовсе не погасает. Вот почему следует особенно остерегаться первых вспышек и уповать на время, которое отразит их удары; однако безумный пламень, порывистость и дар долго дожидаться удобного часа могут у некоторых — не скажу многих — натур не угаснуть до самой их кончины.

Иные считают, будто король, ведя беспощадную войну со всем дамским полом, стремился искоренить женскую греховность, как если бы это могло чему-нибудь помочь: ведь надо признать, что натура этих очаровательных существ такова, что чем строже запрет, тем сильнее разгорается пламень, и уследить за всем невозможно. Да и опыт мне подсказывает, что никакие преграды не способны остановить кого-либо на столь

исхоженном пути.

Впрочем, я свидетель тому, что некоторых из этих хрупких созданий он любил с нежнейшей преданностью и уважением, почитая величайшей честью для себя служить им, и среди прочих — одну высокородную и пленительную принцессу; он до того влюбился в нее перед своим отъездом в Польшу, что, сделавшись королем, решился жениться на ней, хотя она к тому времени была замужем за весьма влиятельным и отважным вельможей, выступившим против своего монарха и потому укрывшимся в чужой стране, где собирал людей для войны с нашим государем. Однако к возвращению короля из Польши сия дама умерла родами. Лишь смерть смогла помешать их браку: сам Папа разрешил его, не в силах отказать столь всесильному монарху, да и по множеству иных причин, о коих можно лишь догадаться.

А с другими король занимался любовью, чтобы унизить их. Среди таких, как я знаю, была и одна весьма вельможная особа; король разгневался на ее мужа, несказанно досадившего ему, но не смог до него добраться — и отвел душу на его половине, притом опорочив ее в присутствии многих; впрочем, подобная месть не столь горька: ведь он мог бы ее и умертвить, а вместо того сохранил ей жизнь.

Другую же, сколь мне известно, он наказал за слишком любвеобильный нрав: склонил ее к согласию без особых стараний, назначив ей свидание в саду, куда она не преминула явиться; он же, как утверждают многие, вовсе к ней не притронулся, хотя ее честь затронул весьма чувствительно: выставил ее на рыночной площади и затем с позором отлучил от своего двора.

Он с большим любопытством разузнавал о похождениях светских искусительниц и пытался проникнуть в их мысли и желания. Поговаривают, что иногда он делился любовной добычей со своими наиболее доверенными приближенными. Счастливчики: ведь объедки с королевского стола не могут не быть превосходны на вкус.

Дамы, как я знаю, весьма его опасались: он отчитывал их сам или же поручал это королеве-матери — тоже весьма скорой карать и миловать, но (как я уже ранее показал на разных мелких примерах) не любившей злоречивых — тех, кто вмешивается в чужую жизнь и сеет там разор и смущение, особенно когда они затрагивали женскую честь и целомудрие.

Этот король, как я уже говорил, привыкший с нежных лет слушать истории про женские проказы (и я сам иногда таковыми его развлекал), не прочь был поведать кое-что и сам — но в глубокой тайне, опасаясь, что о том прознает его матушка, ибо

она не желала, чтобы он их пересказывал кому бы то ни было, кроме нее; она же затем озаботилась о наказании согрешивших. Он так преуспел в этом искусстве, что, войдя в зрелый возраст человека независимого, не потерял повествовательного дара. И притом прекрасно знал — словно все перепробовал сам, — какую жизнь при его дворе и в государстве (хотя и не без благородных исключений) ведут дамы, в том числе самые высокопоставленные. Даже впервые прибывшим ко двору особам он, встретив их с радушной любезностью, часто мог рассказать о них самих столь подробно, что в глубине души они удивлялись, как он все разузнал, — хотя наружно не подавали виду и не признавались ни в чем. Его же их уловки необычайно забавляли; да он не уставал и в прочих, больших и малых, вещах столь превосходным образом находить применение своему въедливому уму, что прослыл самым великим королем из тех, кто последние сто лет правил Францией (как я уже писал в ином месте в отдельной главе).

Посему не буду более распространяться на сей счет — хотя некоторые и упрекнут меня, что не был достаточно щедр на примеры из его жизни и должен был бы привести их в большем числе, когда бы знал. Да мне их известно множество, и самых невероятных, — но не могу же я так, с места в карьер, приняться выносить на люди всю подноготную французского двора и остального света; а ежели бы, желая сделать мои писания более основательными, я вздумал не поскупиться на доказательства, — не оберечься бы мне от оскорбления живых и мертвых.

А обличители женского пола бывают нескольких родов. Одни разносят сплетни о тех, кто им досадили, пусть их жертвы и воплощение целомудрия: эти даже из прекрасного чистого ангела готовы сделать смрадного дьявола, насквозь пропитанного ядом злобы. Таков один известный мне весьма высокопоставленный дворянин: из-за легчайшего неудовольствия, доставленного ему очень благоразумной и добродетельнейшей особой — однажды сильно повздорившей с ним, — он рисовал ее портрет самыми неприятными красками. Он говорил: «Я прекрасно знаю, что не прав, — и не отрицаю, что эта дама целомудренна и добродетельна; однако стоит кому-нибудь меня оскорбить — будь он хоть столь же чист душой и телом, сколь непорочная Дева Мария, — я наговорю о сей персоне горчайших гадостей, ибо иначе мне ей не отомстить». Однако терпение Господа нашего все же не беспредельно.

Другие обличители, полюбив превосходную особу, но не преуспев в осаде ее целомудрия, от огорчения обвиняют ее в податливости, и делают даже хуже: уверяют, что добились того, в

чем не преуспели, но, познав и ужаснувшись любострастной порочности, покинули презренную. При дворе разных государей я видывал вельможных кавалеров такого склада. Когда же женщина, наскучив связью с милым спутником альковных забав, по легкомыслию или непоседливости променяет его на другого, отвергнутый дамский угодник, в отчаянии и обиде, так размалюет и разукрасит бедное непостоянное создание божье (не умолчав ни о страстном лепете и стонах, о безумных выходках, коих был свидетель и участник, ни об особых отметинах на теле в недоступных взгляду местах), дабы все поверили в его правдивость.

А есть и те, кто — в раздражении, что отдались другому, а не им, — усердствуют в злоречии и выслеживают, подстерегают и бдят, чтобы представить больше доказательств собственной правдивости.

Не нужно забывать и об охваченных яростной ревностью, не имеющей никакого основания, кроме себя самой; они говорят худо о тех, кто любит их более себя, хотя сами способны дать взамен лишь половину. Вот одно из великих свойств ревности. И подобных осквернителей святого чувства не следует слишком бранить; все это — причуды единоутробных сестер: любви и ревности.

Наконец, есть и такие пустые люди, привыкшие хулить кого ни попадя, что, не найдя достойного предмета, готовы очернить хоть самих себя. Сами посудите: как может женское достоинство защититься от подобных сквернавцев? Есть и было при наших дворах немало тех, кто, боясь говорить плохо о мужчинах из боязни почувствовать остроту их клинка, вытирают ноги о платья бедных женщин, коим защитой служат только слезы, сожаления и жалкие слова. Но знакомы мне были и те, кому подобная смелость вышла боком: нашлись родственники, братья, друзья, обожатели или просто мужья, которые смогли отплатить за подлость — и заставить обидчика проглотить собственную ложь и подавиться ею. И наконец, чтобы с этим покончить, прибавлю лишь, что, если бы я хотел рассказать обо всех этих разнообразных породах хулителей женской чести, мне бы не хватило времени и сил.

Существует такое мнение — и многие его, как я знаю, придерживаются, — будто тайная любовь ничего не стоит: нежная страсть должна быть известна пусть не всем, но хотя бы самым верным друзьям; а ежели во всеуслышание о ней объявить невозможно, то все же каждый должен обо всем догадываться либо по знакам внимания, либо по цветам лент, или же по каким-нибудь рыцарственным выходкам на турнирах и ристаньях, на

маскарадах, при игре в кольца, а также, по добровольной жертвенности в военных вылазках, дающих огромное удовлетворение.

И действительно, на что великому военному предводителю совершать невероятный подвиг и выказывать доблесть, если о сем никто не узнает? Думаю, его постигнет смертельное разочарование. В подобном же положении и счастливые влюбленные, утверждают многие. И крепче других держался этого правила господин де Немур, зерцало нашей рыцарственности: ибо если какой-нибудь принц, сеньор или худородный дворянин и был счастлив в любви, то навряд ли более его. А он не пытался таить свои успехи от ближайших друзей, хотя от большинства людей скрывал их так тщательно, что они с трудом могли о чем-либо догадаться.

Конечно, для замужних особ подобные откровения довольно опасны, но для девиц и вдов на выданье они не имеют веса, ибо слух о будущей женитьбе — прекрасный предлог, который все покрывает.

Знавал я весьма высокородного придворного, который, служа некой вельможной особе, однажды — будучи среди своих приятелей, обсуждавших, у кого какая возлюбленная, и поклявшихся открыть друг другу все свои амуры, — никоим образом не пожелал рассказать о собственном влечении, а поведал о вымышленном — и тем самым обвел их вокруг пальца. А среди них был некий наизнатнейший вельможа, но сколько тот ни призывал строптивца к откровенности, подозревая о его тайной любви, ни он, ни все присутствовавшие не выведали больше; хотя, быть может, он и проклинал сотню раз свой жребий, побуждавший его удерживать в себе свое любовное счастье, которое сильнее рвется наружу, разжигая нутро, чем амурные неудачи.

Другой знакомый мне галантный кавалер, кичась собой и своей избранницей, слишком охотно намекал на свое счастье, о котором ему бы стоило помолчать, поскольку слова его и намеки стали причиной покушения на его жизнь (хотя он и отбился от нападавших); впрочем, по другому поводу он накликал новую попытку — и тут уж ему пришел конец.

Был я при дворе короля Франциска II как раз тогда, когда граф де Сент-Эньян сочетался в Фонтенбло браком с юной Бурдезьер. На следующий день, когда новоиспеченный муж явился в покои короля, каждый, по обычаю, стал приставать к нему, а один высокородный господин даже спросил, сколько застав он преодолел на своем пути. Молодожен ответил, что пять. Тут же находившийся благородный дворянин — королевский

секретарь, пребывавший в большом фаворе у некой преблагородной сеньоры (называть которую не буду), — заметил, что для летнего времени пробежка коротка — при такой доброй погоде и наезженной дороге. Но раздраженный супруг вскричал: «Да, черт подери, по-вашему, тут не лошадь надобна, а куропатка!» — «А почему бы нет?» — ответствовал секретарь. — «Да бог мой! Я преодолел дюжину от заката до заката, оседлав самую красивую кудрявую птичку, какая только ни есть в округе, да и во всей Франции». Так кто был ошарашен? Конечно, молодой муж, ибо узнал то, о чем давно подозревал: ведь он был влюблен в ту же благородную особу и теперь огорчился, что столько времени напрасно охотился в тех угодьях, а добычу-то упустил; тогда как другой оказался счастливее: и набрел на птичку, и сеть набросил. Но незадачливый ловец на время затаился, хотя не уставал разжигать в себе злобу и таить глухую обиду, о которой никогда более не забывал. А поостерегись секретарь и получше храни свою тайну, умалчивая хотя бы и о столь удачном приключении, — ни ссоры, ни раздора не было бы в помине.

После того как король Генрих III, став польским монархом, торжественно вступил в Париж, однажды к господину де Бюсси, явившемуся в королевские покои, чтобы присутствовать при первом утреннем появлении государя перед придворными, обратился некий дворянин (какового не стану называть по имени, чтобы не опорочить одну особу, о коей пойдет речь далее); он сказал: «У вас нынче, Бюсси, какой-то сонный вид; по вашему лицу видать, что вы эту ночь провели с дамой». В ответ он услышал: «Может статься, вы не ошиблись, а ежели бы вы сказали, что то была одна из ваших родственниц, то догадка ваша оказалась бы как нельзя более точной». Его слова отнюдь не лишили собеседника самообладания — и тот нашелся. «Ах, бог ты мой! — воскликнул этот придворный. — Вам незачем пытаться уколоть меня. Ведь и я, подобно вам, не ищу турчат, ибо, не далее как две ночи тому назад, я тоже забавлялся кое с кем из ваших родственниц — и получил изрядное удовольствие». Оба они, хотя и были приятелями, несколько распалились во время той маленькой стычки, громко говоря перед многими собравшимися, каковые, впрочем, вовсе не смутились; напротив, услышав, как ловко был дан отпор, тихонько посмеивались, а некоторые даже, отведя Бюсси в сторонку, говорили ему: «Ну что, хорошо он тебя поддел?» Бюсси сначала разозлился, но вскоре отошел — и оба спорщика разразились смехом. При всем том достоинство их дам оказалось под угрозой, ибо нетрудно было догадаться, о ком здесь шла речь. И все из-за того лишь, что никто не желал дать повод подумать, будто он прибегает к услугам турчонка (такое

присловье было в те поры у всех на устах, ибо, ежели вы не находили на улице продажной прелестницы себе на забаву, вам не оставалось ничего другого, как воспользоваться каким-нибудь турчонком, отыскать какового не составляло труда).

А что сказать о некоем всем известном придворном, что, рассердясь на возлюбленную из-за какой-то размолвки, был столь нечистоплотен, что показал ее мужу подаренный ею портрет, который носил на шее, чем того сильно удивил и умерил его любовь к супруге, хотя она и нашлась как ответить на его расспросы.

Но еще непристойнее поступил один мой знакомый сеньор, имевший большой чин в инфантерии, когда, выведенный из себя какой-то выходкой своей пассии, поставил на кон и проиграл в кости одному из своих солдат ее портрет, о чем она, разумеется, узнала, чуть не лопнув от возмущения, и долго злилась. Проведав о таком случае, королева-мать строго его отчитала: какое же презрение надо питать к избраннице сердца, чтобы сыграть в кости на ее портрет? Однако сей ловкач оправдался, сказав, что сам пергамент с рисунком он загодя вынул и сохранил, а рискнул лишь золотым медальоном, украшенным драгоценными камнями. Историю эту я слыхивал не однажды — и иной раз смеялся во все горло.

При всем том, да позволено мне будет заметить, есть среди женщин и такие — я их немало повидал, — кто прямо-таки жаждет, чтобы их нежное чувство было потревожено, чтобы ему был брошен вызов; или, проще говоря, грубое обращение их больше распаляет — а оттого делает мягче; так и с некоторыми крепостями: одни берешь силой, другие — мягкостью; но при всем том им совсем нежелательно, чтобы их оскорбляли или обзывали потаскушками; подчас слово ранит больнее действия.

Сулла никак не хотел простить Афинам, мечтал разрушить город до основания — и не за то отнюдь, что афиняне упорно сопротивлялись ему, а лишь потому, что они со стен бросали оскорбления Метелле, его жене, и задевали ее честь.

В некоем месте на этой земле — а где, не скажу, хотя сам там был, — защитники города и осаждавшие во время стычек обменивались позорными намеками относительно правящих ими государынь, выкрикивая друг другу: «Твоя-то неплохо играет в кегли». — «Да и твоя скоренько заставляет упадать все, что стоит». А это так раздражало владетельных принцесс, что те пытались причинить подданным друг друга как можно больше зла и жестоких рас-прав.

Слыхал я, что главная причина, подвигнувшая королеву Венгерскую раздуть такие славные пожарища в Пикардии и иных

частях Франции, — склонность неких наглых остряков поговаривать о ее любовных похождениях и распевать повсюду во весь голос:

О, о, Барбансон
И королева Венгрии! —

по правде сказать, песенку грубоватую, по всей видимости сочиненную прощелыгой-наемником или сельским грамотеем.

Катон никогда не мог полюбить Цезаря с тех пор, как в сенате, где произносились речи против Каталины и его заговора, а Цезаря подозревали в сообщничестве, сам Цезарь изловчился тихонько подсунуть мужам совета маленькую записочку, точнее, любовное послание, отправленное ему Сервилией, Катоновой сестрой, где та предлагала свидание, ибо была не прочь переспать с ним. Что речь там велась о ней и о Цезаре, Катон не догадывался — равно как и о том, что названный Цезарь был заодно с Катилиной, — а потому, не зная, о чем написано в сей эпистоле, потребовал, чтобы ее огласили перед почтенным собранием. Принужденный к тому, Цезарь повиновался — и честь Катоновой сестры была затронута прилюдно и как нельзя болезненно. Оставляю вам догадываться, как после этого Катон должен был ненавидеть Цезаря, не в силах простить подобного оскорбления, хотя и делал вид, что сокрушается лишь потому, что тот упразднил Республику. Но вины в том Цезаря не много: ему обязательно надо было предать огласке послание Сервилии — ведь речь шла о его жизни и смерти. И думаю, что сама римская дева не слишком сердилась, понимая, в чем было дело, — поскольку их связь не прервалась, а от нее родился Брут, по слухам приходившийся Цезарю сыном, но весьма сурово отплативший за то, что его произвели на свет.

Вот так любвеобильные создания, отдавая себя всецело своим избранникам, подвергают свою честь многим опасностям, а если уж извлекают отсюда почести, средства и способы к возвышению — то нисколько этому не противятся.

Прослышал я однажды о том, как некая всеми уважаемая и прекрасная собой особа — из хорошего дома, но все ж не такого знатного происхождения, как влюбленный в нее высокорожденный сеньор, — допустила его однажды в свою опочивальню, где находилась одна с прислуживающими ей женщинами и сидела на кровати; он же после любезных слов о своей страсти подошел к ней, поцеловал ее и, мягко напирая, уложил на постель, после чего последовал главный приступ; и она стерпела его с почтительной вежливой покорностью, а затем

сказала: «Вам, великим мира сего, повезло, что вы можете свободно пользоваться своей властью над малыми сими. Но если бы молчание было столь же вам присуще, сколь и красноречие, — вас желали бы и прощали еще охотнее. Так прошу же, сударь, сохранить все в тайне и тем оградить мою честь». Все это обычные речи, к коим прибегают особы, любимые теми, кто выше их по положению. А еще они говорят: «Ах, сударь, по крайней мере, позаботьтесь о моей чести»; или: «Ах, сударь, если вы расскажете об этом, я погибла. Именем Господа нашего молю: охраните мою честь!»; а другие: «Сударь, если вы не обмолвитесь ни словечком и честь моя не пострадает, я буду рада» — так эти дамы намекают, что с ними можно делать все, что только угодно, но под покровом тайны и прячась от света, — и тогда это их отнюдь не обесчестит.

А стоящие выше своих поклонников величественные дамы говорят им: «Поостерегитесь проронить хоть словечко, ибо дело пойдет о вашей жизни, стоит мне приказать — и вас засунут в мешок и бросят в реку, или заколют, или ноги перебьют», а также иные слова в подобном же роде — все о том, что женщине, какого бы звания она ни была, не хочется оскандалиться и стать притчей у всех на устах. Однако встречаются столь малоопытные или одержимые, забывшиеся в страсти натуры, коим легко выдать себя и без мужского посредничества, что не так давно случилось с одной прекрасной и добропорядочной сеньорой, получившей от одного пылавшего к ней страстью вельможи — в благодарность за наслаждение — роскошный и очень ей шедший к лицу браслет, на котором были преживо изображены они оба. Она, по недоумию или неопытности, стала носить его на руке выше локтя, прямо-таки выставляя напоказ, но однажды ее муж, придя провести с нею ночь, приметил его и разглядел, а после сего отделался от нее насильно, умертвив бедняжку. До чего же доводит женщин неосторожность!

Некогда мне был знаком весьма властолюбивый сиятельный принц, более трех лет сохранявший верность возлюбленной, притом одной из красивейших среди наших придворных дам. Но потом ему пришлось отправиться в поход, и он, после знатной военной победы, вдруг влюбился в хорошенькую высокородную принцессу — до того милую, что другой такой, наверное, и быть не может, — а об оставленной и думать забыл; новой же своей симпатии он оказывал все мыслимые знаки внимания, осыпав ее драгоценными вещицами, перстнями, портретами в богатой оправе, браслетами и всеми дорогими безделушками, подаренными ему его прежней любовью. Та, первая, приметив их у нее, чуть не померла от огорчения — и не смогла о сем

умолчать, хотя, опозорившись, тешила себя надеждой, что уронила и достоинство соперницы. Думаю, что, не умри принцесса вскоре, принц, по возвращении из похода, все-таки женился бы на ней.

А другой известный мне принц — не столь высоко метивший — во время первого брака и вдовства любил весьма достопочтенную придворную девицу, коей, в продолжение их любви и взаимных упоений, надарил множество красивых и дорогих ожерелий, цепочек, перстней, драгоценностей и без счета роскошных обновок; причем среди его даров имелось и богато оправленное ручное зеркальце с его портретом. И вот наш принц женился вторым браком на весьма обольстительной и добронравной принцессе, заставившей его позабыть о первом увлечении, хотя обе не уступали друг другу в красоте; поддавшись уговорам и настояниям молодой супруги, принц послал к бывшей возлюбленной и попросил ее вернуть все самое ценное из прежних своих даров. Ее это весьма опечалило, но, обладая возвышенной душой и великодушным сердцем — ибо эта дама, хотя и не достигая ранга принцессы, принадлежала к одному из лучших домов Франции, — она отослала ему все требуемое, в том числе и зеркальце с его портретом; однако перед тем (дабы приукрасить его еще больше), достав перо и чернила, пририсовала ему прямо посредине лба пару больших ветвистых рогов; а вручая его поверенному дворянину просимое, присовокупила: «Возьмите, друг мой, несите это вашему повелителю — и знайте, что я вернула все в том виде, в каком получила, не отняв и не прибавив ничего; а еще передайте прекрасной принцессе, его супруге, которая так добивалась, чтобы я вернула все это, что если бы некий сеньор, причастный нашему двору (как мне известно, тут она назвала его подлинное имя), сделал что-либо подобное и отнял у ее матери все, что она получила за то, что часто с ним спала, — за амурные услуги и доставленное наслаждение, — то она снова сделалась бы такой же нищей, без всех этих каменьев и шелков, как какая-нибудь фрейлина. Теперь же ее голова и так достаточно обременена трудами некоего сеньора и доступностью ее матери; ныне ей пристало бы каждое утро выходить в сад и собирать цветы, чтобы убрать ее хорошенько и скрыть от глаз, а не цеплять все эти дорогие безделки; впрочем, вольно ей поступать с ними как угодно: хоть в суп класть, хоть с кашей съесть — мне они более не нужны». Всякий, кто был знаком с этой девицей, может сам подтвердить, что у нее хватило бы воли выкинуть такое коленце; она мне сама потом все пересказывала, а была она в словах весьма дерзка. Однако она потом остерегалась и ожидала худа

как от мужа, так и от жены, кои ее обесславили, ибо свет вину за все переложил на нее самое, назвав оскорбительницей эту бедную даму, честно заработавшую отнятые дары в поте тела своего.

Поскольку сия девица оставалась одной из самых красивых и приятных особ своего времени — невзирая на телесные прегрешения, — ее избрал в жены весьма богатый человек, хотя далеко уступавший ей в родовитости. И вот однажды, ставя друг другу в упрек то благодеяние, какое совершил каждый из них (вступая в брак с другим), она, кичась своим высоким происхождением, объявила ему: «Я же сделала для вас более, нежели вы для меня, ибо обесчестила себя, дабы вы могли оказаться в чести», тем самым вскользь давая понять, что, хоть она что-то и потеряла в девичестве, он вернул ей честь нетронутой уже потому, что женился на ней.

Как слыхал я от людей осведомленных, когда король Франциск I оставил госпожу де Шатобриан, весьма чтимую им возлюбленную, и обратил свой взор на госпожу д'Этамп — тогда еще девицу по имени Элли, каковую госпожа регентша назначила своей фрейлиной и торжественно представила монарху после его возвращения из Испании в Бордо, а он тотчас сделал ее своей возлюбленной, оставив названную госпожу де Шатобриан и как бы выбив клин клином, — госпожа д'Этамп попросила короля отобрать у покинутой дамы все превосходнейшие украшения, когда-то подаренные им не ради их цены — ибо тогда жемчуга и каменья не были столь ценимы, как теперь, — но из любви к прекрасным девизам и гербам, кои были на них выгравированы и оттиснуты (притом составила сии девизы королева Наваррская, его сестра, ибо была большой мастерицей в словесных забавах). Ко роль Франциск согласился на эту просьбу и обещал, что все будет исполнено; так он и сделал, послав к ней доверенного дворянина; та же, тотчас сказавшись больной, велела посланцу прийти через три дня и обещалась вернуть просимое. Потом, в порыве раздражения, она пригласила к себе ювелира и велела расплавить названные украшения, не сделав исключения и для прекрасных надписей, выгравированных на них; затем, когда в назначенный срок королевский гонец возвратился, она передала ему все, что прежде было драгоценностями, в виде золотых слитков и промолвила: «Ступайте, отнесите это королю и передайте ему, что, коль скоро ему угодно, чтобы я вернула то, что он столь великодушно мне даровал, я исполняю приказ и возвращаю все без остатка в золотых слитках. Что до надписей — они так ясно выгравированы в моей памяти и так дороги, что я не могу никому позволить пользоваться ими и получать от них то же наслаждение, какое они доставляют мне самой».

Получив слитки и ответ, король не смог произнести ничего, кроме: «Верните ей все. Я сделал это не ради золота — ибо отдал бы ей вдвойне, — но из любви к девизам, а поскольку она их погубила, золота я не хочу — и отсылаю обратно; в сем поступке она явила более силы духа и храбрости, нежели можно ожидать от женщины». Да, сердце благородной оставленной женщины в горе своем воистину способно на многое.

Все эти принцы, отзывающие свои прежние дары, делали не так, как поступила однажды госпожа де Невер из дома Бурбонов, дочь господина де Монпансье, бывшая в свое время одной из разумнейших, добродетельнейших и красивейших принцесс и почитаемая таковой и во Франции, и в Испании, где несколько лет ее воспитывали вместе с королевой Елизаветой Французской, при которой она исполняла должность подательницы королевской чаши для питья (королеве там услужали ее придворные дамы и девицы, и каждая имела должность — подобно нам, приближенным к особе короля). Эта принцесса вышла замуж за графа Аугского, старшего сына господина де Невера; она была достойна его, и он весьма стоил ее, ибо был одним из самых приятных и любимых вельмож своего времени, а посему пользовался симпатией и привязанностью самых обворожительных придворных красавиц, — а среди них одной, помимо указанных достоинств, еще весьма ловкой и изворотливой. И случилось так, что однажды он взял у своей жены перстень, из числа лучших, с бриллиантом, стоившим от полутора до двух тысяч экю, каковой королева Елизавета ей подарила при их расставании. Принц, желая получше выглядеть в глазах своей возлюбленной и добиться от нее хвалы и новых милостей — сам будучи очень щедрым и привыкшим к роскоши, — от всего сердца подарил его ей, уверив, что выиграл в мяч. Она отнюдь не отвергла его дар, а приняла без всякой огласки, но затем, из любви к нему, стала всегда носить на пальце; там-то его и приметила госпожа де Невер, каковую ее супруг успел уверить, что либо обронил этот перстень в зале для игры в мяч, либо отдал в заклад. Однако, увидев перстень на пальце той, кто, как она знала, была любовницей ее мужа, госпожа де Невер, женщина вполне благоразумная и хорошо владевшая собой, хотя переменилась в лице, но, подавив в душе раздражение, тут же отвернулась — и никогда не сказала ни слова ни мужу, ни сопернице. За это она достойна всяческих похвал: ведь, не поддавшись едкому чувству, не разразившись упреками и ни в чем не опорочив девицу, она тем самым повела себя иначе, чем те, кто с удовольствием дал бы повод всему честному собранию позлословить на сей счет.

Вот почему скромность в подобных вещах весьма необходима, почитаема и в счастье и в напасти: особы, умеющие в опасный миг не подать виду и не роняющие тем самым свою честь, знают, что стоит лишь пальчиком прикоснуться к грязи, как польются дождем пасквили, разоблачения и злоречивые обвинения.

Конечно, есть дамы, которым легко и привольно плавается и в открытом море, и в сладкой пене волн Венеры; они там резвятся привольно, без всяких одежд, и, как только им вздумается, направляются к кипрскому храму богини любви и в ее сады, где услаждают себя сколько душе их угодно; но один черт ведает, почему о них не злословят в свете и имен их не упоминают, словно они никогда не являлись в этот мир. Так фортуна благоприятствует одним и противодействует другим, подвергая их людскому злоречию либо ограждая от него. Так было в мое время, да и теперь все осталось по-прежнему.

В годы царствования короля Карла в Фонтенбло появился пасквиль довольно низкого и порочащего свойства: он не оставлял без внимания ни вельможнейших дам, ни всех прочих. И если бы узнали имя автора — ему пришлось бы ох как несладко.

В Блуа, когда заключался брак между королевой Наваррской и ее будущим коронованным супругом, появилась другая, не менее отвратительная книжонка, направленная против особы очень высокого полета, — и снова разыскать автора не удалось; в дело были замешаны многие весьма благородные и храбрые господа, но они лишь рубили клинками воздух и сотрясали небеса опровержениями. За сим скверным сочинением появились и другие, затмевающие все доселе известное в этом роде: получилось, будто от времени царствования Генриха III не помнится ничего, кроме разных похабных историй; причем один наиболее вопиющий пасквиль был составлен в форме песни и положен на мотив всем известного танца, часто исполняемого во дворце, благодаря чему вскоре его напевали все (и при дворе, и на его задворках: и пажи, и лакеи — и тенором, и басом).

А в правление короля Генриха III приключилось еще худшее: некий дворянин — чье имя мне известно, да и его самого я видел собственными глазами, — так вот, этот дворянин однажды подарил своей возлюбленной книгу с рисунками, где многократно были запечатлены тридцать две дамы как из самого высшего общества, так и менее титулованные; их представили во всем их нагом естестве, лежащими забавляющимися со своими поклонниками, также не имевшими, чем прикрыться, и нарисованными в простодушной наготе. У некоторых прелестниц имелось по два или три обожателя — у кого больше, У кого меньше; из этих тридцати двух дам и их кавалеров было

составлено почти полторы сотни совершенно разных фигур в позах, позаимствованных у Аретино.

Портреты поражали сходством; причем не все красовались без одежд — иные попали туда в том же платье, прическе и украшениях, как их встречали при дворе. И так обошлись не только с кавалерами, но и с милыми прелестницами! Короче, книга эта была так прелюбопытно и прихотливо изукрашена, что и сказать нельзя, а потому стоила восемь или девять сотен экю и поражала яркостью красок.

Эта дама однажды ее показала другой — своей близкой приятельнице, находящейся под крепким покровительством одной высокорожденной особы, чей портрет попал в книгу. Но поскольку приятельница снискала большую любовь своей знатной покровительницы, она поведала ей обо всем. Та, вечно снедаемая любопытством, тотчас захотела повидать сей курьез и сговорилась со своей вельможной кузиной, тоже изъявившей такое желание. Они очень горячо любили друг дружку — и не могли не присутствовать вместе на таком пиршестве как для глаз, так и для любопытного ума.

Дамы разглядывали книгу очень пристально, не в силах оторваться, — и в каждый листик в отдельности всматривались подолгу, даже ненароком не пропустив ни одного, что заняло у них добрых два часа их драгоценного времени. Вместо того чтобы разъяриться и метать громы и молнии, они смеялись и восхищались, изучая каждую черточку, — и так разгорелись любострастней, что начали друг друга целовать, как голубки, и обниматься; и зашли еще гораздо дальше, ибо имели друг к другу подобные склонности.

Обе эти дамы оказались смелее и мужественнее, да и стойкостью превосходили ту, о которой мне рассказывали: она однажды, увидев эту книгу вместе с двумя своими подругами, пришла в такое восхищение и любовную горячку, ей так захотелось последовать сейчас же столь выразительным примерам и томным картинам, что дотерпела лишь до четвертого листа — и упала без чувств. Право, чудовищный обморок; и как же эта особа, сомлевшая от избытка страсти, не похожа на Октавию, сестру Цезаря Августа, каковая, в некий день услышав от Вергилия три стиха, посвященные ее погибшему сыну Марцеллу (за эти-то всего-навсего три стиха она пожаловала поэту целых три тысячи экю), тотчас лишилась сознания. Вот истинная любовь, только совсем иного рода!

При дворе я слыхал рассказ об одном сиятельном вельможе, достигшем преклонных лет, каковой, потеряв жену, вел себя во вдовстве весьма сдержанно, к чему его подвигала глубокая вера.

Но вот вдруг он захотел соединиться вторым браком с великолепнейшей, добродетельной — однако же очень молодой — принцессой. Притом, не прикасаясь к женщине за добрый десяток лет вдовства, он опасался, что забыл, как это делается (как будто можно такому разучиться), и побаивался позорного поражения в первую брачную ночь; потому, не придумав иного средства проверить себя, он за деньги уговорил молодую хорошенькую девицу — непорочную, как и та, кого он должен был взять в жены. Да еще, говорят, выбрал такую, что лицом походила на будущую супругу. Фортуна была к нему благосклонна, позволив доказать себе — а потом и своей суженой, — что он не забыл прежних уроков: первый приступ он повел так смело и радостно, что крепость жены сдалась без труда, а новобрачный насладился победой и поддержал свое имя.

Другому же, в отличие от первого вовсе желторотому и нестоящему жениху, не так повезло: отец собирался его оженить; и сей малолетний дворянин тоже возмечтал попробовать свои силы, чтобы узнать, сможет ли он стать приятным спутником своей жене; а для того, за несколько месяцев до торжества, нашел весьма пригожую женщину легкого поведения, каковая каждый вечер приходила к нему в заповедную рощицу, коей владел его родитель, — ибо дело было летом — и там премило развлекалась с ним под прохладной сенью зеленых деревьев и под шелест ручейка. Юнец проявлял чудеса доблести — и не боялся ничьего соперничества в познании всех дьявольских штучек. Но худшее ждало его впереди: в свадебную ночь он вошел к молодой супруге — и не смог ничего предпринять. Вообразите его удивление! Вне себя, он проклинал несносный клинок-предатель и супружескую постель, похитившую его пламень. Наконец, набравшись смелости, он признался жене: «Друг мой, даже не знаю, что со мной случилось, ибо все дни до этого я неистовствовал в заповедной рощице моего отца». И рассказал ей о своих победных безумствах. «Поспим эту ночь, — закончил он. — А завтра под вечер я поведу вас туда — и вы убедитесь, на что я способен». Так они и поступили, и жена его осталась довольна; а при дворе с тех пор появилась пословица: «Если бы я обнимал вас в родительской заповедной рощице — вы бы увидели, на что я способен». Вспомним же, что божества садов и парков — мессир Приап, фавны и сатиры, гении лугов и лесных чащоб, — все они помогали влюбленным и споспешествовали их радостным подвигам.

Но не всякая попытка и не всегда ведет к одинаковому исходу: ведь, как свидетельствуют многие из тех, кто поднаторел на любовном поприще, можно порой вдруг почувствовать, что не

готов к решающему испытанию и хорошо бы где-нибудь подзубрить главный урок. Одних в важную минуту бросает и в жар и в холод, жизненные соки в их крови перемешиваются — она то пламенеет, то леденеет; другие теряются в приступе восхищения, когда столь драгоценная добыча оказывается в их объятиях; третьих преследуют страхи и подозрительность; у четвертых разом, и притом вроде бы вовсе беспричинно, иссякает весь их напор; у пятых клинок теряет закалку и завязывается узлом. Короче, здесь смертных всех подстерегают невесть откуда сваливающиеся неудобства; и если все их перечислять — утечет слишком много времени. Могу сослаться на мнения многих женатых людей и вольных охотников за сладкой добычей, кои могли бы порассказать в сотню раз больше меня. Одни опыты понравились мужчинам, но отнюдь не женщинам; так, дошел до меня слух о некой матери, весьма светской даме, имевшей единственную горячо любимую дочь и устроившей ее брак с добропорядочным дворянином; и вот, опасаясь, что от первого наскока ее чадо может сильно пострадать — ибо будущий супруг славился и величиной булавы, и решительностью в приступах, — она побудила дочь с дюжину раз попробовать то же с юным пажом, пояснив, что тяжело только пробить первую брешь; для сей цели следует прибегать к маленькому и не слишком крепкому тарану, а затем можно уже подвергнуться и нерешительной осаде, притом ведя себя подобающе и сохраняя приличествующую кротость. Но такой урок еще довольно пристоен — и не столь вызывающ, как тот, что некогда в Италии отец преподал своему сыну-несмышлёнышу, обвенчанному им с весьма миловидной девицей, с которой молодой человек, как ни старался, ни в первую брачную ночь, ни во вторую не смог совладать, дабы ее удоволить; на расспросы родителя, добились ли они толка, ни сын, ни невестка не нашлись что сказать, кроме «niente»[64]. «Так чем же вы там занимались?!» — воскликнул удивленный отец. Сын, в помрачении ума, ответствовал, что не знает, как надо поступать. После чего почтенный глава семейства взял его за руку, а невестку за другую, ввел их в спальню и возгласил: «Видно, придется показать вам, как с этим обходятся»; а потом уложил невестку на кровать с краю, велел ей хорошенько раздвинуть ноги и, обратившись к сыну со словами: «Итак, смотри, что я делаю», а к невестке: «Не шевелитесь, все это пустяки — большого урона вам не будет», вложил изрядно одеревеневший член куда следует и продолжал пояснять сыну: «Примечай, как я делаю и что говорю: dentro, fuero, dentro, fuero»[65], — и многажды так повторял, отодвигаясь, придвигаясь и вновь отодвигаясь, но не вполне, чтобы оставаться все же

внутри, — и после немалого числа телодвижений он приблизился к решающему мигу и отрывистой скороговоркой закончил: «Dentro, dentro, dentro, dentro», пока не иссяк. А само слово fuero просто-таки послал ко всем чертям! Вот так, думая сделаться верховным наставником, просто-напросто склонил невестку к прелюбодеянию; та же прикинулась дурочкой либо, проще говоря, оказалась тонкой бестией и снесла все, что с нею стряслось, преспокойно (как и последовавшие уроки и примерные занятия, к коим поочередно приступили и сын, и отец, быть может стремясь усовершенствовать ее в этой науке, ибо родитель пожелал, чтобы они ничего не усвоили наполовину, но только в совершенстве). Впрочем, уроки для того и даются.

От удачливых и предприимчивых дамских угодников я слыхал немало рассказов о красавицах, лишавшихся чувств во время сладостных переживаний и венчающего их блаженства, но притом неизменно приходивших в себя; причем многие, прежде чем впасть в томное забытье, шепчут: «Ах, умираю!» Но думаю, что такая смерть им сладостна. Другие же в упоительный миг закатывают глаза и запрокидывают голову, словно вот-вот их пожрет свирепая погибель, — и застывают в бесчувственной неподвижности. У иных, как я слышал, тело вытягивается, кровь стынет, жилы и все члены каменеют, словно в приступе подагры; а одна, говорят, столь была подвержена такой напасти, что никак потом не могла прийти в себя. А у некоторых в эти мгновения похрустывает в суставах, словно им вправляют вывих.

Мне, помню, однажды поведали о таком обмороке презабавную историю: дама, с коей ее кавалер управлялся на большом сундуке, когда дело подвигалось к упоительному концу, так замлела, что соскользнула в проем меж сундуком и стеной — и запуталась там в настенных драпировках, так что ноги ее торчали из-за сундука прямо вверх; пока ее сердечный друг старался вызволить ее из плена, в залу вошла шумная компания придворных — и узрела ее, выставившую вверх ноги, подобно раздвоенному дереву, открывая взгляду кое-что из обычно прикровенных частей туалета, впрочем весьма отменного свойства; бедняжке пришлось самой пускаться в туманные объяснения, говоря, что такой-то ее случайно толкнул, споткнувшись, — и она полетела за сундук, делая вид, что промеж них ничего предосудительного не происходило.

И все же ей гораздо больше повезло, нежели той, которую ее любезник осадил прямо на краю кровати, а подобравшись к наиблаженнейшему мигу — вызвал у нее столь сильные конвульсии, что сам, имея на ногах новенькие бальные башмачки со скользкими каблучками, не удержался на ногах (а пол в

спальне был выложен плитками, покрытыми глазурью) и проехался по своей подопечной так, что его камзол, весь в блестящих побрякушках, оставил на животе, кудрявом бугорке и причинном месте, а также на ляжках прелестницы глубокие царапины, словно от кошачьих когтей; боль была так сильна, что бедняжка завопила, не в силах сдержаться. К несчастью, стояла летняя жара и очаровательница принимала друга в наряде несколько более сладострастном, нежели обыкновенно, ибо на ней была одна рубашка и поверх нее белый атласный плащ, а без панталончиков она в тот раз решила обойтись, — и таким образом неловкий обожатель угодил носом, ртом и подбородком прямо ей в причинное место, да так на миг и застыл; сие же вместилище добродетели только что было им же обильно дважды орошено и переполнено до краев, отчего нос, рот и усы его покрылись пеной, словно при бритье; тут, невольно позабыв о боли, прелестница расхохоталась и проговорила: «Какой аккуратный мальчик, как он часто бреется и умывается, хотя и не всегда неаполитанским мылом». Позже она поведала о сем забавном происшествии своей наперснице, а незадачливый дворянин — своему приятелю. Так про это узнали и другие, ибо подобная история весьма способна рассмешить.

Не должно сомневаться, что дамы, когда собираются в своем тесном дружеском кружке, рассказывают вещи, столь же веселящие душу; как и мы, повествуют друг дружке о своих любовных увлечениях, делятся секретами и в полный голос над нами смеются, от души потешаясь над своими ухажерами, если те дают хоть какой-либо повод к насмешке или подшучиванию.

Но они способны и на большее, например умыкать друг у дружки поклонников, и не из-за любовного недуга, но чтобы выведать у них все тайные делишки, выходки и безумства, которые совершили их соперницы; а потом прибегают к подобным же для того, чтобы жарче раздуть любовный пламень, — либо из мести, либо открывая военные действия меж собой, когда в следующий раз соберутся вместе и начнут обмениваться колкостями.

А тут еще можно вспомнить и о паскудной книжице в картинках, появившейся во время правления Генриха III, где изображались известные дамы, их позы и обыкновения в любовных играх; но, впрочем, о сем говорено уже более чем достаточно.

Потому мы перейдем к другому. Как мне хотелось бы, чтобы множество злобных языков, болтающих по всей нашей Франции, поукоротились, взяв пример с Испании, где порядочные люди под угрозой смерти не осмеливаются, хоть на волосок, затронуть

женскую честь, особенно когда она сопряжена с высоким титулом! Если подобных особ видят где бы то ни было и хоть кто-нибудь воскликнет: «Lugar â las damas!»[66] — все присутствующие тотчас склоняются, воздают им честь и возносят хвалы; а всякую дерзость пред их лицом карают лишением жизни.

Когда императрица, супруга императора Карла, вступила в Толедо, маркиз де Вильена — один из испанских грандов, пригрозивший альгвасилу, что поторопил его сойти с ее дороги, — едва не попал в большую беду, ибо угроза прозвучала поблизости от упомянутой царственной дамы; а случись такое в присутствии самого императора — это не наделало бы особого шума.

Герцог де Фериа, бывший во Фландрии, когда ее посетили королевы Элеонора и Мария, находясь подле своей возлюбленной, состоявшей в свите их величеств, повздорил с другим испанским кавалером — и оба чуть не лишились жизни, по существу, за то, что повысили голос в присутствии королевы и императрицы.

Вот и дон Карлос д'Авалос в Мадриде, когда королева Изабелла Французская прохаживалась по городу, совершил подобный же проступок — и был бы тотчас казнен, если бы не спасся в церкви — этом убежище для всех преследуемых законом. После этого несчастному пришлось в чужом платье бежать из Испании — куда ему до смерти не было разрешено вернуться — и влачить существование на острове Липари, самом безотрадном месте во всей Италии.

Даже шуты, пользовавшиеся привилегией свободно говорить обо всем, могли поплатиться, если задевали прекрасный пол; так случилось с одним из них, по имени Легато, которого я знал. Однажды наша королева Елизавета Французская, рассуждая о приятностях своего пребывания в Мадриде и Вальядолиде, о тамошних развлечениях, сказала, что было бы прекрасно, если б оба этих места оказались так близко, чтобы одной ногой можно было достигнуть одного, а второй — другого; и, произнеся эти слова, показала — сильно раздвинув ноги. Шут, случившийся поблизости, буркнул: «А я бы не прочь оказаться по самой середке con un carraco de bouricco, para encargar y plantar la raya»[67]. Его за это хорошенько высекли на кухне, хотя многие разделяли такое желание; ибо королева — одна из самых пленительных, красивейших и благородных дам Испании, — без сомнения, была достойна подобных вожделений, но, разумеется, не его, а людей порядочных, в сотни тысяч раз более достойных, нежели он.

Мне кажется, что все господа клеветники и губители женской чести желали бы обладать и пользоваться привилегией свободы

выражений, какой облечены виноградари под Неаполем: во время сбора винограда им разрешено говорить любые сальности, оскорбления и гадости всем, проходящим мимо. Они бегут за всяким — будь он мал или велик по званию и достатку — и выкрикивают ему вослед ругательства. А что им особенно нравится, так это позволение не щадить и дам, принцесс и еще более высоких особ, кто бы они ни были. В свое время, будучи там, я слышал, что есть и те, кто по собственной охоте дает себе труд проехаться по полям, чтобы послушать их верещание и тысячи гадких и сальных шуточек, кои те выкрикивают на разные голоса в спины мужей и поклонников, вплоть до упреков в сожительстве с кучерами, пажами, лакеями и телохранителями, скачущими рядом. Более того, прохаживаясь на такой манер насчет их спутницы, они еще предлагают с мужицкой куртуазностью собственные услуги, а также осыпают дам словенками, не в пример более едкими, чем те, что приберегают для мужчин. И все слова произносят с отменной прямотой, нимало не смягчая выражений. А в ответ слышат только радостный громкий смех, а подчас и ответы кавалеров, коим в эти дни разрешено отражать подобные наскоки тем же способом. Но как только сбор винограда заканчивается — все делают передышку до следующего года, ибо в иное время за подобные вольности преследуют и жестоко карают.

Говорят, что и теперь такой обычай там сохраняется; и более того, многие во Франции были бы не прочь, чтобы его ввели, приурочив к какому-нибудь времени года, чтобы иметь право беспошлинно злословить на счет ближнего, к чему многие у нас имеют сугубое пристрастие.

Так вот, чтобы закончить, повторю, что прекрасные создания должны встречать повсюду уважение, а их увлечения и привязанности — храниться в глубокой тайне. По сему поводу еще Аретино говорил, что в этих делах языки возлюбленных должны не только сливаться в лобзаниях и для доставления иных наслаждений, но сплетаться вместе и завязываться узелком — в знак того, что тайна недозволенного досуга останется нерушимой; ведь что любовники — существуют даже такие легкомысленные и непотребные мужья, настолько снедаемые любострас-тием, вольные в своих нравах и переполненные сальными помыслами, которые, не удовлетворяясь непристойным и недостойным дворянина обращением с собственными женами, рассказывают о сем своим приятелям, составляют целые истории; знавал я и некоторых жен, до смерти ненавидевших собственных супругов и часто отказывавшихся от предлагаемых ими наслаждений именно по этой причине, ибо они не желали быть

опозорены, даже исполняя свой супружеский долг.

Господин Дю Белле, поэт, в своих весьма совершенных латинских «Надгробных надписях» посвятил одну из них собаке; и, как мне кажется, она достойна, чтобы привести ее здесь, ибо касается нашего предмета:

Latratu fures excepi, mutus, amantes.
Sic placui domino, sic placui dominae.

(Своим лаем я изгоняла воров, а молчанием — привечала любовников. Одним я угождала хозяину, другим же угождала хозяйке.)

Если мы любим даже животных за их молчание, как заставить людей не болтать попусту? И здесь можно (да позволят мне это) сослаться на мнение некой весьма знаменитой в древности куртизанки, великой жрицы любви Ламии. Она говорит, что любая женщина более всего довольна своим возлюбленным, когда он скромен в словах и хранит тайну в деяниях; а особо ненавидит бахвала, выставляющего напоказ то, чего он не делал, и не выполняющего того, что обещал. И еще говорила, что каждая из особ ее пола — как бы ни поступала — никогда бы не хотела ни зваться потаскушкой, ни быть разоблачена в своих распутствах. Потому-то все убеждены, что женщины никогда не издеваются над нами, если мы не начинаем первые или не принимаемся злословить. К урокам столь искушенной в любви дамы нам стоит прислушаться, ибо она имеет право их преподать.

Но хватит распространяться на сей предмет; тот, кто владеет словом лучше меня, сможет приумножить и приукрасить все здесь сказанное — ему уступаю и оружие, и перо.

РАССУЖДЕНИЕ СЕДЬМОЕ:
О замужних женщинах, вдовах и девицах и о том, какие из них горячее прочих в любви

Некогда, будучи при испанском дворе в Мадриде и беседуя с вполне достойной дамой о тамошних и наших придворных обычаях, я услышал от нее вопрос: «Quai era mayor fuego d'amor, el de la biuda, el de la casada, o de la hija moça?» (Чья страсть полыхает жарче: вдовы, замужней женщины или молоденькой девицы?) После того как я высказал свое мнение, она представила свое в таких выражениях: «Lo que me parece d'esta cosa es que, aunque las moças con el hervor de la sangre se disponen â querer mucho, no deve ser tanto como lo que quieren las casadas y buidas, con la gran experiencia del negocio. Esta razon debe ser natural, coto lo séria la del que, por haver nacido ciego de la perfection de la luz, no puede cobdiciar de ella con tanto deseo coto el que vio, y fue privado de la vista» (Когда я сравниваю их, мне кажется, что хотя девицы с их естественным огнем в крови расположены любить сильно, они здесь уступают вдовам и замужним, у коих больше опыта в этих делах, — и на то есть причины естественные: ведь слепые от рождения не могут так стремиться обрести зрение, как рожденные зрячими, но потерявшие его потом). И еще она добавила: «Con menos pena se abstiene d'una cosa la persona que nunca supo, que aquella que vive enamorada del gusto pasado» (Тем более что мы с меньшим трудом воздерживаемся от того, чего никогда не пробовали, нежели от испробованного и любимого). Вот доводы, приведенные мудрой женщиной по этому поводу.

Уважаемый и ученейший Боккаччо в девятой главе своего «Филоколо» задается подобным же вопросом: «Если выбирать между замужней, вдовой и девицей, в какую из этих троих следует влюбляться, чтоб самым счастливым образом добиться исполнения своих страстных желаний?» Устами королевы из своего романа Боккаччо отвечает: как бы гнусно сие ни выглядело пред лицом Всевышнего и собственной совести, вожделение к замужней женщине, принадлежащей вовсе не себе, а своему мужу, вознаграждается гораздо вернее, нежели к вдове либо девице, и чем более такая любовь опасна, тем сильнее она разжигает пламень страсти, не давая ему погаснуть. Так все в этом мире рушится от употребления, кроме похоти, каковая возрастает. Однако вдова, давно обходящаяся без удовольствий, почти не ощущает их надобности и думает о них гораздо менее, как если бы и не побывала замужем; и ее вернее может разогреть

воспоминание о былых радостях, нежели жажда новых. А непорочная девица, коей все это известно лишь по смутным грезам, стремится к утехам вяло. Не то замужняя: она распалена более других; страсть ее иногда доводит мужа до ругани и побоев, а они, в свою очередь, толкают ее к мести (ибо никто не превосходит мстительностью женщину именно по указанной причине) — и вот уже она ставит ему рога и удовлетворенно любуется ими. И потом, нам же надоедает что ни день есть говядину; даже знатные господа и дамы оставляют в небрежении самые нежные и ароматные куски, лишь бы попробовать чего-нибудь другого, — в этом деле все точно так же. Ко всему прочему, когда имеешь дело с девицами, приходится тратить слишком много трудов, чтобы сломить их и подчинить мужской воле; а если они и полюбят — то не могут понять, что с ними стряслось. У вдов старинный огонь легко раздувается вновь, внушая им соблазн возместить себе то, чего их лишило долгое воздержание; однако добиться этого им мешают сожаления о потерянных годах и долгих ночах, проведенных в одиночестве на охладевшем ложе.

С доводами этой королевы не согласен некий дворянин по имени Феррамонте. О замужних он вообще не ведет речи, ибо их слишком легко склонить к связи; и, не считая нужным тратить на них слова, сразу переходит к сравнению девиц и вдов, отдавая преимущество первым перед вторыми: вдова, как он полагает, уже испытав в прошлом все таинства любви, никогда не питает крепких чувств и всегда нестойка — предпочитает сегодня одного, завтра другого, не зная, с кем же ей соединиться для большей пользы и чести; легко разочаровывается и в том, и в другом; колеблется в своих решениях, не давая чувству окрепнуть. У девственницы все наоборот, ибо подобные сомнения ей еще неизвестны: она склонна завести себе лишь одного дружка, хорошенько обдумав свой выбор, а остановившись на нем, помышляет только, как во всем его ублажить; а впоследствии с лишком наверстывает и в любовном пыле, и в том, что ранее не было ею ни видено, ни знаемо, ни прочувствовано, и жаждет новизны более женщин, все повидавших, познавших и перечувствовавших. Когда же страсть к новому овладевает ею, она выспрашивает более осведомленных подруг — и тем еще пуще распаляет себя, стремясь покрепче привязать к себе того, кого сделала властелином своих помыслов; такого жара не встретишь у вдовицы, хотя некогда он и бывал ей знаком.

Но тут у Боккаччо слово опять берет королева, желая поставить точку в этом разбирательстве, и заключает: вдова во сто раз более заботится о любовных усладах, нежели девица, тем

более что последняя слишком дорожит своей непорочностью и девственностью, ибо в них заключается будущее основание ее чести. К тому ж девицы по природе боязливы и посему не слишком ловки в изобретении новых радостей, не умеют использовать тех случайностей, что способны к оным привести; не то со вдовой: она весьма опытна, отважна и искушена в тонкостях искусства страсти, ибо уже однажды отдала и расточила то, что девица держит нерастраченным, а посему не ожидает в трепете, что кто-то, поглядев на нее, вдруг увидит брешь в укреплениях; а кроме того, вдова знает секреты и способы добиться того, что ожидает получить. Девица же, ко всему прочему, опасается первого натиска на ее невинность, ибо для некоторых он столь томителен и болезнен, что даже венчающее его удовольствие менее сладостно; а вдовы сего вовсе не боятся — они позволяют всему произойти тихо и плавно, хотя нападающие подчас и грубоваты в своих поползновениях. А первое удовольствие не сравнишь ни с какими иными, хотя поначалу частенько прелестница готова обойтись без него и быстро приходит к насыщению, однако повторение усиливает жажду; она от раза к разу делается все неутолимее. Вот почему вдовица, давая меньше, но позволяя брать у себя чаще, более снисходительна к просителю, нежели дева, которой предстоит расстаться с самым драгоценным, о чем она вспоминает тысячу раз и все не может решиться. Посему, заключила королева, лучше обращать свое внимание на вдову, нежели на девицу, каковую труднее завоевать и совратить.

Теперь же, изложив доводы Боккаччо и представив вам его пояснения, разберем их и порассуждаем, тем более что я немало беседовал с достойными кавалерами и дамами о сем предмете и, исследовав его со всех сторон, могу сказать, что всякому, кто желает поскорее насладиться любовью, должно, без сомнений, тотчас обратиться к замужним красавицам: победа над ними не отнимет много времени, ведь, как уверяет Боккаччо, чем сильнее раздуваешь угли, тем выше и жарче пламя. То же и с замужней женщиной: супруг так ее разогревает, что ему не хватает сил загасить в ней огонь желания, и либо она находит для него пищу на стороне, либо сгорает живьем. Мне была известна особа из почтенного семейства, высокопоставленная и добронравная, каковая однажды призналась своему другу (а он мне пересказал), что по естественной предрасположенности она не была так склонна к подобным занятиям, как об этом принято думать, — впрочем, о том знает один Бог! — и чаще всего охотно бы обошлась и так; но ее супруг раздразнил ее страстность и, не имея сил и способностей отвечать с тем же жаром, вынудил ее

прибегнуть к помощи друга, да и тот не всегда доставлял ей желаемое насыщение; тогда она запиралась одна в своей туалетной комнате или в спальне и пересиливала горячку как придется — либо на Лесбийский манер, либо прибегая к иным каким-нибудь средствам. Чувства ее были раскалены до того, что, как признавалась она сама, если бы не стыд, она бы отдавалась первому встречному в бальной зале, в каком-нибудь закутке или даже на лестнице — так ее разбирал горячечный этот недуг: ни дать ни взять, словно кобылиц в Андалузии, каковые, когда в охоте и не находят жеребца, оборачиваются неутоленным местом против ветра, который там обычно силен, — сим способом избывают природный зов и наполняются; оттого-то вывезенные сюда из Испании кони так быстры: они словно позаимствовали резвость от ветра-отца. Думаю, найдется немало мужей, каковые были бы рады, если бы их жены нашли себе такой же сквознячок и он охолаживал бы их, пригашая горячечное томление, а не прибегали бы к услугам любовников и не украшали мужнин лоб столь мерзким ветвистым наростом.

Как, однако, странна природа женщины: ей свойственно гореть и еще разжигать пламя; впрочем, это и не диво, ведь как сказала одна испанка: «Que quanto mas me quiero sacar de la braza, tanto mas mi marido me abraza en el brazero» (Чем больше усилий я прикладываю к тому, чтобы удалить угли, тем больше новых углей супруг насыпает в мою жаровню). И гореть им там привольно, ибо от единого слова, от прикосновения или мимолетного влечения они при самой малой оказии легко распаляются, без всякого почтения к мужу. Ибо, по правде говоря, почти каждую девицу или женщину более всего отвращает от решительного шага боязнь надуть себе живот, не наевшись бобов; а замужним этого нечего опасаться: на бедного мужа все спишется и он все покроет. Что же до поминаемых Боккаччо законов чести, запрещающих подобное, — большинству женщин на них плевать, они оправдываются тем, что законы природы более властны; а она ничего зря не делает и столь благородные члены и телесные совершенства дала им для применения, а не для того, чтобы ее дары простаивали впустую; пустоты ведь природа вообще не терпит; и не дело, чтобы пауки вили там свою паутину и приходилось бы с помощью чистого лисьего хвоста ее выметать; тоже еще, добавят они, от длительного постельного безделья заводятся разные болезни, подчас угрожающие жизни, а особенно удушье матки, от которого прежалостно погибают столь многие, среди прочих прекрасные собой добродетельные дамы, — и все из-за злостного воздержания; а лучшее лекарство от оного недуга (так полагают врачи) — телесная близость, желательно с

сильными, крепкими и вполне оснащенными для любовных схваток мужчинами. Некоторые же заходят и дальше: они утверждают, что законы, оберегающие достоинство, писаны лишь для тех, кто не одержим любовью или не имеет достойных друзей, — им-то и впрямь вредно и предосудительно расставаться с целомудрием, — например, к таким отношу куртизанок, — тем же, что умеют любить и избрали подходящих спутников, никакой закон не должен запрещать утолять огонь желаний и заливать его надлежащим образом; ведь это все равно что сохранить жизнь просящему — вещь невиннейшая; в ней ни грана варварства либо жестокости, как говорил Ринальдо, упоминаемый мною ранее по поводу рассуждений об удрученной Джиневре. Кстати, знавал я одну вполне благопристойную и высокопоставленную особу, к каковой однажды вошел ее милый друг и застал ее за переводом стансов упомянутого Ринальдо «Una donna deve dunque morire»[68], причем она перелагала их такими прекрасными и ладными французскими стихами (она дала мне потом на них взглянуть), каковых я более ни у кого не читывал; когда же он попросил ее показать написанное, она поставила условие: «Возьмите этот перевод: в нем и вынесенное мною самой себе судебное решение, и приговор, который должен бы вам понравиться, а вам остается лишь его исполнение», — каковое тотчас после прочтения и воспоследовало. А какой приговор! Он превосходит все, вынесенные парижской Судебной палатой! Ариосто украшает жалобы Ринальдо весьма прекрасными доводами; уверяю вас, она ни одного не упустила и самым лучшим образом изобразила на нашем языке — так что перевод преисполняет читателя таким же волнением, как и оригинал; что до ее друга, то он намеревался сохранить ей жизнь и не был неумолим, так что для них обоих время зря не протекало.

Так почему бы женщине, которую природа создала доброй и милосердной, свободно не воспользоваться столь ценным подарком; неужто ей суждено отплачивать неблагодарностью и отвращать от себя дарителя, оспаривая его правоту? Точно так же считала и одна особа, которая, я сам видел, взирая на супруга, прогуливавшегося по зале, не смогла сдержаться и не заметить своему возлюбленному: «Глядите, как он вышагивает! Ведь правда у него внешность доподлинного рогоносца? И так ли уж я чувствительно оскорбила природу, ежели она таковым его создала и ни к чему другому не предназначила?» Смею ли я оспорить ее правоту?

А другая супруга, как я слыхал, жаловалась на то, что ее благоверный плохо к ней относится, ревнует и следит за ней, подозревая, что она наставляет ему рога. «Но и он хорош! —

говорила она своему кавалеру. — Ему кажется, что его страсть подобна моей, меж тем как я погашаю его желание, сама и не вспыхнув: там достаточно четырех-пяти капель водички, моя же топка иной глубины; ей нужно поболее: ведь все мы по натуре водолюбивы, словно паучья норка, — чем больше льешь воды, тем быстрее она впитывается — и снова все сухо».

А еще одна нашла не менее прекрасное сравнение, предположив, что со слабым полом происходит то же, что и с куриным племенем: от недостатка воды типун садится на язык — и можно умереть, а потому им надо часто давать пить, вот только обычная вода здесь не подойдет. А третья сравнивала женскую натуру с садом: ему мало дождевой влаги, но потребен и садовник с лейкой — и тогда сад более плодоносен. А четвертая заметила, что хотела бы походить на ревностных хозяек, не доверяющих свое добро лишь одному управляющему, а находящих для сего и других пособников: ведь один может не справиться с его приумножением. Так же рачительно она поступала и с вместилищем страстей, дабы лучше его устроить и пристроить.

А у весьма почтенной дамы, по слухам, был весьма уродливый сердечный друг и как нельзя более пригожий и любезный муж, да и сама она была куда как хороша собой. Ее подруга отчитывала ее за плохой выбор. «Но подумайте, — отвечала та, — ведь чтобы хорошо вспахать земельный надел, нужен не один пахарь; и не всегда на такую работу годны самые красивые и деликатные, их порой превосходят более грубые и крепкие». Другая же, имея безобразного и неуклюжего супруга, избрала и любовника столь же некрасивого и на вопрос подруги заметила: «Это чтобы лучше притерпеться к мужниным изъянам».

Еще одна особа, пустившись в рассуждение о любви и приведя в пример себя и своих подружек, промолвила: «Если бы женщины всегда хранили целомудрие, они бы никогда не научились бояться греха»; и в том оперлась на изречение Гелиогабала, утверждавшего: «Половина жизни должна протечь в добродетели, а вторая — в пороке, иначе в существе, всегда добром или всегда злом, мы не узнаем его противоположных сторон, в которых проявляется его темперамент». Я знавал весьма значительных лиц, согласных с этой максимой. Так, Барба, супруга императора Сигизмунда, уверяла, что пребывать в постоянном целомудрии — удел дур, и весьма порицала дам и девиц, закосневших в чистоте нравов; ибо сама она сделала из сего изречения куда как далеко заведшие ее выводы и проводила жизнь в пирах, танцах, маскарадах и любовных играх, презирая тех, кто ей не подражал, а вдобавок еще укрощал плоть постом и

чурался развлечений. Сами можете вообразить, какая жизнь была при дворе императора и такой императрицы, — это для дам и господ, понимающих толк в любви.

А другая, как говорили, вполне порядочная особа с хорошей репутацией, заболев любовной горячкой по вине своего вздыхателя, не желала все положить на волю случая и того маленького куска плоти, что носила между ног, — и все из-за великого закона чести, закона, которому поклонялся ее муж и проповедовал его постулаты супруге; так вот, она стала сохнуть от внутреннего жара и сделалась черствой, тощей, слабой, а ранее была свежей, полной и решительной. Но однажды она вдруг поглядела в зеркало — и все переменилось. «Как, — вскричала она, — как могло случиться, что во цвете лет меня пожирает этакий жалкий супружеский устав и скудоумное желание победить в себе страсть? Зачем мне сохнуть и сходить на нет, стареть и дурнеть до времени; к чему терять блеск красоты, доставлявшей мне всеобщее уважение, привязанность и любовь; с какой стати мне из пышущей телесным здоровьем женщины превращаться в скелет, в живой подарок анатому, довести до того, что меня чураются в порядочном обществе и каждый волен насмехаться и издеваться надо мной? Немедленно же следует с этим покончить и прибегнуть к лекарству, которое в моей власти». Как сказала, так и сделала: удоволила своего поклонника, после чего тотчас к ней вернулись прежняя телесная роскошь и красота; а муж так и не смог уразуметь, какими снадобьями она того добилась, но приписывал все врачам, которых стал расхваливать и почитать более прежнего, ибо ее выздоровление прошло не без пользы и для него.

А еще одна весьма знатная и жизнерадостная особа, не стеснявшаяся в выражениях, сделавшись больна, позвала врача, и тот объяснил ей, что она никогда не поправится, подвергая себя воздержанию. На это она вдруг выпалила: «Ну что ж, так начнемте лечиться». Тотчас она и доктор предались этому занятию и оздоровились оба как душой, так и телом. Однажды она ему сказала: «Мне передали, что все злословят о том, чем мы занимаемся; но мне все едино: что делала, то и буду, коль скоро это помогает моему здоровью». При сем она употребляла известное словцо из лексикона галантных любезников.

Обе эти знатные сеньоры не походили на высоконравственную даму из Памплоны (о коей уже шла речь), описанную королевой Наваррской в «Ста новеллах», каковая, влюбившись без памяти в господина д’Авена, предпочла скрыть свою страсть, не дать ей вырваться из груди и умереть, но сохранить свою честь. Однако по этому поводу я однажды слышал

спор нескольких достопочтенных дам и кавалеров. Они утверждали, что в новелле выведена дура, мало заботившаяся о спасении собственной души, поскольку сама себя уморила; хотя в ее силах было изгнать смерть из сердца, и притом с помощью такой малости. Недаром старинная французская поговорка гласит: «От скошенной травы да от прорванной дыры — урон до поры». Да и что за беда? Дело простое, и нечего из-за него скрываться от людей. Разве женщина не ходит после с гордо поднятой головой? И у ней что, на лице написано? Конечно, надо действовать скрытно, затворившись и чтобы никто о том не проведал. Хотелось бы мне знать, много ли вельможных сеньор (ведь именно у них любит поселяться Амур, как говаривала та дама из Памплоны: «Большие ветры бьются в широкие ворота») ходят высоко вздев подбородок, а в любви являют храбрость, достойную Брадаманты или Марфизы. Да и кто наберется наглости спросить их, где они были и что делали? Даже их мужья (по крайней мере, некоторые, как я полагаю) не осмелятся у них о том осведомиться, настолько они умеют придать лицу неприступный вид, а походке — горделивость; но если даже мужья (повторюсь: некоторые) попробуют с ними заговорить об этом или пригрозить им, оскорбить словом или действием — они, считай, люди пропащие: даже если ранее против них не замышлялось ничего дурного, теперь все помыслы обратятся к мести и к стократному возмещению обид. Ведь недаром гласит старинная пословица: «Еще муж на жену не замахнулся, а ее передок уж усмехнулся». Понятно, что названный предмет вожделений ожидает хорошей трапезы от своей владетельницы, каковая, не имея иного орудия мести, воспользуется им как помощником и верным другом, чтобы тот встретил любезного посланца, сколько бы муж ни сторожил ее и ни охранял свое достояние.

Ведь для того чтобы достичь цели, самое верное средство у них — жалобы своим подругам, камеристкам и служанкам, которые вечно готовы подбить их на шалость, залучить им нового дружка, если такового еще нет; а если есть, передать ему, чтобы явился в указанное место, а те будут сторожить, как бы муж не застал врасплох. Обиженные жены так и поступают, они подкупают служанок деньгами, подарками и посулами, а подчас даже заключают с ними договор: из каждых трех визитов милого друга к хозяйке служанка получает половину или хотя бы треть. Хуже, когда хозяйки обманывают прислугу и забирают себе все, оправдываясь, что у дружка больше ничего не осталось, а того, что было, едва хватило им самим, и бедняжки остаются с носом, продолжая стоять на часах и бдительно охранять покой

влюбленных; это несправедливо, хотя думаю, что в подобном деле есть резонные доводы «за» и «против»; а когда прелестницы возьмутся их разбирать, они немало хохочут и спорят, ибо на такой суд выносится дело о подлинном плутовстве — утайке заранее оговоренной платы или пенсиона. Но встречаются и такие, кто крепко держит слово и обещание, ничего не утаивая ради верной службы и помощи; как добропорядочные подрядчики в лавках делятся с хозяином либо компаньоном вырученными деньгами, так и предусмотрительные дамы, желающие, чтобы их бдительно, не смыкая глаз, стерегли, должны быть щедры, ибо и сами сторожа подвергают себя опасности и неприятным подвохам случая. Так, известна мне история со служанкой, которую застиг на карауле мужнин дворецкий и, догадавшись, грубо отчитал, говоря, что лучше бы ей быть в спальне хозяйки, а не стоять сводней у ее дверей и что она наносит вред супругу, которого он, разумеется, предупредит. Но потом и он был привлечен на сторону женской половины, для чего пришлось воспользоваться услугами другой камеристки, к которой он был неравнодушен, и кое-какими подарками. Однако дама затаила на него обиду и, воспользовавшись первым подвернувшимся случаем, обвинила его перед мужем, и тот его выгнал.

Известна мне прекрасная и добропорядочная женщина, у которой служанка, пользовавшаяся ее дружбой и большим доверием, занималась подобным делом, к каковому оказалась весьма способна; так что иной раз, видя, что муж дамы надолго отлучился, занятый при дворе или посланный с поручением, она, любуясь своей хозяйкой, и впрямь одной из самых красивых и любезных, приговаривала, одевая ее: «Эх, несчастный человек ваш благоверный! Имеет такую обворожительную жену и не приедет ее проведать, оставляя так подолгу в одиночестве! Ну разве он не заслуживает, чтобы вы понаставили ему рогов? Вы обязаны, и тотчас! Была бы я так же хороша, как вы, уж я бы украсила своего, вздумай он так надолго отлучаться». Можете представить, насколько благожелательный прием находили подобные речи, ведь даже если бы у хозяйки еще не было никого на примете, то и тогда это ей обещало в будущем верную наперсницу и стража.

А иные предприимчивые особы пользуются своими служанками, чтобы выгородить любовника и обмануть мужа. Они одалживают этих добрых женщин своим возлюбленным, чтобы те были крепче привязаны и держались всегда поблизости, а сами в случае чего могут объяснить супругу, если тот обнаружит пришельца в неподходящем месте, что тот явился сюда, дабы услужить такой-то или такой-то девице; подобным образом жена может прекрасно выйти из положения, а муж так и ни о чем не

догадаться.

Мне был знаком один сановитый вельможа, который, только лишь для того, чтобы выведать любовные секреты некоей знатной принцессы и воспользоваться ими для ее уловления в свои сети, стал любовником придворной дамы из ее окружения.

Много я в своей жизни видывал подобных уловок, но они не сравнятся с той, к коей на моей памяти прибегла одна добропорядочная светская красавица, принимая услуги трех галантных вельможных кавалеров, одного за другим, каковые, оставляя ее, направлялись одаривать любовью весьма и весьма высокого полета особу; причем у нее в опочивальне являли чудеса, достойные великой благодарности: так им шли на пользу наставления и занимательные уроки постельной наперсницы, благодаря которым у них все шло гладко и прелестно; вестимо, для того чтобы подниматься столь высоко, иногда следует не пренебрегать и менее благородными предметами — то же мы можем видеть во всех искусствах и науках.

Сей наперснице оказывалась большая честь, однако она была в нашем мире отнюдь не столь одинока, и, по моим сведениям, немало отличилось тех, кто состоял в свите замужних титулованных особ; например, когда супруг одной из них неожиданно вступил в женские покои, а та в это время читала такую невиннейшую вещь, как записочку от друга сердца, ее компаньонка тихонько перехватила бумагу, проглотила ее целиком, даже не разорвав пополам, — да так, что простодушный муж ничего не заметил, и благо им всем: ведь случись обратное, он был бы с ними весьма суров; а посему знатная прелестница оценила по достоинству оказанную ей услугу и никогда не забывала о ней.

Впрочем, известны мне и дамы, обжегшиеся на том, что слишком доверяли служанкам, а также другие, кому боком вышло то, что они доверялись недостаточно. Так, был случай с весьма уважаемой и привлекательной госпожой, избравшей себе кавалера из самых предприимчивых, мужественных и исполненных всяческих совершенств, какие только могли отыскаться во Франции, и предоставившей ему для удовольствия и наслаждения свое изящное тело. Она ни в коем случае не желала посвятить в любовные дела служанок и назначала свидания на стороне. Нанимая для этого домик, она оговорила, что в спальне оставят лишь одну кровать, а служанки станут спать в прихожей. Так и было исполнено. А еще одно удобство ей предоставили, того даже не желая: в двери была пропилена выемка, чтобы кошка могла спокойно проходить, когда та заперта. Обычно ее загораживали тонкой досочкой, а ежели кто

толкал оную дверь, досочка падала и производила шум — значит, можно было загодя затаиться. Но одна из служанок, догадываясь, что дыма без огня не бывает, и, в сердцах, негодуя, что хозяйка вдруг перестала ей доверять — хотя ранее именно ей из всего штата выбалтывала свои маленькие тайны и выказывала особое расположение, — решилась притаиться у дверей спальни и все разузнать. Оттуда до нее донесся приглушенный лепет, но он не походил на обычное чтение в постели (а до того дама читывала перед сном, при огоньке свечи). Любопытство служанки разгорелось еще пуще, а тут помог случай: в ее комнату проник молодой котище; итак, она вместе с подружками излавливает его и сует в дверную выемку; тот, конечно, опрокидывает дощечку — и производит шум. Не надо сомневаться, что воркующая парочка, с ушками на макушке, тотчас встрепенулась, соскочила с кровати и убедилась, при свете факела и свечи, что лишь кот, вошедший к ним, опрокинул загородку. Не помышляя о ней более — тем паче что стояла глубокая ночь и все, по их разумению, давно спали, — они снова улеглись, оставив открытой дыру под дверью, чтобы кот мог свободно выйти, ибо не желали оставлять его у себя до утра. Тут названной служанке и ее товаркам представилась оказия собственными глазами увидеть все и более того; они вскорости уведомили о своем открытии супруга, отчего любовник погиб, а дама не убереглась от позора. Вот чем могут обернуться пренебрежение и недоверие к тем, кто вам служит, но не меньшее зло способна породить чрезмерная доверчивость, ибо при мне поминали одного вельможу, каковой заточил у себя всех камеристок своей жены и морил их голодом, пока они не выложили ему все о любовных безумствах его любезной половины. И он, разумеется, с большим шумом положил ее радостям предел. А посоветовала ему так поступить одна его приятельница, имя которой мне произносить неудобно, имевшая зуб на его жену, но Всевышний покарал ее потом.

Перед тем как перейти к иным предметам, скажу лишь, что ежели желательно быстро вытянуть какие-либо знатные и дорогие подачки, то ничего нет удобнее замужних женщин, поскольку они владеют даром добычливости и способны провести самых проницательных и высокопоставленных мужей. Но о сем много сказано в главе о рогоносцах и их женах; там изложено достаточно забавных историй, чтобы здесь их более не умножать.

Засим, следуя по стопам Боккаччо — нашего вожатого в сих рассуждениях, — перехожу к девицам, по естеству своему, разумеется, более застенчивым и боязливым — особенно спервоначала — и не осмеливающимся вверить кому попало свое сокровище, следуя постоянным внушениям и наставлениям отцов

и матерей, братьев, родственников и наставниц, а также из страха перед их жестокими угрозами; так что, даже испытывая глубочайшую в мире приязнь, они отмахиваются от нее как могут, особенно не доверяя собственному зловредному животу, способному вскорости их обличить, и сожалея об упущенных сладких кусочках. Но не у всех подобная осмотрительность в крови; есть и другие, что, замкнув зрение и слух, отбросив понятные опасения, смело выступают навстречу страсти; притом не с робко опущенной, а с гордо вздернутой головкой — но тем самым подвергают себя немалому риску, ибо позор совращенной девицы велик и в тысячу раз превосходит горький жребий разоблаченной супруги либо вдовы: здесь речь идет о потерянной несравненной драгоценности и о том, что теперь на нее будут показывать пальцем, шикать и изводить; она упустит случай сделать подходящую партию, хотя находится немало проходимцев, согласных — по уговору или под влиянием случая, из расчета либо по неведению, а то и но принуждению — броситься в ноги подобным созданиям с предложением руки, ибо хоть и с пятном, а все ж они еще приятны.

Знавал я многих, прошедших этот прискорбный путь; а одна весьма предосудительно понесла от могущественного вельможи и не скрыла своих родов, не убралась для них от глаз света, а когда все обнаружилось, отвечала не иначе как: «А что мне было делать? Меня не за что винить, ни за проступок, ни за податливость плоти, лишь за малую предусмотрительность; ведь, будь я половчей и более осведомлена, как большинство моих подружек, делавших то же, что и я, но сумевших либо избавиться от плода, либо утаить роды, я не была бы теперь в такой тягости и никто ничего бы не узнал». За подобные слова ее подружки очень ее невзлюбили и ее покровительница лишила бедняжку права себя лицезреть; хотя, надо сказать, именно эта дама и потребовала от несчастной девицы повиновения упомянутому вельможе, ибо сама добивалась его симпатии и желала завоевать ее. Нашей же бедняжке ничто не помешало найти потом очень выгодную партию, и от этого брака получилось презнаменитое потомство. Вот почему повторю: будь она похитрее, как ее подружки и прочие, с ней бы ничего не стряслось; ведь на своем веку я повидал девиц, в искусности и хитроумии не уступавших не только замужним матронам, но и прожженным сводням, не довольствующимся собственным имением, но точащим зубы на добро ближнего.

Одна из девиц при нашем дворе сочинила и поставила прекрасную комедию под названием «Рай любви» на сцене дворца Пти-Бурбон, где ее исполнили при закрытых дверях и не было

никого, кроме актеров и актрис, сделавшихся одновременно и комедиантами и зрителями. Те, кто слышал эту историю, хорошо меня поймут. Участвовало в ней шесть персонажей: трое мужчин и три женщины: одним из них был принц, влюбленный в свою даму — тоже высокорожденную, но не столь благородных кровей, — что, однако, не ослабляло его страсти; вторым — сеньор, увивавшийся за прелестницей, богато одаренной предками и природой; а третьим — дворянин, ухаживавший за девицей и в конце концов женившийся на ней, ибо, при всей своей легкомысленности, она сумела сыграть свою роль не хуже прочих. Обычно автор комедии играет в ней или предваряет ее, читая пролог. Так сделала и наша девица, при всей своей невинности лицедействовавшая не хуже, а быть может и лучше, замужних. Она ведь повидала свет не только у своего порога, или, как говорят испанцы, была rafinada en Segovia (получила выделку в Сеговии), что в Испании звучит как поговорка, ибо лучшее полотно там доводят до совершенства именно в этой провинции.

Случалось, многие девицы, будучи любовными наперсницами или служанками своих покровительниц, не менее последних желали отведать от сладкого куска. Притом сиятельные дамы обычно становятся рабынями этих девиц, опасаясь, как бы те не раскрыли тайны их похождений, как я уже говорил ранее. А от одной девицы мне довелось услышать, что большая глупость для несведущих в науке страсти связывать свое достоинство с тем, на чем они сидят; притом глупость тут двоякого рода: одни сторонятся игры чувств, не видя в ней ничего, кроме позора, — меж тем как скрытность в любви все оправдывает и покрывает; другие, недостойные обретаться в высшем свете, не знают искусства избежать неприятностей.

Одна испанская сеньора, беспокоясь, как бы насилие первой брачной ночи не внушило ее дочери отвращения, провожая ее к молодому супругу, убеждала, что ничего страшного не случится, большой боли не будет и она сама от всего сердца хотела бы оказаться на месте дочери, чтобы ей все как следует растолковать, на что та ей отвечала: «Bezo las manos, senora madré, de tal merced, que bien la tomare yo por mi» (Благодарю, матушка, за столь добрую услугу, но с этим я справлюсь и сама).

А еще рассказывали об одной пригожей наследнице весьма высокого титула, вовсе не отказывавшей себе в неких удовольствиях, каковую стали прочить замуж в Испанию. Услыхав об этом, один из ее самых потаенных дружков весело заметил, что весьма удивлен, зачем ей, так основательно освоившей навигацию в странах восхода, отправляться на закат (Испания-то на западе!). Она же ему отвечала: «Слыхала я от моряков,

повидавших свет, что плаванье по левантийским водам очаровательно и очень приятно; здесь я всегда пользовалась буссолью, с коей не расстаюсь, там же она поможет мне, отплыв с заката, отправиться прямехонько на восход». Хорошие толкователи смогут прояснить смысл сей аллегории и разгадать ее без моих изъяснений. Я же предоставляю вам догадаться, сколь часто благонравная эта прелестница читала часослов.

Другая, чье имя мне называли, слушая про чудеса города Венеции — о странных его обычаях, о свободе, царящей там и одинаковой для всех, вплоть до потаскушек и куртизанок, — воскликнула, обращаясь к подружкам: «Ах, бог ты мой! Хорошо бы отослать туда всю нашу наличность банковским письмом и пожить там столь привольной жизнью, до которой всем прочим так далеко, даже если они будут править всем миром!» Вот забавное и жизнерадостное пожелание. И действительно: думаю, тем, кто хочет вести подобную жизнь, нигде так не привольно, как там.

Нравится мне также и пожелание, сделанное в далеком прошлом некой госпожой, попросившей несчастного, освобожденного из турецкого рабства, рассказать о жизни невольников-христиан и выслушавшей долгий перечень всякого рода жестокостей. Тогда она решилась спросить его, как же там поступают с пленницами. «Увы, сударыня, — воскликнул он, — они им делают это самое, пока те не отдадут Богу душу». — «Да будет Господу угодно, — откликнулась она, — чтобы мне был уготован, по вере моей, столь же мученический конец!»

А однажды собрались вместе три высокопоставленные особы, одна из которых пребывала еще в девичестве, и у них тоже речь зашла о пожеланиях. Первая сказала: «Мне бы хотелось иметь такую яблоню, на которой росло бы столько же золотых яблок, сколько бывает обычных». Другая: «Моя мечта — иметь луг, где появилось бы столько драгоценных каменьев, сколько цветов». Третья же, невинная дева, всех перещеголяла: «Мне было бы желательно получить голубятню, где каждое гнездо приносило бы не меньше, чем то, что посреди некой дамы, фаворитки такого-то короля (об именах умолчу), но хорошо бы, чтобы в мое гнездышко залетало еще больше голубков, чем в ее».

Описанные мною женщины вовсе не походят на ту, о коей говорится в истории Испании. Однажды, когда великий Альфонс, король Арагона, торжественно въезжал в Сарагосу, она бросилась перед ним на колени и взмолилась о правосудии. Когда король пожелал ее выслушать, она попросила позволения поговорить с ним поодаль от посторонних ушей; а получив на то согласие, пожаловалась на мужа, каковой возлегает с ней по тридцать два

раза — и днем и ночью, — не давая ей ни отдыха, ни срока. Король послал за супругом и от него узнал, что все правда и нет в том ничего предосудительного, поскольку она — его жена; по сему поводу собрался королевский совет, на котором король постановил и приказал супругу приступать к дражайшей половине лишь по шесть раз на дню, при сем немало восхитившись любовным жаром этого человека, равно как и холодной сдержанностью супруги, которая, идя против естественной склонности всех прочих жен (так написано в той истории), с молитвенно сложенными руками вымаливающих у своих супругов и всех прочих как можно более положенного и терпящих подлинные муки, когда принадлежащее им перепадает кому-то другому.

В свою очередь, эта история отнюдь не схожа с той, что рассказывают про одну девицу из хорошего дома, каковая наутро после свадьбы, повествуя подружкам и наперсницам о происшествиях первой ночи, плакалась. «Как! — восклицала она. — И только-то? Ведь многие из вас рассказывали об этом по-иному, да и прочие тоже; не говоря уж о мужчинах, из коих много любезных и отважных, обещающих золотые горы и все чудеса света, говорили совсем о другом. А этот человек (она подразумевала супруга-молодожена), столько разглагольствовавший о своей любви и доблести, о турнирных подвигах, из последних совершил лишь четыре; но так же как при игре в кольцо трижды скачут ради выигрыша и лишь в четвертый раз — в честь дамы, так и тут он делал между скачками более длинные передышки, нежели вчера между танцами на большом балу». Судите сами, сколь огорчила бедняжку такая малость: ей бы дюжину! Но, увы, не все схожи с беспримерным испанцем.

Вот так-то они издеваются над мужьями. Здесь уместно вспомнить об одной из подобных дев, испугавшейся в вечер первой брачной ночи приставшего к ней мужа и сделавшейся рассеянной и несговорчивой. Но он догадался ей пригрозить, что, стоит ему воспользоваться своим самым большим кинжалом, все станет по-другому и крика будет больше; она испугалась одного вида кинжала в ножнах и сдалась; однако к утру страх как рукой сняло, и в следующий раз она, не удовольствовавшись малым, спросила, где же тот, большой, коим ее недавно стращали? На что супруг объяснил, что другого в заводе у него нет, — то была шутка, и ей предстоит довольствоваться тем, что осталось. Она даже расплакалась. «Как можно, — говорила она, — так насмехаться над бедными доверчивыми девицами?» Не знаю, следует ли такую называть простодушной и глупенькой или хитроумной и предприимчивой, уже изведавшей во всем толк.

Пусть решат любители тонких разграничений.

Попроще оказалась другая молодая особа: она пожаловалась правосудию, что какой-то любезник взял ее силой, а когда допрошенный виновник оправдывался, сказав: «Милостивые государи, спросите у нее, правда ли, что она сама взяла мой предмет в свою руку и вложила куда следует», — откликнулась словами: «Сударь, а что мне было делать? Ведь после того как он уложил меня и раздел, он принялся тыкать этим предметом, твердым как палка, прямо мне в живот, и пребольно так, что я испугалась, как бы он не сделал там дыру. Черт возьми! Тут я и схватила его и направила туда, где дыра уже была!» Простодушна ли сия особа или развратна, судить не берусь.

А вот еще два рассказа о замужних женщинах-простушках, подобных только что описанным, либо хитроумных — это как вам заблагорассудится. Один — об известной мне даме, весьма недурной собою и оттого всем желанной. Однажды к ней с любовными предложениями приступил благороднейший принц, страстно ее возжелавший, и обещал ей большое содержание и все, что ей угодно: почести и богатства для нее и ее мужа; она же весьма снисходительно склонила слух к таким сладостным предложениям, однако не пожелала сдаться с первого раза, но, как простодушная и несведущая молодая жена, мало что видавшая в свете, поведала обо всем мужу, спрашивая, что ей делать. Тот аж вскипел: «Да ничего, друг мой! Господь Вседержитель! Что вы намереваетесь предпринять и о чем со мной толкуете? О бесчестном и бесстыдном сговоре, непоправимо пагубном и для вас, и для меня». — «Ах, но сударь! — услышал он в ответ. — Ведь вы вознесетесь достаточно высоко и я тоже, чтобы стать недостижимыми для хулы…» В конце концов муж не произнес одобрительных слов, но его более храбрая и ловкая половина не захотела потерять своих выгод и получила желаемое и с принцем, и, позднее, с другими, оставив глупенькое простодушие. Рассказывавший мне слыхал это от самого принца, как и то, что тот пребольно укорял свою возлюбленную, говоря, что о подобных вещах не следует советоваться с мужем и при его дворе советы дают совсем другие люди.

Столь же непосредственно поступила еще одна милая особа, выслушав однажды предложение некоего дворянина, готового, по его словам, служить ей вечно. Разговор этот он вел в двух шагах от ее собственного мужа, каковой как раз беседовал с другой дамой; однако же, не стесняемый ничем, любезник выхватил своего ястребка, а если выражаться яснее — орудие страсти, та же, приняв его в руку и довольно крепко сжав, обратилась к супругу со словами: «Дражайший мой муженек, посмотрите-ка,

какой прекрасный подарок предложил мне сей достопочтенный кавалер. Ответьте же, должна ли я его принять?» Бедный дворянин, пораженный оборотом дела, отшатнулся, его ястребок так резво выпорхнул из цепких пальцев, что острый бриллиант на ее перстне раскроил его вдоль, да так, что незадачливый повеса чуть было потом не потерял его совсем и претерпел страшные муки, грозившие его жизни; пока же он устремился к двери, закапав всю залу кровью. Однако муж не бросился за ним, дабы нанести ему еще большее оскорбление, ибо его несказанно развеселили и простота его благоверной, и прекрасный подарок, повлекший немедленное наказание.

А еще да будет мне разрешено представить вам рассказик из деревенского обихода, по-моему вовсе недурной: тамошняя девка, которую со всем почетом вели в церковь под барабан и флейту, вдруг завидела своего дружка детских игр и ни с того ни с сего крикнула ему: «Прощай, Пьер (так звали ее милого), тебе со мной больше этим не заниматься! Моя мать меня запродала». Ее наивность здесь не вызывает сомнений, как и искренность сожалений о прошлом.

Коль скоро мы снизошли до деревни, вот еще история. Красивая девка отправилась на рынок продать меру дров. Ее все спрашивали, почем они, она по привычке назначала больше истинной цены и слышала в ответ: «Получишь столько и еще палку в придачу», на что возражала: «Что уж впустую такие слова говорить: давно бы заплатили столько, так уж имели бы и то и другое».

Но тут простые натуры (а их можно встретить немало) никоим образом не похожи на придворных чаровниц, существ более двойственных и утонченных, вовсе не спрашивающих мужнина совета в подобных делах и тем более никому не показывающих то, что им предлагают в дар.

В Испании я слыхал историю об одной девице, рассмеявшейся, когда в первую брачную ночь ее муж, как ни старался, не мог взять крепость и лишь причинил себе самому урон и сдался, а красавица, отсмеявшись, молвила: «Senor, bien es razon que seays martyr, pues que io soy virgen, mas pues que io tomo la paciencia, bien la podeys tomar» (Сеньор, вы страдаете не напрасно, поскольку я невинна, но не бойтесь: я дотерплю, пока вы не одержите победу). Если обычно мужья подсмеиваются над своими суженными в такую ночь, то эта страстотерпица поступила так же, и была права, как многие, успевшие загодя разузнать все об этом, расспросив подруг, или же сами догадались и заподозрили, сколь труден, долог и тяжек сей высший миг в преддверие наслаждений.

А другая испанка после брачной ночи, описывая достоинства супруга, перечислила их множество за одним исключением: «que no era buen contador aritmetico, porque no sabia rnultiplicar» (он слишком слаб в арифметике и не умеет умножать).

Некоторая весьма благовоспитанная девица из хорошей семьи, о которой я знал и слышал, в начале свадебной ночи, когда у всех ушки на макушке, на вопрос мужа после первого приступа, желает ли она продолжения, довольно громко ответила: «Как вам будет угодно, сударь». Можно понять, что после подобных слов любвеобильный супруг от удивления долго чесал у себя в затылке.

Девы, способные в первую же ночь так озадачить мужа, могут внушить ему сомнение в том, первым ли он пускается в плавание по этой реке и будет ли здесь последним; ведь нельзя сомневаться: кто в поте лица не роет рудничный ход на своей земле, тому носить рога; ибо, как гласит старинная французская пословица, «кто ее не удоволит, пусть сам себе обед готовит». Вместе с тем, если женщина вытягивает из мужа все, что он имеет, она способна его уморить, хотя еще предки наши говаривали: «Нечего тянуть из дружка, сколько сможешь, позволь ему оставить себе чуток; из благоверного же вытягивай все до мозга костей». О том же поется и в испанской песенке: «Que el primera pensamiento de la muger, luego que es casada, es de embiudarse» (Первая мысль замужней, как овдоветь быстрей). Об этом, смею надеяться, мечтают не все, но многие.

Существуют и такие девицы, что, не в силах долго поддерживать в сердце пламень страсти, легко отдают себя лишь принцам и властительным сеньорам, способным часто подбрасывать новые поленья — как подарками, так и изъявлениями нежности, ибо, как я убедился, в такой персоне все красиво и совершенно, даже при некотором фатовстве. Другие как раз таких и сторонятся, а подчас и страшатся, поскольку о них сложилась дурная молва как о болтунах, бахвалах, не способных держать в тайне имя избранницы и могущих ее опозорить; такие натуры предпочитают скромных и осмотрительных дворян, хотя число их и невелико, — а посему счастлива та, коей удается такого повстречать и добиться его любви. А за неимением титулованных скромников приходится (по крайней мере, некоторым) довольствоваться своими слугами, выбирая средь этих последних не только красавцев, но и людей с посредственной внешностью; зато означенных лакеев не требуется долго упрашивать, ибо им и так достается, при вставании хозяйки и при ее отходе ко сну, помогать ей одеваться, обуваться, облачаться в ночные рубахи; причем, как я знаю,

многие придворные девицы не испытывают перед ними никакого стеснения или стыдливости; а посему невозможно, чтобы услужающие, видя столько прелестей, не испытывали бы искушения, меж тем как их хозяйки подчас нарочно его подогревают; и после того как они обслужили одни части хозяйского тела, нередко им выпадает случай попользоваться и другими.

Знавал я одну из придворных дам (она была чудо как хороша собой), которая превратила своего лакея в соперника большого вельможи, у коего находилась на содержании; тот тщеславно возомнил себя единственным обладателем сокровища, однако слуга делил его с ним не чинясь; притом ее нельзя было упрекнуть в выборе: сей простолюдин оказался на редкость красив и хорошо сложен, а потому в исполнении как обычных, так и постельных обязанностей был одинаково ловок и расторопен. Не говоря о том, что по пригожести лакей далеко превосходил принца, каковой так ни о чем и не догадался до того самого дня, когда покинул возлюбленную, чтобы жениться; тут, узнав все, он не озлился на слугу, напротив — с удовольствием глядел на него при встречах в комнатах и только приговаривал: «Надо же! Вот человек, бывший моим соперником! Впрочем, признаю, что, за исключением титула, он во всем остальном меня превзошел». Даже имена они носили одинаковые; а кроме того, прислужник девицын весьма преуспел в портновском ремесле и пользовался славой при дворе, а значит, не было ни девы, ни дамы, каковую он не раздевал бы, если она желала пристойно выглядеть. Мне неведомо, пользовал ли он их столь же ревностно, как и свою хозяйку, но знаю, что они им были премного довольны.

А у другой известной мне девицы служил четырнадцатилетний подросток, из коего она сделала своего шута и забавника и легко позволяла ему, помимо прочих проказ, целовать ее, прижиматься к ней и касаться ее тела столь открыто, словно она была его женой, — и все это при людях; хотя в свете поддерживала о нем мнение просто как о забавном шуте, который не вовсе в своем уме. Могу лишь гадать, заходил ли он еще дальше; зато доподлинно знаю, что и в браке, и во вдовстве, и в повторном замужестве она оставалась весьма постыдной потаскушкой. Возможно, что фитиль разгорелся как раз от того первого уголька, но затем уж никогда не погасал, а пламя расходилось все яростнее и выше. Случилось так, что в продолжение целого года я часто видел эту особу, и, наблюдая ее в обществе ее мамаши, почитавшейся одной из самых чинных и чопорных женщин своего времени, но при всем том встречавшей выходки пажа с беззаботным смехом, я уже тогда предвидел, что

от игры по маленькой здесь скоро перейдут к крупным ставкам и ее дщерь станет однажды прожигательницей жизни, что и вышло.

В Пуату мне были известны две сестры из хорошего семейства, но пользовавшиеся весьма неприятной славой; и здоровенный лакей-баск, служивший у их отца и прекрасно умевший танцевать, притом был искусен не только в плясках, коим обучился у себя на родине, но и во всем прочем; он водил сестер на танцы и даже сам их учил, да так изрядно, что заодно преподал им иные, вовсе непристойные телодвижения, о чем проведали в свете; однако это не помешало им выйти замуж, ибо приданое было отменным; а когда речь заходит о богатстве, тут уж ни на что иное внимания не обращают, берут все с пылу с жару, не опасаясь обжечь руки. Баск, как мне сказывали, потом служил в морской гвардии, под началом господина Строцци, и слыл храбрецом, всегда готовым на опасное дело. Из лакеев же его уволили, чтобы избежать лишнего шума.

А еще я был вхож в один из знатнейших домов, хозяйка которого держала на воспитании благородных девиц, в том числе и родственниц своего супруга; при всем том женщина эта была болезненная и склонная пользоваться услугами множества врачей; впрочем, и подопечные ее немало страдали, как им и подобало, бледностью, малокровием, женскими недугами, простудами и прочим. Случилось, что двоих ее питомиц свалила жестокая лихорадка и их стал пользовать один аптекарь. Конечно, он лечил их собственноручно изготовленными снадобьями и отварами, но, помимо всего, сей стервец переспал с одной из них — а то была высокорожденная девица редкостной прелести, равной которой не найдешь во всей Франции, снискавшая позже особую монаршью милость, — а тут какой-то аптекаришка изволил ее начинить. Меж тем его подопечная заслуживала совсем иного соискателя; и впоследствии она удачно вышла замуж и преблагополучно сошла за девственницу в глазах супруга. Но здесь она пустилась на хитрость, ибо, не имея в сохранности того, что положено, обратилась к тому же лекарю, ранее дававшему ей средства от беременности, чего девицы боятся более прочего и обращаются к сведущим людям, способным помешать зачатию или избыть тягость так незаметно и хитро, что никто не может удостовериться, даже если такие догадки и посещают его голову. Так, слыхал я пересуды об одной юной особе, в девичестве воспитанной при покойной королеве Маргарите Наваррской-первой; ей случилось понести, не ведая о том; и она нашла превосходного знахаря, поившего ее таким отваром, от которого шестимесячный плод стал выходить по частям и так легко, что она ни разу не почувствовала никакой

боли или же недомогания; а потом превосходно вышла замуж, не заронив в душу мужа никаких подозрений. Что за ловкий лекарь! Ведь существуют лекарства, благодаря которым можно представиться непорочной и девственной, словно прямо из купели, о чем я уже упоминал в главе о рогоносцах; слухами о подобных искусниках полнится мир: например, иные прибегают к пиявкам, которые ставят, чтобы они насосались крови прямо в причинном месте, а те, отвалившись, оставляют ранки с пузырьками, набухшими кровью; что до мужа, приступающего к осаде в первую брачную ночь, то он при штурме срывает пузырьки и видит кровь, к вящей радости своей и жениной, ибо таким образом l'onor délia citadella é salvo[69]. По-моему, такое средство хорошо и весьма действенно, если то, что я знаю, достоверно, а ежели нет — найдется сотня других, еще лучших, если набрести на понимающего в них толк ученого лекаря, врача или аптекаря, который может умело изготовить их и распорядиться ими. Вот почему обычно эти господа имеют такие приличные состояния — они горазды и ранить, и залечивать, как некогда копье Пелея.

Знал я того аптекаря, о ком только что написал, и хотел бы лишь добавить, что впервые видел его в Женеве проездом, когда держал путь в Италию, ибо тогда проезжать через этот город было в обычае для французских путешественников, из-за войн избиравших дорогу по Швейцарии и Граубюндену. Он посетил меня в доме, где я обосновался. Вдруг мне пришло в голову спросить его, как он оказался в тамошних местах, не для того ли, чтобы пользовать невинных швейцарочек в том роде, в каком он уже досаждал нашим француженкам? В ответ он объяснил, что совершает покаяние. «Как! — вскричал я. — Разве вы здесь лишаете себя сладенького?» — «Ох, сударь, — отвечал он, — Господь надоумил меня и позвал и напитал своим святым словом». — «А разве в те времена, — возразил я, — вы не принадлежали к реформатам и не врачевали души и тела, просвещая девиц и проповедуя им истинную любовь?» — «Да нет же, сударь, — снова забубнил он. — К сему часу я лучше узнал моего Господа и более не намерен грешить». Умолчу здесь о множестве других замечаний, коими мы перебрасывались тогда полусмеясь, полусерьезно, но негодяй опять-таки мостился все на того же конька, что было бы уместнее придворному угоднику, нежели ему. Однако же ему пришлось убраться из того дома, предвидя для себя неприятности.

При всем том оставим этого проходимца. От одной мысли о нем у меня желчь закипает в крови, как и у господина де Ронсара, когда он упоминает о докторе, денно и нощно являвшемся к его возлюбленной, ощупывая ее соски, чрево, бедра и прелестные

руки, уверяя, что это помогает излечить ее от лихорадки. Поэт посвятил своей любовной ярости премилый сонет, помещенный во второй книге его «Любовных стихотворений», а начинается он так:

О, как желчь у меня закипает в крови,
Когда вспомню, что утром и вечером он
Прикасается лапами к нежной груди,
Животу и бедру той, в кого я влюблен!

Сам я ох как завидую лекарю, совершившему подобный подвох прекрасной вельможной особе, кою я имел несчастье любить, так и не добившись подобной же благосклонности; между тем как предпочел бы такую честь королевскому трону. Есть же люди, весьма желанные в кругу девиц и дам, к тому же способные, если того пожелают, завязать пленительную интрижку. Мне были известны два придворных врача, звавшиеся один господином Кастелланом из штата королевы-матери, а другой сеньором Кабрианом — он состоял сначала при герцоге Неверском, а затем перешел к Фердинанду де Гонзаго. У обоих имелись амурные приключения, и такие, что многие великие мира сего, если так можно сказать, готовы были бы заложить душу нечистому, только бы сделаться их счастливыми соперниками и соратниками.

Однажды я и покойный барон де Витто беседовали со знаменитым парижским врачевателем господином Леграном, весьма почтенным и благоразумным, пришедшим к названному барону, приболевшему от любовной истомы; оба мы расспрашивали его о дамских забавных словечках и проделках: он нам поведал с дюжину историй, приоткрывавших некие покровы; но тут пробило восемь часов, и он произнес, вставая с кресел, где уютно устроился: «Воистину я больший безумец, нежели вы, ибо задержался здесь добрых два лишних часа и трепал языком, пока шесть или семь больных ждали моего прихода», а после начал прощаться и на наши слова: «Да, все доктора умеют повернуть дело в свою пользу, и даже вы, сударь, говорили как человек, изведавший ох как немало», — закивал и воскликнул: «Каюсь, каюсь! Да, мы знаем и умеем многое, ибо нам ведомы секреты и тайны, о коих свет не знает; но теперь, на склоне лет, я уже распрощался и с Венерой, и с ее голеньким дитятей. Оставляю, судари мои, все это вам, молодым».

Еще одна людская порода перепортила множество девиц: менторы и наставники, обучавшие их наукам, если им приходит блажь употребить свои таланты во зло: действительно, они с

ученицей обычно одни в ее комнате или учебной зале; а посему легко представить, сколько у них удобств, какие истории, басни и сказки они могут привести в оправдание себя или для разжигания чувств ученицы; а когда та разогрелась добела, готова на все — как нетрудно им воспользоваться подобной оказией!

Некая девица из прекрасного семейства, притом, уверяю вас, высокопоставленного, насколько мне известно, сделалась потаскушкой только лишь из-за того, что услышала от своего наставника историю, а вернее, басню о Тиресии, побывавшем в обличье и мужчины и женщины; по сему поводу его однажды Юпитер и Юнона призвали к себе, прося ответить, кому приятнее при соитии и Венериных играх, мужчине или женщине? Сей умудренный судия разрешил дело не в пользу Юноны, уверив, что выигрывает всегда женщина, за что разгневанная богиня лишила дерзкого смертного зрения. Незачем удивляться, что бедная дева впала от этой сказочки в искушение, ибо от подруг и прочих женщин слишком часто слышала о том, что мужчины после этого впадают в истинную горячку; а значит, если судить по рассказу о Тиресии, женщины могут ожидать еще большего наслаждения, — и посему, как уверяли ее, такое лакомство нельзя не попробовать. Разве такие уроки нужно преподавать несмышленым девам? Разве не существует иных? Однако учителя станут настаивать, уверяя, что раз их ученицы хотят все знать и для того и берут уроки — а к тому ж если в исторических книгах существуют места, требующие толкования (или же ясные по своей сути), — то надо все объяснять и проверять, понятно ли, не перескакивая через страницы. А если поступать наоборот, говоря, что пропускаешь непристойный кусок, то тем самым лишь разжигаешь любопытство и побуждаешь ученицу приставать с расспросами; ибо в природе людской пытаться разузнать то, о чем умалчивают или на что налагают запрет. Сколько робких созданий сбились с пути от чтения историй, подобных той, которую я уже привел, а также вроде повести о преступной любви Библиды к Кавну и прочих подобных, описанных в Овидиевых «Метаморфозах» и даже в его «Науке любви», не говоря уже о прочих искусительных повестях с любострастными речами, сошедшими с пера известных нам французских, латинских, греческих, испанских авторов! Как поется в испанской песенке: «De una mula que haze hin, y de una hija que habla latin, libéra nos Domine!»[70] И одному Всевышнему ведомо, как легко нерадивым и подлым наставникам обучать всему этому своих подопечных, притом подперчивая и сдабривая приличествующей подливой, так что наискромнейшее создание не сможет устоять. Разве не впал в грех соумышления и сочувствия, так крепко опечаливший его, сам святой Августин,

читая четвертую главу «Энеиды», содержащую описание любовных томлений и смерти Дидоны? Хотелось бы мне иметь столько же сотен экю, сколько было на свете дев, живших как в миру, так и при святых обителях, чьи чувства были взбудоражены, изгажены, а сами они лишены невинности после чтения «Амадиса Галльского». А что способны натворить греческие, латинские и прочие книги, растолкованные, переведенные и проясненные в самых темных местах нашими хитрыми порочными лисами-наставниками, блудодействующими словом и делом в потаенных покоях и кабинетах, вовсе не думая о грядущей расплате, вы сами можете себе представить.

В жизнеописании Людовика Святого, помещенном в книге Паоло Эмилио, мы читаем о некой Маргарите, графине Фландрской (судя по трудам историков, она наследовала своей бездетной сестре Жанне, каковая получила константинопольский престол от своего отца Бодуэна I, императора греческого). В ранней юности ей наняли ментора по имени Гийом, человека набожного и богобоязненного, уже вступившего на стезю монашества, что, однако, не помешало ему сделать своей ученице двоих малышей, названных Жаном и Бодуэном, причем так негласно, что мало кто из близких о том догадался; впоследствии Маргарита узаконила их, прибегнув к помощи святейшего Папы Римского. Какая мораль и что за педагог! Так читайте, читайте же историю.

Известна мне была одна вельможная придворная дама, состоявшая на содержании у подобного рассказчика и наставника невесть в каких науках; так вот, однажды Шико, королевский шут, прилюдно отчитал ее за то, что у нее хватило бесстыдства стать содержанкой (так он и сказал!) такого подлого мужлана и недостало ума выбрать кого позавиднее. Все собравшиеся стали громко смеяться, а дама расплакалась, ибо сочла, что все это подстроил король, ибо он слыл мастером на подобные шуточки. И еще мне встречалось немало знатнейших дам и принцесс, что ни день в своих кабинетах услаждавших себя уроками чистописания в компании с секретарями-делопроизводителями — а вернее бы сказать, производителями безделья — или приглашавших их к себе якобы почитать, поскольку, как они уверяли, чтение вредит их глазам.

Особы, выбирающие такого рода людей, не заслуживают ничего, кроме порицания, тем более что ничем не стеснены в своем выборе, кроме собственной доброй воли. А вот бедняжки девицы, подневольные в своих семействах, рабыни собственных матерей, отцов, родственников, менторов и наставниц, всего боящиеся, вынуждены брать то, что под рукой, и пускать в дело —

не разбирая ни холодного, ни горячего, ни вареного, ни жареного — и, чуть представится случай, обходятся слугами, голодными студиозусами, игроками на лютне либо виоле, учителями грамматики или танцев, кочующими из дома в дом художниками — короче, всеми, у кого можно поднабраться премудрости и разных умений, не говоря уже о религиозных проповедниках и монахах, о коих не забывали ни Боккаччо, ни королева Наваррская в своих «Новеллах», а также о более мелком люде: пажах, лакеях, бродячих лицедеях (мне ведомы две придворные дамы, из коих каждая была влюблена в комедианта, но благоволила и к его сотоварищам по подмосткам); не забыть бы тут и поэтов, славящихся искусством совращения прекрасных дев, вдовиц и почтенных супруг, ибо те куда как охотно принимают жертвенный дым словесных восторгов и ловятся на льстивое слово; и, наконец, всех, кто ненароком окажется под рукой и даст себя уловить. Здесь нельзя доверять даже судейским ходатаям, поскольку и они горазды преуспеть. Поэтому-то Бокаччо и многие вместе с ним находят, что девицы постояннее в любви, нежели вдовы и жены; их чувства тверже, ибо сами они напоминают людей на тонущем судне: не умея плавать, хватаются за любую щепку и палку и держатся за нее неотрывно, пока им не придут на помощь; умеющие же храбро бросаются в воду и плывут, пока не достигнут берега. Вот так же и девицы, обзаведясь воздыхателем — пусть первым подвернувшимся, — вцепляются в него обеими руками и не желают выпустить, платя ему любовью и постоянством; а все из боязни, что, положившись на свой вольный выбор и причуду, они не обретут желаемого; меж тем замужние матроны и вдовицы, изведавшие науку любовных хитростей и в ней поднаторевшие, уверенно пускаются вплавь по любой волне, не ведая страха, и выбирают того, кто им более по сердцу; а если любезник им чем-то не угодит, они готовы тотчас заменить его другим, а то и двумя, ибо за одного потерянного тут воздается вдвойне. Учтем еще, что у девиц на руках нет денег; они не распоряжаются своим достоянием и не способны дарами и посулами приобретать новых поклонников; ведь чем они могут облагодетельствовать избранника сердца? Какой-нибудь ленточкой из собственной прически, вышивкой мелким жемчугом либо бисером, браслетом, колечком или шейным платком — всяческими незначащими дарениями, ибо даже наследницам огромных состояний, как я знаю, не дано права распоряжаться своим добром, осыпать милостями своих любезных. Лишь передок всегда при них, но этот кошель не дает, а берет. Притом по натуре они обыкновенно склонны к бережливости; но здесь волей-неволей раскошелишься — ведь приязнь поддерживается

всеми средствами. Тут им далеко до жен и вдов, свободно распоряжающихся приобретенным и унаследованным, если таковое имеется; а влюбившись без памяти и возжелав кавалера, они не пожалеют и последней рубахи, только бы отведать лакомого куска — подобно сладкоежкам, впадающим в рабство у собственного рта при виде доброго блюда и тотчас готовых тряхнуть мошной. А бедным девицам несладко; и потому, кого бы они ни повстречали — хорошего либо дурного, — им приходится остановить свой выбор на нем.

Я мог бы привести тысячи примеров их амурных приключений и невзгод, пристрастий и причудливых удовольствий, но так мне не добраться до конца; к тому ж такие историйки не многого стоят, если не называть имен и титулов; я же поставил себе за правило ни за какие блага в мире никого, даже ненароком, не опозорить; в чем, в чем, а в злоречии мою книгу упрекать не придется. В том же, чтобы рассуждать, не поминая имен, не вижу ничего дурного: пусть постараются догадаться сами, о ком здесь ведется рассказ; хотя частенько думают на одних, а настоящие проказники — другие.

Подобно дровам разных древесных пород, из коих одни горят даже сырыми, как ясеневые или буковые, а другие только хорошо высушенными, выстоявшимися и давно приготовленными, как ольховые или из вяза и прочие, горящие в печах на всех широтах подлунного мира; третьи же, старые иссохшие дерева, сгорают так быстро, что кажется, будто они, не успев воспламениться, просто разом превращаются в прах, — точно так же и с девицами, женщинами и вдовами: первые еще с нежного отрочества загораются так легко и жарко, что кажется, будто любовный пламень и распутство они впитали с молоком матери, как прелестная Лаиса от прекрасной Тимандры, никудышной матери, но искушенной потаскухи, и сотни тысяч других, появившихся на свет из разгоряченных блудом утроб и не дождавшихся возраста зрелости, наступающего у нас в двенадцать-тринадцать лет, как случилось с одной парижской девчонкой, исхитрившейся лет двенадцать назад, или около того, зачать плод любви в девятилетием возрасте. Видя свою дочь занемогшей, отец понес ее мочу доктору, каковой тотчас объявил, что она в тягости. «Не может быть! — воскликнул отец. — Моей дочери, сударь, лишь девять лет». Вообразите, как озадачен был лекарь. Но что делать? «Как бы то ни было, — подытожил он, — в том, что она ждет ребенка, сомнений нет», — и, обследовав ее затем, нашел, что все так и есть. Негодницу допросили и выведали, с кем ей пришлось связаться; а того молодца суд приговорил к смерти за совращение девицы в столь нежном возрасте и причиненный ей урон. Мне не

слишком приятно приводить подобный пример и помещать в этой книге, тем более что речь зашла о лице безвестном и низкого происхождения, хотя я решился изводить бумагу только ради великих, знаменитых и благородных особ.

История, только что приведенная мною, несколько отвратила меня от избранного пути, но она из числа редких, что может меня несколько извинить, ибо в сем случае все вышло наружу; а мне доподлинно известно, что немало высокорожденных наших дам, не достигнув десяти, одиннадцати или двенадцати лет, преблагополучно вынесли первые соития с мужчинами либо в привольном блуде, либо в законном браке — о чем я уже не раз упоминал, — и притом не только не померли, но даже не лишались чувств, разве что от избытка наслаждения.

По сему поводу мне вспоминаются жалобы одного любвеобильного и бравого дворянина (ныне его уже нет в живых), посетовавшего однажды на чрезмерность естества женщин и девиц, с какими ему приходилось иметь дело. Он утверждал, что в конечном счете был принужден выискивать себе пару помоложе, из тех, что едва вышли из колыбели, чтобы не чувствовать себя на утлом суденышке в бушующем открытом море, а спокойно и в полное удовольствие плыть по узкому проливу. Если бы таковые слова он обратил не ко мне, а к известной мне великосветской особе, она бы ответила ему так же, как одному придворному дамскому угоднику, опечаленному тем же самым. А сказала она вот что: «Не знаю, кто должен более негодовать, вы, мужчины, на наши глубины и широты, или мы, женщины, на ваши тощие малости, пригодные для ювелирного точения, а не для вспахивания доброй борозды; ибо тут мы одинаково достойны сострадания: если бы ваши снаряды подходили бы нашим калибрам, для взаимных попреков не было бы места».

В ее словах все истинно, а мне вспоминается величавая дама, разглядывавшая большую бронзовую статую Геркулеса, венчающую фонтан в Фонтенбло, и заметившая кавалеру, под руку с которым прогуливалась, что хотя греческий герой весьма мощен и на диво хорошо изображен, притом в добром соответствии всех членов, но посередке у него что-то донельзя тощее и несообразное с величиной этакого колосса. С чем собеседник ее охотно согласился, но добавил, что, надобно думать, и дамы тех времен не обладали столь пространными обиталищами наслаждения, как теперь.

А одна весьма высокопоставленная особа, прознав, что некто дал ее имя большой и толстой кулеврине, вопросила, с чего бы это, и получила в ответ: «Потому, сударыня, что она длиннее прочих и крупнее всех калибром».

При всем том желанные особы находят немало средств от сего изъяна, всякий день изыскивая способ сделать врата более тесными, узкими и неудобопроходимыми; хотя есть немало и тех, кто пренебрегает всеми ухищрениями: ведь проторенная широкая дорога пролегает и от долгого хождения, и от езды по ней, но также и от частых родов, а каждый младенец все более расширяет себе путь. Однако я чуть-чуть заплутал и сбился с собственной тропки, но беды в том не вижу и тотчас на нее возвращаюсь.

Немало девиц упускает прелести юного и нежного возраста и достигает в непорочности скорбных и суровых лет либо по изначальной холодности своего естества, ибо бывает и такое, либо от строгого надзора родни, столь необходимого иным ветреницам, согласно испанскому изречению: «Vinas e ninas son

muy malas a guardar», что значит: «Поспевший виноград и спелую девицу трудно сохранить» — по крайней мере так, чтобы кто-нибудь из проходящих мимо или же поселившихся поблизости не попытался их отведать; особенно когда у них, словно у цыпленка, появляется первый пушок; а то еще из-за такой стойкости души и тела, какую ни аквилон, ни жгучий северный ветер не способны растревожить. Встречаются такие глупые, простые, грубые и ничего не смыслящие натуры, что даже не могут без зубовного скрежета слышать само слово «любовь», как та женщина, о которой мне ведомо, что она была столь сурова и крепка в реформатской вере, что, если кто при ней произносил, говоря о ком-нибудь, «распутница», она тотчас лишалась чувств; между прочим, когда о ней при мне поведали некоему сеньору в присутствии его жены, тот воскликнул: «Нельзя, чтобы сия особа являлась к нам в дом: если она только от слова теряет сознание, то здесь, увидев распутницу вживе, лишится не только чувств, но и самой жизни!»

Среди юных созданий встречаются те, кто, лишь стоит им познать первые волнения сердца, быстро приручаются и начинают клевать с руки. А другие столь набожны и совестливы, так опасаются нарушить заповеди Господа нашего, что медлят принять на себя заветы любви. Но при всем том я предовольно повидал на своем веку истовых христианок и богомолок, пожирающих глазами иконы и изображения святых, днюющих и ночующих в церквах, но под сенью лицемерной набожности таящих собственные страстишки в надежде, что лживая личина помешает свету распознать их суть и все будут считать их благонравными и чистыми, почти что сравнявшимися в добродетели со святой Екатериной Сиенской; нередко им удавалось обмануть и двор, и весь свет, как той великой принцессе, почитай королеве, ныне покойной, каковая, лишь только вздумывалось ей заговорить с мужчиной о своем любовном недуге (а он нередко поражал ее), всегда начинала с того, как надобно любить Всевышнего, а уж потом без околичностей переходила к страстям земным и к тому, что ей надобно от собеседника, побуждая его немедленно приступить к большим делам или хотя бы к их сокровенной сути. Вот как наши богобоязненные девы и жены, а вернее, ханжи водят нас за нос, если в простодушии своем мы не познали всех хитростей бренного мира.

Рассказывали мне одну историю — не знаю, правдивую ли — о том, как в некоем городе во время торжественного великопостного шествия одна из жительниц — не упомнил, высокого или низкого звания — шла босиком с непокрытой

головой, уничижая себя за десятерых, так ее разобрало покаяние. А по окончании процессии она отправилась отобедать с возлюбленным; на столе был окорок молодого козленка и ветчина: дух от них разнесся по всей улице, так что кое-кто поднялся проведать нарушителей поста и застал их при этаком роскошестве. Ее схватили и приговорили провести по городу с окороком на вертеле через плечо и с ветчиной на шее. Разве такое наказание не достойно этакого греха?

Кроме упомянутых, встречаются дамы высокомерные, чванливые, презирающие все на этом и том свете — по крайней мере, на словах — и осаживающие мужчин, склонных к страстным излияниям; с ними нужно терпение и стойкость: со временем вы одолеете их и преблагополучно подложите под себя, при всем их великолепном презрении: ибо кто забирается слишком высоко, неминуемо вынужден спуститься пониже. Среди подобных тщеславниц знавал я и тех, кто после высокомерных слов и небрежения к любящим их снисходили сами до взаимности и даже до брака подчас с людьми более низкими по происхождению, нежели они, и ни в чем не достигшими их блеска. Вот так играет с ними Амур и мстит им за несговорчивость, задирая их чаще, нежели прочих, ибо победа здесь доставляет более славы, поскольку одержана над доблестным противником.

Помню я при нашем дворе одну даму из самых высокомерных и чванливых, на все притязания галантных кавалеров, на любые их ухищрения отвечавшую весьма резко, обрывая ухажера язвительным словом (а язычок у нее был преострый) и презрительным жестом, да притом состроив такую гадливую мину, что на душе становилось солоно. Наконец любовь подстерегла ее и примерно наказала, отдав в руки того, от кого она понесла за три недели до собственной свадьбы, причем счастливчик ни статью, ни прочим не мог сравниться со множеством ее прежних поклонников. Но здесь придется вместе с Горацием признать: «Sic placet Veneri» (Так угодно Венере). Подобные чудеса — ее рук дело.

Однажды, когда я был при дворе, угораздило меня без памяти влюбиться в прекрасную и добронравную девицу из хорошего дома, но тщеславную и неприступную. Я решился ухаживать за ней и досаждать ей столь же непреклонно, сколь резко она мне отвечала: ибо, как говорится, нашла коса на камень. Она, однако, не была задета моей напористостью; ведь, обращаясь к ней, я находил все способы воздать ей хвалу, зная, что ничто так не размягчает окаменевшее женское сердце, как славословие в честь красот и совершенств любимого предмета и его превосходства

над прочими; я уверял ее, что надменность очень ей к лицу, поскольку она выделяется из ряда обыкновенных созданий, и что девице или зрелой даме, позволяющей себе слишком много вольности и не хранящей высокомерного достоинства, не дождаться почтительного услужения, и клялся, что именно за это ценю ее выше прочих, именуя про себя не иначе как «моя высокомерная владычица». Сие понравилось ей настолько, что она также пожелала называть меня «мой спесивец».

И так я услужал ей, и этак — и могу похвастаться: я добился-таки большего ее расположения, нежели тот высокопоставленный придворный, любимец короля, что отбил ее у меня и, с позволения монарха, женился на ней. При всем том, пока она была жива, сердечная связь меж нами не прерывалась и я продолжал глубоко чтить ее. Быть может, сей рассказ навлечет на меня упреки, ибо всем известно: все, что говоришь о себе, заведомо худо; возможно, я и впрямь слишком увлекся; впрочем, хотя в иных местах этой книги много сказано обо мне самом, но имени моего не упомянуто.

А еще встречаются девицы столь бойкого нрава и настолько ветреные, неистовые, легкодумные, не имеющие иных помыслов, кроме веселья и пустых забав, что не могут отвлечься на иные предметы и отдаются лишь мелким своим страстишкам. Я знавал многих, для кого послушать скрипача, потанцевать, попрыгать, побегать — гораздо приятнее, нежели выслушивать признания в любви; и они отгоняют докучливых ухажеров от себя; так что их с большим основанием можно причислить к сонму сестер-прислужниц Дианы, нежели Венеры. Известен мне знатный и отважный сеньор, к несчастью уже покойный, который так страдал от любви к такой девице — а потом и великосветской даме, — что от этого сошел в могилу. «Вот ведь, — жаловался он, — я предлагаю ей мою страсть, а она говорит мне о своих собаках да об охоте, так что мне бы уже хотелось как-нибудь превратиться в одну из ее гончих или борзых либо, как советует Пифагор, переселиться душою в песье тело, чтобы она обратила внимание на мой сердечный недуг, а я бы излечился от любовной раны». Однако он вынужден был после отступиться от нее, ибо оказался плохим егерем и охотником и не мог следовать за нею повсюду, куда ее влекли переменчивые прихоти и беззаботный нрав, жажда простых удовольствий и незначительных услад.

Но вот что примечательно: когда подобные девицы войдут в зрелость и «отмытятся» (как говорят о лошадях-трехлетках, на коих они тогда похожи), а затем от малых забав, пусть и с опозданием, но все же перейдут к сильным усладам, применяя к ним свой норов, они напоминают тогда молодых волчат,

прелестных на вид, резвых и шаловливых, покрытых нежной шерсткой; однако повзрослев, они быстро научаются недоброму и всегда готовы к разным каверзам. Те же самые прелестные создания, что предавались мимолетным фантазиям, проводя время на балах, танцах, охотах и головокружительных скачках, уверяю, рано или поздно прощаются с детскими причудами и пускаются в большое кружение, причащаясь к сладостным плавным пляскам богини любви. Наконец, чтобы поставить на этом точку, скажу, что не встречал ни одной девицы, дамы в летах или вдовы, которая рано или поздно не воспламенялась бы любовным томлением — будь то в пору цветения или же при увядании, — подобно всякому дереву, горящему в огне, кроме одной лиственницы, на каковую они не похожи и, уповаю, никогда походить не будут.

Дерево это, именуемое у нас «ларикс», не горит и не дает ни пламени, ни угля, в чем убедился еще Юлий Цезарь. Возвращаясь из Галлии, он повелел жителям Пьемонта доставить ему продовольствие и подготовить места для походных лагерей на пути его армии. Все повиновались, кроме обитателей крепости Ларигн, где укрылось разное отребье и злонамеренные люди, непокорные Риму, так что пришлось Цезарю сворачивать с дороги и осаждать замок. Когда он приблизился к укреплениям, то убедился, что они всего-навсего из дерева, и решил, что совладать с ними — дело нехитрое. А засим приказал натаскать вязанок хворосту и снопов соломы, чтобы поджечь их; и впрямь, поднялось жаркое и высокое пламя; глядя на него, никто не сомневался, что оно все пожрет; однако, когда огонь унялся, все с удивлением убедились, что крепость устояла и была невредима, так что Цезарю пришлось прибегнуть к иному средству: к подкопу, чем он вынудил защитников вступить в переговоры и сдаться; именно от них он узнал о свойствах того самого дерева, пошедшего на укрепление замка, который потому и назывался Ларигн, что значит «выстроенный из ларикса».

Немало отцов, матерей, родственников и мужей хотели бы, чтобы их дочери и жены походили на такое дерево и опалявший их пламень не оставлял бы никаких следов и никоим образом не затрагивал естества; тогда они жили бы спокойнее, а у опекающих не мозжило бы в голове от лишних забот; меж тем как в свете поуменьшилось бы число разоблаченных распутниц и опозоренных рогоносцев. Однако же в сем случае мир обезлюдеет и все закаменеют без каких-либо удовольствий и развлечений, а значит, обнаружится, как я понимаю, несовершенство самой Природы, меж тем как сейчас она пребывает без изъянов и, подобно знающему дело пастырю, следит, чтобы мы не сбились с

верного пути.

Но довольно о девицах, теперь, милостивые сударыни вдовушки, пора уделить внимание и вам.

Вдовья страсть добра, легка и приносит много пользы, если учесть, что они пользуются полной свободой и вышли из-под жестокой опеки отцов, матерей, братьев, тетушек и мужей, да и суда над ними нет; заниматься любовью с овдовевшей прелестницей и делить с нею ложе — блаженство дозволенное, за него не воспоследует никаких наказаний, как в случаях с женами и девицами; даже римляне, даровавшие нам большинство законов, коим мы ныне следуем, никогда не карали за подобные деяния ни телесно, ни путем наложения пени, о чем мне говорил один из самых знающих наших правоведов, в свою очередь ссылаясь на Папиниана, тоже великого знатока права, каковой, трактуя об адюльтере, говорит, что никоим образом нельзя считать таковым позорный проступок девицы или овдовевшей женщины, называть это, даже по ошибке, адюльтером — значит возводить напраслину; и в другом пассаже Папиниан напоминает: наследник не может ни в чем упрекать или требовать от правосудия наказать за дурное поведение женщину, потерявшую супруга, кроме тех случаев, когда сам покойный еще при жизни привлекал ее за подобное к суду. И действительно, во всем римском праве не найти никакого наказания, применимого ко вдове, кроме как за повторное замужество, прежде чем истечет предписанный годичный траур, или если она выйдет замуж ранее одиннадцатого месяца после рождения ребенка от предыдущего брака; здесь предполагается, что первый год вдовства должен быть посвящен почитанию умершего и заботам о его потомстве. А закон о том, чтобы вдова не вступала в брак ранее нежели через год после того, как овдовеет, введен Гелиогабалом, чтобы дать ей полную возможность целый год оплакивать покойного и хорошенько собраться с мыслями, прежде чем избрать нового суженого. Какая мысль! Вот достойный повод для подражания. Что же до полагающегося ей мужниного наследства, то у нее невозможно его отнять, в какие бы безумства она ни пускалась; и приводится прекрасное оправдание этому: если у второго наследника нет иных мыслей, кроме как отнять у вдовы ее добро, для него иначе будут открыты все пути, чтобы лишить ее наследства или по крайней мере оклеветать; а нет такой, пусть самой порядочной, вдовы, которая была бы вовсе защищена от наветов и козней подобных наследников.

Из слов законоведа выходит, что римские дамы имели повод и возможность хорошенько повеселиться; и нечего удивляться, читая про одну из них, жившую во времена Марка Аврелия,

каковая, идучи за похоронной колесницей своего супруга и испуская рыдания, вопли, вздохи и стенания, так крепко пожимала руку того, кто поддерживал ее на этом пути, что явно показывала ему свою готовность любить его и быть ему женой — правда, не ранее чем через год, ибо для уменьшения этого срока требовалось особое позволение, подобное тому, коего добился Помпей, когда взял в жены дочь Цезаря; однако такой милости могли удостоиться лишь великие мужи и дамы Рима. Помпей все же добился разрешения на брак и не раскаивался в том, ибо ему досталась добрая и истовая мастерица, знающая толк в любовной потехе. Эта дама ничего не желала терять и умела позаботиться обо всем: и о благе телесном, и о наследстве.

Вот как счастливы были римские вдовы; не менее благой удел достался и французским, каковые ничего не теряют из своих прав, отдаваясь и сердцем, и прелестным телом радости; хотя в парламентах наших подобные дела множество раз обсуждались; так, мне известен богатый и знатный французский сеньор, долго пытавшийся отсудить наследство, причитавшееся его невестке, обвиняя ее в чрезмерном любострастен и кое-каких иных преступлениях куда посерьезнее; и все же она выиграла процесс, а ему пришлось-таки выделить ей ее законную долю, хотя ее и лишили права надзирать за имением ее сына, тем более что она вторично вышла замуж; об этом последнем наши судьи и парламентские сенаторы весьма заботятся, не оставляя вдовам на попечение их дочерей, однако мне ведомы вельможные дамы, и при втором замужестве сохранившие при себе малолетних дочерей, не допуская над ними опеки деверей и прочей мужниной родни; но им в том весьма помог их царственный покро-витель. Ведь нет такого закона, который бы не смог опрокинуть добрый передок. Впрочем, отныне и впредь зарекусь рассуждать о подобных материях, тем более что не мое это дело; и здесь весьма возможно, уповая на то, что скажешь что-либо путное, понести околесицу. Потому-то в остальном я целиком полагаюсь на таланты наших правителей и законодателей.

Итак, говоря о вдовах, нельзя обойти тех, кому угодно снова связать себя брачными узами и перемерить исхоженный брод, подобно морякам, спасшимся от двух или трех кораблекрушений, но вновь отправляющимся в плавание, или матерям, клянущимся в родовых схватках, что никогда и близко не подпустят к себе мужчину, а едва лишь боль утихнет и здоровье вернется, принимающимся за старое. Так же было и с той испанской сеньорой, каковая, будучи в тягости, освятила свечку в соборе Монсерратской Богоматери, помогающей при разрешении от родовых мук. Это не помешало ей испытать тяжкие страдания и

клясться и божиться, что никогда более она не подвергнет себя подобной напасти. Однако, когда дитя появилось на свет, она приказала женщине, державшей подле нее зажженную свечу: «Serra esto cabillo de candela para otra vez» (Сохраните огарок до следующего раза).

Другие дамы не желают вновь отягчать себя узами брака, среди них встречаются и овдовевшие в самом цветущем возрасте, но довольствующиеся первым опытом. Так, мы помним, что наша королева-мать лишилась супруга между тридцатью семью и тридцатью восьмью годами и осталась во вдовстве, хотя сохранила и красоту и любезную привлекательность и ни разу не поддалась соблазну вторичного замужества. Впрочем, нельзя сказать, чтобы у нее был большой выбор достойных ее сана женихов, к тому ж могущих сравниться с великим королем Генрихом, ее покойным повелителем: ведь она потеряла стоившего доброй сотни мужей царственного супруга, чье обхождение не оставляло желать лучшего и притом было как нельзя более любезным! При всем том нет ничего, что любовь не заставит позабыть. Тем похвальнее выбор королевы-матери, он заслуживает быть навечно занесенным на скрижали храма бессмертия, ибо ей удалось победить себя и сохранить над собой власть, не уподобясь белой королеве, что, не сдержав своих страстей, вышла замуж за собственного мажордома, господина де Рабоданжа, каковой выбор ее царственный сын поначалу нашел странным и неприятным; но, поскольку она все-таки приходилась ему матерью, он простил упомянутому Рабоданжу его выходку — тем более что при свете дня тот продолжал услужать его матушке как мажордом, — дабы не нанести урона ее величию и не оскорбить ее титула; а по ночам она была вольна поступать, как ей было угодно, не делая различий меж слугой и повелителем и лишь отдаваясь на волю их скромности; однако можно себе представить, как торжествовал ее избранник. Ибо сколь ни была она величава, но и природный закон, и людской обычай отдавали ее во власть мужчины. Сию историю я некогда узнал от последнего из покойных кардиналов Лотарингских; при мне он рассказал ее королю Франциску II, когда тот был в Пуасси и посвятил там в рыцари ордена Святого Михаила восемнадцать человек — такого числа посвященных единым махом еще не видывали никогда; а меж них обретался и весьма постаревший сеньор де Рабоданж, уже давно не бывавший при дворе, разве что мимоездом, участвуя в каком-нибудь из частых тогда военных походов; удалиться от света, как то нередко случается, его побудили разочарование и тоска после потери доброго покровителя господина де Лот-река, при коем он служил

капитаном гвардии, погибшего в неаполитанском походе; а в добавление к своей повести господин кардинал предположил, что тогдашний де Рабоданж — как раз дитя того тайного брака. Но то ли еще бывает! Не так давно одна из причастных к трону особ взяла в мужья собственного пажа и, включив его в круг властительных персон, сама как бы сошла с круга, распорядившись подобным образом собственным вдовством. Но оставим в стороне столь недостойные вдовьи повадки и перейдем к примерам более благоразумным и возвышенным.

Была у нас королевой донна Елизавета Австрийская, супруга покойного короля Карла IX, о которой открыто можно сказать, что это одна из самых лучших, любезных, благоразумных и высоконравственных монархинь из всех, кто когда бы то ни было царствовал у нас и в иных странах; вместе со мной подобное скажет всякий, кто видел ее либо слышал о ней, не думая повредить прочим и пойти против истины. Она была необыкновенно хороша собою, цветом лица и нежностью тонкой кожи не уступала самым привлекательным придворным дамам, а в обхождении просто обворожительна; притом, не отличаясь высоким ростом, она имела прекрасную фигуру. А в благоразумной своей доброте и добродетельности она умудрилась никого не обидеть, не огорчить — ни действием, ни суровым словом и вообще отличалась сдержанностью, немногословием, предпочитая говорить по-испански. Искренняя набожность ее нимало не походила на ханжество; она не выпячивала ее и не делала ничего напоказ, избегая и здесь всего чрезвычайного — не то что многие известные мне истовые богомолки, — однако не упускала положенных для молитвы часов и употребляла их, видимо, с толком; так что ей не было необходимости отнимать время у светских занятий. Истинная правда (мне о том поведали некоторые ее бывшие фрейлины), что, будучи в постели вдали от людских глаз и хорошенько задвинув полог, она в одной рубахе простаивала на коленях добрых полтора часа, обращая помыслы свои к Богу, бия себя в грудь и печалуясь о своих прегрешениях. Но о сем узнали не скоро — только после того, как умер ее супруг король Карл; а произошло это потому, что однажды, когда она легла и все прислуживающие ей удалились, одна из них, спавшая в ее комнате, привлеченная звуком ее стенаний, решилась чуть-чуть отодвинуть занавеси полога — и увидела ее в том состоянии, что я уже описал: молящейся и уничижающей себя перед ликом Господним; подобное продолжалось каждый вечер; и однажды эта фрейлина, успевшая войти в доверие к королеве, обмолвилась, что подобное обыкновение вредит ее здоровью. Та очень

рассердилась, сообразив, что ее тайна раскрыта, и, почти отрицая все, приказала ей никому не говорить ни слова и даже на один вечер прервала свои молитвы в постели. И все же ночью она встала и восполнила недоданное Богу, уповая, что прислужницы уже спят и ничего не заметят. Но они все примечали по тени ее на занавесях от наполненной воском светильни, которую она держала всю ночь зажженной изнутри полога, чтобы читать или молиться, когда сон к ней не шел, в то время как прочие принцессы держат ночник подале на комоде. В такого рода молитвах нет ни капли лицемерия, к какому прибегают иные жеманницы, молясь прилюдно и громко бормоча, чтобы все сочли их святыми женщинами и истовыми христианками.

Так наша королева молилась о душе своего супруга, смерть которого ее крайне опечалила; но свои сожаления и страдания выражала, не уподобляясь обычаю дам громко вопиять о своих горестях, царапая лицо ногтями и якобы в отчаянии рвя на себе волосы и не подражая тем женщинам-плакальщицам, которых нарочно нанимают для этого, но плача беззвучно, так нежно роняя свои драгоценные слезы и тихо вздыхая, чтобы никто не догадался о глубине ее горя; отнюдь не думая делать хорошую мину при дурной игре, как многие, и все же внушив немалому числу людей искреннее сострадание к своей потере и силе перенесенных душевных мук. Так поток, удерживаемый плотиной, таит в себе более мощи, нежели тот, что течет свободно. По сему поводу мне вспоминается, что во время болезни ее супруга и повелителя, когда он уже не мог вставать с постели, она приходила к его ложу; но садилась не у изголовья, а чуть поодаль — и долго так сидела, не перекидываясь с ним ни единым словом, но пристально глядя на него; можно было поручиться, что она пытается охранить его в сердце своем и защитить своей любовью; а меж тем на глаза у нее тихонько и неприметно наворачивались слезы нежности; причем она тайком утирала их, пытаясь не привлечь ничьего внимания и делая вид, что сморкается; и всякий, видевший ее тогда, преисполнялся жалостью (я тоже, ибо был там и все это наблюдал) от зрелища потаенного горя любви и трогательных стараний, чтобы сам король ничего не приметил. Вот как она поступала в скорбные для ее супруга часы, а затем шла к себе и молила Господа о его здоровье, ибо до крайности любила его и почитала, хотя и знала, что непостоянный нрав часто толкал его к амурным приключениям; не сокрылось от нее и множество его любовниц, сердца которых он завоевывал из тщеславия или ради наслаждений, что сулило обладание ими; но все это не меняло ее к нему расположения, не исторгало из ее уст горьких слов. Она

терпеливо и незаметно пронесла в своей душе ревнивые чувства и обиды от его малых и больших измен. На его вкус, она всегда оставалась слишком чиста и добропорядочна, ибо в сравнении они походили на огонь и воду, которым трудно ужиться вместе; тем более что король все делал быстро, имел натуру кипучую и переменчивую, а она оставалась холодна и в проявлении своих чувств хранила сугубую умеренность.

Люди, коим можно доверять, сообщили мне также, что во время ее вдовства, когда приближенные к ней дамы пытались ее утешить, одна из них — а всякому понятно, что среди такого скопления всегда найдется неловкая особа, — желая ее поддержать, промолвила: «Ах, сударыня, если бы вместо девочки у вас остался сын, ныне вы стали бы королевой-матерью и ваше величие от этого лишь укрепилось бы и стало полнее», — «Увы, увы! — откликнулась та. — Не повторяйте при мне подобных неуместных слов. Как будто в нашей Франции недостаточно горя, чтобы еще и мне вносить свою лепту в ее разрушение: ведь имей я сына, он послужил бы поводом для распри, волнений и заговоров; всем хотелось бы получить над ним власть и опеку на время его детства и отрочества; а ради этого велось бы еще больше войн, чем когда бы то ни было; причем каждый стремился бы к собственной выгоде и желал бы лишить бедное дитя всего, как когда-то пытались поступить с моим покойным супругом, пока он был мал; без помощи королевы-матери и ее верных слуг, защитивших его, так бы и случилось; а я-то, породившая его, стала бы злосчастной причиной всех раздоров и навлекла бы на свою голову проклятия народа, глас коего — глас Божий. Вот почему я хвалю Господа за дарованный мне плод, не рассуждая, на радость он мне или на печаль».

Вот как добра оказалась эта принцесса к стране, которая ее призвала и приютила. Мне говорили, что накануне резни, случившейся на святого Варфоломея, она, вовсе не подозревая ничего дурного, как обычно, спокойно улеглась в постель и лишь на следующее утро, пробудившись, узнала обо всем, что произошло. «Увы! — простонала она и внезапно спросила: — А ведомо ли то королю, моему супругу?» — «О да, сударыня, — ответствовали ей. — Не только известно, но он сам во главе всего». — «Бог ты мой! — воскликнула она. — Что же делается? И что за советчики те, кто подтолкнули его к сему? О Господи! Молю Тебя и прошу все ему простить, ибо без Твоего всемилостивого снисхождения, боюсь, такого прегрешения не извинить никому». Тотчас она попросила принести ей часослов, встала на колени и со слезами на глазах принялась возносить моления Господу.

Пусть читатель сам оценит доброту и мудрость монархини, не пожелавшей одобрить кровавого празднества и его буйных игрищ, хотя и стремившейся всем сердцем к упразднению и полному изгнанию и господина адмирала, и его единомышленников, чья вера во всем была враждебна ее собственной, вызывавшей у нее ни с чем на свете не сравнимое преклонение и почтение. А с другой стороны, она, конечно, видела, какой вред они наносят ее коронованному супругу, сея в стране смуту, и помнила слова, сказанные ее родителем, императором, когда она прощалась с ним, отправляясь во Францию. «Дочь моя, — сказал он тогда. — Вы станете королевой в самом прекрасном, обширном и могущественном королевстве из существующих в этом мире, а из того я полагаю, что вам очень повезло; но вы бы сделались доподлинно счастливее всех прочих, когда бы увидели его нераздельным и столь же процветающим, каким оно было издревле; но, увы, вас ожидает раздираемая смутой и междоусобицей страна, потерявшая покой и лишенная благодати; учтите притом, что хотя одной ее частью владеет его величество, ваш супруг, другая — и немалая — в руках принцев и сеньоров-реформатов», — и то, что она здесь нашла, во всем сошлось с его предупреждением.

Однако, когда она овдовела, немало придворных — притом из числа самых проницательных дам и сеньоров, каких я знавал, — предсказывали, что король по возвращении своем из Польши женится на ней, хотя она и приходилась ему невесткой: ведь он мог добиться разрешения Папы, всемогущего в этих делах, особенно когда шла речь о великих мира сего и о благе государственном, каковое из подобных союзов проистекало. Много приводилось доводов в пользу предполагаемого брака — перечислять их все не мое дело, я оставляю это на откуп тем, кто рассуждает о более возвышенных материях. Но одной причины не обойду: таковой союз мог быть данью признательности за те благодеяния, что оказал королю император при его отъезде из Польши во Францию: ведь нельзя сомневаться, что, пожелай отец царственной вдовы измыслить хотя бы самомалейшее препятствие его возвращению, тот не смог бы ни выехать из польских земель, ни добраться хотя бы до границ Французского королевства. Поляки страстно желали задержать его — и ему пришлось бежать, не попрощавшись с ними; да и немцы спали и видели, как бы его полонить, как то когда-то произошло со славным Ричардом Английским по его возвращении со Святой земли, о чем мы сейчас можем прочесть в хрониках. А захватив польского беглеца, немцы могли удержать его в плену и заставить выплатить выкуп, а то и поступить с ним куда хуже, ибо после

праздника святого Варфоломея они точили на него зуб, по крайней мере принцы протестантской веры. Но тот по своей доброй воле и без всяких церемоний поспешил прибегнуть к покровительству императора, принявшего его весьма милостиво и с почтением, выразив ему дружеское расположение, как брату, и задавая в честь его пиры и празднества; а продержав его у себя несколько дней, сам проводил гостя, пробыв с ним в дороге день или два, и дал ему на весь путь по своим землям весьма крепкую охрану, благодаря чему тот смог добраться до Каринтии, а оттуда до пределов венецианских владений — и уже из Венеции попасть в собственное королевство.

Вот чем король был обязан императору, а отсюда многие, как я уже говорил, предполагали, что он пожелает воздать за добро, завязав более тесные узы. Но по пути в Польшу он встретил в Бламонте, что в Лотарингии, мадемуазель Водемон, Луизу Лотарингскую — одну из самых прекрасных, добросердечных и совершенных принцесс христианского мира; нескольких его жарких взглядов в ее сторону оказалось достаточно, чтобы сердце его воспламенилось настолько, что, до поры скрывая свой замысел, он не остыл и за время пребывания в Польском королевстве; а по возвращении своем, уже из Лиона, отослал в Лотарингию господина де Гуа (одного из своих любимцев, впрочем вполне достойного монаршьего благоволения), где тот предложил, а там и подписал от королевского имени брачный договор, что, как вы сами понимаете, не составило ему большого труда: отцу невесты выпадала ни с чем не сравнимая честь сделаться зятем властителя Франции, а дочери — его супругой. Но о ней речь пойдет в ином месте.

Что до нашей вдовствующей королевы, ей очень не хотелось оставаться доле во Франции — по многим причинам, не говоря уже о той, что у нас ей перестали оказывать почести и признательность, коих она была достойна; и она решилась возвратиться в отчий дом, к императору и императрице, чтобы при них скоротать остаток своих прекрасных дней; когда она очутилась там, его католическое величество испанский король, потерявший к тому времени свою супругу Анну Австрийскую, родную сестру нашей королевы Елизаветы, вознамерился предложить ей руку и отправил засим послов к императрице, приходившейся ему родной сестрой. Послы стали вести предварительные речи о союзе; но вдовствующая принцесса ни тогда, ни в другой, ни в третий раз не пожелала их выслушать, клянясь прахом покойного мужа, что не может нарушить повторным замужеством святость ее первого союза, и приводя еще ту причину, что меж нею и испанским владыкой слишком

тесное кровное родство, а потому брак меж ними нарушит запрет Господа нашего и Отца и может навлечь на них Божью кару. Тогда императрица и ее коронованный брат прибегли к посредничеству весьма ученого и многоглагольного иезуита, каковой истощил весь запас своего красноречия, не упустив ничего, приводя обширные отрывки из Священного Писания и Отцов Церкви, могущие послужить его цели; однако она смутила его иными, но столь же прекрасными и истинными изречениями, ибо, овдовев, истово изучала святые книги и слово Божие; а ее непреклонная решимость остаться во вдовстве и не изменять мужу повторным браком послужила ей надежнейшей обороной; так что бедняга иезуит возвратился ни с чем, несмотря на понукавшие его послания испанского короля, не удовольствовавшегося решительными ответами отвергнувшей его избранницы; в конце концов святой отец так досадил ей, что, устав его оспоривать, она обратилась к нему с суровой отповедью и даже прибегла к угрозе: ежели он не перестанет забивать ей голову все новыми словесными наскоками, она заставит его в сем раскаяться, повелев высечь его на кухне. Слышал я и еще кое о чем, хотя не знаю, следует ли этому верить: например, тому, что, когда иезуит в третий раз явился к ней с тем же, она вышла из себя и велела прогнать его с глаз. Тем не менее я не склонен слишком уж принимать на веру подобные слухи, памятуя о ее добросердечии и уважении к людям святой жизни, к числу коих относился и тот, о ком идет речь.

Вот каковы были великое постоянство и твердость этой добродетельной королевы, до конца своих дней хранившей верность благородным останкам своего супруга, проведшей остаток жизни в печали и слезах, а когда те иссякли — ибо и у природного ключа недостало бы столько влаги, — сошедшей во гроб в самом цвете лет (ей к тому времени, кажется, не исполнилось и тридцати пяти) и своей кончиной явившей всему свету еще один достойнейший образец, так как подобная смерть могла бы послужить зерцалом добродетели для всех достойных дам христианского мира.

Право же, если она еще при жизни короля показала своей верностью и сдержанностью, как его любит, утаивая от него собственные скромные жалобы и горести, то не менее красноречивое свидетельство ее благодарной памяти — помощь, оказанная ею королеве Наваррской, ее золовке; проведав, что та находится в крайнем стеснении средств, безвыходно обретается в своем овернском замке — почти заброшенная родными и близкими, а также теми, кто был ей обязан, — она послала ей людей и предложила помощь деньгами, выделив половину

доходов от мужнина наследства, оставленного во Франции, и все поделила с ней поровну, словно то была ее родная сестра; а потому поговаривают, что будущая великая королева Франции влачила бы жалкое и незавидное существование без столь щедрой подмоги своей великодушной названой сестрицы. Она ничего не забывала и потом неизменно относилась к благодетельнице с глубоким почтением и любовью, так что едва снесла известие о ее смерти и не смогла спокойно, как принято в свете, пережить свою боль, а три недели пролежала в постели, предавшись стенаниям, рыдая и обливаясь непросыхающими слезами; и впоследствии она не могла вспомнить о покойной без сожалений и кручины, находя для нее самые прекрасные слова — так что и их одних было бы достаточно, чтобы обессмертить незабвенную, рано усопшую царственную вдову, хотя мне говорили, что та, помимо всего прочего, составила и выпустила в свет примечательную книгу, где толкуется слово Божие, и другую, посвященную истории Франции в те годы, когда она там жила. Не знаю, правда ли это, но меня заверяли, что обе книги видели в руках у королевы Наваррской, коей она перед смертью их успела послать; причем последняя, по словам тех же людей, очень ценила и хвалила сии писания, а подобному святому оракулу нельзя не довериться.

Вот что я вкратце могу поведать о несравненной нашей королеве Елизавете, о ее доброте и благонравии, постоянстве и сдержанности, а также о ее верной любви к своему супругу и повелителю. Добродетель зиждилась в самой ее природе. Мне говорил господин де Лансак, который был в Испании, когда она оставила бренный мир, что императрица сказала ему: «El mejor de nosotros es muerto»[71]. Можно думать, что в подобных деяниях Елизавета желала подражать своей матери, а также своим теткам и двоюродным бабкам: ведь ее коронованная родительница, рано овдовев — притом сохранив и молодость, и миловидность, — тоже не захотела вступать в повторный брачный союз и содержала себя во вдовстве с достоинством, покинув Австрию и Германию, где правил ее усопший супруг. Она отправилась в Испанию, к своему брату после того, как он пригласил ее помочь ему справиться с тяготами управления страной, — и немало в том преуспела, ибо была весьма благоразумной и многоопытной принцессой. Я слышал, как наш покойный король Генрих III, лучше всех своих придворных умевший разбираться в людях, объяснял, что, по его разумению, вдовствовавшая императрица была одной из самых добропорядочных и хитроумных в делах принцесс, каких видел свет. В Испанию она направилась через Германию и Италию, а из Генуи продолжила путь морем; но из-за зимней непогоды ей пришлось остановиться в виду Марселя и

бросить якорь. Тем не менее она запретила своим галерам заходить в порт, дабы не давать никакого повода для подозрений и не тревожить тамошние власти; да и сама посетила город только единожды, чтобы полюбоваться им, хотя провела вблизи порта добрую неделю, пока не распогодилось. Почтенные занятия ее состояли по большей части в том, что она поутру отчаливала от галеры, где проводила ночь, и отправлялась послушать мессу и литургию в церковь Сен Виктор, являя глазу истовое рвение; затем ей подавали обед в аббатстве; после чего она беседовала с тамошними монашками, со своими придворными или же с чинами города, каковые все изъявили ей свое почтение и признательность за столь высокое посещение, ибо король приказал им оказать ей такой же прием, как ему самому, если бы ему пришлось посетить город, памятуя о том, как превосходно его встречали и чествовали в Вене. Она же это почувствовала и откликнулась на их ласки самым доверительным образом, предпочитая изъясняться более по-немецки и по-французски, нежели по-испански; так что и они остались премного довольны ею, и она ими; после чего она написала королю, хваля тамошних жителей и властей предержащих и заверяя, что они показались ей лучшими, нежели во всех прочих виденных ею городах; притом особо перечислила десятка два имен, средь коих стоит отметить господина Кастеллана, сеньора Альтовити, капитана галер, особо отличившегося женитьбой на прелестной Шатонёф, придворной фрейлине, и поединком с великим приором, на котором погибли они оба, о чем уповаю рассказать в ином месте. А поведала мне обо всем этом его собственная супруга; она описала совершенства вдовой императрицы, прибавив, что той понравились пребывание в Марселе, и сам город, и прогулки по его окрестностям, и поздние возвращения на королевскую галеру; она же объяснила, почему супруге покойного императора занадобилось немедля отплыть, едва непогода утихнет: из опасения растревожить горожан. Когда весть о ее марсельской остановке долетела до Парижа, я как раз был при дворе и свидетельствую, что король очень беспокоился, хорошо ли ее принимали. Эта царственная дама еще жива и поддерживает сугубое добронравие; мне говорили, что она очень помогла брату в управлении страной, а ныне обретается в обители, основанной ее сестрой, принцессой Испанской, монахини коей называют себя descalçadas, поскольку не носят ни туфель, ни чулок.

Принцесса Испанская славилась как особа весьма миловидная, чьи совершенства и величественность признавались всеми; впрочем, иначе она не была бы ни испанкой, ни принцессой, ибо чаще всего прекрасная внешность и фация

сопутствуют величию, особенно у испанцев. Я имел честь видеться с ней в довольно тесном кружке и беседовать, когда оказался в Испании, возвращаясь из Португалии. Тогда я впервые явился засвидетельствовать свое почтение нашей королеве Елизавете Французской, а она выспрашивала меня о новостях из Франции и Португалии, когда доложили о визите ее светлости. Тут Елизавета Французская сказала мне: «Не уходите, господин де Бурдей, сейчас вы увидите прелестную и высокочтимую принцессу — и это зрелище не может вам не понравиться. Она же будет довольна, поговорив с вами и получив от вас известия о короле, своем сыне, поскольку вы его видели». Тут появилась и принцесса, каковую я нашел чрезвычайно привлекательной и одетой с изысканным вкусом: на голове у нее красовался ток из белого крепа на испанский манер, спускаясь низко, чуть ли не до кончика носа, а наряд был в духе траурных одеяний, принятых в Испании, поскольку обычно она избегала иных тканей, кроме шелковых. Разглядывая ее без помех, я пришел в полное восхищение, но тут королева позвала меня и напомнила, что ее светлость желают выслушать от меня новости о ее царственном сыне; меж тем как до того я явственно слышал, как она сообщила ее светлости, что тут находится дворянин, подданный ее брата-короля, прибывший из Португалии. При сих словах я подхожу к ней, по испанскому обычаю целую край ее платья, а она привечает меня очень мило и добросердечно, а затем выспрашивает о своем сыне, о его молодых затеях и выходках, а также о том, как я сам к ним отношусь (ибо в то время поговаривали, что готовится брачный договор меж ним и Маргаритой Французской, сестрой короля, а ныне королевой Наваррской). Я рассказал ей множество всего, так как уже тогда довольно бегло изъяснялся по-испански, не хуже, если не лучше, нежели даже по-французски. А меж прочими ее вопросами ко мне особо запомнился вот этот: поскольку ее сына почитают красавцем, на кого он более похож? Я ответствовал, что он — один из красивейших принцев во всем христианском мире — что, конечно, соответствовало истине, — а более всего он похож на нее самое и является истинным воплощением ее красоты, на что она откликнулась скромным смешком и зарделась от удовольствия, так понравились ей мои слова. Мы беседовали еще немалое время, но тут королеву позвали обедать, и так сестры расстались. Моя повелительница тут заметила мне (ибо хотя она отошла от нас и глядела в окно, но не пропустила мимо ушей ни одного слова из сказанного): «Вы доставили ей истинную радость, упомянув о ее необыкновенном сходстве с сыном». А затем спросила моего мнения, похожа ли сия добродетельная дама на

то, как она ее предварительно описала, и добавила: «Думаю, она не прочь выйти замуж за моего брата-короля, и я этого очень бы желала». Слова ее я не преминул передать матушке нашего короля, когда снова оказался при французском дворе. На это королева-мать, а она тогда пребывала в Арле, что в Провансе, отвечала, что такая супруга для нашего монарха старовата и годилась бы ему не в жены, а в матери. Я передал ей и полученные мною из верных рук сведения, что испанская принцесса полна решимости никогда не выходить замуж ни за кого иного, кроме французского монарха, а в случае неудачи вообще удалится от света. Она и вправду питала честолюбивые и невозможные замыслы на сей предмет, лелея в сердце эти мечты, ибо была полна горделивого достоинства и уверовала, что добьется желаемого; но сдержала слово и, когда ее чаяния не исполнились, удалилась в обитель, каковую начала возводить уже тогда. Но она долго поддерживала в себе надежду и уповала на благополучный исход, весьма при том заботясь о поддержании благолепия своего вдовства, пока однажды не узнала о помолвке короля с ее племянницей; тут ее замыслы рухнули — и она произнесла те самые или похожие слова, полные горечи и разочарования, что мне потом передавали: «Aunque la nieta sea por su verano mas moza, y ménos cargada de ans que la tia, la hermosura da la tia, ya en su estio, toda hecha y formada por sus gentiles y fructifères anos, vale mas que todos los frutos que su edad florecida da esperanza a venir; porque la menor desdicha humana los hara caer y perder, ni mas ni ménos que algunos ârboles, los quales, en el verano, por sus lindos y blancos flores nos prometen linda fruta en el estio, y el menor viento que acade los lleva y abate, no quedando que las hojas. Ea! dunque pasase todo con la voluntad de Dios, con el quai desde agora me voy, no con otro, para siempre jamas, me casar», что переводится как: «Хотя спервоначала племянница выглядит свежее тетки и моложе ее годами, красота тетки, достигшей лета своих дней, вполне совершенна, отполирована светом и любезным обращением, отягощена добрыми плодами и стоит более всех ожидаемых плодов пока еще только готовой расцвесть юности — ведь любая неприятность из тех, коим подвержены смертные, может их погубить, и весь цвет их облетит бесполезно, как случается с некоторыми деревцами, по весне усыпанными прелестными белыми цветами, обещающими нам летом добрые и красивые плоды; но чуть дунет холодный ветерок — и вот он уже сбил вешний цвет, унес и стер самые его следы, оставив одни листья. Так да свершится Божья воля, и пусть повезет тому, с кем одним на этом свете я желала бы соединиться». Как сказала — так и сделала, избрав себе в удел беспорочную святую жизнь,

отрекшись от дольнего мира и света и оставив нашим придворным дамам добрый пример для подражания. Конечно, найдутся те, кто скажет: «Слава Господу, что она не смогла выйти замуж за короля Карла! Ведь случись подобное — она бы отказалась от суровых обычаев вдовства и вновь отдалась усладам брачной жизни». Такое можно предположить; но, с другой стороны, можно ли обойти вниманием высокое стремление соединиться с великим монархом, не признать, что, так громогласно объявляя всему свету о сих намерениях, она выказала чисто испанскую несокрушимую надменность и стремление никоим образом не унизить себя, ибо, имея столь высоко вознесшуюся сестру и желая с нею сравняться, она жаждала стать владычицей королевства, стоящего империи — если не превосходящего ее значением и могуществом, — и она впрямь возвысилась, пусть не достигнув цели своих посягательств, но по крайней мере сохранив верность собственным горделивым и пламенным желаниям, судя по тому, что я о ней слыхал. А чтобы закончить, скажу, что, по-моему, она была и есть одна из самых совершенных монархинь, каких я знаю в иных странах; хотя ей можно было бы и поставить в упрек ее удаление от мирской жизни, ибо так случилось более из-за огорчения от несбывшихся надежд, нежели по-духовному призванию. Однако она властна поступать так, а не иначе: ее добродетельная, далекая от суетности жизнь и избранный в конце монашеский удел придали ей нечто, свойственное только чистым святым душам.

Ее тетка, королева Мария Венгерская, была на нее похожа, только ее лета уже близились к закату. Она тоже удалилась от мира и также помогала христианнейшему брату-императору споспешествовать процветанию истинной веры в его стране. Эта королева овдовела в весьма юном возрасте: ее муж погиб молодым в битве с турками, на каковую решился не по здравому рассуждению, но понукаемый неким кардиналом, возымевшим над ним безусловную власть: тот убедил его, что не следует сомневаться ни в силе божественного участия; ни в справедливости войны с неверными — пусть даже у правой стороны под рукой всего, скажем, десять тысяч венгров; ибо, будучи добрыми христианами и сражаясь за дело Господне, они без труда разобьют сотню тысяч турок; и так он его подталкивал к подвигу веры, так наседал, что тот дал битву, проиграл ее, а отступая, провалился в болото и захлебнулся.

Подобное же случилось и с последним португальским монархом Себастьяном, который потерпел пресуровое поражение, решившись дать бой маврам, превосходившим его числом и

силой в три раза, — и все по внушению и настоянию неких иезуитов, ссылавшихся на необоримость Божьей помощи и поддержки, ибо Всемогущий одним взглядом своим способен стереть все живое с лица земли, если дольний мир его прогневит; хотя, не спорю, сия максима как нельзя более справедлива, однако же не дело поддаваться искусу и злоупотреблять расположением Всевышнего, ибо ему ведомы тайны, сокрытые от нас. Многие потом оправдывали тех иезуитов, говоря об их благих намерениях, — и сему можно верить; однако другие утверждают, что они были подкуплены и перетянуты на свою сторону испанским королем, желавшим погубить того молодого и отважного властителя, горевшего воинственным пылом, чтобы распространить свою власть над его землями, как впоследствии и произошло. Как бы то ни было, оба просчета совершены были людьми, желавшими повелевать войском, но незнакомыми с тонкостями военного ремесла.

Вот почему великий герцог де Гиз, некогда обманувшись в своих расчетах на победы в Италии, потом часто говаривал: «Я почитаю Церковь Господню, но никогда не решусь на завоевательный поход по слову и заверению священнослужителя», — намекая на Папу Караффу, получившего имя Павла IV, не сдержавшего клятвенных торжественных обещаний помочь ему в том предприятии; либо на брата своего, кардинала, отправившегося перед тем в Рим — именно чтобы прощупать истинные намерения Святого престола и заручиться обязательствами, — а после легкомысленно подтолкнувшего герцога отправиться к Неаполю. Но может статься, что упомянутый выше господин де Гиз имел в виду и того и другого, ибо, как я слыхал, он неоднократно повторял подобные слова в присутствии своего братца-кардинала — и то был камешек в его огород, поскольку Его Преосвященство, услыхав их, сильно гневались, хотя и не подавали виду… Я слишком распространился по далекому от моего предмета поводу, но уж больно все пришлось к месту.

Вернемся же к нашей королеве Марии. После такого несчастья, приключившегося с ее коронованным супругом, она осталась вдовой, будучи юна и прелестна собою, как свидетельствовали многие, видавшие ее тогда, а также написанные с нее портреты, из коих явствует, что она была прекрасна и не имела никаких недостатков — разве что чуть-чуть великоватый и полноватый рот, часто встречаемый у австрийцев; хотя она происходила не из Австрийского дома, с коим ее не связывали никакие родственные узы, а из Бургундского. По сему поводу одна дама, бывшая при тогдашнем дворе, рассказала мне

примечательную историю: однажды королева Элеонора, проезжая через Дижон, направилась говеть в тамошнюю картезианскую обитель и посетила почтенные могилы своих предков, герцогов Бургундских; она полюбопытствовала открыть их склепы и поглядеть на славные останки, ибо многие короли произошли оттуда. Иные так прекрасно сохранились, что она смогла различить черты лиц и, между прочим, очертания губ и внезапно вскричала: «Ба, я-то думала, что рты у нас от австрийцев, но теперь вижу, что мы унаследовали их от Марии Бургундской и других наших предков-герцогов из этого рода. Если еще увижу брата моего, императора, — не премину рассказать про то и ему». Поведавшая мне это дама уверяла, что слышала ее слова собственными ушами, и добавила, что такое открытие доставило названной королеве живейшее удовольствие, и недаром: Бургундский дом стоит Австрийского, ибо ведет свой род от одного из отпрысков французского рода, Филиппа Смелого, от коего унаследовал немалые богатства и достоинства, не говоря об отваге, поскольку не упомню, чтобы какая иная благородная ветвь дала бы подряд четырех великих и знаменитых властителей, сравнимых с герцогами Бургундскими. Конечно, меня могут упрекнуть, что мысль моя частенько уклоняется в сторону, но да простится этот грех мне, не поднаторевшему в искусстве писать толково и ладно.

Итак, королева Мария Венгерская была хороша собой, приятна и любезна, хотя в чертах ее сквозило что-то по-мужски грубоватое; однако на ложе любви это ей не вредило, равно как и на поле брани, и в иных делах, какие выпадали на ее долю. Брат ее, император, признавал за ней немалые достоинства и призвал к себе, поручив ей то же, что до нее Маргарите Фландрской — принцессе очень умелой и благоразумной, способной, правя в Нидерландах, мягкостью добиваться большего, нежели иной жестокими строгостями; а посему, пока она была жива, король Франциск не обращал оружия против ее провинций (хотя английский монарх и подвигал его к этому), уверяя, что не желает чинить обиды столь достойной принцессе, так расположенной к Франции; да к тому ж хотя мудрой и благоразумной, но при всем том несчастной, ибо с повторным замужеством у нее не заладилось: сначала не состоялся ее брак с королем Карлом VIII — и после обручения ей пришлось возвратиться домой к отцу, — затем, едва успев на ней жениться, умер ее второй супруг, Иоанн, сын короля Арагонского, оставив вдову беременной; но младенец тоже погиб почти тотчас после рождения; не много пользы принес и третий союз — с герцогом Филибертом Савойским, не давший потомства; недаром на

фамильном гербе герцога красовался девиз: «Fortune infortune, fors une» (И доля — доля, и недоля — доля). Она покоится вместе со своим супругом в прекрасном и величественном монастыре в Бру, недалеко от городка Бург, что в Брессе; я видел ее могилу.

Так вот, эта королева Венгерская очень помогла императору, ибо он был один. Конечно, у него еще имелся брат Фердинанд, Римский король, однако у того хватало своих забот: ему угрожал сам великий султан Сулейман. А на руках у императора оставались еще итальянские дела, бывшие тогда в большом беспорядке; и немецкие, тоже отнюдь не в лучшем состоянии из-за турецкой и венгерской угрозы, да, сверх того, еще испанской (когда в Испании поднялся мятеж в правление господина де Шьевра); не говоря уже о том, что его беспокоили Индия, Нидерланды, Берберия и Франция — самый большой груз, тяготивший его плечи. Одним словом, чуть ли не половина целого света не давала ему покоя. А посему свою сестру, любимую им более прочих близких, он сделал верховной правительницей всех Нидерландов; там-то она прослужила ему верой и правдой двадцать два или двадцать три года; и уж не знаю, как он сумел бы обойтись без нее. В силу этого он безмерно доверялся ей в делах своего правления и, даже будучи сам во Фландрии, во всем сносился с нею, когда дело касалось подвластных ей земель; да и совет тогда собирался при ней и под ее началом — при всем том гостить у нее император любил и частенько к ней наведывался. Впрочем, также верно, что правительницей она была весьма искусной и оповещала его обо всем — в том числе о том, что говорилось на совете в его отсутствие, — и ее благонамеренность очень ему нравилась. Она успешно вела войны, как полагаясь на искусство подчиненных ей военачальников, так и сама возглавляя походы и проводя целые дни в седле, подобно благородным амазонкам.

Кстати, именно она первая в нашей Франции начала палить большие замки и дворцы, например в Фолламбре, где сожгла красивый и удобный охотничий дом, некогда построенный нашими королями; повелитель Франции был этим так расстроен, что не преминул отомстить ей, предав огню великолепное строение в Эно — тамошние бани, которые почитали одним из чудес света; ибо, по уверениям тех, кто успел их повидать в их первоначальном совершенстве, они помрачали своим величием все прекрасные здания, о каких я мог слышать, и даже пресловутые семь чудес, столь прославленные древними. Именно там она с блеском чествовала императора Карла и весь его двор, когда ее сын, король Филипп, приехал из Испании во Фландрию, чтобы встретиться с ней; празднество это было затеяно с такой

роскошью и великолепием, что в те времена только и было слышно о las fiestas de Bains[72], как говорили испанцы. Помню, когда случалось мне оказаться в Байонне, какие бы великие торжества там ни устраивали — состязания с кольцами, турниры, маскарады, — какие бы траты ни совершались, старые испанские сеньоры утверждали, что они не могут сравниться с теми давними, запавшими им в память las fiestas de Bains, каковым была посвящена особая книга, выпущенная в Испании и примеченная мной. Достаточно сказать, что мир не видал столь дивных празднеств, — и да не обидятся почитатели зрелищ древних римлян с их гладиаторскими боями и схватками с дикими зверями; к тому ж празднества Бен были богаче украшены, более разнообразны, веселы; их устроители не упустили ничего примечательного из того, что только можно вообразить.

Я бы с охотой описал их, воспользовавшись той испанской книгой, а также сведениями, почерпнутыми у тамошних старожилов и даже у госпожи де Фонтен, прозванной Прекрасной Торси, фрейлины королевы Элеоноры; но меня могут опять упрекнуть, что я слишком словоохотлив. А посему подожду все это выкладывать до более благоприятного случая, ибо дело того стоит. А среди самых роскошных забав упомяну лишь следующее: там возвели большую кирпичную крепость, которую осадили и защищали шесть тысяч пехотинцев из старой гвардии; с той и с другой стороны палили из трех десятков пушек — и все это продолжалось целых три с половиной дня, при соблюдении всех подлинных военных обычаев и приемов; так что воистину нельзя придумать ничего восхитительнее сего зрелища. Тут и удачный приступ, и вовремя подоспевшие подкрепления, помогающие отбить атаку; затем нападающие терпят поражение как от кавалерии, так и от пеших полков, предводительствуемых принцем Пьемонтским; наконец крепость сдается на условиях, частью мягких, но частью и суровых, — и все видят, как сложивших оружие солдат выводят под стражей и эскортируют в другое место; короче, перед вами разворачивается подлинная битва, в коей ничего не упущено; от этого зрелища император получил сугубое удовольствие.

Однако уверяю вас, если королева и шла на такое роскошество, то лишь желая показать своему любезному брату, что полученные от него или с его земель блага — дары, пенсии, военные трофеи — все идет на то, чтобы возвеличить его самого и сделать ему приятное. Потому названный император так хвалил все ее начинания, весьма благосклонно относился к подобным тратам; а особенно ему нравилось убранство его собственной

спальни: тканая шпалера на продольной основе, вся расшитая золотом, серебром и шелком, на которой самым естественным образом и со всеми подробностями были изображены важнейшие и славнейшие его завоевания и предприятия — походы, выигранные сражения; особо же выделялось бегство Солимана из-под стен Вены, а также пленение короля Франциска. Короче, все было исполнено с изысканным совершенством.

Но затем бедный дом потерял былой блеск и был весь разграблен, разрушен и стерт с лица земли. Его владелица, узнав о том, впала в такую печаль, отчаяние и ярость, что долго не могла успокоиться; а как-то, проезжая мимо развалин, со слезами на глазах поклялась, что вся Франция будет раскаиваться в содеянном и она не успокоится, пока то самое прекрасное Фонтенбло, о котором тогда только и говорили, падет и от него не останется камня на камне. Действительно, ярость ее излилась огненным потоком на несчастную Пикардию, которую пожрал мстительный пламень; и, думаю, не наступи тогда перемирие, разорение было бы ужасным: у коронованной дамы сердце было гордое, величавое и суровое, плохо поддающееся размягчению; потому и те, с кем она воевала, и даже ее сторонники почитали ее несколько слишком жестокой. Но такова натура женщин, даже великих: они очень скоры на мщение, когда их оскорбили. Император же, как доносили, остался и этим премного доволен.

Говорят, что однажды в Брюсселе, в большой зале, где он принимал посланцев от всех сословий, император после торжественных речей и церемоний, сказав все, что имел и желал собравшимся и собственному сыну, снял с себя знаки своего достоинства и почтительно поблагодарил свою сестру королеву Марию, сидевшую подле него; она же поднялась со своего места и, с покорностью склонившись перед братом в глубоком, исполненным торжественной грации и величия реверансе и обратив свои слова к народу, заговорила так: «Судари, вот уже двадцать три года моему брату-императору угодно доверять мне управление Нидерландами, на что я употребила все мои силы и то, чем наделили меня Господь, природа и благоприятный случай, дабы успешнее справиться с возложенным на меня делом; при всем том, если что-либо мною упущено, думаю, меня можно извинить, ибо и забывчивость, и упущения не таили злого умысла. И однако, если я виновата в чем-либо перед вами, прошу меня простить, а если все же кто бы то ни было из вас не пожелает дать мне прощения, сие меня не столь уж и расстроит, поскольку доволен мой брат, угождать коему — насущнейшая из моих забот и пожеланий». Сказав все это и снова низко склонившись перед коронованным братом, она села на место.

Мне передавали, что в ее словах нашли слишком много гордыни и дерзости; тем более при прощании со страной и народом, которым она управляла, следовало бы усладить свою речь, ибо в стране осталось множество опечаленных ее отъездом. Но надо ли ей было о том заботиться, если она желала понравиться своему брату, а не всем прочим и последовать за ним, разделив его молитвенное затворничество? Последний рассказ я слышал от одного дворянина, знакомого моего брата; тогда он был под Брюсселем, где обсуждал условия выкупа моего брата, плененного под Эденом и пробывшего в неволе пять лет в городе Лилле, что во Фландрии. Сей дворянин видел описанное здесь собрание и роскошное зрелище, устроенное императором; именно он мне передал, что многие были втайне уязвлены столь высокомерными речами надменной королевы, но не осмеливались ни словом, ни движением выдать свои чувства, ибо знали, что имеют дело с очень властной дамой, способной, если ее раздражить, перед отъездом хорошенько им отомстить. И вот она освободилась от всех государственных обязанностей и отправилась с братом в Испанию, откуда уже, как и сестра ее Элеонора, никуда не выезжала до самой смерти и умерла, пережив брата на два года, а сестру, более старшую по летам, — на год. И Элеонора, и королева Венгерская прекрасно распорядились своим вдовством. Конечно, Мария пробыла в одиночестве гораздо дольше сестры, ни разу не вступая в новый брак, а Элеонора еще дважды обременяла себя приятными узами: в первый раз — чтобы стать королевой Франции, избрав себе удел достаточно соблазнительный, но более по просьбе и внушению собственного брата, ибо такой союз должен был бы скрепить нетленной печатью мир и передышку в войнах, хотя печать эта и быстро рассыпалась прахом и война вспыхнула вновь — притом с большей, нежели прежде, свирепостью. Но уж здесь-то бедная принцесса оказалась бессильной, ибо сделала что могла; однако ее царственный супруг не желал принимать в расчет ее благих намерений, ибо, как я слышал, поносил и проклинал этот союз.

После ухода от дел королевы Венгерской подле Филиппа, владения которого уже были обложены со всех сторон неприятелем, не осталось ни одной из великих принцесс, если не считать госпожи герцогини Лотарингской, Кристины Датской, его двоюродной сестры, каковую с тех пор именовали не иначе как ее светлость, разделявшей его досуг, когда он оставался в Испании, и весьма способствовавшей блеску придворной жизни, ибо — как я давно заметил, и более достойные, чем я, подтвердили такую мысль — любой двор принца, императора, короля или иного монарха, несмотря на свою многочисленность, мало чего стоит,

если не обрамлен и не украшен добавлением придворного штата королевы, императрицы или великой принцессы, благодаря чему его расцвечивает множество дам и девиц.

На мой взгляд, эта принцесса была одной из самых совершенных. Росту высокого и хорошо сложенная, с лицом, привлекавшим красотой и приятностью черт, с изящной речью и особенно с изысканным вкусом в выборе нарядов, она в свое время послужила нашим французским прелестницам образцом для подражания; новую манеру одеваться назвали «лотарингской», у нее заимствовали убранство головы и волос, учились, как выбирать вуаль, — и от сего наши придворные дамы очень похорошели и с нетерпением ожидали каждого нового празднества или торжественной церемонии, чтобы достойно украсить себя и появиться в «лотарингском» одеянии, подобном одеждам ее светлости. А еще у нее были самые красивые руки, какие только можно вообразить; за них ее много хвалила наша королева-мать, сравнивая со своими. Верхом она ездила отменно и держалась с дивной фацией; а еще она позаимствовала у своей тетки, королевы Марии, привычку ездить со стременем, перекинув ногу через переднюю луку седла, меж тем как обычно пользуются скамеечкой, что делает посадку не такой величественной и грациозной; и еще, в подражание своей коронованной тетушке, она выбирала всегда испанских, берберийских и турецких скакунов — причем только весьма статных жеребцов, которые прекрасно смотрятся под седлом; я видел у нее их дюжину — и преотменнейших, так что невозможно было бы выбрать из них лучшего. Тетке она была по нраву, и та ее очень любила как за сходную склонность к мужественным забавам, охотам и прочему, так и за признанную ее добродетель. И, выйдя замуж, Кристина часто ее навещала во Фландрии, как я про то слышал от госпожи де Фонтен; а после того как овдовела — тоже; особенно когда у нее отняли сына и она от огорчения и досады покинула Лотарингию, ибо имела слишком возвышенное сердце. Она избрала себе общество своего коронованного брата и теток, которые приняли ее с великим радушием.

Она тяжело перенесла разлуку с сыном, хотя король Генрих и представил ей какие только возможно извинения и предложил ее щедро одарить. Но на том принцесса не успокоилась; к тому ж, видя, что в наставники ее чаду определили добрейшего господина де Лабрусса, удалив того, кого загодя избрал император, оценивший его еще тогда, когда тот служил при господине де Бурбоне, — благоразумного и достойнейшего господина де Монбардона, француза, воспитанного в кальвинистской вере, в отчаянии она в страстной четверг

обратилась к самому королю Генриху (а происходило это в большой галерее дворца в Нанси, где присутствовал весь двор) и с учтивой решимостью, во всем блеске своего великолепия и красоты, еще более привлекательная, чем обычно, подошла к нему без громких восклицаний и не роняя своего величия, однако не забыв перед тем склониться в глубоком реверансе, и, со слезами на глазах, делавшими ее воистину неотразимой, умоляла его и просила учесть, в какую тоску приводит ее разлука с сыном — самым дорогим для нее существом на свете; заверяла, что не заслужила столь суровой кары, ибо ничего не предпринимала, что бы вредило его величеству. Она говорила так проникновенно и учтиво, приводя столь весомые доводы и перемежая их сладчайшими нежными жалобами, что король — по натуре весьма обходительный с дамами — не на шутку расчувствовался, а вместе с ним и все великие и малые, кто оказался возле.

Наш король, обычно с такой уважительностью относившийся к нежному полу, какой не встречали более ни у кого из повелителей Франции, отвечал ей достойно, но не пускаясь в пространные рассуждения и не рассыпая вороха пустых слов, как то представляет Параден в своей «Истории Франции», ибо по природе своей был не столь многоглаголен и речист, не горазд на торжественные заверения, красноречивые увещевания и узорное плетение словес. Да и не пристало государю подделываться в своих речах под стиль наших философов либо великих ораторов — сие подобает другим; в его же устах, напротив, весомее звучат немногословные замечания, короткие вопросы и ответы — так, по крайней мере, считают наши знаменитые люди, и среди них ученейший и основательнейший господин де Пибрак, придерживающийся одинакового со мною мнения. Посему пусть тот, кто будет читать замысловатую речь, приписанную королю Параденом в указанном месте, не доверяет сочинителю, ибо многие знатные господа, бывшие при той беседе, заверяли меня, что все обстояло иначе. Хотя справедливо, что он весьма приветливо и с достоинством утешал принцессу и уверял, что для отчаяния нет причин, поскольку он удерживает при себе сына не ради нанесения ей какого-либо ущерба, а для того, чтобы упрочить его положение, воспитывая вблизи престола и взращивая вместе со старшим королевским сыном, дабы привить ему те же обычаи и подготовить к подобной же судьбе. Ведь дитя по крови француз, и, обретаясь среди соотечественников — притом при королевском дворе, где у него много родичей и друзей, — он не может получить дурного воспитания. Не забыл король упомянуть и о том, что именно Франции Лотарингский дом обязан своим процветанием более, нежели какой иной стране

христианского мира, напомнив, как герцог Лотарингский был избавлен от Карла Бургундского, убитого под стенами Нанси; и не будет, как добавил он, преувеличением утверждать, что без вмешательства Франции владения герцога Лотарингского понесли бы невосполнимый урон, а сам герцог превратился бы в обездоленнейшего из принцев этого мира. Отсюда же ясно, к кому должен тяготеть Лотарингский дом: к Франции или же к Бургундии; и незачем беспокоить столь могущественного соседа, склоняясь к его противникам и склоняя к тому же сына, которого бы там взрастили; а вот именно этого его величество и стремится избежать. Напомнил он и о том, как во время Крестового похода на Святую землю Франция помогла названному Лотарингскому дому одержать победу под Иерусалимом; упомянул о совместных сражениях в Неаполитанском королевстве и Сицилии. И также заверил принцессу, что не в его обычае вредить царственным наследникам и пособлять их уничижению; напротив, он стремится покровительствовать им в беде, как то случилось с молодой королевой Шотландской, состоявшей в близком родстве с его сыном, с герцогом Пармским и с князьями Германии, столь обессиленными, что лишь его помощь спасла их от полного падения. Так вот, закончил он, из той же доброты и сердечной склонности он хотел бы опекать молодого лотарингского принца и поднять его выше того удела, какой его ожидал, чтобы со временем сделать его и своим сыном, выдав за него одну из дочерей, — а потому ей нечего печалиться.

Но все прекрасные слова и веские доводы не смогли ее никоим образом утешить и придать ей терпения. Посему, откланявшись и продолжая проливать бесценные слезы, она удалилась в свои покои, до дверей которых государь проводил ее сам, а на следующее утро, перед своим отъездом, навестил ее там, чтобы проститься, но не услышал в ответ ничего, кроме смиренной пени. Видя, как ее дорогое дитя увозят во Францию, она, со своей стороны, решилась покинуть Лотарингию и отправиться во Фландрию к своему дяде-императору (как сладко звучат самые эти слова!), а также к кузену своему, королю Филиппу, и коронованным тетушкам (какие титулы и сколь славное родство!), что тотчас и сделала; и оставалась там, пока меж французским и испанским государями не воцарился мир и христианнейший монарх не отплыл морем в свои владения.

Тому примирению она способствовала по мере сил, то есть всем, чем только можно: поскольку посланцы — как одной, так и другой стороны, — претерпев многие беды и лишения в Серкане, провели несколько дней, будто ловчие, рыская за пропитанием и потому не продвигаясь ни на шаг в переговорах, она, ведомая

внутренним чувством или божественным озарением, а может подвигнувшись на то из благочестивого рвения и прирожденного здравомыслия, взяла дело в собственные руки и повела его так, что добилась его разрешения, благодетельного для всего христианского мира. Меж тем, как поговаривали, вряд ли нашелся бы еще кто-нибудь, кто бы смог так легко сдвинуть столь тяжелый камень и прочно укрепить на надлежащем месте. Воистину она оказалась очень искусной и опытной и располагала неоспоримым влиянием, каковыми свойствами малые и сирые людишки, без сомнения, не обладают. С другой стороны, ее кузен король мог полностью довериться ей и полагался на нее, считая достойной этого, а потому любил и ценил и относился к ней с душевной расположенностью, всячески способствуя блеску и процветанию ее двора, каковой вовсе бы потускнел; однако, насколько мне известно, с тех пор он не поручал ей ничего важного, не слишком заботился о ее владениях в герцогстве Миланском, доставшихся ей от первого мужа из рода Сфорца; и мало того, как меня уверяли, некоторые из них урезал в свою пользу.

По слухам, после разлуки с сыном она затаила злобу на господина де Гиза и его брата-кардинала, обвиняя их в том, что именно они внушили нашему королю такое решение и сделали сие в угоду своему честолюбивому желанию видеть собственного кузена в тесной близости от трона и соединенного с королевской ветвью брачными узами; а также в отместку за то, что несколько ранее она расстроила брак меж собой и Гизом, насчет которого уже была договоренность. Движимая своим крайним высокомерием, она во всеуслышание объявила, что никогда не выйдет замуж за младшего в семействе, где состояла в браке со старшим; подобного отпора господин де Гиз не мог ей спустить, хотя ничего не потерял, если учесть, на ком он женился позже: его супругой стала особа из весьма прославленного рода, внучка короля Людовика XII, одного из самых добрых и мужественных государей, что сидели на французском престоле; к тому же его суженой стала одна из самых красивых женщин во всем христианском мире.

По сему поводу мне рассказывали, что, когда две эти принцессы встретились впервые, они долго и со вниманием изучали друг друга: то вперяя очи прямо в лицо собеседницы, то бросая тайком взгляд, то следя друг за другом краешком глаза. Можно вообразить, какие мысли при этом рождались в их прекрасных душах: их чувства мало отличались от умонастроения Сципиона и Ганнибала перед африканским сражением, которое должно было решить судьбу Рима и Карфагена. Африканец и

римлянин точно так же около двух часов прощупывали друг друга мелкими наскоками, а сблизившись, на какое-то время застыли, восхищенные зрелищем блистательного противника, столь прославленного великими деяниями; и видом ратников, их оружием и воинской сноровкой; а постояв так, решились на переговоры, — что прекрасно описано у Тита Ливия. Сколь благостна добродетель, одним видом своим способная одолеть старинную ненависть, как и красота — возобладать над ревностью, что и произошло, как я уже поведал, меж двумя принцессами и обворожительными женщинами!

Конечно, их красоту и обворожительность можно было бы счесть равными — хотя здесь госпожа де Гиз чуток обошла соперницу, но, к счастью, только в этом, оставив той в удел большую славу и более твердый, надменный нрав; ибо герцогу досталась самая мягкая, нежная, застенчивая и любезная супруга, какую только можно отыскать, хотя наружно являвшая немалую храбрость и напускное высокомерие. Природа создала ее совершенной, помимо высокого роста и изящного сложения наделив ее величавостью; так что одного взгляда на нее было достаточно, чтобы хорошенько подумать, прежде чем с нею заговорить; но если преодолеешь опасения — то смутишься ее мягкостью, великодушием и трогательной простотой, унаследованными ею от деда, бывшего добрым отцом своим подданным, и от благотворного французского воздуха. Хотя верно и то, что, когда было надо, она умела дать почувствовать свое высокое положение и выглядеть достойной славы предков. Впрочем, надеюсь поговорить о ней особо в ином месте.

Напротив, честолюбие ее лотарингской светлости несколько перехватывало через край. Я имел однажды случай убедиться в этом сам, когда королева Шотландская, овдовев, предприняла путешествие в Лотарингию, где я в то время обретался; там я и подметил, что ее вышеупомянутая светлость стремилась всеми способами превзойти и затмить величие своей гостьи. Но та, отличаясь силою и твердостью духа и будучи ловкой светской искусницей, не позволяла хозяйке возвыситься над собой хотя бы на кончик мизинца, сохраняя притом внешнюю мягкость, — тем более что ее дядя-кардинал успел предупредить племянницу о заносчивом норове лотарингской властительницы и подсказать, как совладать с ним. Принцесса так никогда и не смогла обуздать своих чрезмерных притязаний и как-то раз решилась помериться силами с самой королевой-матерью, да не на ту напала: матушка нашего государя умела быть самой надменной из женщин, каких только видывал свет, что подтверждали мне многие вельможи, очевидцы ее подвигов; а когда требовалось сбить спесь с кого-

либо, кто слишком выпячивался, она умела устроить так, что тот был готов буквально сквозь землю провалиться; при всем том с ее светлостью она повела себя, по видимости, не слишком надменно, выказывая, как ее ценит, и воздавая должное ее совершенствам, но, держа все время на короткой привязи, то ослабляя, то натягивая повод — чтобы бедняжка не задохнулась, но и не вздумала брыкаться, — частенько приговаривала (я собственными ушами это слышал): «Вот самая кичливая из всех виданных мною женщин!» Дело было в Реймсе на короновании покойного нашего государя Карла IX, куда пригласили и ее светлость. Когда она вступала в город, то не пожелала ехать верхом, сочтя сие недостаточно подходящим ее титулу и достоинству, а пересела в великолепный дорожный возок, весь обитый черным бархатом в знак вдовства, влекомый четырьмя самыми прекрасными белыми турецкими жеребцами, каких только можно вообразить; причем запряжены они были не цугом, а четвериком в ряд, словно в триумфальной колеснице. Она восседала у дверцы в великолепном бархатном одеянии — правда, тоже черном, — зато ток на голове был бел и чрезвычайно искусно украшен. У другой дверцы сидела одна из ее дочерей, потом ставшая герцогиней Баварской, а меж ними — статс-дама, принцесса Македонская. Королева пожелала увидеть, как та с этаким триумфом подкатывает к замку, и, подойдя к окну, чуть слышно промолвила: «Ну и честолюбие у этой женщины!» А после, когда гостья вышла из возка и поднялась наверх, королева-мать пошла к ней навстречу и выслушала ее приветствие на середине залы, по крайней мере гораздо ближе к входным дверям, чем обыкновенно было принято. Она очень приветила гостью, позволив ей делать что вздумается, а при ее-то власти, тогда безграничной по малолетству государя, это была большая честь, оказанная ее светлости. Все придворные, великие и малые, не могли на нее налюбоваться, восхищаясь ее красотой и осанкой, хотя года ее уже близились к закату: она готовилась перевалить через четвертый десяток, но ничто в ее чертах не увяло и не стерлось, ибо ее осень оказалась краше иного лета. Принцесса эта достойна всяческих похвал за то, что, сохранив былую красоту, нерушимо и незапятнанно пронесла до могилы свое вдовство и верность покойному супругу.

Она умерла через год после того, как узнала, что стала королевой Дании, откуда была родом; таким образом, перед смертью она могла украсить свой титул вместо «светлости» «величеством», но наслаждалась этим всего месяцев шесть. Хотя может статься, что она бы согласилась принять величание «ее светлость» вместе с первым цветом юных прекрасных годов, ибо

что значит целое королевство перед бесценной молодостью? Хотя на краткий миг, перед смертью, она и удостоилась чести именоваться королевой, однако, как я слышал, была полна решимости не возвращаться в родную вотчину, а скоротать остаток дней в своих итальянских поместьях в Тортоне, доставшихся ей от покойного мужа; хотя в тех местах ее звали не иначе как госпожа де Тортоне (имя не слишком красивое и недостойное ее). Она обосновалась там задолго до смерти как в силу обета, некогда принесенного в святых местах неподалеку оттуда, так и затем, чтобы не удаляться от тамошних целебных источников, ибо под конец она стала хворать: ей очень досаждала подагра.

На склоне дней занятия ее были достойны и благочестивы: она много молилась, щедро жаловала на благотворительные дела и помощь бедным, особенно вдовам, среди которых, помнится, была неимущая вдова управителя миланского замка, которой было бы суждено влачить жалкое существование при нашем дворе, если бы не поддержка и частые небольшие подарки королевы-матери. Она была дочерью принцессы Македонской, отпрыском знатной и благородной ветви. Я застал ее уже в почтенной старости, некогда она была домоправительницей ее светлости. Теперь та, узнав о ее стесненных обстоятельствах, пригласила ее к себе и отнеслась так хорошо, что бедняжка позабыла о нужде, измучившей ее во Франции.

Вот, вкратце, что я могу поведать об этой великой принцессе и о том, как, оставшись вдовой, но сохранив цвет молодости, она образцово повела себя. Конечно, могут возразить, что она все-таки выходила замуж дважды, первый раз за герцога Сфорцу. Пусть так, но он почти тотчас умер (они не прожили вместе и года), оставив ее вдовой в возрасте пятнадцати или шестнадцати лет; после чего дядя-император выдал ее за герцога Лотарингского, чтобы упрочить связь с этим домом, — и она вскоре, в расцвете лет, снова оказалась вдовой, не попользовавшись как следует плодами и второго замужества; но те годы, которые она провела в одиночестве, оказались самыми прекрасными и достойными нашего внимания; она же употребила их на затворническую жизнь и беспорочное целомудренное вдовство.

Мне хотелось бы, продолжая повесть о прекрасных вдовах, в кратких словах упомянуть еще о двоих. Одна принадлежит уже прошлому, это почтенная госпожа Бланш де Монферра, принадлежавшая к старинному итальянскому семейству; впоследствии она стала герцогиней Савойской и самой прекрасной и совершенной из тогдашних принцесс, а к тому же

отличалась мудрой опытностью и отменно справилась с управлением страной, будучи опекуншей своего малолетнего сына; а также весьма благоразумно распоряжалась своими владениями, оставшись одной из образцовых вельможных дам и матерей, притом что овдовела в каких-нибудь двадцать три года.

Именно она так достойно привечала молодого короля Карла VIII, прибывшего в ее королевство из Неаполя, устраивая в честь него празднества на всем его пути по ее землям, особенно в Турине, куда он въехал с необычайной пышностью и был встречен ею самою в роскошных одеяниях, дававших ему понять, что она действительно недюжинная вельможная особа: на ней было выложенное витым золотом суконное платье, снизу доверху расшитое крупными бриллиантами, рубинами, сапфирами, изумрудами и иными драгоценными каменьями; столь же великолепные драгоценные камни венчали и ее голову, а шея была перехвачена золотым обручем, или ожерельем, украшенным очень крупными жемчужинами с Востока, цены коим не мог сказать никто; и таковые же браслеты красовались на ее руках. Она появилась перед ним на статном белоснежном иноходце в необычайно богатой сбруе, ведомом под уздцы шестью высокорослыми лакеями в расшитых золотом суконных ливреях, а за ней следовала целая стая придворных фрейлин и девиц, весьма миловидных и одетых с отменным вкусом по пьемонтской моде, и на них было радостно смотреть. Шествие замыкал очень многочисленный конный отряд молодых людей и сеньоров — цвет тамошней знати. Затем она присоединилась к королю Карлу, над ними натянули богатый полог, и все спустились к замку, предоставленному в его распоряжение; там, у дверей замка, герцогиня, представив ему своего малолетнего сына, произнесла прекрасную речь, где описала свои владения и богатства земли и короны; причем король выслушал ее с большим удовольствием и поблагодарил, объявляя себя ее должником. Во всем городе были развешаны французские и савойские гербы, перевитые цветочным вензелем, так называемыми «путами любви» с девизом: «Sanguinis arctus amor»[73], как гласит «Хроника Савойи».

Наши отцы и матери, слышавшие о том от своих родителей, видевших ее, и даже моя бабушка, супруга сенешаля Пуату, в прошлом фрейлина при савойском дворе, — все уверяли меня, что тогда не было иных разговоров, кроме как о красоте этой сиятельной дамы, о ее мудрости и опытности в делах; а все французские придворные, бывавшие в Савойе, возвращаясь на родину, говорили о ней своим женам и дочерям так же, как и придворным дамам, превознося перед ними ее прелести и добродетельную жизнь; вторил им и король, который, казалось,

был ранен ею в самое сердце.

Впрочем, не блистай она красотой, он бы любил ее не менее, поскольку она всеми средствами помогала ему и даже отдала свои драгоценные камни, жемчуг и золотые украшения, позволив ему заложить их или сделать с ними, что ему заблагорассудится; а это, судите сами, немалое одолжение: обычно дамы очень ревностно берегут драгоценности, перстни и прочие украшения и охотнее бы расстались с какой-либо особо взлелеянной частью собственного тела, нежели с изысканными и дорогими вещицами. Конечно, здесь я имею в виду не всех, но многих. Нет сомнения, что такое пожертвование требует великой благодарности; ведь если бы не столь куртуазный дар и другой, подобный ему, полученный от маркизы де Монферра — еще одной высокородной, добропорядочной и очень красивой дамы, — безденежье вынудило бы короля постыдно возвратиться из своего путешествия, оборвав его на полпути, то есть поступить не лучше того епископа, который отправился на Тридентский собор без денег и латыни. Как можно пускаться в море без сухарей! Впрочем, меж одним и другим немалая разница: первый решился отправиться в путь из благородства, движимый высокими и горделивыми устремлениями, заставившими его закрыть глаза на все неудобства и счесть, что для отважного сердца невозможного нет; ну а второй, обделенный умом и опытностью в ведении собственных дел, явил пример глупости и незнания обычаев — так что похоже, будто он намеревался, добравшись до места, употребить время на сбор подаяния.

Когда упомянутая прекрасная дама произносила речь при вступлении короля в Турин, все обратили внимание на ее богатый наряд, более пристойный замужней особе, нежели вдове. Однако дамы оправдывали ее тем, что для столь великого монарха можно сделать исключение, тем более что сие не потребовало больших трат, а великие мира сего следуют собственным законам; к тому ж в те годы вдовы не испытывали таких стеснений, как в последние четыре десятка лет; так, известная мне вельможная вдова, отмеченная, скажем, более чем нежным расположением государя, одевалась, конечно, поскромнее иных прелестниц, но все же не иначе как в шелка, желая и нравиться, и лучше скрыть свои проделки; а прочие придворные вдовушки, в подражание ей, поступали так же. Эта дама приспособилась как нельзя лучше; ее весьма изысканные наряды всегда были черными или белыми, но в них чувствовалось более светскости, нежели вдовьей суровости, тем паче что вырез на платье всегда позволял узреть немалые прелести. А во время торжественного бракосочетания нашего короля Генриха III и при его короновании я слышал из уст королевы-матери такого же рода замечания: вдовы прошлых лет не столь пеклись о скромности наряда и манер, как ныне; а при короле Франциске, желавшем более свободы для своих придворных, вдовы даже танцевали — их разрешалось приглашать на танец наравне с девицами либо замужними женщинами; да и сама королева-мать на моих глазах попросила господина де Водемона предложить для открытия празднеств руку госпоже принцессе Конде, потерявшей своего супруга, что он, повинуясь приказу, и сделал, протанцевав с ней; многие, как и я, оказались свидетелями того происшествия и могут его припомнить. Вот какую свободу тогда имели безутешные вдовицы. Ныне же все это им запретно и почитается таким же святотатством, как разноцветные наряды; позволительно надевать лишь белое и черное, хотя верхние и нижние юбки, а также чулки могут быть серыми, коричневыми, фиолетовыми и синими. Правда, некоторые, как я заметил, позволяли себе даже красный, ярко-багряный и светло-желтый цвет — совсем как в старину, когда такое, говорят, допускалось, но не для платьев, а только для юбок и чулок.

Потому-то принцесса, о коей я веду речь, могла позволить себе появиться в расшитом золотом суконном платье, ибо то было ее герцогское облачение — парадное одеяние, допустимое и уместное свидетельство ее величия и могущества; так и поныне вольны поступать графини и герцогини на торжественных церемониях. У наших вдов та печаль, что им нельзя носить драгоценности нигде, кроме как на пальцах да иногда на каком-

нибудь зеркальце или же на часослове и иных книгах, толкующих о божественном; но ни в коем случае не на голове, не на теле, не говоря уже о богатых жемчужных ожерельях и браслетах; однако могу поклясться, что видывал вдовствующих прелестниц, достойно обряженных лишь в черное и белое, но притягивавших взгляды не менее увешанных драгоценностями замужних дам королевского семейства. Впрочем, довольно о сей иноземной вдове, поговорим об отечественных; сейчас речь пойдет о нашей белой королеве Луизе Лотарингской, жене Генриха, последнего из наших покойных государей.

Можно и должно хвалить эту принцессу за многое, ибо в браке она вела себя благоразумно и хранила целомудренную верность супругу, так что связывавшие их узы ею были не тронуты, оставаясь крепкими и неразрывными, и никто никогда не подметил в ее обиходе никакого изъяна; того же нельзя сказать о самом короле, ибо он иногда позволял себе отвлечься, по обыкновению великих мира сего, у коих есть на то право и привилегия; к тому ж он не далее чем через десять дней после женитьбы пречувствительно обидел молодую жену, заменив весь штат ее прислуги и придворных дам, кои росли и воспитывались вместе с нею с самого отрочества; такая суровость ее надолго опечалила и причинила ей сердечную рану; особенно она тосковала по мадемуазель де Шанжи, весьма миловидной и вполне добродетельной фрейлине, не заслужившей отлучения от двора и королевских покоев. Потерять добрую подругу и наперсницу — большое горе. Мне известно, что однажды некая приближенная к ней дама набралась дерзости, тихонько похохатывая, намекнуть, что коль скоро ей ни вскорости, ни в отдаленные времена — по причинам, о коих в те поры шептались, — не суждено иметь ребенка от законного мужа, то недурно было бы прибегнуть к услугам третьего лица, умеющего сохранить все в тайне, и обзавестись-таки потомством; ибо короли смертны, а в сем случае она сделается королевой-матерью, опекуншей законного наследника, и не только не потеряет власть, но достигнет ранга и величия своей царственной свекрови. Но давшая такой совет долго потом сожалела о своей неловкости, ибо он был встречен как нельзя более холодно и благожелательница навсегда лишилась высокого расположения, поскольку королева предпочитала, чтобы ее величие зиждилось на целомудренной добродетели, а не на беззаконном продолжении рода. Но большинство светских людей подобными советами отнюдь не пренебрегают, чему порукой Макиавелли и его учение.

Поговаривают, что королева Мария Английская, третья жена

короля Людовика XII, не была столь хладнокровна, ибо, раздражившись хилостью своего супруга и повелителя, пожелала закинуть удочку в другой ручеек и подцепить господина графа Ангулемского, впоследствии ставшего королем Франциском, а тогда — юного и приятного собою принца, коего она радушно привечала, называя не иначе как «сударь мой зять», поскольку он уже тогда был женат на госпоже Клодии, дочери короля Людовика. Королева подлинно в него влюбилась, да и он отвечал взаимностью, так что два костра чуть было не слились в единое пламя; но тут подоспел ныне покойный господин де Гриньоль, знатный дворянин и человек чести, приближенный к Перигорскому семейству, бывший некогда придворным кавалером у королевы Анны, о чем мы уже рассказывали в ином месте, а затем исполнявший ту же должность при королеве Марии. Сей опытный и весьма умудренный знаток человеческих страстей, видя, какое действо вот-вот готово разыграться, стал упрекать упомянутого графа в беспечности и возопил: «Как же, Господь вас пробери (так он имел обыкновение выражаться), намерены вы поступить? Разве вам не понятно, что эта тонкая бестия желает вас завлечь и от вас понести? А родись у нее сын — и вы навечно всего только граф Ангулемский, уж никак не король Франции, на что уповаете. Король наш состарился, у него уже не будет детей. Вы с ней сблизитесь, а при вашем молодом горячем нраве и ее пламенной натуре не успеете моргнуть, Господь вас пробери, — и приклеитесь друг к другу так, что не отодрать; а тут и дитя — и конец всем надеждам! Вам останется только сказать: „Прости-прощай, мое право на французский престол“. Так что подумайте хорошенько». Эта королева захотела испытать и применить на деле то, о чем говорит испанская пословица: «Nunca muger aguda mirio sin herederos» (Ловкая женщина никогда не помрет, не оставив наследника), то есть, ежели муж в том не преуспеет, она найдет к кому обратиться. Тут граф Ангулемский призадумался и призвал на помощь свое благоразумие, но искушение возобновлялось, становясь все сильнее, пока он вовсе не потерял голову от умильных чар и утонченной фации англичанки. Вот что значит любовный жар! Ради какого-то жалкого кусочка плоти можно пожертвовать и королевством, и властью над половиной мира, о чем свидетельствует история. В конце концов господин де Гриньоль, видя, что молодой человек погубит себя, запутываясь в любовных сетях, пожаловался его матери, герцогине Ангулемской, и она уж устроила сыну такую выволочку, что тот и думать позабыл о греховной страсти. Меж тем утверждают, будто королева сделала все, что могла, чтобы успеть обзавестись потомством до кончины супруга; но он

опередил ее и сошел в могилу, не оставив ей на это времени; однако же после его смерти не проходило дня, чтобы кто-либо не пускал слух, будто она в положении; ходили сплетни, будто она, не понеся младенца во чреве, обертывалась под платьем простыней, чтобы сделать себе большой живот, намереваясь, когда подойдет срок, позаимствовать дитя у другой беременной женщины и представить его как родившегося от нее. Но госпожу регентшу не проведешь, она-то знала, как дети делаются, и понимала, чем это дело может обернуться для нее и ее сына; а потому призвала докторов и повитух, которые, своими глазами увидев простыни и полотнища, разоблачили бедняжку, и она вместо чаемой славы и величия удостоилась ссылки в отчий дом.

Вот как отличалась наша королева Луиза от этой Марии, ибо пребывала в целомудренной добродетели и не желала ценой обмана сделаться королевой-матерью. А отважься она на подобную проделку — у нее все вышло бы по-иному, ибо никто от нее ничего подобного не ожидал, а познав, весьма бы удивился. Наш нынешний король очень ей обязан, и положено ему уж за одно это ее любить и почитать; ведь извернись она и добейся появления наследника — он до сих пор считался бы каким-нибудь незавидным регентом; да и того могло не случиться, и сей недостойный его титул мог бы достаться ему ценой горших, чем мы испытали, бедствий и войн, не принеся ни радости, ни уверенности.

Говоря со мной об этом, иные — как люди светские, так и церковные — замечали, что для Франции то было бы лучше: мы бы избежали многих несчастий, разорения и разграбления, если бы королева эта хоть чуточку согрешила; весь христианский мир от того премного бы выиграл. Таковые речи я слыхал от отважных и хитроумных любителей порассуждать (хотя сам так не думаю, ибо нам хорошо под рукой нынешнего монарха, да хранит его Господь!), и, сходясь в неодобрении целомудрия той, о ком речь, они, конечно, пеклись о благе королевства, но не о промысле Господнем; а наша государыня, сдается мне, ни о чем так не радела, как о жизни по заветам Всевышнего, следовать коим с радостным рвением почитала первейшею заботой и счастлива была бы пожертвовать святому делу и своим положением, и собой. Ведь еще юной и прекрасной принцессой, нежной и любезной (король ее и взял-то за красоту и многие добродетели), она не помышляла ни о чем ином, как о служении Господу: прилежно говела, посещала немощных в больницах, лечила недужных, заботилась о похоронах неимущих, не забывая и не упуская ничего из добрых святых обязанностей, свойственных набожным женщинам, коим жребий уготовал высокое положение

в свете, подражая в том принцессам и королевам первых веков нашей Церкви. И после смерти супруга она продолжала делать то же самое, проводя время в слезах, сожалениях и молитвах о спасении его души; так что ее вдовья жизнь походила на ту, что она вела в замужестве. Пока жив был ее муж, ее подозревали в чрезмерной склонности к тем, кто входил в Священную лигу, поскольку, будучи доброй католичкой, она любила всех сражающихся за веру и Церковь; но она вовсе охладела к ним после того, как они убили ее мужа, и не желала с ними знаться, хотя призывала на них лишь такую кару и месть, какая будет угодна Господу; но при всем том умоляла всех, и особенно нынешнего нашего короля, чтобы те позаботились о справедливом суде над покусившимся на жизнь священной особы государя. И как прожила она беспорочно в замужестве, столь же целомудренно окончила дни во вдовстве, а по смерти заслужила достойную славу, ибо и последние часы ее протекли в прекрасном богобоязненном рвении. До того она долго болела, исчахла и иссохла — потому, говорили, что слишком предалась грусти, — а перед самым концом велела, чтобы ее корону положили у изголовья кровати и не трогали до последнего вздоха; в той же короне приказала положить себя в могилу, чтобы и в земле, как при жизни, оставаться королевой.

Была у нее сестра, госпожа де Жуайёз, подражавшая ей в богобоязненной и беспорочной жизни, а после смерти мужа соблюдавшая сугубый траур, сожалея о потере столь храброго и исполненного совершенств сеньора. К тому же я слыхал, что, когда нынешний наш король оказался зажат у Дьепа и господин дю Мэн с сорока тысячами войска держал его там, словно в мешке, окажись она на месте командора де Шаста, стоявшего во главе дьепского гарнизона, она бы отмстила за смерть своего мужа иначе, нежели названный господин командор, какового его обязательства перед покойным господином де Жуайёзом призывали не принимать у себя его убийцу; и если до того она привечала командора, то после возненавидела хуже чумы, не простя ему подобной оплошности; хотя прочие и хвалили его как раз за то, что он не изменил данному слову и исполнил свои обещания. Однако женщина, справедливо или неправедно оскорбленная, не принимает ничего в расчет, как и та, о коей речь; ведь она так и не примирилась с нашим теперешним королем, продолжая оплакивать предыдущего и носить по нему траур, хотя сама некогда принадлежала к Лиге; последнее не мешало ей настаивать на том, что и ее супруг, и она сама слишком многим обязаны убиенному монарху. Добавлю под конец, что она — добрая и благоразумная принцесса, достойная

почитания за то, с каким трепетом относилась к памяти собственного супруга, хотя и не всю жизнь, ибо затем вышла вторым браком за Франциска Люксембургского. Но надо ли требовать от такого юного существа столь длительного самоотвержения?

Госпожа де Гиз, Екатерина Клевская, одна из трех дочерей герцога Неверского (и конечно, всех трех принцесс невозможно перехвалить и за красоту, и за неоспоримые достоинства души, впрочем, им посвящен отдельный рассказ), не забывала и ныне помнит и подобающе чтит своего поистине незабвенного почившего супруга. И какого супруга! Равного ему не знал мир — так после постигшего нас всех несчастья отзывается о нем она сама в письмах к некоторым из своих ближайших знакомых дам, с коими я потом беседовал; такими скорбными и исполненными боли словами она выказывает, сколь ее сердце раздираемо грустью.

Золовка ее, госпожа де Монпансье, о которой я надеюсь еще поговорить в ином месте, пролила потоки слез, оплакивая своего мужа; потеряв его совсем молодой, в расцвете красоты и совершенств телесных и душевных, она никогда больше и думать не хотела о новых узах Гименея, хотя вышла замуж почти девочкой, меж тем как супруг годился ей в деды, — а посему она лишь чуть-чуть надкусила от соблазнительного плода брачных услад, но более отведывать их не пожелала, отказавшись возместить новой трапезой то, что было ей недодано на прежнем пиру.

Множество сеньоров, знатных дворян и дам привела в восхищение вдовствующая принцесса де Конде из семейства Лонгвиль, тоже очень рано оставшаяся без супруга, но не пожелавшая выйти замуж вновь, несмотря на то что слыла одной из красивейших и соблазнительнейших женщин Франции.

Ее мать, госпожа маркиза де Ротлен, поступила так же, хотя не уступала дочери красотой. Конечно, обе они на пару могли бы своими обворожительными сладчайшими взглядами спалить сердца всего королевства: при французском дворе их глазки почитали самыми прелестными и пленительными. Не стоит сомневаться, что они испепелили немало сердец и душ, но рядом с ними было опасно и обмолвиться о замужестве: обе весьма добросовестно исполняли присягу верности, данную покойным мужьям, и остались преданы ей до самой смерти.

Даже если бы захотел, я не смог бы перечислить всех принцесс при дворе наших королей, прославившихся достохвальной верностью почившему супругу, а потому приберегу похвалы им для другого случая и оставлю на сем, чтобы перейти

к некоторым дамам, кои — отнюдь не будучи столь высокого ранга, не принадлежа к таким славным семействам, — явили подобные же драгоценные свойства души.

Госпожа де Рандан, прозванная Фульвией Мирандолой, происходившая из почтенного семейства Адмиранди, осталась вдовой во цвете лет и красоты. Траур ее был столь велик и горечь потери настолько сильна, что она перестала глядеться в зеркало и отринула прозрачный светлый хрусталь, так жаждавший отразить ее в себе; она тоже могла бы, как та римская матрона, что разбила свое зеркало, принеся его в жертву Венере, произнести:

> Dico tibi Veneri spéculum, quia cernere talem
> Qualis sum nolo, qualis eram nequeo.

(Посвящаю тебе, Венера, мое зеркало, ибо такая, как ныне, я не нахожу в себе ни смелости, ни терпения в него смотреться; а такой, какой была, снова стать не могу.)

Но госпожа де Рандан отвергла зеркало не поэтому, ибо осталась прекрасной, но в силу обета, каковой дала тени покойного мужа, бывшего одним из тех, кто достоин стать примером безупречного благородства для всей Франции; ради его памяти она покинула свет, одевалась с неизменной строгостью, блюдя решительно все запреты, не снимала вуали и никогда более не открывала чужому взгляду своих волос, но при всем том и еще при заметном небрежении в убранстве головы являла взору зрелище великой красоты. Потому-то покойный господин де Гиз, на несколько лет переживший своего брата, величал ее не иначе как монашкой, ибо суровостью своей жизни и нарядов она напоминала священнослужителей; но, говоря так, он добродушно смеялся вместе с ней, ибо любил и почитал ее, поскольку она весьма радела о благе его и всего их семейства.

Госпожа де Карнавале, побывавшая вдовой дважды, отказалась третьим браком выйти за господина д'Эпернона, тогда носившего имя де Лавалетта-младшего — в ту пору он входил в славу и был влюблен в нее без памяти, ибо она и во вдовстве сохранила былую привлекательность и вежество; не добившись от нее того, что желал всего более, он стал преследовать ее своим сватовством и трижды или четырежды просил короля замолвить за него доброе слово; но она, уже побывав дважды в мужниной неволе (один раз отданная графу де Монтравелю, а второй — господину де Карнавале), отказала, хотя самые расположенные к ней друзья и даже я — всячески старавшийся ей услужить — указывали ей, какую ошибку она делает, отвергая столь завидную партию, благодаря которой она сможет подняться к высотам

величия и власти, жить в роскоши и пользоваться всеобщим почтением; ибо ее руки просил не кто иной, как любимец короля, его второе «я»; но она отвечала, что не видит своего счастья в уделе замужней дамы, желает сохранить над собой полную свободу и довольна жребием, а также хранит память о предыдущих мужьях, коих ей вполне довольно.

Госпожа де Бурдей из старинного и знаменитого дома Монбронов, графов Перигорских и виконтов д'Онэ, овдовела в возрасте тридцати семи или тридцати восьми лет; и мне кажется, что в Гиени, где она обитала, не было никого, кто бы мог превзойти ее красотой, грацией и изяществом манер, ибо она сохранила прекрасную фигуру, пленяющую цветущей роскошью форм, была высока ростом — и во всем этом не уступала первейшим красавицам; а душа ее была под стать прелестному телу; посему три богатых и знатных сеньора стали добиваться ее руки, но всем троим она отвечала одинаково: «Не хочу уподобляться большинству женщин, говорящих, что не вступят в брак никогда, но оправдывающих свои слова таким образом, каким можно лишь их обесценить; заверяю вас в том, что навсегда готова распрощаться с замужеством, если Господь и моя собственная плоть не внушат мне иных желаний так внятно, чтобы нельзя было сомневаться в противном». А когда один из ее поклонников возразил: «Как же это, сударыня, неужели вам не хочется вновь испытать жар любви во цвете ваших лет?» — она парировала этот выпад так: «Не знаю, что вы под сим разумеете, но, хотя до сих пор мне не удавалось согреться на моем вдовьем ложе, холодном как лед, однако, будучи за моим вторым мужем, я, не стану отрицать, уже испытала подле него тот жар, о коем вы толкуете; и все ж, поскольку холод легче переносить, нежели жару, я решилась держаться вдовства и не торопиться с новым замужеством». Так и поступила — и по сию пору продолжает нести бремя вдовства вот уже двенадцатый год, ничего не потеряв в своем очаровании, но до сих пор храня его нетленным. Она бережет верность праху своего мужа — и тем свидетельствует, что сильно любила его при жизни; а кроме того, вся поглощена заботами о его потомстве, так что если и соблюдет вдовство до самой смерти, то заслужит вечную благодарность собственных детей.

Покойный господин Строцци был одним из тех, кто добивался ее расположения, но, хоть он славного рода и к тому ж был под крепким покровительством королевы-матери, она отказала ему, найдя для того весьма достойные слова. Каким же нужно обладать характером, чтобы при красоте и всеобщем почтении за добродетельную жизнь — да, сверх того, обладая

очень большим наследством — влачить остаток жизни на одиноком ложе, застывших подушках и оледенелых простынях, коротая безрадостные вдовьи ночи! Как много тех, кто не похож на эту несравненную особу; но, впрочем, немало и схожих с ней! Решившись перебрать сих последних, я никогда бы не кончил, особенно когда б стал перемежать повествование о великих душой христианках с рассказами о добродетельных язычницах, подобных прекрасной римлянке Марции, дочери Катона Утического, добрейшей и милейшей младшей сестре знаменитой Порции: потеряв мужа и непрестанно оплакивая его, она на вопрос, когда же настанет последний день ее траура, отвечала, что он совпадет с последним днем ее жизни. А поскольку она владела изрядным богатством, то любому, кто спрашивал, решится ли она снова выйти замуж, говорила: «Только если найду человека, согласного взять меня за мои добродетели, а не ради приданого». Притом одному Богу ведомо, насколько она была богата и красива, а уж благонравна вдвойне — иначе не быть бы ей ни дочерью Катона, ни сестрой Порции; но она отваживала от себя поклонников и гнала их, уверенная, что охотятся они не за ее добродетелями, а за ее добром, и не поддалась на льстивые заверения назойливых искателей.

Святой Иероним в эпистоле к непорочной Принципии разливается в похвалах любезной римской даме его поры по имени Марцелла, происходившей из большого и знаменитого семейства, давшего Риму множество консулов, проконсулов и преторов. Рано овдовев, она получала много предложений руки как от плененных цветом ее юности, так и от желавших породниться со столь почтенным домом; а еще потому, что была чудесно сложена, так что дух захватывало (заметьте, это пишет сам святой пастырь); а также из-за ее добродетельного нрава и пристойности. Среди прочих соискателей особо добивался ее благожелательности Цереалис, богатый и знатный синьор, тоже из рода, даровавшего римлянам немало именитых людей. Он был уже в преклонных годах — зато обещал ей немалое богатство и большие дары, расхваливая преимущества их будущего брака. Даже ее матушка, звавшаяся Альбиной, прониклась желанием заключить этот союз и склоняла к нему свою дочь. Но та ей отвечала: «Если мне захочется снова навязать себе брачные узы и отречься от целомудренной жизни, я изберу мужа, а не наследство». Соискатель, думая, что она имеет в виду его преклонный возраст, возразил, что старики могут жить долго, а юноши, напротив, быстро умереть, на что она заметила: «Конечно, молодой человек может вскорости погибнуть, но старец не способен долго протянуть». На сем ему пришлось откланяться.

Я нахожу слова той дамы весьма благоразумными и исполненными решимости, как и речи Марции, а особенно сестры ее Порции, каковая после гибели супруга решила более не жить и предать себя смерти, но, поскольку ее лишили всего, что могло помочь самоубийству, проглотила горящие угли и сожгла себе все внутренности, объявив, что мужественная дама не может не отыскать способа покончить с собой; все это великолепно изобразил в написанной по сему случаю прекрасной эпиграмме Марциал, хваливший смелость римской матроны; также упоминает о ней Аристотель в своей «Этике», когда речь заходит о природе душевных сил, однако он полагает, что в подобном поступке не много смелости и высоты духа — как и в самоубийстве ее мужа и прочих иных людей, — ибо, как утверждает философ, они, дабы избегнуть худшего зла, прибегают к меньшему. О подобных вещах я составил особое рассуждение в другой книге. Некоторые утверждали, порицая ее благородное деяние, что все же было бы лучше, если бы названная особа посвятила остаток дней оплакиванию супруга и мщению за его смерть, — а помереть вот так не значит отомстить. Что до меня, я все же не могу не воздать ей должное, как и прочим вдовам, любившим своих мужей после смерти так же сильно, как при жизни. Вот почему святой Павел расточал им хвалы и ставил их в пример, следуя здесь за своим великим учителем. Однако от самых здравомыслящих и красноречивых людей, я слышал и такое мнение, что прекрасные собой молодые вдовы, храня чистоту в цветущие лета, предрасполагающие к галантным усладам, идут против природы, жестоко угнетая свое естество и не желая повторно отведать сладкого плода; тогда как законы небесные и людские, юная красота души и тела — все толкает их к противоположному, наперекор непреклонно суровым обетам, принятым в воспаленном состоянии духа, из-за которых они, оставленные смутными бесплотными тенями усопших мужей, превращают себя на этом свете в часовых, коих забыли отрешить от ненужной уже повинности; а быть может, там, за пределом земным, на елисейских полях, мужья их вовсе позабыли о страдалицах и даже посмеиваются над их упорством. Значит, юные создания должны бы отнести на свой счет полные глубокого смысла увещевания, с какими в четвертой песни «Энеиды» Анна обращается к сестре своей Дидоне; слова ее хорошо бы вызубрить каждой молодой вдове, чтобы не приносить обета безбрачия, вызванного часто не истинным богобоязненным рвением, а покорностью пустому обычаю. Да ежели бы, по крайней мере после кончины супруга, их окружали особым почетом, венчая голову каким-нибудь венком из цветов и трав, как делали некогда

и как поступают теперь иные девицы, тогда подобное воздержание было бы уместнее и длительность его имела бы оправдание. Однако ныне все, что они могут получить в награду за самоотвержение, — жалкие слова похвалы, не оставляющие следа, вянущие и иссыхающие так же быстро, как и тело. Так пусть же молодые и свежие красотою вдовы отведают прелестей этого света, пока они еще причастны ему, оставив старухам истовость и суровость вдовьего уклада.

Но достаточно о вдовах, умерщвляющих свою плоть. Поговорим о тех, кто, в ужасе от строгих обетов, приспосабливается к новой супружеской жизни, отдавая себя в сладостную власть богу Гименею. Среди них есть и те, кто, вкусив в объятиях своих любезников при жизни мужа, подумывают уже о новом союзе, еще его не похоронив, и договариваются с любезниками о том, как поступить в сем случае. «Ах! — говорят они обычно. — Если бы моего благоверного не было в живых, мы бы сделали то-то и то-то, мы бы стали жить так-то и примирились бы с тем-то и тем-то, а по нашему опечаленному виду никто и не догадается о нашей долгой связи. Какая приятная жизнь откроется перед нами! Мы поедем в Париж, ко двору; если принять все предосторожности, никто не сможет нам навредить; вы припуститесь за такой-то, я — за тем-то, а король нам подарит то и это.

Нашим детям мы наймем опекунов и наставников и освободимся от забот о них, посвятив себя собственным делам, или попользуемся их наследством, пока они не достигли совершеннолетия. Обстановка у нас останется та же, что в доме мужа, по крайней мере не надо думать о новой; а еще я знаю, где лежат ценные бумаги и экю…» — и произносят еще много подобных слов, заключая: «Так кто же сможет жить счастливее нас?»

Вот каковы те речи, что часто ведут женщины при еще живых супругах, хотя нередко все их слова, упования и чаяния оказываются пустым звуком, ибо мужья и не думают помирать; впрочем, случается, что заботливые жены помогают им приблизиться к могиле и подталкивают их туда, если те подзадержались на земле. Хорошо еще, если они не уподобляются той испанской даме, которая, не стерпев жестокого норова своего супруга, убила его, а затем и себя, предварительно собственноручно написав и оставив на столе в своем кабинете следующую эпитафию:

Aqui yaze qui ha buscado una muger,
Y con ella casado, no l’ha podido bazer muger.

A las otras, no à mi, cerca mi, dava contentamiento.
Y por este, y su flaqueza y atrevimiento,
Yo lo be matado,
Por le dar pena de su pecado:
Ya mi tan bien, por falta de my juizio,
Y por dar fin â la mal-adventura qu'yo avio.

(Здесь покоится тот, кто искал жену, но не сумел сделать ее женой: его благоволение простиралось на других, только не на меня; вот почему, не стерпев его самонадеянной подлости, я убила его, наказав за все грехи; я и с собой кончаю, не надеясь, что буду понята, и дабы положить конец моим злоключениям.)

Звали эту особу донна Маддалена де Сориа; если судить по мнению одних, она прекрасно сделала, что убила мужа, но сглупила, уйдя из жизни: ведь сама написала, что покончила с собой, не имея сил рассудить, права ли она. Лучше бы ей погодить, если она не боялась правосудия; правда, быть может, она не была уверена в приговоре и, вынеся его себе, пожелала сама выхватить честь и славу из рук судей. Хотя, скажу я вам, есть ушлые особы, способные так хорошо сыграть свою роль, что никто ничего не заподозрит, а когда муж благополучно отправится в иной мир, они, живые и здоровые, сговариваются со своими возлюбленными и вместо грусти предаются привольным усладам.

Но есть и более благоразумные вдовы, любившие своих мужей и не питавшие против них злобных умыслов: те сожалеют об их кончине, оплакивают их и так истово тоскуют, что, кажется, им не прожить и часа. «Ах! — стенают они. — Разве есть кто-либо в мире несчастнее меня, потерявшей самое драгоценное, что было в моей жизни? О Боже! Почему Ты не насылаешь на меня погибель, чтобы я присоединилась к дражайшему покойнику? Не хочу пережить его, ибо кто же принесет мне облегчение в будущей жизни? Если бы не малые дети, залог нашей любви, еще нуждающиеся в моей поддержке, я бы убила себя немедля. Да будет проклят тот час, когда я появилась на свет! Если бы, по крайности, я могла вновь увидеть его тень или призрак, если бы он посещал меня в моих снах либо по какому-нибудь волшебству, мне стало бы гораздо легче. О мое сердце, о моя душа, почему вы не последовали за ним? Но я не покину тебя, драгоценная тень, я уйду от мира и в одиночестве посвящу тебе дни и ночи. Ох! Что же на свете может теперь поддержать мою жизнь, если я потеряла незабвенного супруга; ведь, пока он был жив, в нем заключался источник и моего существования, а теперь, когда его нет, мне остается лишь ждать смерти! И что же? Разве не лучше мне

умереть теперь ради спасения души и воссоединения с любимым, нежели влачить жалкое беспросветное существование, недостойное хотя бы доброго слова? О Господь всемогущий! За что мне мучения и горести разлуки с возлюбленным супругом? Мне бы только соединиться с ним — это одно снимет тяжесть с души и озарит ее неизъяснимым блаженством! Увы! Он был так красив, так любезен! Совершенен во всем, храбр, воинствен и решителен! Второй Марс и воплощенный Адонис; к тому же он был так добр ко мне, так заботлив! Что говорить, потеряв его, я навсегда лишилась своего счастья».

Так причитают заплаканные вдовы, произнося еще тысячи подобных слов после смерти своих мужей; кто искренне, кто нет — но всегда похоже на то, что я описал; притом одни обращают мольбы к небу, другие проклинают землю, иные возносят хулу на Всевышнего либо обвиняют во всем свет, лишаясь чувств, а то и почти что жизни, упадают без сил, бьются в горячке или же в безумии, рвут одежды и волосы, выходят из себя, перестают узнавать близких и не желают ни с кем говорить. Короче, мне никогда не закончить, если возьмусь перечислять и описывать все хитроумные и лицемерные приемы и ужимки, к коим прибегают они, чтобы выказать, сколь глубок их траур и велико презрение к миру. Не скажу того обо всех, но о многих — очень, очень многих.

Утешители и утешительницы, не заподозрившие здесь игры и произносящие приличествующие речи для их успокоения, зря теряют время. Другие же, видя, что безумица и страдалица плохо исполняет роль, учат ее, как сделать лучше, подобно одной доброй матери, что внушала дочке: «Прикиньтесь, будто лишаетесь чувств, милочка, от этого меньше утомляешься».

И все же вы вскоре видите, как после всех вздохов и метаний, — подобно горному потоку, что, бешено скатившись с кручи, замирает на равнине, или реке, на исходе весеннего паводка возвращающейся в старые берега, — вдовы приходят в себя; и хорошее настроение, свойственное их естественной природе, понемногу вновь приходит к ним, а вслед за тем — и мысль о светских удовольствиях. Вместо черепов и мертвых голов, которые они созерцают написанными на полотне, выгравированными на золоте либо изваянными из камня, вместо видений смертных останков, распростертых с раскинутыми руками либо запеленутых в саван, вместо слез из эмали или агата в золотой оправе либо нарисованных в медальоне вы уже замечаете, что они наказывают художникам изобразить незабвенных мужей в добром теле — правда, и черепа, и слезы все еще тут, но приукрашенные, как маленькие игрушки; наблюдая таковое преображение, словно в маскараде, задаешься

вопросом: ради скорби носят они подобные безделицы или лишь отдавая должное светским приличиям? Но проходит время, и — словно юные птицы, поначалу еще не допущенные в стаю и полегоньку пробующие силы, перелетая с ветки на ветку, — наши вдовушки мало-помалу прощаются с безысходным горем: они сперва лишь изредка показываются в свете, но после, разом скинув с себя траурные одежды — или, как говорят у нас о расстригах, забросив рясу в крапиву, — безогляднее прежнего бросаются в амурные сети и не думают уже ни о чем, кроме второго замужества или подобных услад. Чрезмерные страдания никогда долго не длятся, настоящая печаль чужда неистовых порывов.

Одна прелестная дама из тех, что мне известны, после кончины супруга так бесновалась, крича и стеная, что вырывала клоки волос и раздирала лицо, грудь, замирала, вытягиваясь на постели как могла; а когда ей говорили, что нечего портить столь совершенное лицо, отвечала: «Ах, боже мой! На что мне теперь это лицо, кому на него заглядываться, если мужа более нет со мною?» А месяцев этак через восемь она уже притиралась белилами и испанскими румянами, пудрила волосы — вот какая перемена!

Приведу здесь прекрасный пример подобного же преображения — он касается благопристойной и миловидной эфесской дамы, потерявшей своего мужа и не поддававшейся на утешения и увещевания близких: проводив незабвенного супруга в последний путь, оросив дорогу слезами, смутив небеса и землю своими рыданиями, вздохами, причитаниями, стенаниями и воплями, она — подле усыпальницы, где ему предстояло покоиться, — вырвалась из удерживавших ее рук и бросилась в склеп, клянясь, что не выйдет оттуда никогда и окончит дни свои у тела супруга. И действительно, она провела там два или три дня. Но, по воле случая, в то же время в городе повесили какого-то преступника, а тело отправили за город, на обычное место за городской стеной, где полагалось держать его подвешенным несколько дней, чтобы оно служило предостережением другим, а притом еще и старательно охранять, дабы его не похитили и тайно не захоронили.

И вот некий воин, поставленный с оружием на часах подле казненного, вдруг услышал невдалеке плач, а приблизившись, узрел в склепе нашу даму, прелестную, словно ясный день, всю в слезах; он подошел к ней и принялся расспрашивать о причине такого горя; она поведала ему о своих печалях, он же принялся ее утешать, но не добился ничего путного — и вскоре вернулся снова, а затем и в третий раз, пока наконец слова его не возымели

действия и она не стала понемногу утирать слезы, внимая доводам разума; следствием такого успеха стало то, что воин дважды переходил к решительному приступу, используя ложем могильную плиту усопшего; а после они, поклявшись друг другу в любви, решили пожениться — и с тем счастливец поспешил на свой пост. Но что же он видит: пока он улаживал в склепе свои дела и приблизился к их блаженному завершению, родственники казненного, не найдя у тела охраны, скоренько его сняли и унесли, чтобы не подвергать более позору и поруганию и тем не вредить всему его роду. Увидев недостачу, злополучный страж поспешил к даме и, вне себя от ужаса, сообщил ей, что погиб (ибо закон в те поры карал смертью воина, заснувшего на часах и позволившего украсть тело казненного: в сем случае сторож-недотепа занимал его место в петле) и не ведает, как ему теперь избегнуть роковой кары. Только что утешенная вдова решила уплатить долг благодарности, успокоив своего нового знакомца, и, опасаясь за его жизнь, промолвила: «Не отчаивайтесь, но идите со мной; помогите мне отодвинуть гробовую плиту: мы поднимем моего супруга со смертного ложа и повесим на место похищенного — тогда никто ни о чем не догадается, приняв его за преступника». Сказано — сделано; притом, поскольку осужденному перед повешением отрезали ухо, с усопшим супругом она проделала то же самое, чтобы сходство было полным. Мужи правосудия, явившиеся на следующий день, не заметили ничего подозрительного; так находчивая вдова спасла своего полюбовника, довольно мерзко надругавшись над телом покойного супруга, хотя, как я уже упоминал, так истово оплакивала его и сожалела о потере, что никто бы не мог и помыслить о подобном исходе.

Первый раз я услыхал эту историю от господина Дора, каковой поведал ее доблестному господину де Гуа и еще нескольким собеседникам, обедавшим вместе с ним; господину де Гуа история очень понравилась, и он ее особо отметил, ибо был человеком светским, любившим хороший рассказ и умевшим оценить его по достоинству. После чего, отправившись в покои королевы-матери, он приметил молодую вдову, лишь недавно лишившуюся мужа, с заплаканными глазами и вуалью, спускавшейся чуть ли не до кончика носа, преисполненную горькой печали и на любое обращение к ней отвечавшую отрывисто и кратко. Вдруг господин де Гуа мне сказал: «Приглядись-ка к ней: и года не пройдет, как она затмит эфесскую страдалицу». Что она и сделала — конечно, поступила не столь вопиюще безнравственно, но все же вышла замуж за человека нестоящего, как и предсказал господин де Гуа. То же

мне подтвердил и господин де Бо-Жуайё, камер-лакей королевы-матери и лучший скрипач во всем христианском мире. Он достиг совершенства не только в своем мастерстве и в сочинении музыки, но слыл также весьма тонким остроумцем — и особо был сведущ в прекрасных историях, бывших и не бывших, притом весьма удивительных и редкостных, коими охотно делился с близкими друзьями, а также рассказывал много интересного о самом себе, поскольку в свое время у него случались весьма курьезные любовные приключения, ибо великолепное искусство, острый блистательный ум — небесполезные инструменты в амурных делах и открывают множество дверей. Господин маршал де Бриссак некогда уступил его королеве-матери, еще в пору, когда она сама правила Францией; он прибыл в Париж из Пьемонта с целой артелью весьма искусных скрипачей, звался он тогда Бальтазареном, но затем переменил имя. Он сочинял весьма приятные балеты, которые исполнялись при дворе, и очень дружил с господином де Гуа и со мной. Мы часто беседовали втроем; причем ни разу не обошлось без занимательной истории — в их числе была и та, где шла речь об эфесской даме, как я уже говорил; по его словам, он слыхал ее от господина Дора, а тот, в свою очередь, вычитал у Лампридия; позже я сам нашел ее в «Надгробном слове», книге, без сомнения, великолепной, с посвящением покойному герцогу Савойскому.

Кто-нибудь может заметить, что я прекрасно обошелся бы и без столь пространного отступления. Все так, но мне хотелось сказать несколько слов о моем приятеле, каковой часто приходит мне на память, особенно когда вижу какую-нибудь заплаканную вдовушку. Он в таких случаях приговаривал: «Вот кто нам исполнит роль эфесской дамы, если уже тайком не проделала что-либо подобное». В том трагикомическом происшествии и впрямь есть нечто бесчеловечное, ибо негуманно так надругаться над останками близкого человека.

Сей проступок не сравнить с тем, что, если верить слухам, совершила одна наша современница: по смерти мужа отрезала ему то, что росло посередке — некогда столь любимое ею, — забальзамировала, натерла ароматными мазями и мускусным порошком, заказала для сей драгоценности ларец из позолоченного серебра и хранила будто зеницу ока. Можно представить, как она иногда любовалась ею, оживляя в памяти лучшие из протекших лет. Не знаю, правда ли это, но такую историю рассказали королю, а он поделился ею со многими близкими ему людьми, и я слыхал ее прямо из его уст.

В день святого Варфоломея был убит господин де Плёвио, когда-то несомненно бывший храбрым воином — и во время

Тосканской войны, сражаясь под началом господина де Субиза, и в гражданскую войну, проявив себя под Жарнаком, где командовал полком, и при осаде Ниора. Через недолгое время убивший его дворянин объявил вдове, все еще не оправившейся от слез, но прельстившей его красотой, молодостью и богатством, что убьет ее, если она не выйдет за него замуж, и отправит к покойному супругу. Что делать: на том празднестве царствовали насилие и смертоносный клинок. Бедняжка, спасая жизнь, была вынуждена без перерыва озаботиться и похоронами, и свадьбой. Впрочем, ее-то можно извинить: ведь она — всего лишь хрупкая и слабая женщина, какой у нее выбор, кроме как покончить с собой или подставить прекрасную грудь шпаге убийцы? Однако

Уж все прошло, прекрасная пастушка, —

теперь мы не найдем столь безрассудных и неразумных женщин, каких видим в прошлом; к тому же и святая Церковь запрещает самовольно расставаться с жизнью, что служит вдовам немалым оправданием, ибо — как говорят они, скрывая истинные чувства под удобной маской, — если б не Божий запрет, они бы ушли из жизни.

Та же резня сделала вдовой одну весьма высокопоставленную даму во цвете молодости, красоты и очарования. Над ней, только что овдовевшей, совершил насилие некий известный мне дворянин — и это привело ее в такое отчаяние и забвение себя, что, как полагали, помутившийся ум ее не оправится вовсе. Но протекло время — и она вошла во вкус жизни, к ней вернулись жизненные соки и свежесть, она позабыла о нанесенном оскорблении и заключила новый, весьма выгодный и приятный брачный союз.

А вот еще история в том же роде.

Дама, также овдовевшая в ночь на святого Варфоломея, была так напугана, что, завидя беднягу католика, даже не замешанного в зверствах, бледнела и глядела на него с ужасом и ненавистью, как на воплощение чумы. Париж она объезжала за два лье, ни за что на свете не соглашаясь въехать в столицу: ни ее глаза, ни сердце не могли выдержать зрелища города-убийцы. Да что зрелища! Она даже слышать о нем не желала. Но по истечении двух лет все же решилась, не вылезая из возка, объехать вокруг королевского дворца, — но и речи быть не могло, чтобы ступить на улицу Юшетт, где убили ее мужа; она бы скорее бросилась со скалы наподобие змеи, каковая, по словам Плиния, скорее кинется на горящие угли, нежели под внушающую ей ужас тень ясеня. В ту пору брат короля, потом сделавшийся нашим

государем, а ныне покойный, пошутил, что в своем страхе и растерянности она похожа на испуганную ловчую птицу; ее следовало бы поймать и посадить под колпак, как поступают с дикими птицами в таких случаях. Но прошло немного времени — и тот же брат короля поведал нам, что она сама дала согласие приручиться и премило склонила голову под колпачок без чьего бы то ни было принуждения. Что же дальше? Вот она уже колесит по Парижу вдоль и поперек, не блюдя никаких клятв; а затем однажды, возвратясь в столицу после восьмимесячной отлучки и явившись в Лувр на поклон к монарху, я вдруг вижу, как в залу вступает эта вдова — в богатейших одеяниях и украшениях, окруженная близкими и друзьями — и в присутствии короля, королевы и всего двора готовится обручиться и получить благословение от епископа Диньского, исповедника королевы Наваррской. Представьте мое изумление. Но еще более меня ошеломили слова дамы, ибо она, завидя меня, решила, что я намеренно подгадал объявиться к этому дню, чтобы послужить ей свидетелем на свадьбе (и надо сказать, что я стоял уставившись на нее и не веря глазам), поскольку и ранее был ее верным слугой, а стало быть, годился и на роль ее защитника во мнении других. Она призналась, что готова была бы заплатить десять тысяч экю, чтобы я появился рядом с ней в такой день и сделался адвокатом ее совести.

Я знавал отменно благородную вдову-графиню из могущественного дома, которая поступила так же: будучи истовой и твердой гугеноткой, согласилась вступить в брак с весьма почтенным дворянином-католиком; к несчастью, моровая чума сразила ее и уложила в могилу до свершения обряда. Уже в горячке, погрузившись в мрачное состояние духа, она стенала: «Увы, надо же, чтобы в таком большом городе, преисполненном ученостью, не нашелся ни один доктор, который бы взялся меня вылечить! Пусть бы не скупился на траты: денег у меня много. Или, коль скоро суждено умереть, — так почему хотя бы не после замужества; тогда мой супруг успел бы узнать, как я его люблю и почитаю!» (А вот Софонисба говорила иное: она сожалела, что обручилась прежде, нежели выпила яд.) Так сетовала бедная графиня и произнесла немало подобных жалостливых слов, а потом повернулась на своем ложе лицом к стене и умерла. Сколь велика сила любви, если мысли о ней преследуют и перед самой переправой через Стикс и погружением в реку забвения! Ей так хотелось отведать еще раз плодов страсти, прежде нежели выйти из сада!

Рассказывали мне также об одной смертельно больной даме, которая, слыша, как ее родственники готовятся объявить войну

некоему человеку, весьма преуспевшему в истреблении гугенотов, воскликнула, хохоча: «Вы все совершенные безумцы!» — и так, смеясь, умерла.

Но не только дамы-гугенотки способны совершать столь необычные поступки; известны мне и католички, не уступавшие им и выходившие замуж за гугенотов после того, как многажды предавали неслыханной хуле и проклятиям их самих и их вероучение. Перебирать таковых нет сил, ибо никогда не кончишь. Но, ведая о сем, вдовы должны вести себя благоразумнее и так буйно не безумствовать в первые дни своего несчастья, не метать громы и молнии, не лить потоки слез — чтобы потом разом смолкнуть и насмеяться над недавно принесенными клятвами; лучше меньше говорить, да больше делать. На то они, правда, могут ответить: «Для начала потребно явить миру решимость отомстить за убийство, чтобы негодяи испытали всю меру позора, ну а после что же с меня взять: я достаточно взывала к мести и совести, теперь очередь других, а меня пусть оставят в покое».

Прочитал я в одной маленькой испанской книжке, что Виттория Колонна, дочь того самого великого Фабрицио Колонны и жена несравненного знаменитого маркиза де Пескайре, потеряв мужа, впала в такое отчаяние, что ничьи утешения не могли смирить ее душевную боль. На все древние и новоизобретенные доводы она отвечала: «Чем вы можете меня утешить? Тем, что супруг мой мертв? Вы заблуждаетесь: он не умер, он еще жив и здравствует в моей душе. Все дни и ночи я чувствую, как он снова оживает и готов возродиться во мне». Не было бы слов прекраснее, если бы какое-то время спустя она не распростилась с ним, отправив в дальнейшее плавание по Ахеронту в одиночку, и не вышла замуж за аббата де Фарфа, ни в чем не схожего с великий Пескайре; не стану утверждать, что он уступает ему по древности и благородству рода, ибо происходит из доблестного семейства Орсини, которое не хуже дома д’Авалос; однако достоинства одного и другого мужа невозможно измерить на одних и тех же весах, ибо равного Пескайре не было тогда на свете; правда, и помянутый аббат явил немало доблести, хорошо и верно послужив под началом короля Франциска; но на его пути оказались лишь малые победы и поражения, в то время как блистательное военное поприще другого явлено всем; да и бранное искусство первого супруга, сызмальства приученного к походной жизни, намного превосходило способности человека церковного, поздно занявшегося этим ремеслом. Не подумайте, однако, будто я имею что-либо худое сказать о Господе нашем или же о его служителях, порвавших с монашеским обетом ради

шпаги, ибо немало великих военачальников прошли через это.

Разве, прежде чем стать великим полководцем, герцог де Валентинуа (тот самый Цезарь Борджиа, коего Макиавелли — этот почтенный наставник принцев и государей — приводит как образец и зерцало доблести в пример всем прочим) не был сперва кардиналом? А у нас самих разве не отличился господин маршал де Фуа, доблестный воин и стратег, до того принадлежавший только Церкви и звавшийся протонотарием де Фуа? И маршал Строцци сперва носил сутану, но, ради красной маршальской шляпы, обещанной ему судьбой, сбросил ее с плеч — и взялся за шпагу. И господин де Сальвуазон, о коем уже шла речь, не отставал от него (я хочу сказать, в завоевании воинских почестей и славы) и догнал бы, если бы имел столь славных предков и был в родстве с королевой-матерью; так вот, он не один год влачил за собой подол мантии священнослужителя, а каким воином и полководцем стал потом! И разве маршал де Бельгард не носил сначала квадратную шапочку и не звался урским прево? Покойный граф Энгиенский, погибший в битве под Сен-Кентеном, тоже прежде был епископом, равно как и шевалье де Бонниве. Принадлежал к сословию священнослужителей и галантный господин де Мартиг. Короче, здесь можно назвать целый сонм великих воинов. Не худо бы вспомнить и кое-кого из моих близких — благо я имею для того немалые основания. Например, господина де Бурдея, моего брата, этакого пьемонтского Родомонта, каковой тоже с малых лет был предназначен Церкви, но, когда распознал свое истинное призвание, сменил длинное одеяние священника на короткое — воина, сделавшись одним из лучших и храбрейших капитанов в Пьемонте; он пошел бы далеко и добился подлинной славы, если бы, увы, его не настигла смерть в возрасте двадцати пяти лет!

И в наше время при дворе мы видывали таковых предостаточно — например, маленького аббата де Бон-Пора, вскоре распрощавшегося со своей обителью и прославившегося под именем Клермон-Тайара: он блистал и в армии, и среди придворных, поражая смелостью и благородством, и с честью встретил смерть под стенами Ла-Рошели в первой же нашей вылазке к крепостному рву. Можно было бы назвать еще не одну сотню подобных, но остерегусь. Хотя как не вспомнить о господине де Суйела, прозванном д'Орезоном, в прошлом — епископе из Рийе, а затем получившем полк и с ревностной отвагою послужившем нашему государю в Гиени под знаменами маршала де Матиньона?

Право, я никогда не продвинусь к концу, если называть все достойные имена, — а потому прервусь, дабы не сочли меня

пустым болтуном. Но надобно учесть, что отвлекся я по поводу Виттории Колонны, вышедшей замуж за поименованного аббата. Ей-то бы следовало не торопиться со вторым браком, а продолжать носить свой титул и славное имя Виттория — как знак победы над самою собой, — коль скоро она не смогла отыскать достойной замены, могущей сравниться с ее первым супругом.

Мне известно множество дам, последовавших тою же дорожкой. Одна из них соединилась браком с моим дядей, самым храбрым, предприимчивым и совершенным дворянином, каких только я встречал; а после его смерти вышла за другого, каковой в сравнении с первым выглядел словно осел перед испанским жеребцом, — естественно, на испанского скакуна походил мой дядя. Другая знакомая мне особа согласилась стать женой маршала Франции, видного собой, благородного и мужественного воина; а после его гибели обвенчалась с бывшим священником, вовсе не похожим на него ни доблестью, ни нравом; мало того, всех взбудоражило, что, вновь появившись при дворе, где долго не бывала, она оставила себе имя и титул первого супруга. Нашим парламентам пора бы заняться подобными случаями и выпустить особый закон; ведь известно бессчетное число вдов, поступающих так же, а сие свидетельствует, что они уж слишком презирают второго своего избранника; даже если они совершили ошибку, изменив памяти первого мужа, надо испить до дна избранную чашу и прилепиться душой ко второму.

Когда у некой дамы умер муж, она целый год столь яростно печаловалась, что всякий день видевшим ее казалось, будто она вот-вот испустит дух. Год прошел, настало время оставить полный траур и переменить его на малый. Тут-то она и скажи своей служанке: «Приберите-ка получше этот креп; возможно, он мне понадобится для другого раза». Но тотчас спохватилась и заголосила: «О чем это я? Какие бредни! Нет, лучше смерть, чем новые вечные узы!» Но едва кончился траур, она вышла замуж вторично, хотя новый муж по своим достоинствам далеко уступал первому. «Однако, — говорят в таких случаях женщины, — мой второй супруг из столь же хорошего семейства». С этим можно согласиться, но как же добродетель и честь? Разве их не надо ценить более остального? При всем том меня утешает, что, сделав дело, они недолго празднуют победу, ибо Господь попущает их за это поносить и обижать; тут они начинают раскаиваться, да поздно.

У легкомысленных дам в голове блуждают какие-то такие мысли, зреют столь невероятные побуждения, что нам и понять-то их не дано: к примеру, от одной испанки, пожелавшей вторично

выйти замуж, я услышал превосходный ответ на упреки в измене памяти покойного мужа, нежно к ней привязанного: «La muerte del marido y nuevo casamiento no han de ramper el amor d'una casta muger» (Смерть первого мужа и новый брак не колеблют любви целомудренной женщины). Попробуйте мне сие растолковать, если у вас получится! Другая испанка еще лучше объяснила, почему надобно соглашаться на второе замужество: «Si hallo un marido bueno, no quiero tener el temor de perder lo; y si malo, que necesidad he dél?» (Ежели я найду хорошего мужа, не желаю опасаться его потерять; а если он плох — какая надобность таковым обзаводиться?)

Когда римлянка Валерия потеряла своего мужа, то на утешения подруг ответствовала: «Конечно, для вас он мертв, но для меня — жив и будет жить вечно». Маркиза, о коей я только что упоминал, позаимствовала такие слова у нее. Однако подобные речи добропорядочных вдов не согласуются с тем, как говорит о них один испанский остроумец; «que la jomada de la biudez d'una muger es d'un dia» (что у женщин первый день вдовства становится последним). А как я слыхал, госпожа де Моннен — жена королевского наместника, убитого в Бордо чернью, взбунтовавшейся против соляного налога, — поступила еще хуже. Когда ей донесли, что муж убит, и описали подробности, она вскричала: «О мой бриллиант, что с тобой сделали?!» Драгоценный камень она подарила супругу как залог своего согласия на брак — он стоил тогда тысячу двести экю, — и господин де Моннен всегда носил его на пальце. Своим восклицанием эта дама дала понять, о чем она более горюет: о гибели мужа или о дорогой безделице.

Госпожа д'Этамп, пользовавшаяся особым покровительством короля Франциска и именно поэтому не снискавшая любви собственного супруга, ответила некой вдове, приступившей к ней с причитаниями в надежде разжалобить ее своим горем: «Ах, милочка, сколь вы счастливы в своем положении, ведь не всякой дано овдоветь», — настолько страстно она этого желала. Так думают многие, хотя и не все.

Но что сказать о вдовах, скрывающих свое второе замужество, не желая, чтобы свет о нем прознал? Видел я одну такую — она утаивала новый брак семь или восемь лет, уверяя, что делает это из опасений: ее молодой сын был одним из самых храбрых и благородных людей на свете, и она не ведала, что он способен сотворить с нею и с ее мужем, хотя тот был одним из достойных вельмож. Однако новый ее супруг вскоре погиб в военной стычке, покрыв себя славой, — и тотчас она открылась и оповестила всех о своей утрате.

А другая вельможная вдова сочеталась браком с очень знатным принцем и сеньором более пятнадцати лет назад, но до сих пор свет не ведает о сем — так хорошо они сохранили все в тайне; поговаривают, что новый супруг этой дамы побаивался ее свекрови, женщины весьма властной и не желающей, чтобы невестка снова выходила замуж, из-за малых детей от первого брака.

Еще одна весьма высокопоставленная особа, недавно умершая, тайно сочеталась браком с весьма незавидным дворянином, и двадцать лет — до самой ее смерти — никто ничего не проведал. Вот как можно все устроить!

Однажды при мне зашел разговор о госпоже де Шатийон, родовитой сеньоре из древнего семейства, на которой был женат покойный кардинал Дю Белле, оставаясь при всем том епископом и кардиналом. Она сама рассказала об этом господину Дю Манну, провансальскому дворянину и фрежюсскому епископу, происходившему из семейства Санталь, каковой более пятнадцати лет служил господину Дю Белле, будучи при римском дворе одним из его вернейших протонотариев. Придя однажды к провансальцу, она его прямо спросила, поведал ли ему названный кардинал, что он женат? Вообразите удивление господина Дю Манна. (Он еще жив и может подтвердить, что я не лгу, ибо присутствовал при их свидании.) Тогда он отвечал, что не слышал о том ни слова ни от покойного господина Дю Белле, ни от кого-либо другого. «Так знайте же хоть теперь, — настаивала она. — Ибо истина в том, что он был на мне женат и умер, пребывая в браке». Уверяю, что никогда так не смеялся, как в тот раз, видя, сколь был ошарашен благонамереннейший господин Дю Манн, человек очень совестливый и набожный, думавший, что посвящен во все секреты своего покойного покровителя, но тот остался для него крепким орешком, и протонотарий очень возмутился, услыхав о таком посрамлении святого сана.

Эта госпожа де Шатийон овдовела, потеряв господина де Шатийона, каковой был полновластным гувернером малолетнего Людовика VIII, вместе с Бурдийоном, Гайо и Бонневалем опекая разум и волю отпрыска королевской крови. Умер он в Ферраре, где его пытались излечить от раны, полученной при осаде Равенны. Дама эта осталась смолоду вдовой, была прекрасна собою и, по видимости, добродетельна (ибо никто не заподозрил о тайном браке), — а посему попала во фрейлины к покойной королеве Наваррской. Именно она подала прекрасный совет знатной принцессе — он приведен в сочиненных королевой «Ста новеллах» — не жаловаться брату на того ловкого дворянина, что ночью через отверстие в полу пробрался в ее опочивальню,

помышляя об амурной победе, но удостоился лишь добрых царапин, избороздивших его красивое лицо; это примечательное поучение можно прочесть в одной из новелл; в нем она весьма разумно, красноречиво и с немалой опытностью наставляет, как избежать позора и шума, произнеся речь, достойную главы парижского парламента; прочтя ее, уже не стоит вопрошать себя, как эта дама сумела сохранить в тайне свою связь с кардиналом. Моя бабка, супруга сенешаля Пуату, получила место фрейлины после его смерти по решению короля Франциска, избравшего ее, отправившего гонца к ней в дом и своей рукой препоручившего своей коронованной сестре, почитая одной из самых благоразумных и благонравных и называя ее «мой безупречный рыцарь», ибо знал, что она не так хитра и искусна в проделках, как предшественница, и не помышляет о втором замужестве. А новелла та, ежели хотите знать, касается самой королевы Наваррской и адмирала Бонниве, о чем мне поведала моя покойная прародительница; хотя мне тоже кажется, что названной королеве незачем было раскрывать ни свое имя, ни имя посрамленного кавалера (ведь ее коронованный брат мог счесть, что целомудрию сестры нанесен урон), а потому совет фрейлины воистину уместен и благоразумен — в чем всякий, кто прочтет книгу, может убедиться сам. И сдается мне, что кардинал, супруг госпожи де Шатийон, — один из остроумнейших, ученейших и красноречивейших людей Франции, обладавший немалой опытностью, — передал и своей негласной половине частицу своей премудрости, каковой она отменно воспользовалась. Вся эта история выглядит несколько непристойной, если принимать во внимание святость церковного сана и занятий господина де Шатийона; но хорошо уж одно: то, что он сумел ее укрыть от света.

Зато другому кардиналу, брату покойного, это не удалось; но тут уж он сам раскрыл свои карты и не стал прибегать к обману, но также умер женатым, хотя не покинул ни мантии, ни красной шапки. С одной стороны, его может извинить то, что он крепко держался реформатской веры, с другой — что не помышлял терять столь важное положение, ибо кардинальский титул позволял ему участвовать в Совете и там служить благу своей веры и своим соратникам, с чем он хорошо справлялся, ибо обладал немалой властью, влиянием и был богато одарен от природы.

Думаю, что господин кардинал Дю Белле мог бы поступить подобным же образом, поскольку в те времена сильно склонялся к Лютерову вероучению, каковое тогда было в большой силе при французском дворе, — ибо всякая новинка первоначальна

привлекает к себе; а названное учение побуждало всех, в том числе и облеченных церковным саном, к брачным узам.

Однако же оставим сих почтенных господ из уважения к их священным одеяниям и пасторскому сану, обратясь вновь к нашим вдовам, кои, не сносив в трауре и пары туфель, облачаются в торжественные брачные одежды. Не столь давно некая особа, пережившая трех мужей, вышла в Гиени замуж за четвертого — довольно сановитого, — имея от роду восемь десятков лет. Понятно, почему ей предложил руку сей дворянин: она была богата, имела много владений и денег; но не ведаю, для чего это понадобилось ей; разве что для того, чтобы последний раз кутнуть под лавровым венцом, как говаривала мадемуазель Севен, шутиха королевы Наваррской.

А еще одна известная мне особа в свои семьдесят шесть лет вступила в брак с дворянином, во всем уступавшим ее первому супругу; прожила до ста и сохранила красоту, ибо была известнейшей чаровницей той поры и, говорят, умела прекрасно распорядиться своим вечно юным и прелестным телом — и до замужества, и в браке, и во вдовстве.

Вот какая испепеляющая страсть может заключаться в женщине! Так, опытные булочники объясняли мне, что старую печь легче разогреть, чем новую; а разогревшись, она лучше держит тепло и дает более вкусные хлебы.

Мне неведомо, какие вожделения могли они внушить своим непутевым мужьям и возлюбленным, но известно множество светских кавалеров, влюблявшихся в престарелых красавиц и предпочитавших их молодым; впрочем, считается, что так можно извлечь для себя немалую выгоду. Но некоторые пылали жаркой любовью, не помышляя о кошельке, а только о телесных усладах, как то происходило некогда на наших глазах с одним монархом, со всем пылом преклонявшимся перед пожилой вдовой — презрев и жену, и прочих дам, — не помышляя ни о ком, кроме нее. Но в сем он не ошибался, ибо его страсти удостоилась самая любезная и прекрасная дама из всех, кого я видел: ее зима стоила весны, лета и осени всех прочих. Те, кто имел дело с итальянскими обольстительницами, и прежде, и теперь выбирают самых знаменитых и древних, которые дольше занимались многотрудным этим ремеслом и всегда имеют про запас новые приятности и для тела, и для души. Вот почему несравненная Клеопатра, вняв страстным призывам Марка Антония, не беспокоилась о своих годах, ибо, сумев ранее завоевать сердца Юлия Цезаря и Гнея Помпея, сына великого Помпея, когда была еще почти девочкой и не знала, как себя вести и в свете, и в объятиях героя, она легко привязала к себе мужиковатого воина,

так как была в расцвете лет и понимания любовной науки. А посему, если говорить начистоту, хотя молодые самой природой вроде бы созданы для любви, зрелые жрицы — имея и разум, и опытность, и красноречие, и навык — способны, если постараются, их обойти.

Некогда я пытался разрешить свои сомнения, спрашивая у докторов, прав ли тот, кто утверждает, что можно прожить в здравии, если не притрагиваться к старухам, согласно известному медицинскому изречению: «Vetulam non cognovi»[74]. Одни вспоминали похожие речения, например: «На старом гумне лучше молотить, но древний цеп в работу не годится». Другие замечали, что «в скотине не возраст важен, а то, как она тянет лямку». По опыту же своему они встречали столь горячих и терпких, что диву давались, как тем удается закрючить молодца — и воспламенить его, и высосать, вытянуть из него все жизненные соки, и выпить его до дна, чтобы самим не высохнуть без оных. Помянутые врачи порассказали мне много и другого, но слишком любопытных я отсылаю к ним, пусть у них самих и выведывают.

Знал я одну высокородную пожилую вдову, каковая менее чем за четыре года извела и своего третьего мужа, и кавалера, одарившего ее своей страстью; она отправила их в могилу, не прибегая ни к яду, ни к какому иному способу убийства, а высосав из них все семя. Но при взгляде на эту даму никто бы не догадался, что она способна на подобный подвиг, ибо на людях она выглядела более чем скромно и даже не желала переодеть рубашку на глазах у служанок, дабы никто не узрел ее прелестей, ни мочиться в их присутствии; однако, как выразилась какая-то ее родственница, все свои жеманные ухватки она приберегала для прислуги, а не для мужей или галантных угодников.

Но что здесь такого? Почему считается более зазорным и прельстительным иметь поочередно двоих, троих и даже пятерых мужей, чем всего лишь одного за всю жизнь, но к нему вдобавок сердечного дружка, а то и целых троих, как многие на вид весьма сдержанные и приличные особы, известные мне? По поводу сего одна высокопоставленная светская дама при мне заметила, что не делает различия между женщиной, имевшей много мужей, и той, что имела одного, но жаловала еще и нескольких любезных кавалеров — ибо брачный покров многое способен укрыть от глаз; а что до чувственности и сластолюбия, то одно другого стоит, ибо, как гласит испанская пословица, «algunas mugeres son de natura de anguilas en retener, y de lobas en excoger», что значит: «некоторым женщинам так же трудно удержать вас, как угря, и должным образом выбрать, как волка», — ибо угорь очень скользок, а в волчьей стае волчица всегда избирает самого

уродливого самца.

Однажды при дворе, как я уже упоминал, некая довольно-таки важная особа, четырежды бывшая замужем, поведала мне, что отобедала со своим деверем, оставив мне догадываться, кто это был; все это она мне наивно так пересказала, я же не без лукавства спросил: «Да какой же, черт возьми, кудесник способен это распознать? У вас от четырех-то мужей этих деверей пропасть немереная». На что она возразила: «Какая дурная мысль вам пришла в голову?» — и назвала имя. «Вот так-то лучше, — заметил я. — А то вы не совсем ловко выразились».

Много веков назад жили в Риме одна матрона, переменившая, одного за другим, двадцать двух мужей, и некий римлянин, потерявший двадцать одну жену; так вот, они решились соединиться, после чего супругу удалось пережить свою половину, за что его все жители весьма почитали, а достойную эту победу ознаменовали торжественным празднеством, во время которого его возили на триумфальной колеснице, увенчанного лавровым венком, с пальмовой ветвью в руках. Ибо действительно он совершил невозможное!

А при дворе короля Генриха II подвизался некий сеньор де Барбазан, которого звали Сент-Аман; так вот, он женился трижды подряд. Его третьей женой стала дочь госпожи де Монши, домоправительницы герцогини Лотарингской; она оказалась воинственнее предшественниц и одержала верх, хотя и очень металась и изводилась, переживая свою потерю, на что господин де Монпезак, всегда готовый проронить острое словцо, объявил, что следовало бы не жалеть ее, а расхваливать повсюду, громогласно возглашая о ее виктории, ибо побежденный, как утверждали, был от природы мощен, крепок, хорошо кормлен и уходил-таки двух своих первых суженых самым расприятным образом; она же, не сдавшись в брачном поединке, украсила себя победой над воинственным и доблестным героем постельных ристалищ — за что ей честь и хвала!

Подобную же максиму я слышал из уст одного принца королевской крови; тот тоже не делал различия между женщиной, имевшей трех-четырех мужей, и жрицей любви, претерпевшей в свой черед столько же галантных любезников, одного за другим: разница лишь в том, что одна прикрывается браком, а другая нет. Так, когда некий знакомый мне любитель женского пола женился на вдове, имевшей до того троих мужей, известный наш острослов отпустил по его поводу следующее замечание: «Наконец он женился на потаскухе, сумевшей не выйти за пределы хорошей репутации». А по-моему, женщины, выходящие по многу раз замуж, похожи на того скупого хирурга, который не

желает долечивать рану из боязни, как бы ему не перестали платить. Что ему мучения бедняги, если это поможет выжать из него еще несколько мелких монет! Так, одна из подобных охотниц за мужьями говаривала мне: «Нельзя останавливаться на полпути, надобно идти до конца».

Меня удивляют женщины, которые так неистовствуют, торопясь снова выйти замуж; притом некоторые искусницы еще употребляют особые укрепляющие и разогревающие снадобья, чтобы их жар не утих. Ведь добиваются-то они как раз обратного: по их же словам, горячительное питье портит желудок. Попалась как-то мне на глаза старинная итальянская книжица — впрочем, преглупая, — в которой давались всякие советы и предлагались лекарства против мук похоти, числом тридцать два; но они настолько пустячны, что я бы остерег наших дам ими пользоваться, а то еще повредят себе, подвергая тело и дух слишком большой опасности. Потому и не переписываю ни строки оттуда. Плиний упоминает о подобном же ухищрении, бывшем в особой чести у весталок, но не вызывавшем пренебрежения и у прочих афинских матрон, которые пользовались им во время празднеств в честь богини Цереры — называемых фесмофориями, — чтобы охладить свой пыл и, избыв любовное томление, провести сей праздник в целомудренном воздержании; для такой надобности они спали на подстилке из листьев растения, называемого agnus castus. Однако уверен, что, как только назначенные дни проходили, те же матроны с удовольствием вышвыривали охапки «ангельской зелени» куда подальше.

Я видел подобное дерево в одном из домов Гиени, принадлежащем весьма высокопоставленной и очень красивой даме; она часто показывала его проезжим, навещавшим ее, чтобы полюбоваться на сию великую редкость. Она рассказывала им о его назначении — но пусть меня черти в аду замучают, если я когда-либо видел, чтобы хоть одна наша соотечественница попросила себе хотя бы веточку, чтобы сделать малюсенькую подушечку! Ни единого раза! Даже владелица этой редкости не прибегла к ее помощи, хотя могла распоряжаться ею по своей прихоти. Последнее очень печалило ее супруга, но она желала оставить все на попечение собственной природы, тем более что была необыкновенно хороша собой и приятна и происходила из очень знатного рода.

По правде говоря, подобные суровые и строгие предписания надо оставить бедным монахиням, каковые, несмотря на посты и умерщвление плоти, часто изнемогают от искушений нечистого; несчастные, ежели бы им дать немного свободы (по крайней мере,

некоторым), повели бы себя подобно светским прелестницам и поддались освежающему чувству. Да и без того часто им есть в чем каяться — как одной из римских куртизанок, о которой мне известна довольно забавная история. Эта особа решила постричься в монахини; так вот, перед ее уходом от дольнего мира к ней зашел проститься один ее знакомый французский дворянин; как только он ее увидел — взыграла в нем страсть; и все произошло к их обоюдному согласию, но она ему сказала: «Fate dunque presto: ch'adesso mi verranno cercar per far mi monaca, e andar al monasterio»[75]. Надо полагать, что таким образом она решила перед постом собрать последние крошки со стола, а на прощание произнесла: «Tandem haec olim meminisse juvabit» (Вот здорово, будет о чем вспомнить напоследок). Какое начало святого деяния и сколь отдохновительно будет раскаяние! Но когда все уже позади, мне кажется, подобные особы живут и питаются раскаянием более, нежели пищей земной и духовной. К тому ж многие умеют и помочь себе в горестной своей участи, благо теперь к этому относятся не так сурово, как в Древнем Риме, где весталок приговаривали за прелюбодеяние к ужасной и позорной казни. Но ведь то случалось среди язычников, еще не освободившихся от природной жестокости, свойственной дикарям. Мы же, христиане, должны следовать человеколюбивым заветам Христовым и прощать, как Он прощал. Я бы мог описать пытки и казни римлян, но ужас и отвращение сковывают мое перо.

Итак, оставим же в покое несчастных наших затворниц, ибо в своем заточении они без того терпят немалые беды, как о том заметила одна испанская дама, когда при ней постригали в монахини некую весьма достойную и прелестную собой девицу: «O tristezilla, y en que pecasteis, que tan presto vienes à penitencia, y seys metida en sepultura viva!» (О бедняжка, в чем вы так согрешили, что столь резво идете навстречу раскаянию и обрекаете себя на погребение заживо!) Но затем, видя, как привольно живут святые сестры, узнав об их обильных трапезах и светских развлечениях, она призналась, «que todo le hedia hasta el encienso de la yglesia» (что ей понравилось все, вплоть до церковного ладана).

Недаром Гелиогабал издал особый закон, запрещавший принуждать к непорочности любую невинную римскую деву, даже весталку, объявив, что женщины столь легко теряют разум в делах любовных, что их от этого оберегать — пустая докука. А посему те, кто решается основывать особые приюты для того, чтобы кормить, воспитывать и выдавать замуж незадачливых девушек, совершают богоугодное дело, ибо это позволяет

бедняжкам вкусить сладкого плода замужества и уберегает от распущенности. Вот и у Рабле Панург потратил много своих денег, устраивая подобные свадьбы, и даже старался для пожилых дурнушек, ибо, чтобы пристроить их, нужно больше затрат, нежели для молодых.

Мне бы хотелось, чтобы какая-нибудь дама, уже проделавшая славное путешествие во второе замужество, поделилась со мной и разрешила мучающий меня вопрос: как обходятся вдовы с памятью о прежних мужьях? Конечно, существует на сей предмет изречение, гласящее, что подобно тому, как последняя дружба и привязанность заставляют забыть о первых, так и второй брак хоронит предыдущий. На сей предмет у меня есть пример, правда не бог весть какой, не поручусь, что рассказу этому вполне можно верить; но и отбрасывать его негоже — ведь говорят же, что под самым неприглядным и низким обличьем таятся подчас немалое знание и мудрость. Однажды некая вельможная сеньора из Пуату спросила у тамошней крестьянки, сколько у той было мужей и как она с ними обходилась. Та ей неуклюже поклонилась, на манер всех поселян, и без робости отвечала: «Скажу по чести, сударыня, было их у меня, слава Создателю, двое. Первого звали Гийом, а второго Кола. Гийом был человеком незлым, зажиточным и со мной очень хорошо обращался. Но Кола, прости господи его душу, управлялся лучше некуда». И она произнесла тут слово, начинающееся с известной буквы, не скрывая его и не приукрашивая, как приходится мне. Так вот, второго своего супруга эта чертовка поминала в своих молитвах еженощно — и за дело: уж очень лихо он ее ублажал; о первом же — niente, молчок. Полагаю, что, подобно ей, думают все, сокрушающиеся о потере и чающие новых мук; ибо кто лучше играет на своей флейте — того и помнят дольше. И посему, вероятно, второму приходится очень неистовствовать, чтобы о первом — молчок; да, не у каждого находится подходящая отмычка: бывает, что за дело берется такой тщедушный, хилый и потасканный, что по нему сразу видно: не туда он поместил свое добро; однако об этих последних, коих великое множество, мне и говорить не хочется.

Мы можем прочесть у Плутарха, что Клеомен, без памяти влюбившись в прекрасную Агиатис, вдову Агиса, пленявшую всех своей красотой, взял ее в жены. Зная, что она чрезвычайно грустит о своем покойном супруге, он так сострадал ей, что стал испытывать нечто вроде признательности за то чувство, которое она питала к покойному… и сам нередко старался оживить его, выспрашивая жену о ее прежней жизни и о тех удовольствиях, которые она и его предшественник испытали вместе. Но ему не удалось прожить с неутешной супругой долго, поскольку она

умерла, оставив его в великой скорби. И многие мужья поступают так же, когда вторым браком за них выходит уже побывавшая замужем женщина.

Мне кажется, впрочем, что на сем предмете пора ставить точку теперь же — либо никогда. Однако немало женщин уверяют, что их второй муж оказался гораздо более первого достоин любви. «Тем более, — заметила мне одна из них, — что обычно первого избирает нам монарх либо монархиня или же мы вынуждены выйти за него по принуждению родителей и опекунов, а не по своей воле. Напротив, во вдовстве мы уже ни от кого не зависим и можем выйти замуж по собственной склонности, ради милых сердцу и нашему естеству удовольствий, следуя причудам любви и в полном согласии со своей чувствительной душой». Конечно, в этом есть резон, если не случается, по известной старинной поговорке, что «любовь сперва кольцом замыкается, а потом ножом рассекается», — и каждый день приносит нам примеры, что сложили ее не зря. Действительно, бедные женщины полагают, что их новые суженые, коих они нередко избавили от нищеты и прозябания — а то и от тюрьмы либо виселицы — и подняли до себя, станут платить им добром, а те их костерят на чем свет, поколачивают, вообще относятся к ним хуже некуда; а подчас еще норовят укоротить их и так не долгий век; вот здесь-то небеса и напоминают о Божьей каре за то, что не ценили первых своих супругов, относившихся к ним по-доброму, и поносили их как бог на душу положит. В своей недальновидности они вовсе не похожи на ту особу, которая, рассказывают, в первую же брачную ночь — когда новый благоверный приступил уже к решительной осаде — вдруг среди страстных стонов завздыхала, залилась слезами — и явила ему как бы лето и зиму в единое время. Удивленный молодожен вопросил, что же ее так опечалило: неужто ратный его подвиг не пришелся ей по вкусу. А она ему отвечает: «Увы, пришелся, и даже очень! Но вспомнился мне сейчас мой первый; он ведь так молил меня не выходить снова замуж после его смерти, а сжалиться над малолетними чадами и помышлять о них денно и нощно. Я же, не без вашего участия, сбилась с верного пути. Увы, увы мне! Я прямо вижу, как он глядит на меня с небесной высоты и насылает на мою голову проклятия». Ну и нрав был у легкомысленной сей особы, что она не поразмыслила обо всем этом заранее, а всполошилась лишь после того, как поворотить уже нельзя. Но новый муж ее не преминул утешить — и загнал скорбные мысли так глубоко, как смог, известным всем нам манером, а на следующий день распахнул окно спальни и выбросил наружу все, что напоминало о покойнике; недаром

старая пословица гласит: «Женщина, похоронившая одного мужа, не торопится отправить за ним второго», и еще говорят: «У вдовы хоть лицо и грустно, а на душе — пусто».

А еще мне была известна одна весьма вельможная вдова, которая в подобном же положении и не подумала плакать: и в первую, и во вторую брачную ночь они с новым мужем так расстарались, что остов кровати не выдержал и рассыпался; а еще у нее распух и загноился сосок; но ничто не могло унять их пыла, при том что рассказы ее о глупости и бестолковости прежнего мужа только раззадоривали нового. И я не раз слыхал, что ничего так не раздражает свежеиспеченного супруга, как повесть о достоинствах, добродетелях его предшественника, — это пробуждает у него ревность к несчастному усопшему, словно тому теперь есть дело до нашего бренного мира; а вот брани вдогонку умершему они внимают благосклонно. Ежели и достает у них решимости, как у Клеомена, напоминать о том, кого они заместили, — то лишь тогда, когда сами они чувствуют себя в достаточной силе и надеются затмить покойного в исполнении сладчайшего супружеского долга. Дамы же, как мне нередко доводилось слышать, подбадривают новых своих избранников, уверяя их, что прежние так и остались жалкими подмастерьями в сем благородном ремесле; и подобные слова поселяют мир в душе мужа-соперника. Но подчас супруг слышит и нечто обратное; но говорится это, чтобы его пуще раззадорить и превратить в яростного жеребца, готового разнести стойло в щепки.

Некоторым вдовым женщинам было бы хорошо на острове Хиосе, самом прекрасном и благодатном во всем Леванте; некогда им владели женевцы, а ныне вот уже тридцать пять лет, как его захватили турки, что для христианского мира большой урон и великая неприятность.

Так вот, на этом острове, как я знаю от женевских купцов, обычай требует, чтобы женщина, оставшаяся вдовой, платила особый налог, называемый там argomoniatico, что значит (да простят меня дамы) «за бесполезный и пустующий передок». То же было и в Спарте, по свидетельству Плутарха, при правлении Лисандра; там налагалась пеня на тех, кто не выходил вторично замуж либо делал это поздно или неудачно. А у побывавших на Хиосе я любопытствовал, на чем основан тамошний престранный обычай, — и мне отвечали: дабы пополнить население острова. Уверяю вас, что по вине наших вдов благословенная Франция не обезлюдела бы и не захирела никогда — ибо очень многие тотчас вышли бы замуж, чтобы не платить за простаивающий без употребления передок. А если и не в браке, то иным образом он беспрестанно был бы у них в работе и, уповаю, усердно

плодоносил. И девицы наши постарались бы законным порядком уклониться от платы, вносимой юными хиосскими и в городах, и в селах, ежели до венца они потеряли невинность, но желали бы продолжать свое веселое занятие: им достаточно было один раз заплатить дукат капитану ночной стражи (небольшая цена для такого дела, уверяю) — и они получали право всю оставшуюся жизнь беспрепятственно и безопасно предаваться любовным усладам. Полученные же дукаты служили главным и чуть ли не единственным подспорьем предприимчивым капитанам во время их службы.

Теперешние жительницы Хиоса совсем не походят на тех, что населяли его в древности и, по описанию Плутарха, слыли столь целомудренными, что за семь сотен лет там не слыхали о том, чтобы замужняя женщина впала в грех прелюбодеяния либо девица потеряла невинность. «Чудеса!» — как возгласил бы старик Гоменец. Надо полагать, за столько лет они сильно переменились.

Греки никогда не обходились без нововведений, поощряющих любострастие. Так, древние авторы полагают, что на Кипре прелестная и доброжелательная Венера, покровительница острова, ввела в обычай, чтобы девицы прогуливались по морскому берегу и доступностью собственного тела завлекали в свои сети будущих мужей — прохожих странников, рыбаков и моряков, каковые часто отклонялись от избранного пути и причаливали туда в поисках развлечений, щедро платили за них и уплывали, но некоторые сохраняли в сердце тоску по красавице и возвращались; таким путем пригожие девушки заполучали супругов — богатых и бедных, красивых и не слишком, знатных и худородных, вскорости или не слишком быстро, — по собственным статям и разумению.

Ныне нигде в христианском мире девицы ради уловления женихов не прогуливаются, подвергая свою белоснежную кожу и нежную плоть палящему зною и ночной прохладе, в слякоти и в пыли, — ибо такие занятия слишком утомительны и вредны, но отправляются в богатые летние шатры, в места гуляний и под роскошную сень парковых куртин, чтобы там принимать от обожателей и соискателей руки дары и знаки почтения, не платя никому пени. Я не имею в виду римских куртизанок — им-то платить приходится, — но особ рангом повыше. Бывает, что отцы, матери и братья не имеют забот о том, как скопить на богатое приданое, а сами подчас одолжаются у ожидающей замужества девицы; да к тому же собирают урожай титулов, должностей и почестей, коим обязаны только ей. Таковых я на своем веку повидал немало. А вот Ликург когда-то издал закон, по коему

дочерей выдавали замуж без приданого, чтобы при заключении брака в расчет принималось не будущее богатство, а добродетели невесты. Но каковы были тогда добродетели? Ведь на веселых празднествах сии юные особы прилюдно пели и танцевали с молодыми людьми на торговых площадях и соревновались в борьбе; так о какой же добропорядочности здесь могла вестись речь? Отнюдь не своим добронравием зрелище женских прелестей и красивых телодвижений танцующих привлекало толпу; а еще более она распалялась, когда юнцы и девицы состязались между собою в борьбе, особенно ежели под конец, изнемогая от усталости, состязающиеся валились вперемешку, как сказано в латинской поговорке: «Illa sub, ille super; ille sub et illa super» (Она внизу, он наверху, она наверху, он внизу). И как после этого верить книгам, утверждающим, будто бы спартанские девы были исполнены достоинства? Думаю, здесь никакое целомудрие не устоит: после мелких дневных стычек начинались, должно быть, большие ночные любовные побоища. В подтверждение читаем у того же Плутарха, что помянутый Ликург разрешил тем, кто обладал красотой и силой, одалживать чужих жен — и перепахивать их, как добрую землю для будущего урожая; при том что не только старому и слабосильному мужу было позволено, по своему выбору, препоручать жену более молодому ухажеру, но и сама женщина имела право, по своему разумению и склонности, прибегать в этой работе к помощи ближайшего родственника своего благоверного, чтобы потомство, по крови, принадлежало тому же мужнину семейству. Но в таком законе, по крайней мере, есть некоторый резон; вот и у евреев в их уложении было нечто подобное о браках деверей и невесток. Однако наши христианнейшие Святые Отцы отменили подобные обычаи, хотя верховный понтифик и выдает подчас, по разным причинам, разрешения на браки между близкими родственниками. В Испании они очень часты, но каждый раз надобно разрешение Церкви.

Засим поговорим, но с елико возможной краткостью, о других вдовах, — а там и конец.

Есть особая порода вдовиц, не только не стремящихся к браку, но избегающих его, словно чумы; так, одна премилая собой благородная особа, наделенная немалым умом, ответила на мой вопрос, не угрожает ли ей еще раз своими сетями Гименей: «Судите сами, будет ли мечтать невольник или пират, даже самый негодный и ни к чему не способный, чтобы его вновь приковали к галерной скамье и дали в руки весло, если впереди у него замаячила свобода и ему уже не грозит корсарская плеть? Вот так же и я, пробыв долгие годы в мужнином рабстве, какого я

должна быть о себе мнения, если снова дам заковать себя в кандалы, в то время как теперь я свободна и вольна делать то, что мне нравится?» Другую достойную даму, мою родственницу, я как-то, не обинуясь и не прибегая на басурманский манер к иносказаниям, спросил, не разбирает ли вновь ее охота к брачным узам. «Да нет, — поправила она меня. — Разбирает охота к прочному уду», имея в виду, что поименованный уд может принадлежать отнюдь не супругу, ибо, как гласит старая французская пословица, «любовь прилетает, а муж пригнетает»; меж тем как женщина, известно, — везде желанная гостья и повелительница, когда своему чувству хозяйка; по крайней мере, так говорит старинная мудрость — разумеется, имея в виду тех, кто хорош собой.

А другая, как мне поведали, почувствовав, что ее кавалер пытается закинуть крючок, выспрашивая, не желает ли она вторичного замужества, воскликнула: «Ах, не говорите мне о муже, с меня хватит первого! Но вот насчет милого друга — не зарекаюсь». — «Так позвольте мне стать этим другом, если не суждено быть вашим суженым!» — взмолился ее собеседник. «Что ж, служите мне достойно и укрепляйтесь надеждой, — отозвалась она. — Тогда, возможно, вам удастся из первого стать вторым».

А одна достойнейшая прекрасная вдовица тридцати лет, имея в мыслях поразвлечься с неким благородным кавалером и склонить его к первому шагу, отправилась с ним на верховую прогулку; но, когда он помогал ей сесть на лошадь и рванул на себя полу накидки, зацепившейся за какой-то гвоздь, так, что ткань надорвалась, — дама со смехом промолвила: «Ну вот, что же вы наделали! Вы порвали мне весь перед». На что ее спутник тотчас нашелся ответить: «Какая жалость! Я вовсе не хотел причинить вашему передку никакого урона, ведь он такой милый и прелестный!» — «Как вам об этом знать? — удивилась она. — Ведь вы его никогда не видали!» — «Бог с вами! — воскликнул он. — Вы не можете отрицать, что я видел его сотни раз, когда вы были еще совсем маленькой девчушкой. Разве вы не помните, как я задирал вам подол и любовался им?» — «Ах, — вздохнула она. — Он тогда был еще безбородым юнцом и пребывал в застенчивом уединении, не сведя знакомств в свете. А теперь он обродел и так возмужал, что вы бы его не признали». — «Но все же, — возразил ее спутник, — он обитает все там же и не переменил места. Думаю, что, ежели постараться, его можно отыскать». — «Да, — согласилась она. — Но мой супруг обходился с ним решительнее и грубее, чем Диоген со своей бочкой». — «Пусть так, — признал находчивый дворянин. — Но на что похоже теперь сие обиталище без жильца?» — «На

незаведенные часы», — с притворной грустью вздохнула дама. «Тогда берегитесь, — предостерег ее повеселевший кавалер. — Ведь с такими часами может случиться самое неприятное: когда они долго стоят, пружина в покое ржавеет — и через какое-то время они уже ничего не стоят». — «Всякое сравнение, — возразила его собеседница, — справедливо лишь отчасти, ибо те пружины, что вы имеете в виду, не подвержены никакой порче и их можно взвести в любой час». — «Ах! — воскликнул счастливец. — Да будет угодно Господу, чтобы тем работником, что их снова заведет, или часовщиком, что подправит, буду я!» — «Скоро праздник, — рассмеялась дама, — так мы согрешим и займемся работой в неурочное время, чтобы посмотреть, цел ли механизм. И пусть Господь поразит меня, если совру, когда скажу, что никто мне не любезен для этой надобности более, нежели вы». И при этих словах, при всей их легкомысленности проникших ему в самое сердце, она весело рассмеялась, от души поцеловала его и пришпорила коня, крикнув: «До скорого свидания, и приятного вам аппетита!» Но несчастная судьба скоропостижно свела ее в могилу всего через каких-нибудь полтора месяца, а ее обожатель чуть не умер от отчаяния, ибо ее кокетливые забавные речи заронили в него горячую надежду и он был недалек от вершины блаженства. Да будет проклята напасть, поразившая такую прелестную и благороднейшую женщину, ради которой стоило совершить любой грех: и отпустительный, и смертный.

А другая прелестная юная вдова, у которой весьма почтенный придворный спросил, соблюдает ли она пост или же — на манер всех светских людей — ест мясо, ответила ему, что постится. «Но я же сам был свидетелем, — возразил он, — что вы не блюли обряда и в такое же время едали и постное и скоромное!» — «То было при покойном муже, — сказала она. — Вдовство переменило мои обычаи и привело в порядок всю мою жизнь». — «Не вздумайте переусердствовать, — забеспокоился любезник, — ведь часто так бывает, что те, кто ударяется в пост и доводит себя до голода, потом, когда к ним возвращается аппетит, испытывают большие неудобства, ибо все проходы уже ссохлись и сжались». — «Не беспокойтесь, — уверила его она, — тот, о котором вы печетесь более всего, не столь узок и иссушен голодом, чтобы не растянуться по моему желанию, если мне снова захочется его насытить».

Когда одна из знакомых мне дам была замужем, все только и говорили что о ее дородности. Потеряв мужа, она впала в такую крайнюю печаль, что иссохла, как срезанная веточка. Хотя ее сердце отнюдь не пустовало и между другими в нем даже занял

прочное место ее письмоводитель и, поговаривали, даже повар. Однако почему к ней не вернулась полнота, тогда как повар, например, был так тучен и лоснился от жира, что частью его мог бы без вреда поделиться с хозяйкой, не ведаю. Меж тем, отдавая должное верным слугам, она при дворе вела себя как истая ханжа; хотя вся ее добродетель уместилась на кончике языка, не оставлявшего в покое грехи прочих придворных прелестниц, каковые, по сути, грешили не более ее. Подобную же особу, знатную даму из Дофине, описала в «Ста новеллах» и королева Наваррская: ту однажды обнаружил на полянке насмерть влюбленный в нее дворянин, когда она забавлялась в компании не то конюха, не то погонщика мулов, — и это зрелище тотчас излечило несчастного от любовного недуга.

А одна прекрасная неаполитанка, по слухам, сошлась с самым уродливым мавром, какого видывал свет, к тому же ее рабом и конюхом. Но его необычное сложение не помешало ее страсти.

Прочитал я в старом романе под названием «Жан де Сентре», напечатанном готическими литерами, о паже, которого воспитал покойный король Иоанн. По обычаям стародавних времен, вельможи отправляли своих пажей с посланиями, как то делают и ныне, однако в те поры их посылали верхом и часто во главе своего рода маленького посольства, ибо отправить их таким образом значило снять с себя заботу о верном исполнении приказа. Так вот, смышленый маленький Жан де Сентре — ибо так его звали довольно долго — был весьма любим своим королем за острый ум и часто отправлялся с записочками к королевской сестре, пребывавшей тогда во вдовстве (хотя книга умалчивает имя ее покойного супруга). Его визиты привели к тому, что дама в него влюбилась и однажды, найдя подходящий случай, когда подле никого не было, обратилась к нему с расспросами, не вздыхает ли он по кому-нибудь при дворе и какая из придворных очаровательниц приглянулась ему более прочих; так обычно поступают те, кто хочет заронить в сердце собеседника первый намек на свою нежную склонность, что я сам видел немало раз. Маленький Жан де Сентре, который еще менее, нежели о чем ином, подумывал о любви, ответил, что на примете у него никого нет. Она же стала перебирать известных красавиц, но на имя каждой он откликался не иначе как: «А эту и подавно». Королевская сестра тут произнесла перед ним целую проповедь о любви, ее усладах и благодеяниях, — ибо, как и теперь, некоторые вельможные особы тех времен не были вовсе обойдены подобным родом недуга с его лицемерием и наивными выходками, хотя не столь изысканны и хитры в изъявлении

чувств, как нынешние прелестницы, которым ничего не стоит задурить головы своих мужей. Итак, та особа, о коей речь, убедившись, что перед нею легкая добыча, сказала, что желает подыскать ему возлюбленную, которая бы его очень любила, требуя взамен лишь верности, постоянства и — под угрозой великого стыда и поношения перед лицом целого света — строжайшего соблюдения тайны. Наконец, она призналась ему в своей любви и изъявила желание стать той самой «любящей его дамой», ибо тогда словом «возлюбленная» еще не пользовались. Юный паж пришел в сильнейшее изумление, думая, что она собирается сыграть с ним дурную шутку или подловить его, а потом и велеть высечь. Однако же она выказала столько огня и жара, целуя и лаская его, что он сообразил: она и не думает шутить, говоря, что желает выпестовать его своими собственными руками и подготовить к славному будущему. После чего их любовные игры продолжались долгое время — пока он был пажом и когда перестал им быть, — но все закончилось тем, что ему пришлось отправиться в дальнее путешествие, за время которого она предпочла ему толстого маслянистого аббата. А повесть о том вы найдете в «Рассказах о всяких приключениях» в новелле о камер-лакее королевы Наваррской; там вы узнаете, как тот аббат нанес оскорбление упомянутому Жану де Сентре, ставшему храбрым и воинственным придворным и не замедлившему отомстить, троекратно превысив меру воздаяния. Рассказ этот очень хорош, а взят он из той книги, которую я назвал.

Отсюда видно, что и в давние времена дамы влюблялись в пажей; даже тогда, когда те бывали еще щуплы, словно куропатки. Таковы причуды женской натуры, не желающей мужа, но ищущей верного друга! Они ни за что не решаются расстаться с тою свободой, какой были лишены под мужниной властью. Она представляется им райским блаженством, поскольку, овдовев, они становятся распорядительницами порядочного состояния, верховодят в собственном доме, получают доходы с имений — все проходит через их руки; меж тем как в браке они были всего лишь служанками, теперь же становятся госпожами и повелительницами, сами избирают, какому роду наслаждения им предаться и кого осчастливить своим расположением.

Некоторым из них страсть как неохота вторично вступать в брак, потому что таким образом они потеряют высокое положение в свете, расстанутся с почестями, богатствами, титулами и любезным обхождением двора. Именно нечто подобное, как мне известно, удерживало многих вельможных дам и принцесс, опасавшихся не встретить во втором избраннике птицу столь же высокого полета, как их первый супруг; хотя они и продолжали

отдавать дань любви, превращая и обращая ее в источник наслаждения и не жертвуя ради нее ни особой скамеечкой при дворе, ни правом сидеть в комнате королевы и многими подобными привилегиями. Разве не счастливы эти прекрасные создания, что пользуются плодами положения, воплощая собою само величие — и в то же время изведав тайную усладу падений! Попробуй скажи им одно только слово упрека, не говоря уж об отповеди, — и тебе на голову прольется дождь опровержений, гневных обвинений и угроз; и ты навлечешь на себя беспощадную месть сильных мира сего.

Об одной известной мне особе я слыхал, что она заставила долго услужать ей некоего достойного дворянина, удерживая его посулами уз Гименея, однако без конца откладывая исполнение обещаний. За это ее повелительница, принцесса, близкая к трону, решила ее отчитать. Но та, будучи по натуре хитрой и испорченной, нашлась как ответить. «Что же, сударыня, — вопросила она, — разве теперь уже запрещено любить иначе, нежели велят благородные обычаи? Вот уж что было бы жестоко». Ведь благочинным любовным чувством тогда, как и теперь, называли то, что так тесно спаяно с любострастием и круто замешено на сперматических снадобьях. Всякая любовь такова: она родится чистой и невинной, но скоро лишается девственной плевы и после прикосновения некоего философского камня становится развратной и полной греховного томления.

Покойный господин де Бюсси, в свое время бывший самым живым и остроумным рассказчиком, однажды, приметив при дворе одну вдову весьма мощного вида, известную своими любовными похождениями, спросил: «Как, эту кобылу все еще водят крыть к добрым жеребцам?» Его слова были переданы даме — и та стала его смертельной врагиней, о чем он не преминул узнать. «Что ж, — заметил он тогда, — я знаю, чем помочь горю. Передайте ей, что я выразился иначе, сказав: „Как, эта норовистая кобылка еще не перебесилась?“ Ибо мне известно, что ее обозлило не то, что я сравнил ее с женщиной легкого поведения, а то, что я назвал ее старухой; когда же она узнает, что я обозвал ее молодой кобылкой, ей покажется, будто я еще уважаю в ней пыл ее вечной молодости». И вправду, когда той донесли исправленные слова, она получила полное удовлетворение, успокоилась и вернула де Бюсси свое расположение, что нас преотменно повеселило. Хотя что бы она ни делала, ее все равно почитали старой заезженной клячей, которая, несмотря на свои древние года, все еще ржет и взыгрывает, завидев вдали табун.

Вовсе не походила на описанную выше даму та, что, как я слышал, была с нею на дружеской ноге в пору их молодости, а на

закате своих дней стала усердно служить Господу постом и молитвой. Один благородный кавалер спросил у нее не без упрека, почему это она истомляет себя столь ревностными молитвенными бдениями в церкви и таким строгим соблюдением запретов за обеденным столом; на что ей подобные муки, если не для умерщвления и укрощения позывов плоти. Но в ответ дама горестно воскликнула: «Увы, все это уже далече!» Она промолвила эти слова столь же жалостно, как Милон из Кротона, о котором, кажется, я уже упоминал, — этот великий и могучий античный борец, каковой, уже одряхлев, однажды спустился на арену или в залу, где состязались борцы, только для того, чтобы вблизи поглядеть на поединок, и тут услышал от какого-то юноши предложение тряхнуть стариной. Он же, засучив рукава и обнажив одряхлевшие руки с дряблыми мышцами и сухожилиями, только промолвил: «Увы, они мертвы!» Если бы та добрая женщина поступила подобно ему, открыв взгляду дряхлую свою плоть, сходство с античным героем стало бы полным; но подобного и не требовалось, не говоря о том, что ей это не подобало.

Остроту, сходную с той, что принадлежала господину де Бюсси, я сам слышал из уст одного кавалера. Прибыв в королевский дворец, где его не было полгода, он приметил даму, направлявшую свои стопы в академию, учрежденную при дворе покойным монархом. «Как?! — воскликнул он. — Академия еще существует? А мне сказали, что ее уже давно упразднили». — «Разве вы можете в том сомневаться, если она направляется как раз туда?» — возразил ему кто-то из бывших рядом. «Ах да, тамошний магистр учит ее философии, которая трактует о вечном движении». И вправду, сколь ни терзают свои мозги разные философы, чтобы отыскать это вечное движение, — но им не удастся открыть иного, кроме того, коему Венера учит в своей школе.

Одна из наших светских дам встретилась с некой особой, чьи глаза ей хвалили за необычайную красоту (хотя они словно застыли на лице и их взгляд был совершенно неподвижен). «Подумайте только, — сказала потом первая, — она позволила шевелиться всему остальному телу — даже той его части, что находится посередке, — а вот дойдя до глаз, всякое шевеление замирает».

Однако же, если бы я пожелал записать все забавные истории, что теснятся в моей голове, чтобы расширить повествование, я бы не добрался до конца. А поскольку меня допекают иные заботы, я вместе с Боккаччо, которого уже упоминал, заключу, что и девицы, и замужние женщины, и вдовы — все тяготеют к любви.

Не хочу говорить о людях низкого звания, горожанках и поселянках, — ибо не о них здесь речь, а лишь о высокорожденных, к коим и устремлялось мое перо. Однако же, коли бы спросили моего мнения, я бы сказал, что лишь замужние дамы (если не принимать во внимание возможный урон от ревнивых мужей) могут нам предоставить самую сладость напитка быстро и без больших затей, ибо мужья разогревают их, как пылающие жаровни; а столь жаркое пламя требует много всего: и воды, и дерева либо угля, так как не желает погасать. И чтобы лампа не погасла — ей надобно много масла, хотя берегите поджилки, а то подрежут их ревнивые мужья; опасайтесь засад, в которые частенько угождают самые ловкие любезники!

Однако же в сем деле нужна разумная осторожность; уподобимся же великому королю Генриху, который, насколько мне известно, будучи весьма склонен к любовным забавам, соблюдал неизменную почтительность к милым созданиям, умел хранить тайну, а потому всегда был радушно принимаем, любим и взлелеян, хотя, насколько я знаю, часто менял свои привязанности, благо всегда находился другой альков, где его уже ожидали. А являлся он всегда без охраны — даже когда приходилось отправляться в самые гнилые, гиблые и опасные места Сен-Жерменского предместья, Блуа и Фонтенбло, блуждая там по темным проулкам и лестницам. Его сопровождал только доверенный лакей по имени Гриффон, шедший впереди со своим неизменным небольшим охотничьим копьецом и факелом; за ним шагал сам повелитель, укрывшись плащом по самые глаза, или прямо в ночном халате со шпагой под мышкой; а возлегши с дамой, клал копье и шпагу у изголовья, меж тем как верный Гриффон у крепко запертой двери сторожил и чуть подремывал. Вот пример рассудительной осторожности великого монарха, которым советую не пренебрегать; ибо сколько великих сих попадало в расставленные на них западни — и королей, и принцев крови, как о том свидетельствует случай с Александром, герцогом Флорентийским; вот и нам, малым сим, тоже не грех позаботиться о своей сохранности. Но есть род кичливых и тщеславных повес, которым все нипочем, — вот они-то частенько и попадают впросак.

Слыхал я, что король Франциск однажды явился в неурочное время к некой даме, с которой у него была давняя связь, и принялся грубо стучать в ее дверь, как настоящий повелитель. Она же в то время пребывала в компании с господином де Бонниве, но не осмелилась передать ему на манер римских куртизанок: «Non si puo, la signora è accompagnata»[76]. Ей пришлось тотчас решить, куда спрячется ее кавалер, чтобы не

попасться на глаза. На счастье, дело было летом и камин был забит свежими ветками, как это было принято у нас во Франции. Вот она и посоветовала ему спрятаться в камине, за ветками, прямо в рубахе — тем более что в доме было тепло. Король же, совершив то, что ему надо было от дамы, вдруг захотел облегчиться и, не найдя подходящей посудины, направился к очагу и пустил струю прямо туда, сильно покропив бедного влюбленного кавалера; тот вымок, словно на него вылили ведро воды, ибо она, как из садовой лейки, потекла ему на лицо, в глаза, в нос и рот; так что, возможно, несколько капель просочилось даже в глотку. Можете представить, как не повезло незадачливому кавалеру, каковой не посмел и пальцем пошевелить, проявив чудеса терпения и выдержки. Сделав дело, король попрощался с дамой и вышел. Та затворила за ним дверь и позвала своего любезника продолжить прерванную забаву. Она помогла ему умыться и дала другую рубаху. Все это они проделали, изрядно посмеявшись после того, как сильно перетрусили: если бы король заметил его — ни ему, ни ей не избежать бы большой беды. Дама эта была очень влюблена в господина Бонниве, но королю желала доказать обратное, хотя тот слегка ее ревновал; она же говорила ему: «Да господь с ним, сир, с этим Бонниве: он вбил себе в голову, что невозможно как красив, — и я поддакиваю ему, чтобы не разуверять, а чем больше он проникается такими мыслями, тем он более смешон в моих глазах; впрочем, он и так весьма забавен и остер на язык; поэтому-то, когда стоишь рядом с ним, невозможно удержаться от смеха». Так она старалась показать, что, часто проводя время со своим кавалером, не помышляет о любовных играх с ним и об измене королю. Ах! Как часто многие любвеобильные создания прибегают к подобным хитростям, чтобы прикрыть свои маленькие грешки, и говорят плохо о тех, в ком души не чают, издеваются над ними на глазах у всего света — лишь бы сохранить хорошую мину при плохой игре. Вот это-то и называется любовными хитростями и уловками.

У другой светской красавицы кавалер весьма не нравился ее матери, и та как-то раз сказала: «Дочь моя, оставьте этого человека: он совершенно не любезен и по виду настоящий сельский пекарь». На что почтительная дочь ответила: «Вы правы, сударыня, а если представить у него на голове пекарский красный колпак, сходство получится полным». Так она издевалась над своим возлюбленным, давая понять, что не любит и никогда не полюбит его. Однако она его в тот раз не бросила: это случилось через три месяца после разговора — когда ему нашлась замена.

Множество тщеславных светских жеманниц, как мне

известно, весьма порицали тех, что избирали себе возлюбленных из простого сословия: секретарей, лакеев и прочих людишек в том же роде. Они весьма дурно говорили о таких особах и к подобным связям относились с отвращением, близким к ужасу; хотя сами были не прочь позаимствовать себе кавалера из людской, поступая не лучше, если не хуже. Это оказывалась всего лишь еще одна уловка, призванная обмануть свет: перед придворными можно усердно поносить знакомых, которые так низко пали; а затворивши двери собственного дома — дать волю своим желаниям. В общем, уверток и хитростей дамских — не счесть! Недаром испанская поговорка гласит: «Mucho sabe la zorra; mas sabe mas la dama enamorada» (На что лиса хитра, а влюбленная прелестница еще хитрее).

Однако же, что бы ни делала описанная выше прелестница, желая рассеять подозрения короля Франциска, как мне удалось узнать, ему все равно кое-что запало в душу. И вспомнилась мне одна прогулка в Шамбор, где меня принимал старый смотритель дворца, в юности бывший там же камер-лакеем при короле Франциске; он обошелся со мною как нельзя более любезно — ибо помнил еще моих дедов и прадедов, отличившихся в военных походах и при дворе, — и показал мне все сам; так, он провел меня в бывшую королевскую опочивальню и со словами: «Взгляните-ка, вы, должно быть, не видали собственноручных записей моего повелителя, — так вот, тут осталась одна» — подвел к окну, слева от коего на стене было начертано: «Всякая женщина изменчива». Там со мною вместе был мой большой приятель, уроженец Перигора господин Дерош, и я тотчас обратился к нему: «Подумать только, ведь некоторые из тех дам, кого он любил, будучи уверен в их безраздельной верности ему, исподтишка позволяли себе разные выкрутасы, а он лишь догадывался об этом по тому, как они начинали юлить перед ним и выкручиваться, и однажды, в раздражении, написал сии слова». Услыхав нас, смотритель прибавил: «Так и было! Послушайте меня, здесь творились дела нешуточные: ни одна из тех, кого я видел, либо о ком я знал, не удержалась, чтобы не вильнуть в сторону, — как собаки в своре, когда сбиваются с оленьего следа, — но каждая старалась сделать поменьше шума, чтобы король не заметил и не дал хорошую взбучку». Как тут не удивляться женщинам, что остаются недовольны и своими мужьями, и возлюбленными — даже когда в таковых ходят короли, принцы крови и знатные сеньоры. Еще им хочется поживиться на стороне — а уж это великий наш король знал, как никто другой, ибо не сам ли он выманивал их из мужниных объятий и похищал с девичьей постели и вдовьего ложа, вырывал

из материнских рук, чтобы наставить в таинствах любовной науки.

Зашла как-то при мне речь об одной знатной даме, которую ее супруг-принц так любил, что она у него буквально тонула в роскоши; он осыпал ее самыми дорогими знаками внимания и признательности, словно его счастье не могло сравниться ни с чьим иным, — и однако же, она питала жаркую страсть к другому сеньору, расставаться с коим вовсе не желала. Когда последний однажды ей заметил, что рано или поздно ревнивый супруг их обоих погубит, она ответила: «Ах, все едино; если вы меня бросите, я сама своей жизни не пожалею, только чтобы вам навредить; мне приятнее было бы прослыть вашей наложницей, нежели повелительницей моего принца». Вот что значит женский каприз и сколь велико дамское любострастие!

Известна мне была и другая высокопоставленная своенравная вдова, поступавшая подобным же образом: она не удовольствовалась любовью одного из знатнейших людей страны; ей оказались потребны и прелестники помельче — чтобы не терять ни часа в сутках и никогда не пребывать в праздном бездействии; ибо в одиночку никто не способен исполнять все сладостные прихоти дамы — таково, увы, одно из правил любви: владычица нашего сердца не соблюдает определенных часов и не принадлежит посланному ей Богом либо случаем кавалеру, по крайности принадлежит не только ему — сошлюсь здесь хотя бы на одну из ловких женщин, описанных королевой Наваррской, каковая пользовалась услугами сразу троих обожателей — и так ловко поворачивалась, что ни один не встречал отказа.

Прелестная Агнесса, лелеемая возлюбленная короля Карла VII, была им заподозрена в том, что рожденная ею дочь имела отцом отнюдь не его, но монарх так и не добился от нее признания. Дочь же пошла и красотою, и нравом в мать, как свидетельствуют наши хроники. Столь же неверной оказалась и Анна Болейн, жена Генриха Английского, полюбившего ее за красоту; она была уличена в прелюбодеянии и обезглавлена.

Знакома была мне некогда одна предприимчивая особа, которая, расставшись со своим весьма достойным любезником, через некоторое время при встрече с ним стала вспоминать об их минувшей обоюдной страсти; кавалер, желая выказать свою оборотистость, обмолвился: «Неужели вы полагаете, будто были у меня единственной? Думаю, я вас удивлю, если признаюсь, что одновременно с вами имел еще двух возлюбленных». Признание ее никак не смутило: «А вам, значит, казалось, что лишь вам одному принадлежала честь быть моим милым другом? Утешьтесь: еще трое были мною определены вам на подмогу». И

вправду, доброму судну надобен не один, а два либо три якоря, чтобы прочно удержаться на месте.

В заключение остается пропеть здравицу женщинам и нашей к ним любви. Не могу не привести здесь одно глубокое размышление, собственноручно записанное некой дамой, сносно изъяснявшейся по-испански: «Hembra o dama sin compagnero, esperanza sin trabajo y navio sin timon, nunca pueden hazer cosa que sea buena» (Женщина без спутника, труд без надежды, корабль без руля не многого стоят). Сия максима одинаково хороша для девицы, замужней дамы и вдовы, ибо ни одной из них не удается совершить что-либо путное без мужской подмоги либо надежды таковую возыметь; хотя, чтобы уловить в свои сети достойного, требуется немалых трудов, забот — и сопряжено это со многими опасностями и горестями. При всем том ни замужняя, ни вдовая прелестница не жертвуют стольким, сколько девица; хотя и говорят, что поразить и повергнуть к стопам легче того, кто уже однажды попался охотнику и был им подранен и опрокинут наземь, а с молодой и скорой в беге дичью труднее тягаться; это так же верно, как и то, что легче идти по уже протоптанной тропке, чем пробираться без дороги, — два последних сравнения особенно близки тем, кто путешествовал и воевал. То же с девицами: среди них попадались такие своенравные и переборчивые, что предпочитали замужеству вечное пребывание под родительской опекой; а если у них спрашивали о причине их отвращения к браку, они отвечали: «Так мне более по нраву». Но недаром же Кибела, Юнона, Венера, Фетида, Церера и прочие богини-небожительницы питали отвращение к целомудрию — все, кроме разве Паллады; но та родилась из головы Юпитера и тем доказала, что невинность есть лишь убеждение, порожденное не сердцем, а умом. А если спросить у наших благородных дев, почему они не выходят замуж или делают это с таким запозданием, они неизменно отвечают: «Таково мое желание и расположение души».

Подобных особ мы навидались при дворах наших повелителей; бывали они и во времена короля Франциска. Так, госпожа регентша имела миловидную и добронравную фрейлину, мадемуазель Пупенкур, каковая никогда не вступала в брак и умерла столь же целомудренной, как и родилась, — ибо жизнь вела благоразумно добродетельную. И мадемуазель де Лабреландьер умерла в непорочном девичестве, восьмидесяти лет от роду; она известна тем, что была наставницей юной герцогини Ангулемской.

Еще одна особа — из тех, кто неизмеримо возвышается над прочими, — прожила до семидесяти, так и не пожелав связывать

себя брачными узами, хотя отнюдь не лишала себя любовных утех; те, кто желал подыскать ей извинение, убеждали, что у нее вовсе нет подходящего родильного входа, а так только — маленькая дырочка, через которую можно лишь помочиться. Достойный повод для оправдания, ничего не скажешь! Впрочем, истина ведома одному Господу; но знаю, что высокопоставленная скромница вполне находила способ развлекаться не под венцом.

Мадемуазель де Шарансонне, что из Савойского дома, недавно умерла в Туре, проживя в непорочности сорок пять или чуть более лет, и похоронена в своем белом девическом наряде с большой торжественностью и блеском, при немалом стечении народа; ее нельзя заподозрить в обмане, ибо я сам видел, как, будучи при дворе — но при отменной красоте ведя жизнь более нежели добронравную, — она отвергала притязания многих весьма достойных и титулованных воздыхателей.

Сестра моя, мадемуазель де Бурдей, ставшая фрейлиной в придворном штате королевы, тоже отвергла весьма привлекательные предложения и — ни ранее, ни теперь — не желала идти под венец: она с достойной решимостью постановила умереть девицею в преклонных летах — и вот прошло уже немало годов; но до сих пор никто, как ни старался, не переломил ее упорства.

Подобную же участь избрали мадемуазель де Серто, еще одна фрейлина королевы; мадемуазель де Сюржер, ученейшая из фрейлин двора, прозванная Минервой; и многие другие.

Видел я и инфанту Марию Португальскую, дочь покойной королевы Элеоноры; она пребывала в том же расположении духа и хранила непогрешимую добродетель до самой смерти, приключившейся лет в шестьдесят или более. Она осталась девственницей не по причине немалого роста (ибо она была велика во всем), и не из-за недостатка средств (поскольку имела их в изобилии — даже здесь, во Франции, где господин генерал де Гург прекрасно распорядился ее добром), и отнюдь не потому, что была обделена природой (я видел ее в Лиссабоне в возрасте сорока пяти лет, и она тогда все еще выглядела весьма миловидной и приятной девицей, грациозной и привлекательной, мягкой, изящной и вполне достойной супруга ей под стать; к тому же неизменно любезной даже к нам, пришлым французам). Я могу говорить об этом с уверенностью, ибо имел честь часто разговаривать с нею в узком кругу. Ныне усопший великий приор Лотарингский, совершая переход на галерах из Леванта в западные воды — чтобы затем прибыть в Шотландию (дело было еще в дни малолетства короля Франциска), — провел в Лиссабоне несколько дней, во время коих ежедневно встречался с

прелестной инфантой. Она встретила его с великой любезностью, и ей очень понравилось его общество, а по отбытии она щедро одарила храброго мореплавателя. Среди прочего она преподнесла ему цепь для креста, усыпанную бриллиантами, рубинами и крупными жемчужинами в затейливой и богатой оправе, стоившую около четырех или даже пяти тысяч экю, поскольку она в три ряда укладывалась вокруг шеи. Мне думается, она стоила не меньше, поскольку, будучи вдали от дома, он неоднократно закладывал ее за три тысячи экю — например, при мне, в Лондоне, когда мы возвращались из Шотландии, — но, прибыв во Францию, тотчас посылал за ней, чтобы ее выкупить, так как на эту драгоценную вещицу перенес свою любовь к даме, завладевшей его помыслами и сердцем. Мне представляется, что она платила ему тем же и ради него готова была порвать путы своей девственности, разумеется вступив с ним в брак, поскольку иного не позволяло ей основательное природное благоразумие и добродетельные наклонности. Скажу более: если бы не проклятая смута, вспыхнувшая во Франции, и не настойчивость его братьев, втянувших его в междоусобицу и не отпускавших от себя, он готов был повернуть галеры и, проделав обратный путь, снова встретиться с той принцессой ради предложения своей руки и сердца; думаю, его бы не выпроводили с отказом, ибо он принадлежал столь же почтенному дому, как и ее собственный: среди его предков мы, как и у нее, находим великих королей прошлого и, помимо прочих, одного из прекраснейших, приятнейших и славнейших государей во всем христианском мире. Что касается его братьев, особенно двоих старших, за которыми всегда оставалось последнее слово и непререкаемая власть над ним, то я сам однажды слышал, как он рассказывал им о своем испанском приключении, его приятных минутах и богатых дарах; братья эти были тоже не прочь, чтобы он туда вернулся, и надеялись, что Папа благословил бы подобный союз; и, не приключись в стране проклятая наша великая смута, это его предприятие, ко всеобщему удовольствию, увенчала бы счастливая развязка; по крайней мере, мне так кажется. Упомянутая принцесса очень его любила; впоследствии она часто расспрашивала меня о его смерти — и видно было, что она, как и он, таила в душе великую любовь: достаточно было внимательно поглядеть на нее в такие минуты человеку, хоть чуточку понимающему в сердечных делах.

А от одной весьма ловкой особы, не скажу, женщины или девицы (уж больно она выглядела сведущей во всех подобных вещах), я слышал еще одно объяснение того, почему юные создания не слишком торопятся в объятия Гименея. Она

полагала, что они чуждаются брака propter mollitiem[77]. И слово это — «mollities» — надо понимать так, что они слишком расслаблены из-за чрезмерной любви к самим себе, слишком пекутся о том, как бы себя ото всего уберечь. Им довольно того, что они прельщают сами себя и ублажают — наедине или в сообществе с подругами, по лесбийской моде, — доставляя этим себе такое наслаждение, что проникаются уверенностью, будто с мужчинами им не уготовано столько же отрады и приятности; вот почему они довольствуются усладами подобного рода, млея от счастья и вовсе не заботясь ни о нас грешных, ни о наших домогательствах, ни о нашей решимости вступить с ними в брачный союз.

В Древнем Риме непорочные девы были очень почитаемы и пользовались многими преимуществами, вплоть до того, что их нельзя было обречь смертной казни по приговору суда; между тем историки пишут, что однажды, во времена триумвирата, некий римский сенатор, попавший в проскрипции, был приговорен к смерти — и он сам, и все его потомство; когда же пред палачом предстала его дочь, прекрасная собою, уже не отроковица, но сохранившая девственность, — самому заплечных дел мастеру пришлось лишать ее невинности прямо перед собравшимся народом и лишь после этого, опороченную, умертвить. Тиберий очень любил такие казни и наслаждался, наблюдая, как осужденных по его приказу красивых девственниц прилюдно оскверняли насилием, а затем лишали жизни; с его стороны это была большая низость и жестокость.

Не меньшим почетом пользовались и весталки: их уважали как за непорочную жизнь, так и за истовость веры — ведь стоило какой-нибудь из них поддаться самомалейшему искушению плоти, их ждало стократ более жестокое наказание, нежели за то, что не уберегли священный огонь; их зарывали заживо в землю, совершая над ними внушающие ужас религиозные обряды. Я читал о римлянине Альбине, встретившем за стенами Рима весталок, бредущих пешком; он приказал своей жене и детям сойти с повозки, каковую отдал странницам, чтобы они на ней продолжили свой путь. Им так верили, что во время тамошних междоусобий они нередко становились посредницами в переговорах между римской знатью и чернью. Император Феодосий, по наущению христиан, изгнал весталок из Рима, хотя римляне послали к нему ходатая, сенатора по имени Симмах, и просили вернуть изгнанниц, а также возвратить им их добро, доходы и привилегии (каковые были столь велики, что жрицы огня каждый день раздавали много милостыни и не допускали, чтобы хоть кто-либо из жителей города или чужеземцев, путников

либо селян нищенствовал: так далеко простиралось их набожное рвение); однако император все же не позволил им возвратиться назад. Имя их, «весталки», происходит от «весты» — огня, каковой и вьется, и взлетает, и полыхает, но никогда ничего не рождает сам, ни с помощью его ничего не рождается; то же с девственницей. Весталки пребывали в непорочности тридцать лет, после чего имели право выходить замуж; однако мало тех, кто подобным образом обрел счастье, — как и наши монахини, когда они покидают монастырь и окунаются в мирскую жизнь. Весталки облачались в очень пышные и дорогие одеяния, весьма мило описанные поэтом Пруденцием, и были бы похожи на теперешних наших канонисс из обителей Монса, что в Эно, Реомона, что в Лотарингии, если бы те вдруг вышли замуж. Потому-то Пруденций их порицает и поносит за то, что они разъезжают по городу в великолепных колесницах, посещают амфитеатры, где развлекаются зрелищем гладиаторов, сражающихся друг с другом и со свирепыми зверями, словно вид проливаемой человеческой крови и людей, убивающих друг друга, может внушить великое наслаждение. Конечно, весталкам не слишком подобало посещать подобные зрелища; но они могли бы и возразить: «Поскольку нас лишили более свойственных нашей натуре услад, коими не обделены прочие дамы, нам приходится довольствоваться хотя бы этими».

Знавал я одну высокопоставленную вдову, что сорок лет несла это бремя и слыла одной из самых уважаемых в стране и при дворе, но, sotto coverto[78], была не чем иным, как обыкновенной потаскушкой, каковому ремеслу отдавалась со всей страстью добрых пять десятков лет — и пребывая еще в невестах, и при живом муже, и после его кончины; притом вела себя так хитро и скрытно, что до самой ее смерти (а она прожила до семидесяти) никто ни о чем не догадывался. Эта дама лихо трясла передком с ранней молодости; например, влюбившись, едва овдовела, в одного юного кавалера и не имея повода поймать его в свои силки, она однажды, в день невинно убиенных младенцев, явилась к нему домой, чтобы похлестать его за леность; но сей юнец оттрепал ее совсем иначе, не прибегая к лозе; она же не только смиренно вынесла наказание, но попросила его повторить. На подобные хитрости она была большая выдумщица.

Другая знакомая мне особа также перенесла полвека вдовства, весьма благоразумно сохраняя внешние приличия и тайком пускаясь во все тяжкие. А перед смертью она не пожелала признать одного своего любезника, с коим втайне провела двенадцать счастливых лет и прижила сына. Все это я говорю,

чтобы напомнить: незачем хвалить всякую вдову, не зная ее жизни и чем она кончит. А впрочем, я и не стал бы так делать. На том и завершаю мой труд.

Должно быть, меня могут упрекнуть, что я упустил много остроумных речений и историй, которые бы украсили и облагородили мое повествование. Охотно верю, но где тогда взять силы дойти до последней точки в писании? Так что, ежели кому угодно потрудиться над его усовершенствованием — ему и карты в руки.

Ну вот, любезные дамы, я и заканчиваю; прошу прощения, коли что-либо вас здесь покоробило. Ни задеть вас, ни обидеть никоим образом не входило в мои расчеты. Если я касаюсь некоторых особ, то отнюдь не имею в виду всех, не называя имен затронутых персон и сохраняя покров тайны. Притом их подлинные лица я так хорошо укрываю, что отгадать невозможно, а значит, им никакого позора, ни подозрений от моих слов не воспоследует.

Боюсь, что пересказал по второму разу много историй, уже изложенных в других моих рассуждениях. Тех, кто читал их ранее, прошу меня извинить, ибо по натуре я не такой бойкий и изощренный рассказчик; да и память моя не так крепка, чтобы обо всем упомнить. Впрочем, даже великий Плутарх в своих сочинениях иногда повторяется. А ежели кто пожелает напечатать мои книги, то надо посадить дельного человека, чтобы он все выправил и привел в должный порядок.

notes

Примечания

1

Мериме П. Собр. соч.: В 6 т. М., 1963. Т. 1. С. 149.

2

См.: *Pérouse G.* Les Nouvelles françaises du XVIe siècle: Image de la vie du temps. Genève, 1977.

3

См. о нем: *Lalanne L.* Brantôme, sa vie et ses écrits. P., 1890; *Cocula-Vaillières A.-M.* Brantôme: Amour et gloire au temps des Valois. P., 1986; *Grimaldi A.* Brantôme et le sens de l'histoire. P., 1971.

Мериме П. Собр. соч.: В 6 т. М., 1963. Т. 5. С. 211.

5

Мериме П. Собр. соч.: В 6 т. Т. 5. С. 226.

Там же. С. 229.

7

«Конечно, сударыня, есть и похуже» (ит.). Здесь и далее в сносках перевод редакции.

8

«Супруги предаются разврату, когда муж познает жену свою стоя, повернув ее лицом к себе или спиной, когда проделывает это на боку или когда жена влезает на мужа» (лат.).

9

«Я видел, как в зеленом лесочке монашка забавлялась с монахом, он снизу, она сверху» (ит.).

10

По-собачьи (лат.).

11

При том условии, что семя будет ввергнуто в матку жены; каким бы способом муж ни познает жену свою, он не совершит смертного греха, если направит семя в ее матку (лат).

12

Когда жена столь толста, что может совокупляться (лат.).

13

Не будет совершен смертный грех, если муж извергнет семя в естественное лоно (лат.).

14

«Со смертью гадины умирает и ярость, и уже не нужен яд» (ит.).

15

«Господин брат мой, теперь, когда вы женаты на моей сестре и один пользуетесь ею, знайте, что в девушках она любилась с таким-то и таким-то. Но не горюйте о прошлом, это все пустяки, а берегитесь будущего, ибо оно-то уж касается вас напрямую» (исп.).

16

«Когда мессир Бернардо похотливый войдет в разгул и раж, ему закон не писан: он, строптивый, свою исполнит блажь» (ит.).

17

Добропорядочной женщины (исп.).

18

«Из пары коров та будет пропащей, что в стойле держали, гулять не давали» (ит.).

19

«Если не целомудренно, то по крайней мере скрытно» (лат.).

20

Втайне (ит.).

21

«Опасность миновала, плевать нам на святых» (ит.).

22

Вознаграждение (исп.).

23

«Как жаль, что живописцы не изобразили их такими великолепными, каковы они на самом деле, будто бы они не видывали настоящих» (исп.).

24

Дабы спасти христианскую душу от ада (исп.).

25

«Любовь побеждает лишь на почве ненависти» (ит.).

«Ну дай ты ему хоть из жалости» (ит.).

27

Ежели всею душой вы привязались к супруге, То без согласья ее не отдадите и нитки, И ни купить, ни продать вам против воли ее (лат.).

28

«Когда две женщины пожаловались в синагоге на мужей своих, познавших их содомитским способом, раввины ответили им, что муж является господином жены своей, что он может по необходимости поступать с ней как ему заблагорассудится, совершенно так же, как тот, кто купил рыбину: он может начинать есть ее либо с живота, либо со спины» (лат.).

29

«Тот выигрывает, кто шлюху теряет» (ит).

30

Вполне понятно, что он усиливает свой огонь (лат.).

31

Гречанку к себе в постель (ит.).

Любовь к соитию и продолженью рода,
Чему привержено живое испокон,
Нам подарила щедрая природа,
Но заповедал нравственный закон.
О, человека лживая порода!
Как любострастен и податлив он!
Под бременем соблазнов непомерных
Придумал свод законов лицемерных.

33

Женщина с женщиной (ит.).

34

Трении друг дружке передков (лат.).

35

Трении друг дружке передков (лат.).

36

«Любят они по-собачьи, но молчаливы, как камни» (ит.).

37

Отплыть на всех парусах (ит.).

38

«Извините меня, сударыня, я пришел сюда не языком болтать, а действовать, после же отплыть на всех парусах» (ит.).

39

Была кое-где темноволосой и смуглой (ит.).

40

Женщина с женщиной (ит.).

41

«Целую ваши ручки и ножки, сеньора» (исп.).

42

«Сеньор, самая приятная остановка — в середине» (исп.).

43

«Пышней, чем празднество в Бен» (исп.).

44

«Из старой курицы суп наваристее, чем из молодой» (ит.).

Высокого положения (ит.).

Добропорядочными женщинами (исп.).

47

«Не беда, если колокол с изъяном, лишь бы язык был у него длинен» (ит.).

48

С еще большей учтивостью (исп.).

49

Дабы замести следы (исп.).

50

Золотая середина (лат.).

51

«И что же вы сделали?» (ит.).

«Ничего» (ит.).

53

«Ах, бессердечный трус! Вы ничего не сделали? Да будет проклята твоя трусость!» (ит).

54

Что ничего не сделал: «Ах, что за трус! он ничего не делал! Да будет проклята твоя трусость!» (ит.).

55

«Отважному все удается» (ит.).

«Да торжествует правое дело!» (ит.).

«Всех одолеем!» (ит.).

«Да завоюем ее!» (ит.).

59

Отцом солдат (исп.).

Матерью (исп.).

«Завоевание Наварры» (исп.).

«Отче наш», «Славься» (лат.).

63

Грех любострастия (ит).

«Ничего» (ит.).

65

Внутрь, наружу, внутрь, наружу (ит.).

«Почтение к дамам!» (исп.)

67

С плугом осленка, чтобы всадить его и пропахать борозду (исп.).

«Итак, женщина должна погибнуть» (ит.).

69

Честь крепости спасена (ит.).

70

«От мула, в гневе ревущего, и от девы, латынь жующей, убереги нас, Господи!» (исп.).

«Умерла лучшая из нас» (исп.).

Празднествах в Бен (исп.).

«Единокровных сближает любовь» (лат.).

«Со старухами я не знался» (лат.).

75

Поторопитесь, а то за мной сейчас придут и уведут в монастырь (ит.).

«Сейчас нельзя, синьора не одна» (ит.).

77

Из-за вялости (лат.).

Прикрываясь этим (ит).